

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

1967

1

1967

Н(О)ВЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLIII

№ 1

Январь, 1967 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ — Из новых стихов. Перевела с калмыцкого Юлия Нейман	3
В. ЕМЕЛЬЯНОВ — О времени, о товарищах, о себе. Записки инженера	5
ВЛАДИМИР СОКОЛОВ — Новоарбатская баллада, стихи	83
ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ — Два товарища, повесть	85
АХМЕД ЕРИКЕЕВ — Осенние листья, стихотворение. Перевел с татарского С. Липкин	153
ВАС. ШУКШИН — Три рассказа	154

ПУБЛИЦИСТИКА

А. БИРМАН — Талант экономиста	167
-------------------------------	-----

В МИРЕ НАУКИ

Л. А. АРЦИМОВИЧ — Физик нашего времени (Заметки о науке и ее месте в обществе)	190
--	-----

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

БОРИС ПАСТЕРНАК — Люди и положения. Автобиографический очерк	204
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ЦЕИТЛИН — Заметки о стиле Ленина-публициста	237
--	-----

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	253
Т. Хмельницкая. Автобиографическая проза Каверина. — Ст. Рассадин. «Человеческий подход» — Е. Ландау. «Правосознание» по-алферовски. — И. Бернштейн. Роман о судьбе поколения.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	265
А. Каждан. Психология общества.— В. Шкредов. Право колхоза и сила привычки.— Ольга Чайковская. О профессии адвоката.— М. Ярошевский. Портрет академика Павлова.	
КОРОТКО О КНИГАХ — Мартин Нильсен. Рапорт из Штуттгофа.— Против расизма. Расизм в странах «свободного мира» и новый этап борьбы против него.— Давид Юм. Сочинения в двух томах.— Богуслав Лаштовичка. В Лондоне во время войны.— А. И. Алексеев. Колумбы российские.— Александр Горбовский. Загадки древнейшей истории.— И. Заянчковский. Враги наших врагов.— И. В. Давыдовский. Геронтология.— Лев Славин. Рассказы.— Арсений Тарковский. Земле — земное.— Михаил Александрович Шолохов. Сборник статей.— Византийская любовная проза.— Айрис Мэрдок. Под сетью	277
ОТ РЕДАКЦИИ	284
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286

ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ

★

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

С калмыцкого

Записки Ленина

Записки Ленина!.. Запечатлен
Взлет мысли — по следам ее горячим
В бурлящих недрах микрокосма
схвачен,
Заснят на пленку
вспыхнувший нейтрон...
Кипение потока временного,
Где мир творится небывало ново.

Строка!.. И ею человек спасен.
Еще строка!.. Истории движенье...
Я чувствую руки его скольженье...
За мыслью мысль
векам бросает он.
Та вольным государством станет.
Эта —
Летит к Луне стремительной
ракетой.

* *

Ты, кто прежде
в море разнотравья
Знал в лицо
мельчайшую из трав,
Нынче — признавайся, не лукавя! —
Много ль назовешь их, опознав?

Ты, по птичьим щебетам когда-то
Разбиравшийся в погоде сам,—
Сколько певчих из семьи пернатой
Нынче отличишь по голосам?!

Ты, кто ночью был в степи, как дома,
И по звездам намечал свой путь,—

Много ль звезд тебе теперь знакомо?..
Разве две иль три каких-нибудь?..

Ты разведал тайны мироздания,
Разгадал загадки всех начал,
Но, утратив прежние познания,
Может статься, что-то потерял.

Перевела **Юлия Нейман**



В. ЕМЕЛЬЯНОВ,
*Герой Социалистического Труда,
член-корреспондент Академии наук СССР*

★

О ВРЕМЕНИ, О ТОВАРИЩАХ, О СЕБЕ

Записки инженера

Из Берлина в Москву

Двадцать первое апреля 1935 года. Последний день моей «заграничной жизни». Сборы закончены. Все дела сделаны.

Сколько же времени я не был дома?..

Впервые я попал в Германию в феврале 1930 года, я был послан практикантом на эссенские заводы Круппа и пробыл там семь месяцев. В марте 1932 года я снова очутился на этом же заводе, но уже в качестве руководителя группы советских инженеров и техников, направленных сюда для изучения крупповских методов производства стали. За эти годы мне пришлось много поколесить не только по Германии, но и почти по всей Европе.

До отъезда за границу у меня, да и у многих моих сверстников было самое смутное представление об этом чуждом для нас мире. В общем, он представлялся нам каким-то абстрактным миром насилия.

На всех собраниях, митингах, конференциях, съездах мы с первых дней революции с воодушевлением пели:

Весь мир насилья мы разрушим
До основания, а затем
Мы наш, мы новый мир построим ..

Разрушив его до основания у себя, на одной шестой части планеты, мы начинали строить свой новый мир.

Прошло всего восемь лет после того, как отгремели последние выстрелы гражданской войны. Вместе с тысячами других ее участников сменил я винтовку на перо и тетрадь, закончил Московскую горную академию и, получив диплом инженера-металлурга, вскоре попал в тот самый мир, который мы у себя разрушили.

Страны Европы в те годы потрясал жестокий экономический кризис. Порой его отголоски напоминали о себе при самых неожиданных встречах.

С начала тридцатого года я жил в Эссене. Мне часто приходилось ездить с докладами в Берлин. Дел было много, времени терять нельзя, а денег мало. Валюту надо экономить. Ездил в третьем классе. От Эссена до Берлина поезд идет около восьми часов. Самый удобный для меня поезд — ночной. Он отходит в полночь и приходит в Берлин в восемь часов утра. Конечно, трудно просидеть всю ночь, а затем начинать ра-

Из воспоминаний.

боту, но билет третьего класса на двадцать пять процентов дешевле. Иногда, когда пассажиров немного, можно найти скамейку, вытянуться и подремать.

В одну из таких поездок, проходя по вагонам, я нашел купе, где на одной скамье кто-то лежал, а вторая была свободной. Положив под голову портфель, я на ней и расположился.

Хамм, Ганновер, Стендаль. Скоро Берлин, надо подниматься. Вслед за мной поднялся и мой попутчик.

— Где мы находимся?

— Проехали станцию Стендаль. Скоро Шарлоттенбург, а затем Фридрихштрассе-банхоф.

— Вы едете до Берлина или дальше?

— До Берлина, а вы?

— До Варшавы, даже немного дальше. Я фабрикант, был во Франкфурте-на-Майне. Покупал лоскут. У меня фабрика в Барановичах — делаем галстуки. Я хорошо купил лоскут во Франкфурте.

— Большая у вас фабрика? — спросил я этого «фабриканта» в сильно поношенных, измятых пиджаке и брюках.

— Средняя по нашим местам. У меня работают тридцать человек. Дела идут неважно. Все хотят делать галстуки, но никто не хочет их покупать. А что я буду делать, если их никто не будет покупать? У меня четыре дочки — их надо выдавать замуж, а какой жених согласится взять в жены девушку без приданого!

«Фабрикант» долго плакался на свою судьбу.

В вагоне появилась продавщица, предлагая завтрак. Я взял чашку кофе и бутерброд, завернутый в пергамент. Мой попутчик открыл портфель, достал термос, налил из него в крышку кофе и развернул пакетик с бутербродами. Видать, он экономил на всем. «Ну, если фабрикант пересекает всю Германию в вагоне третьего класса и дрожит над каждым пфеннигом, как же живут те тридцать, что работают на его фабрике?» — подумал я.

— Скажите, а у вас в России галстуки носят?

— Конечно.

— Сколько же у вас миллионов? Кажется, более ста пятидесяти?

— Да, более.

— Скажите, а визу к вам получить можно?

— Об этом спросите в посольстве, в Варшаве.

— Я хотел бы поехать в Китай, там населения еще больше, чем у вас. Но не знаю, носят ли там галстуки. У меня и виза уже была. — И он даже показал мне свой паспорт.

— Чего же вы не поехали?

— Боюсь. Там война.

В Берлине я попрощался с «фабрикантом». Образ старого человека, мотающегося по Европе в поисках дешевого лоскута для галстуков, не знающего, кому сбыть свой товар, был характерен для того времени.

В вагонах поездов я встречал коммивояжеров, представителей фирм, чиновников, и все они говорили о трудностях жизни и полном отсутствии каких-либо перспектив.

В Берлине и Эссене, Мюнхене, Ахене и многих других городах Германии часто можно было видеть наклеенные на окна широкие бумажные ленты с надписью «Zimmer zu vermieten»¹ или «Wohnung zu vermieten»². Большие квартиры содержать было трудно, и их владельцы иска-

¹ Сдается комната.

² Сдается квартира.

ли постояльцев. Многие отказывались от больших квартир — искали поменьше.

Припоминаю еще один случай.

Как-то летом 1932 года мне нужно было посетить один из заводов вблизи Гамбурга. Закончив все свои дела, я направился в город и вышел на набережную. Был теплый вечер, с моря подходили рыболовецкие катера. Везли богатый улов. Но когда подошли первые суда, кто-то с пристани, видимо один из администраторов, махая рукой, стал давать указание: уходите, уходите, принимать больше не будем.

— Что же делать? — раздался с палубы подошедшего катера возмущенный голос.

— Назад в море. Сбрасывайте в море. Мы уже говорили, что брать рыбы больше не будем.

На пристани стояла большая толпа. Кто-то громко произнес:

— Людям жрать нечего, а они рыбу сбрасывают в море.

Кризис сбыта накладывал свой отпечаток на все области жизни Запада. А в это же время в нашей стране шло интенсивное строительство. Опережая установленные сроки, успешно выполнялась первая пятилетка. Мы хотели двигаться еще быстрее, еще стремительнее. Но постоянно испытывали в чем-то нужду. Не хватало машин, приборов, материалов. Многие из того, в чем мы нуждались, в старой России никогда не производилось, и никто из нас не знал, как эти нужные нам машины и материалы изготавливаются. В те годы мы многое покупали за границей и посылали молодых специалистов изучать многие производства в странах Европы и Америки.

У нас были ясные цели, а план развития определен на пять лет вперед. У них не было ни планов, ни перспектив. Наиболее реакционные круги Германии искали выхода в новой войне. В начале 1933 года они поставили у власти Гитлера. Я был невольным свидетелем происходивших в эти годы событий. Жить в Германии становилось все труднее. И вот наконец, как говорится, слава богу, домой.

Надо сдать багаж. Немецких денег — марок — мало. Для работающих за границей установлены скромные оклады. Иностранная валюта нужна на покупку оборудования.

Когда на вокзале Цоо в Берлине я сдавал свой багаж, старик железнодорожный служащий посоветовал мне сдать его до Минска — так будет дешевле.

— Но ведь мне нужно доставить его в Москву, — возразил я.

— Ну и что же, переоформите его в Негорелом. Потеряете немного на том, что дважды заплатите за отрезок пути от Негорелогс до Минска. Но ведь в марках я с вас возьму только до Минска. Игра стоит свеч. — И железнодорожник понимающе улыбнулся.

Я внял совету немца и поминал его потом добрым словом.

...Вагон сильно качало. На Западе железнодорожная колея уже, а скорость движения поездов больше, чем у нас; кроме того, на некоторых участках профиль пути извилист — поэтому и качает значительно сильнее, нежели на наших дорогах.

Путь от Берлина в Москву мне хорошо известен — лететь мне приходилось всего один раз, в 1934 году. Мы — группа работников советского торгового представительства в Берлине — были направлены тогда в Москву на Октябрьские праздники. Рейсовый «юнкерс» компании «Дерулюфт» обычно совершал рейс Берлин — Москва за день. В пути были две остановки — в Данциге и в Великих Луках. Самолеты летали низко, и в них отчаянно болтало. С большим трудом мы дотянули до аэродрома в Великих Луках — вышел из строя левый мотор. До Моск-

вы отсюда добирались уже поездом и прибыли только на следующий день.

Через тридцать лет я летел в США. Полет от Москвы до Парижа занял три с половиной часа, а от Парижа до Нью-Йорка шесть с половиной. Движение самолета почти не ощущалось, только немного досаждал шум реактивных моторов. Тогда же все было совершенно иначе. Выходил человек из самолета полубольным, да и вообще о нем тревожились и родственники и знакомые: долетит ли? Железнодорожный транспорт был куда надежнее. И все свои путешествия по Европе я совершал по железной дороге.

...Перед окнами мелькают знакомые картины: хорошо обработанные поля, ленты обсаженных фруктовыми деревьями дорог, селения, небольшие городки с узкими улочками, извивающимися меж кирпичных домов с острокровхими черепичными кровлями, с высокими кирхами, со своим, немецким укладом жизни, к которому мы так до конца и не привыкли, хотя немало хорошего усвоили и изрядно от своего отвыкли. Мысленно прощаясь со всем этим, я думаю: ну, теперь с жизнью за рубежом покончено, хватит. Тогда, на пути к Москве, мне и в голову не приходило, что я вновь вернусь в эти места, но уже через двадцать лет.

В купе, кроме меня, никого. Под стук колес начинаю слегка дремать, и в моей памяти возникают один за другим образы и картины прошлого.

Вспомнил деда Петра Антоновича. Мощная фигура, окладистая седая борода почти до пояса. Тщательно расчесанные длинные волосы «под скобку» лоснятся от лампадного масла. Ситцевая синяя рубашка в мелкую крапинку. Когда крестьян освобождали от крепостной зависимости, деду было шестнадцать лет, а бабушке Ульяне четырнадцать. Живые свидетели жизни тех времен, они многое помнили. После освобождения крестьян дед земли не получил. Перебрался в село Алексеевку и со всей семьей батрачил в имении графа Воронцова-Дашкова. Для батрака-поденщика самым главным было получить работу. Ее искали и принимали как большую милость, она давала возможность жить. И дед и отец часто говорили о том, что значило лишиться работы и не иметь возможности получить ее.

Из единственного богатства, которым обладал дед, — из дюжины ребятишек — умерло восемь. Четверо, взрослыми, перебрались в Баку. Прибыли туда в разгар забастовочной борьбы рабочих нефтяных промыслов. Шел 1905 год.

В памяти моей сохранилось несколько картин. Залитая нефтью земля, знойный воздух, пропитанный газом фонтанирующих вышек, и вечное ощущение неутоленной жажды. На нефтяных промыслах Апшерона не было пресной воды. Небольшая опреснительная установка в Баку не могла удовлетворить всех. Воду из колодцев пить было трудно — она была насыщена сероводородом. На некоторые промыслы воду привозили с реки Куры в железнодорожных цистернах, в которых нередко до этого перевозили нефтепродукты. Вода была с сильным запахом нефти. Но и такая вода доставлялась с переборами. Прибытие цистерн с водой было событием. С самого раннего детства у меня в ушах застыл крик: «Воду привезли! Скорее бегите за ведрами! Во-о-ду привезли!»

И все-таки сюда, на промыслы, стекался народ со всех концов России — здесь можно было получить работу.

Семья росла, у отца было уже шестеро детей, когда разразилась первая мировая война. Жить стало еще труднее. На девяносто три копейки в день, которые отец получал, нужно было прокормить и одеть восемь человек, оплатить жилье.

За всю свою трудовую жизнь отец смог купить всего один ко. тюм-

тройку. Это было еще перед его женитьбой. Жениху полагалось иметь штiblеты и костюм-тройку. Все остальные годы штаны и рубахи ему шила мать. Так делали тогда все жены рабочих.

Окончив начальную школу, я в 1914 году сдал на пятерки экзамены во второй класс реального училища и был принят. Радости не было конца — мне так хотелось учиться! Но обучение было платное, а отцу платить за него не по силам. Оставалась только одна возможность продолжать учение в реальном — иметь отличные оценки по всем предметам, это давало право на стипендию.

Отец приходил с работы весь перепачканный нефтью, с красными, воспаленными глазами. В доме, сложенном из тесаных плит известняка, промазанных глиной, не было ни водопровода, ни канализации, ни освещения. На плите, отапливаемой мазутом, готовили пищу, ею же обогревали дом. Мать нагревала в оцинкованном тазу воду, и отец, скорчившись в нем, старательно смывал нефть. Бороду и волосы, слипшиеся в колтун, он отмывал керосином.

Отдохнув немного, отец подходил ко мне и, заглядывая в мои книги и тетрадки, с надеждой и тоской произносил:

— Может, все же выучишься на писаря. У писаря ведь чистая работа, не то что у нас.

Как же трудно приходилось отцу: его тянуло к земле, он мечтал вернуться в деревню, работать в поле — и всю жизнь провел на нефтяных промыслах Апшерона.

Жизнь была монотонно-однообразной, и дни текли медленно. Мне и сейчас кажется, что тогда, в 1913—1914 годах, дни были намного длиннее. Особенно мучительно тянулось время до обеда и от обеда до ужина. А сами-то обеды и ужины до чего ж коротки были!

В те годы я, кажется, никогда не чувствовал себя сытым. Поэтому, вероятно, и запомнилось это деление дня — до обеда и после обеда. На обед и ужин в нашей семье всегда ели либо суп, либо щи. Когда вся семья собиралась за столом, мать ставила на середину стола большую эмалированную миску, и все деревянными ложками вычерпывали ее содержимое. Нож был один. Его клали на стол для того, чтобы резать хлеб. Впервые я стал есть из тарелки в студенческой столовой Московской горной академии в 1921 году. До этого мне не приходилось пользоваться тарелкой, ножом и вилкой — их у нас попросту не было, да и не нужны они были: таких блюд, где требовались нож и вилка, у нас в семье не готовили. В Красной Армии я ел или из солдатского котелка, или из бачка — один бачок на десять человек.

На всю семью было одно полотенце. Оно висело у рукомошника. Во всех рабочих семьях пользовались самым дешевым мылом — обычно обмылком, оставшимся после стирки белья. Зубных щеток и порошка для чистки зубов не было — зубы в нашей семье никто вообще не чистил.

Я не помню, чтобы до революции у меня или у других членов семьи были когда-нибудь покупные носки или чулки — они были дороги. Их всегда вязала и вечно штопала мать. Когда же чинить их уже было невозможно, мы их распускали и сматывали нитки в клубок. Из них мать вязала новые носки. Отец вообще не носил носков — он обматывал ноги портянками.

Из детей новые ботинки, как самый старший, получал только я, другие донашивали мои. Для того, чтобы удлинить срок носки обуви, отец шурупами привертывал к каблукам и на подошву железные пластинки. Ботинки становились тяжелыми и при ходьбе цокали, как полкoвы. Верх ботинок неоднократно чинились и пестрели заплатами. В заплатках — нередко из лоскутов другого цвета — обычно были и наши рубашки и брюки.

Дети рабочих рано начинали трудовую жизнь. Когда наступали летние каникулы, я искал себе временную работу, чтобы заработать на обувь, одежду, книги. Позже пришлось и в учебное время искать уроки: нужно было помогать семье — ведь я был старшим из детей.

Потянулись долгие горькие годы войны. Глухое брожение среди рабочих на промыслах — и наконец взрыв и водоворот революционных событий 1917 года. Демонстрации, митинги, собрания. Казалось, что люди, молчавшие всю свою жизнь, не могут наговориться. Но война еще не окончена. На Баку движется турецкая армия Нури-паши. Поднимает голову внутренняя реакция. Она пытается задушить революционный порыв народа. Рабочие вступают в Красную Армию, чтобы отразить натиск контрреволюции. Уходим добровольцами и мы — отец, я и брат Николай, худенький паренек годом моложе меня.

Но силы неравны, и контрреволюция берет верх. Арестованы и расстреляны двадцать шесть бакинских комиссаров. Многие из них я часто видел на митингах и собраниях. Слушал их выступления. Попытки спасти их не удались. Власть в городе захватили мусаватисты. Большевики ушли в подполье.

Вспомнилась первая встреча с представителями подпольной организации. Нас — четырнадцать рабочих телефонной станции — принимают в партию. В восемнадцать лет я уже был секретарем подпольной партийной ячейки. В то время люди созревали рано — условия жизни и события ускоряли их рост.

Когда мы создавали на телефонной станции партийную ячейку, представитель подпольной большевистской организации сказал:

— Если хотите вновь установить советскую власть, то надо действовать. Кто же будет для вас ее устанавливать? За нее надо бороться.

И мы боролись. Днем отец, брат и я работали. На сильном ветру, в холод и дождь лазили по столбам, ремонтируя телефонные линии. Телефонная станция принадлежала датскому консулу Бьерингу. Платили нам мало. Заработка еле хватало, чтобы прокормиться. Я не помню, чтобы мы покупали в то время мясо, оно было не по карману, хотя в семье работали уже трое.

Особенно трудной была зима 1919 года. Отец где-то по дешевке купил два мешка мелких сушеных груш, источенных червями. Мать варила их, мяла, и получалось что-то вроде повидла. Им намазывали ломтики темного суррогатного хлеба. Отвар из груш заменял традиционные щи.

Гардероб у каждого члена семьи в эту пору состоял из штанов, рубахи и пары нижнего белья. Мать по вечерам стирала белье, чтобы за ночь оно могло просохнуть, — смены не было. Все дети спали на полу, под головы клали всякую ветошь: подушек было всего две — для родителей.

Дни были заполнены тяжелым трудом, а вечером — занятия в вечерней гимназии: существовало тогда такое, единственное в Баку, среднее учебное заведение, где можно было за плату продолжать образование и, работая, получить аттестат зрелости. Мне так хотелось получить среднее образование!

Каждый четверг вечером — партийные собрания: политучеба и обсуждение текущих задач. Весь девятнадцатый год и начало двадцатого проходили в Баку в забастовках и демонстрациях.

В конце девятнадцатого года большевистская организация стала готовить рабочие массы к захвату власти. Я в эту пору стал секретарем подпольной ячейки. В апреле двадцатого года бакинские рабочие взяли власть в свои руки.

Ну, теперь ее у нас зубами не вырвешь! Теперь мы за нее в ответе. А вот как быть, что делать — спрашивать некого. Надо действовать так, как подсказывают чутье и совесть. А они твердили: за нас никто ничего делать не будет. И мы хватались за все и шли туда, где требовались наши силы и вмешательство. На нас никто не оказывал никакого давления, никто нас ни к чему не понуждал. Мы действовали по собственному внутреннему побуждению.

Контрреволюционные силы вновь попытались дать нам бой. В двадцатом году произошло восстание остатков бывшей «дикий дивизии». Они устроили резню. Вновь — фронт и бои. И мы, революционная рабочая молодежь, снова берем в руки винтовки.

Но вот власть завоевана уже прочно. Надо восстановить разрушенное хозяйство, надо перестроить его на новый лад. Советскому государству нужны специалисты. Часть старой интеллигенции на предложение работать отвечает саботажем, часть еще не может определиться, а тех, кто твердо встал на сторону революции, не хватает, чтобы справиться со всеми стоящими перед страной задачами.

Молодежь отзывается из армии и направляется в университеты, на рабочие факультеты — рабфаки. По всей огромной стране одно за другим возникают новые высшие учебные заведения.

Я находился в военном госпитале — трепала малярия, — когда получил извещение, что меня направляют на учебу в Москву. Заветное желание осуществлялось.

Еще на подпольной работе я познакомился с Иваном Тевосяном. Собственно, наше личное знакомство началось в вечерней гимназии, где мы оба учились, а затем выяснилось, что он и был тем самым Ваней, который подписывал партийные поручения и решения нашей подпольной районной партийной организации. И вот теперь мы вместе ехали учиться в Горную академию. Она была создана в 1918 году по декрету Совнаркома, подписанному Лениным. Это было совершенно новое высшее учебное заведение — без каких-либо традиций. Преподавали в нем люди самых различных политических убеждений. Да и студенчество было неоднородно — тут тоже находили отражение самые разные политические концепции и взгляды, сложившиеся к этому времени в стране. Были тут и поклонники анархистов, и меньшевики, кое-кто сочувствовал левым эсерам, некоторые проявляли симпатии к бундовцам, а были и такие, которые не скрывали монархических взглядов.

Молодежь прибывала со всех концов страны. Многие из нас принимали участие в борьбе с Деникиным, Колчаком, Врангелем, участвовали в создании первых органов советской власти, успели совершить героические поступки, сами того не сознавая.

Запомнился студент Петров — он никогда не улыбался. Как-то я спросил:

— Почему это Петров всегда такой угрюмый?

— Будешь угрюмый, если с того света вернешься, — ответил близкий приятель Петрова.

И рассказал, как этого парня вместе с десятками других большевиков расстреляли белые. Тех, кто остался жив, добились штыками, а Петров был без сознания, и его сочли мертвым. Потом он очнулся и выбрался из кучи трупов со дна оврага, куда всех их сбросили после расстрела.

В числе студентов Горной академии был Александр Фадеев — тогда просто Саша Булыга. Несколько лет провели мы вместе и сохранили дружбу до его последних дней.

Были среди студентов и политкомиссары полков и дивизий, и секретари обкомов, укомов и райкомов партии, и председатели исполкомов. Иван Семенович Апряткин был руководящим деятелем профдвижения

в Азербайджане. Авраамий Павлович Завенягин — секретарем укома, его всегда, даже в студенческие годы, звали Абрам Павлович. Хорошо сохранился в памяти Владимир Александрович Уколов — его все знали и звали Володей. В академии он появился в длинной кавалерийской шинели и остроконечном шлеме. Он был неизменным организатором всех студенческих массовых мероприятий. Его, казалось, я видел одновременно повсюду — живой, энергичный, он был душой студенческого коллектива.

У некоторых студентов на груди поблескивали ордена. Правда, таких было немного, но не потому, что мало было достойных награды, нет: в те времена орденом награждали не часто...

В конце 1923 — начале 1924 года всю страну лихорадило. Шла борьба с троцкистской оппозицией. Горная академия, так же как и другие высшие учебные заведения, гудела, как улей. Собrania длились дни и ночи.

В одну из таких ночей на партийном собрании бушевал местный лидер троцкистской оппозиции Штыкгольд, потрясая мощным басом самую большую аудиторию академии — вторую.

Попасть в аудиторию было невозможно — все места заняты, проходы между скамьями и стенами тоже плотно забиты студентами.

Я сидел вместе с другими студентами на пороге двери. До нас доносились только отдельные слова выступавших и возбужденные реплики.

Около трех часов ночи перед дверью появился старичок с бородкой, снял очки и, протирая их, спросил меня:

— Пройти туда можно?

Я, не поднимаясь с места, взглянул на пришельца снизу вверх и сердито буркнул:

— Не знаю, попытайтесь.

Он перешагнул через наши ноги и просунулся в аудиторию. Начались аплодисменты. Я поднялся со своего места, взглянул на того, кому аплодировали, и сразу узнал его.

— Да ведь это же Калинин!

Калинин попросил слова, но оппозиционеры начали бесноваться:

— Никому из посторонних слова больше не давать! Хватит! Это студенческое собрание. Мы сами во всем разберемся. Только студентам предоставлять слово!

Калинин обвел глазами аудиторию, потом опустил руку в карман и вытащил из кармана какую-то книжечку. Он стоял в двух шагах от меня, и мне все хорошо было видно.

Улыбаясь, Калинин вновь поднял руку — на этот раз в ней была книжечка — и громко произнес:

— Я прошу слова как студент. Вот мой студенческий билет. Вы сами меня избрали своим студентом.

Аудитория стихла — даже Штыкгольд замер.

А Калинин, протискиваясь через плотно набитую студентами аудиторию, поднялся на кафедру и стал говорить.

Я смотрел на него как зачарованный.

— Вот здорово! — произнес один из рядом стоявших студентов.

За несколько месяцев до этого собрания у нас отмечалась какая-то юбилейная дата и к нам на собрание приехал Михаил Иванович Калинин — аудитория встретила его очень тепло, мы избрали его почетным студентом и вручили студенческий билет. Этим билетом он и воспользовался, чтобы получить возможность высказаться на нашем собрании.

Троцкий и его сторонники развили бурную деятельность против линии партии. Еще в самом начале января 1924 года в «Правде» появилась статья «Долой фракционность!». Наша группа — Тевосян, Фадеев и другие товарищи-партийцы — понимала, что молчать нельзя. Надо выступить и осудить тех, кто пытается столкнуть страну с пути строительства социализма. Такой же точки зрения придерживались многие студенты других высших учебных заведений. Появилась мысль обратиться с открытым письмом к Троцкому и изложить в нем наше мнение о его ошибках, предупредить его о том, как опасен тот путь, на который он толкает партию и страну. Открытое письмо Троцкому членов РКП — учащихся вузов и рабфаковцев города Москвы было опубликовано в двух номерах «Правды» — 9 и 11 января 1924 года.

Приходилось бороться с многочисленными и многообразными уклонами и заскоками внутри партии.

И все это вдруг померкло, словно залитое траурной краской газетных страниц.

Не стало Ленина.

Что же будет?

Двадцать третьего января гроб с телом Ленина должны были доставить с Павелецкого вокзала в Колонный зал Дома Союзов. Я пошел к вокзалу. Было холодно, шел небольшой снег. Ртуть в термометрах держалась на тридцати градусах ниже нуля. Вдоль всего пути траурной процессии по обеим сторонам улицы стояли охваченные глубокой скорбью люди. Опущенные плечи, понуро склоненные головы — казалось, все мы стали как-то меньше ростом. По щекам многих идущих за гробом и стоящих на тротуарах людей текли слезы. Такого массового горя я никогда не видел, никогда о таком горе не читал и не слышал.

В Колонном зале Дома Союзов был открыт доступ к гробу для прощания с Лениным. Все пространство улиц и площадей в районе Дома Союзов было заполнено медленно движущимися лентами скорбящих людей.

На улицах горели костры. Озябшие люди выскакивали из очередей и подбегали к горящим дровам, протягивая оковеневшие руки к огню.

Я тоже несколько раз выходил из своей очереди, чтобы погреться. Часов в двенадцать ночи я прошел в первый раз мимо гроба Ленина, не спуская глаз со знакомого по фотографиям лица.

Выйдя из здания Дома Союзов, я опять включился в поток людей и в четыре часа утра снова увидел Ленина.

Двадцать седьмого января, в день похорон, раздались разрывающие сердце гудки фабрик, заводов, электростанций. Гудели паровозы и автомашины. Во всей стране движение замерло. Остановились пешеходы...

В декабре 1927 года XV съезд партии принял директивы по составлению первого пятилетнего плана развития народного хозяйства. Мы приступили к строительству новой, социалистической экономики, не имея никакого исторического опыта, — первыми в мире. Нам предстояло в кратчайший срок превратить нищую крестьянскую страну, зависимую от милости капиталистических государств, в могучую индустриальную державу. Да по плечу ли нам это, не слишком ли мы перехватили? — думало немало коммунистов. И снова долгие бурные собрания, споры. Вместо пятилетки предлагалась двухлетка. Кое-кто не верил, что в капиталистическом окружении мы сможем построить социализм.

Нет, построим! Обязательно построим! — с революционным азартом и пылом молодости убеждали мы.

Нам не терпелось окончить академию, поскорее включиться в строительство, в практическую работу. Но для того, чтобы строить, надо мно-

го знать. Поэтому надо упорно учиться. Стране нужны были грамотные люди, хорошо подготовленные специалисты. Многих производств у нас не было совершенно, а они так нужны!

Свои природные богатства в необработанном виде мы вывозили в другие страны. Мы тогда не знали, что многие месторождения, помимо меди, содержат золото и серебро, что на нашей марганцевой и хромистой руде богатеют иностранные фирмы. Мы не знали, что при плавке цинковых руд вместе с газами буквально на ветер выбрасывался столь нужный нам кадмий. А мы за наши бесценные руды получали гроши. Мы не владели ни техникой производства, ни умением торговать. Нам надо было научиться все делать самим.

Вместе с утверждением первого пятилетнего плана принимается решение командировать за границу группу молодых специалистов для стажировки. С рядом иностранных фирм были заключены соглашения о технической помощи, поставке оборудования, строительстве предприятий. По всей стране закладываются, строятся новые заводы и фабрики. Весь народ самозабвенно участвует в строительстве и учится, учится. Но пока без сторонней помощи не обойтись.

В Детройт на заводы Форда едет изучать автомобильное и тракторное дело большая группа наших инженеров, техников, мастеров. Они будут работать на заводах, строящихся в Горьком и Сталинграде. Молодые советские ученые и инженеры появляются в лабораториях Массачусетского технологического института в США, в Кембридже в Англии, в Гейдельберге в Германии, в лаборатории Марии Кюри в Париже и во многих других учебных заведениях и научных учреждениях Европы и Америки.

Да, нам необходимо было как можно быстрее научиться все делать самим, и мы этого упорно добивались.

В 1929 году было заключено соглашение с фирмой Круппа, по которому Советский Союз получил возможность одновременно направлять в цехи его заводов до тридцати своих практикантов.

К этому времени мы с Тевосяном окончили Горную академию. После защиты дипломного проекта Тевосян получил направление на завод «Электросталь», а меня оставили в академии при лаборатории электрометаллургии — надо было готовить не только инженеров, но и научных работников.

В начале 1930 года мне предложили ехать в Германию на эссенские заводы Круппа — изучать производство высококачественных сталей. Незадолго до этого туда уже выехало несколько моих однокашников, в том числе Тевосян.

И вот из Москвы с ее кипучей, наполненной событиями жизнью, после всех многотрудных лет учения и работы (в те годы многие наши студенты не только учились, но и работали: Тевосян — заворотделом Замоскворецкого райкома партии; Завенягин был одновременно студентом академии и ее проректором; Зайцев — районным судьей; я все студенческие годы работал лаборантом; ну, и, разумеется, все мы принимали активное участие в общественной жизни, у каждого было по несколько «нагрузок», мы привыкли мало спать — рано вставали и поздно ложились) мы попали в город, живущий строго размеренной жизнью. Все встают в семь часов утра. В одиннадцать вечера ложатся в постель. В этот час гаснет свет не только в домах, но и на улицах (здесь у каждого выключателя надпись — «Экономьте свет!»).

В шесть часов утра мусорщики разгружают выставленные на тротуары улиц железные ящики с мусором. По субботам во всем городе — уборка. Моют доколы зданий. Из открытых окон домов свешиваются пе-

рины, одеяла, высовываются подушки — проветриваются. По воскресеньям на поездах, машинах, мотоциклах, велосипедах все устремляется за город. У многих за плечами рюкзаки, а на боку — фотоаппараты. В понедельник только и слышишь, бывало, в цехе:

— Вчера здорово повеселился. Выпил пару кружек пива, выкурил хорошую сигару. Слушал музыку.

Каждое утро в начале восьмого мы выходили из дому — жили на частной квартире, — к восьми надо быть в цехе, успеть переодеться в рабочий костюм и занять свое место.

Первые недели приходилось трудно — надо было освоиться с незнакомой обстановкой, научиться понимать чужую речь, тем более что рабочие говорили не на литературном немецком языке, а на местном диалекте.

После работы принимаем душ и идем обрабатывать собранные за день сведения о премудростях производства качественной стали. Надо многое записать, вычертить, подготовить вопросы для консультации с немецкими специалистами.

Тевосян приехал в Эссен на два месяца раньше меня и уже ознакомился со многим на заводе.

— Сам процесс производства стали не представляет большого интереса. У нас технология плавки поставлена лучше. А вот разливка стали у них организована великолепно. Поэтому я решил изучать процесс разливки, — сказал он мне в первый же день.

Позже нам стало ясно, что и в процессе сталеварения у Круппа используют много новых, незнакомых нам приемов и получают металл высокого качества. На крупновском заводе производственный опыт накапливался десятилетиями и передавался от одного поколения к другому. В цехе, где я проходил стажировку, вместе со старшим мастером Хенкелем в той же смене работал его сын. Старшего же Хенкеля двадцать восемь лет назад в этот цех привел отец, который тоже был мастером сталеварения. Три поколения Хенкелей передавали друг другу свои знания и приемы работы.

Завод производил несколько тысяч различных по составу и свойствам сталей. Начальника цеха, где работали мы с Тевосяном, — Мюллера — звали «королем стали». Он разрабатывал технологию ее производства и самолично вел первые плавки. Бесценный опыт этих мастеров и инженеров необходимо было перенять.

В первые дни нам трудно было установить контакт с мастерами и особенно с инженерами. Вначале отношение к нам на заводе было настороженное. Наши разговоры с работниками цеха ограничивались лаконичными вопросами и ответами. Они присматривались к нам, буквально не спускали с нас глаз, в которых застыл недоуменный вопрос: кто вы, пришельцы из чужого нового мира, о котором столько разноречивого пишут в газетах?

А бульварная пресса действительно распространяла о нашей стране невероятные небылицы. Помню, в первый же день пребывания в Германии я купил газету и увидел напечатанное крупными буквами сообщение о том, что на Тверской улице, недалеко от Страстной площади, голодная толпа москвичей разгромила продовольственный магазин, что комиссар Петров, прибывший туда во главе отряда конной милиции, тщетно пытался уговорить толпу разойтись: появление милиции привело к еще большему возбуждению. Толпа росла и заполнила не только всю улицу между Страстной и Триумфальной площадями, но и прилегающие переулки, в милиционеров полетели камни. Беспорядки, начавшиеся в двенадцать часов дня, продолжались вплоть до вечера...

Я читал и не верил своим глазам — ведь я жил на Тверской улице и в указанное газетой время находился там. Ничего подобного ни в тот день, ни раньше, ни на следующий день там не происходило. Все это было чистой водой. Так я впервые познакомился с антисоветской газетной уткой. Потом поневоле пришлось спокойнее относиться к этим казавшимся дикими сообщениям — они встречались довольно часто.

В субботу работа на заводе заканчивалась на два часа раньше. Мы приходили домой и вместе со всеми членами большой семьи нашей квартирной хозяйки собирались на кухне. Это был своего рода клуб. Здесь обсуждались все городские и прочие новости.

В одну из таких суббот зять хозяйки Хуберт — он работал шофером грузовой машины, — крепкий коренастый мужчина, всегда жизнерадостный и веселый, вошел на кухню и, хмуро поздоровавшись с нами, буркнул:

— Вчера заявил своим «бонзам», что выхожу из партии.

Он состоял в социал-демократической партии около двадцати лет. Тевосян спросил его:

— Как же вы теперь будете жить? Ведь вы двадцать лет состояли в политической организации. Вам будет трудно без нее.

Хуберт задумался.

— Я еще не решил, как быть дальше. Может, в национал-социалистскую партию вступлю. Мне ясно одно: социал-демократы не защищают интересы рабочих — у них нет целей, я не знаю, чего они хотят. Они только речи говорить мастера. А дел — никаких!

— А почему вы хотите вступить в национал-социалистскую партию? — спросил Тевосян. — Вы же рабочий человек.

Хуберт обвел нас испытующим взглядом.

— Видите ли, многие из моих приятелей вступили в эту партию. Они говорят, что ставят целью построить в Германии социализм. Национал-социалисты не только говорят, но и делают уже что-то. Конечно, сразу они многого сделать не могут, но за каких-то несколько месяцев добились того уже, что многим безработным оказана помощь.

Тевосян очень осторожно стал разъяснять Хуберту его заблуждения, и я сразу вспомнил Баку и секретаря подпольного райкома Ваню. Сколько лет ему тогда было? Ведь тогда шел 1919-й, а он родился в 1902 году. Семнадцатилетним юношей он разъяснял бакинским рабочим, вот таким же, как Хуберт, что такое коммунистическая партия, за какие идеалы она борется и почему меньшевиков называют социал-предателями.

— Нет, рабочим не место в национал-социалистской партии, — закончил он свои разъяснения.

Хуберт пожал плечами.

— Я же еще не решил, куда мне идти. Одно мне ясно: с социал-демократами я больше быть не могу.

Но Хуберт все же вступил в национал-социалистскую партию. Я встретил его однажды уже в 1933 году. Проходя по Отилиенштрассе, где мы с Тевосяном когда-то жили, я нос к носу столкнулся с Хубертом. Он был в форме штурмовика. Вскинув было руку в фашистском приветствии, он тут же резко опустил ее и тихо произнес:

— Guten Tag¹.

— Wie geht es Ihnen?²

— Viel zu tun³.

¹ Здравствуйте.

² Как поживаете?

³ Много дел.

Нетрудно было заметить, что чувствует он себя неловко. Вести разговор было трудно, да и не о чем. Мы откланялись.

...Гитлера я впервые увидел и услышал еще в 1930 году. В Эссене происходил большой митинг, и он выступал на нем. Он говорил, все более и более накаляясь, о том, что национал-социалистская партия предоставит каждому немцу работу и покончит с безработицей, что она обуздает крупных промышленников, ликвидирует крупные торговые предприятия и поддержит средние слои. Речь Гитлера на нас с Тевосяном произвела одинаково странное впечатление. Казалось, что это говорит человек, совершенно не владеющий собой. Он выкрикивал отдельные фразы без внутренней связи между ними. Его лицо искажали раздражение и гнев, глаза горели злым огнем. На толпу он действовал возбуждающе. Многие из присутствовавших на митинге слушали его, затаив дыхание, не сводя с него таких же горящих глаз, и только в паузах заглывали воздух, шевеля пересохшими губами.

Правда, первое время, как мне казалось, речи его всерьез не принимались. Да и вообще о Гитлере, Геббельсе, Геринге распространялось много злых шуток и анекдотов. Нам часто их рассказывали мастера и инженеры крупновского завода. Вот один из них, сохранившийся в моей памяти.

...В ресторан заходит штурмовик, занимает место за столиком и задает вопрос подошедшему официанту:

— А что у вас на закуску?

— Bismark Hering¹.

Штурмовик требует:

— Дайте мне Hitler Hering².

— У нас такого блюда нет! Мы не знаем, как оно готовится,— растерянно отвечает официант.

Подошедший старший официант вмешивается в разговор:

— Хорошо, хорошо. Все будет сделано. Hitler Hering приготовить нетрудно. Надо у селедки вынуть мозги и пошире растянуть рот...

Постепенно положение стало меняться. Национал-социалисты все выше поднимали головы. Речи Гитлера стали на многих действовать опьяняюще. Рассказывать о нем анекдоты стало опасно.

...В сентябре 1930 года я вернулся в Москву. Тевосян еще оставался в Эссене. Перед отъездом из Германии я получил письмо от Завенягина. Он предлагал мне работать с ним в Гипромезе.

В то время по предложению Серго Орджоникидзе в Ленинграде был создан Институт по проектированию металлургических заводов — Гипромет.

Предстояло проектирование первых крупных заводов — «Запорожстали», Магнитки, заводов Юга. Я согласился и выехал в Ленинград.

В коридорах и комнатах большого дома, занимаемого Гипрометом, наряду с русскими можно было встретить немцев, американцев, французов. Размах предстоящих работ увлек многих специалистов, не только наших, но и иностранных. На технических совещаниях поднимались вопросы, на которые никто не мог дать ответа,— ни у кого еще не было такого опыта: мы шли по пехоженным путям.

Помню историю с консультацией одного проекта. Это было осенью 1932 года. Я снова находился в Германии (в Гипромезе я пробыл недолго — всего несколько месяцев,— меня опять отправили за границу), но уже в качестве уполномоченного Металлобюро на заводе Круппа.

¹ Селедка по Бисмарку.

² Селедка по Гитлеру.

Пришло поручение провести экспертизу проекта завода, который должен был строиться на Урале. Из Москвы со всеми техническими материалами прибыл инженер Габриэлян. На проектируемом заводе предполагалось изготовлять листы и ленты нержавеющей стали. Предусматривалось установить в цехе несколько десятков прокатных станов. Таких цехов нигде в мире не было. При экспертизе проекта начальник технического отдела крупновского завода Гюрих, после того как изучил представленные ему материалы, сказал:

— Такой завод построить технически возможно. У меня возникает только один вопрос: где вы возьмете людей, которые смогут управлять таким предприятием? Мы, например, не могли бы достать в Германии таких.

А Гюрих был опытный инженер.

Для заводов по выплавке высококачественных сталей и ферросплавов, которые мы строили, нужны были электропечи, делать их сами мы тогда еще не умели. Иностранные фирмы, пользуясь этим, хотели сорвать с нас возможно больше.

В марте 1932 года меня вызвали в Наркомтяжпром.

— Поезжайте в Италию, там есть конструкции электропечей, разработанные их инженерами. Вы ведь специалист в этой области. Посмотрите: если их электропечи, по вашему мнению, для нас подойдут, мы их приобретем. Направим закупочную комиссию и будем договариваться.

Я даже растерялся: когда же это я успел стать специалистом? Прошло всего четыре года, как я защитил свой дипломный проект. Лет через двадцать мы как-то обсуждали с Завенягиным вопрос о назначении на должность заведующего лабораторией одного молодого ученого. Завенягин стал возражать:

— Ну как можно назначать его заведующим? Он всего шесть лет назад закончил институт.

— А ты забыл, Абрам Павлович, что тебя Серго назначил директором Гипромеца на третий день после окончания Горной академии?

Завенягин рассмеялся:

— Да, черт возьми, действительно, к нам относились тогда с большим доверием...

И вот я в Италии. Мимолетное знакомство с Римом, Венецией.

О Венеции я в ученические годы делал доклад. Перечитал тогда все доступные для меня книги. Мне казалось, что я знаю этот город, но, выйдя из железнодорожного вагона, поразился. Это же совершенно не та Венеция, какая существовала в моем воображении, — живописная, но какая-то обветшалая и не очень чистая, с запахом застоявшейся воды. Город на сваях. Великолепные дворцы. Узкие улочки.

Наше торговое представительство в Милане помогло мне связаться с итальянскими фирмами, занимавшимися изготовлением электропечей, и попросило ознакомить меня с их конструкцией и производством. В конце каждого письма, которое оно посылало фирмам, стояла магическая фраза: «Речь идет о заказах». Все фирмы ответили согласием.

От фирмы «Фальки» в Турине я получил не только приглашение, но и проспект изготавливаемых фирмой печей. В книге с золотым тиснением было много великолепных фотографий электропечей самых различных конструкций. У меня сложилось впечатление, что фирма «Фальки» — одна из наиболее солидных и крупных. Поэтому я решил прежде всего поехать к Фальки в Турин.

По указанному в проспекте адресу я быстро нашел контору фирмы на втором этаже делового особняка. На звонок дверь открыла изящно

одетая миловидная девушка — секретарь. Я обратился к ней по-французски и сказал, что хотел бы видеть владельца фирмы. Она ввела меня в приемную, всем своим видом свидетельствующую о солидности фирмы, и попросила подождать. Через минуту туда вошел владелец фирмы Фальки — стройный брюнет, на вид не старше лет тридцати пяти.

— Я хотел бы познакомиться с производством печей вашей фирмы. Нас интересуют промышленные печи для плавки и для термической обработки.

— Плавильных печей мы не строим, а печи для термической обработки мы вам поставляли и готовы поставлять их в дальнейшем. Может, не станем терять времени и направимся на производство,— предложил Фальки.

Мы спустились вниз, сели в стоящий у подъезда «фиат» и поехали.

На окраине города у невзрачного одноэтажного дома, напоминавшего старый купеческий лабаз, машина остановилась. Мы вошли в небольшую мастерскую, где было установлено не более двадцати самых простых станков.

— А где же вы изготавливаете те печи, что изображены в проспекте вашей фирмы? — спросил я Фальки, удивленный примитивностью оборудования.

— Здесь.

— Но у вас ведь нет печей для отливки необходимых деталей?

— Мы их заказываем у фирмы «Фиат» здесь же, в Турине.

— А специальные огнеупорные материалы кто вам делает?

— Их изготавливает один из итальянских заводов, расположенный поблизости.

— Но ведь для печей нужны лента и проволока из специального сплава — где вы берете нихром?

— Нихром мы получаем из Германии, от Круппа.

— А приборы для контроля и регулировки температуры?

— Приборы покупаем в Англии.

— Что же вы сами делаете? — смеясь, спросил я Фальки.

— Как что? Вся конструкция, все ее детали — оригинальная разработка фирмы. Кроме того, корпуса печей и все монтажные детали изготавливаются нами вот здесь.

В соседнем помещении Фальки показал мне несколько готовых к отправке заказчикам отлично выполненных электропечей.

Я решил, что у фирмы, видимо, сильное конструкторское бюро и надо будет попросить Фальки ознакомить меня с работой этого бюро.

— А не можете ли вы познакомить меня с вашим конструкторским бюро? — спросил я Фальки.

— Почему же нет, пожалуйста!

Из этих убогих мастерских, выпускающих великолепные печи, мы поехали в город и опять остановились у подъезда дома, где размещалась контора фирмы.

Снова поднялись на второй этаж, прошли мимо изящной секретарши, и Фальки ввел меня в комнату, где находилось три или четыре чертежных кульмана. За двумя из них работали два совсем молодых человека.

— Познакомьте меня, пожалуйста, с вашим главным конструктором,— смущенно попросил я.

Фальки сделал корпусом движение вперед и протянул руку.

— Перед вами главный конструктор, а это мои чертежники.

Когда я уезжал от Фальки, меня разбирала злость. Ведь у него нет ровно ничего, кроме желания заработать. Он просто предприимчивый человек с хорошей головой и полон энергии.

Мы заказывали этой фирме сотни электропечей, а могли бы все их сделать сами.

...Когда я проезжал по прекрасным автострадам Италии, я видел, как на строительстве новых автомобильных дорог рабочие-итальянцы вручную, кувалдами дробили камень, приготавливая щебенку.

В Милане был большой машиностроительный завод, изготавливавший дробильно-размольные машины. На этом заводе мы покупали, в частности, и дробилки для дорожного строительства. В самой же Италии они не использовались.

— Почему у вас камень на строительстве дорог дробят вручную? — спросил я итальянского инженера, сопровождавшего меня в поездках по Италии.

— Видите ли, правительство в целях борьбы с безработицей рекомендовало сократить применение машин. То же самое происходит у нас и на некоторых фабриках. Правительство предложило из тех же соображений не пользоваться механизмами и больше применять простой ручной труд. У нас много безработных, — сказал инженер.

Когда я осматривал доменный цех металлургического завода в Аосте, ко мне обратился начальник этого цеха с просьбой предоставить ему возможность поработать на доменных печах Магнитки или Кузнецкого завода.

— Годы идут. У нас в Италии старые печи и старое оборудование. Как инженер я здесь тупею. У вас же — творческий размах. Ох, и высоко же вы взлетите, если будете двигаться такими темпами. — Он был поражен размахом наших работ. — Вам не видно того, что вы уже создали. Большое художественное полотно надо рассматривать издали. Вблизи вы видите отдельные мазки. Нам отсюда виднее.

Вернувшись в Милан, я получил новое поручение — срочно выехать в Бреслау, осмотреть изготовленные на заводе детали печей для строящегося в Запорожье ферросплавного завода.

На следующий день — снова в путь: Северная Италия, Швейцария, Германия и — почти у границы Польши и Чехословакии — Бреслау.

На небольшом заводике меня уже ждали. Сотрудник советского торгового представительства объяснил мне, в чем заключается моя миссия.

— Наш приемщик забраковал изготовленный заводом корпус большой печи. Корпус дорогой, из специальной бронзы. Стоит несколько сот тысяч марок. Завод встретился с трудностями: первые отлитые из бронзы детали были неудачны. Директор обратился к нам за помощью. Просил выдать ему на приобретение новых материалов ссуду. Мы вынуждены были на это пойти — нас поджимали сроки. Заказ был выполнен, и новое осложнение: приемщик, которого мы сюда направили, утверждает, что все сделанное заводом — брак. Вы должны рассудить, действительно ли дело обстоит так, и если это брак, то нельзя ли его исправить.

Откровенно говоря, мы, видимо, дали маху, выбрав этот завод, — погнались за низкими ценами. Если изготовленные детали на самом деле брак, у нас не только горит несколько сот тысяч марок, но придется срочно искать другой завод, где можно будет разместить заказы на изготовление сложного оборудования, а график строительства в Запорожье будет сорван.

Я поехал на завод. Приемщик подробно рассказал мне о всех обнаруженных им дефектах, и мы вместе с ним скрупулезно осмотрели каждую деталь. Он был прав: брак, и брак неисправимый. Все необходимо делать заново.

В кабинете владельца завода — совещание. За столом он — уже пожилой человек, — рядом с ним трое его сотрудников, руководящих производством. Хозяин явно волнуется. Он с тоской в глазах смотрит на меня. Никто из нас не мог даже предполагать, что все техническое заключение будет для него смертным приговором. Я разобрал характер дефектов и доказал техническую невозможность их исправления.

Во время моего сообщения владелец завода не проронил ни слова, только время от времени проводил кончиком языка по пересохшим губам. Услышав вывод, он уронил голову на стол, потом резко поднялся и, не глядя на нас, вышел в другую комнату. Мы сидели молча. И вдруг за дверь раздался выстрел. Все бросились в соседнюю комнату: владелец завода лежал на полу, у головы его растекалась лужица крови, рядом лежал выпавший из руки револьвер...

Как выяснилось, он был в долгу как в шелку. Желая во что бы то ни стало получить заказы, он взялся за изготовление сложных деталей для электропечей, до сих пор в Германии никем не изготовлявшихся. Дело не ладилось, все средства были израсходованы на приобретение дорогих материалов. Он взял новый кредит. Снова неудача следовала за неудачей. Старый промышленник хорошо знал законы своего общества — банкротства ему не простят, оно было для него страшнее смерти.

В 1932 году в Германии было много банкротств и самоубийств.

Три последующих месяца я провел буквально на колесах, разъезжая по Европе, — на Германии свет клином не сошелся, необходимое оборудование можно было получить и в других странах. Побывал я в Швеции, Норвегии, Англии. Задания выполнены, и я возвращаюсь в Берлин. Встречаюсь с представителем фирмы «Сименс». Высокий, худощавый, несколько нагловатый начальник русского отдела заводов Сименса Иост заявляет:

— Напрасно теряете время на разъезды. Лучше наших печей все равно нигде не найдете. У шведов нет своих оригинальных печных конструкций. Они уже лет пятнадцать не занимаются этим. А что нашли вы в Англии? Англичане сами заказывают нам печи... Сегодня у нас четверг. В пятницу вечером я собираюсь на охоту. До понедельника меня в Берлине не будет. А в понедельник можете мне позвонить. Если, конечно, речь будет идти о делах серьезных...

В разговор вмешивается пришедший со мной член нашей закупочной комиссии:

— Господин Иост, но ведь вы назначили явно несуразную цену! Разве можно требовать за такую печь тридцать шесть тысяч марок?

— Почему вы считаете цену несуразной? Вы, кстати, столько за наши печи и платили. Вы же знаете, что мы вам одну такую печь уже поставили, и тогда вы не считали ее стоимость несуразной.

Иост до революции кончил Рижский политехнический институт — он хорошо говорит по-русски. У меня растет чувство раздражения против него. Он действительно хочет поставить нас на колени! Ах, если бы мы только могли сами делать все, что нам необходимо для строящихся заводов! Но я решил не сдаваться. Уже попрощавшись, говорю:

— Господин Иост! Если вы не предложите новой, более низкой цены до субботы, то я опасаюсь, что будет поздно. Мы подпишем соглашение с другой фирмой.

Иост, уже направившийся было к двери, остановился.

— С кем же это вы подпишете соглашение?

Но я будто не слышу его вопроса, продолжаю с индифферентным видом:

— Повторяю, господин Иост, если до субботы вы не сделаете нового, приемлемого для нас предложения, у вас не будет надобности возвращаться в понедельник. Потому что в понедельник мы подпишем соглашение с другой фирмой. И сразу же дадим об этом публикацию — заказ-то большой, игра стоит свеч!

Иост багровеет и быстро удаляется, даже не попрощавшись. Отправляемся к себе и мы.

Буквально через полчаса к нам приходит один из директоров «Сименса». День был сумрачный. Шел мелкий дождь.

— Ну что же, давайте договариваться,— с места в карьер начал он и тут же стал снижать цену.

Через пятнадцать минут он сказал:

— Я снижал цену на тысячу марок в минуту — с такой скоростью мы никогда еще не вели наши финансовые дела.

Когда наконец обо всем договорились и завизировали проект соглашения, немец сказал:

— Само небо плачет вместе со мной. Ведь я сбросил по пятнадцати тысяч марок с печи, и вместо тридцати шести тысяч мы отдаем их вам по двадцать одной.

«Сколько же вы зарабатывали на нас!» — подумал я.

Однажды мне поручили подобрать для работы на Кузнецком металлургическом заводе двадцать — тридцать хороших прокатчиков и сталеваров. Своих специалистов в то время у нас было мало, их просто не хватало. В Германии же среди безработных было много хороших мастеров. Меня торопили с подбором людей, и я решил поместить в одной из эссенских газет объявление: «Для работы на советском металлургическом заводе требуются квалифицированные прокатчики и сталевары, знакомые с производством высококачественных сталей. Желающих поехать на работу в Советский Союз просят явиться...» — и я указал адрес небольшой гостиницы, расположенной в рабочей части города, где я для этой цели снял на несколько дней большую комнату.

Когда к восьми часам утра я подошел к гостинице, где должен был производить отбор, мне стало ясно, какую ошибку я допустил, поместив в газете объявление. Вся улица перед гостиницей была запружена народом. После мне сообщили, что здесь собралось около семисот человек. Все они хотели получить работу. Я принимал их одного за другим, они предъявляли мне справки о месте прежней работы, рекомендации, отзывы.

Вот в комнату входит прокатчик. Он работал более восьми лет на заводе «Эдельштальверке» в Крефельде. Последние четыре года — безработный, живет случайными заработками.

— Что же вы делали все это время? — спрашиваю я этого хорошего, судя по отзывам, которые он мне показал, мастера прокатного дела.

— Что я делал все это время? — с горькой усмешкой повторил он мой вопрос. — Я делал все, за что платили. Я не отказывался ни от чего. Немного работал крановщиком в Дуйсбурге. Там же тесал на кладбище надгробные плиты. Потом доил коров на ферме. Все это, конечно, была не настоящая работа. Готов поехать к вам. Можете не беспокоиться, прокатное дело я не забыл.

Рабочий производил хорошее впечатление, и я решил включить его в список. Я сказал ему, какую зарплату он будет получать, и добавил, что от советской границы до завода все расходы мы возьмем на себя, но до границы он должен будет добираться за свой счет — у нас нет валюты, чтобы покрывать эти расходы.

Прокатчик замялся, потом сказал:

— Это, конечно, трудно для меня. Ведь даже костюм, чтобы пойти к вам, я одолжил у брата. Он еще не все прожил. Мне даже продать больше нечего — все продано и прожито за последние четыре года.

Был среди этих людей молодой паренек — лет восемнадцати, не больше. Я сказал ему, что нам требуются специалисты, а у него еще нет никакой специальности.

— Здесь ее у меня и не будет,— возразил он и горячо стал убеждать: — Я у вас одно прошу: разрешите мне поехать в Советский Союз — там я сам найду себе работу. Я буду работать и учиться. Здесь это невозможно.

Я принялся объяснять ему, что выдачей разрешений на въезд занимается советское представительство в Берлине, у меня же совершенно другая задача: пригласить на работу на один из наших металлургических заводов нескольких специалистов, умеющих плавить и прокатывать сталь.

Паренек ничего не хотел слушать и в конце концов заявил:

— Если вы мне разрешение не дадите, я все равно уеду в Советский Союз, там меня примут, я знаю. Здесь я пропаду. Как вы этого не хотите понять!

У него были светлые волосы и удивительно бледное лицо. Вышел он от меня сильно возбужденный, решительно заявив уже у двери:

— Все равно уеду, даже без разрешения.

За два дня я перевидал много людей, узнал от них, сколько всяких трудностей, горя им приходится сносить, до какого отчаяния они доходят из-за невозможности получить работу.

В те годы многие люди на Западе, даже дружелюбно к нам относящиеся, не верили, что мы быстро овладеем современной техникой. Конечно, рассуждали они, в каждой стране могут быть талантливые одиночки. Были у вас они и раньше, есть, по-видимому, и теперь, но ведь для того, чтобы создать современную промышленность, нужны тысячи и тысячи квалифицированных людей. У вас их нет. Чтобы их подготовить, необходимо время, а оно не может быть уложено в рамки ваших пятилеток. Оно измеряется эпохой. Такие суждения нередко высказывали и инженеры на заводах Рейнской области.

Тогда же я прочитал в одной из немецких газет небольшую статью архитектора Мейя. Он писал о том, как, возвращаясь из Советского Союза, где он участвовал в проектных работах, в вагоне поезда Берлин — Эссен он встретил русского рабочего. Рабочий сидел в купе у окна, все время смотрел в книгу и что-то шептал. «Когда я спросил его, что он так внимательно читает,— писал Мей,— рабочий ответил: «Изучаю немецкий язык. Еду на практику на завод Круппа». — «Как же вы будете работать на заводе, не зная языка? Надо бы сначала язык выучить, а уже потом и на практику ехать». — «А я всего год назад выучился по-русски читать. Я и русской грамоты раньше не знал», — сказал рабочий». Немецкий архитектор был буквально потрясен этой встречей.

Этим рабочим, как я выяснил затем, был уралец Щипанов, металлург Верхне-Исетского завода. Он приехал в Германию изучать производство трансформаторного железа. В то время мы еще не умели изготавливать высококачественного трансформаторного железа, и это сдерживало развитие электропромышленности. На заводе Круппа его в то время не производили, и я устроил Щипанова на заводе Капито и Кляйна в Дуйсбурге — недалеко от Эссена. Так как Щипанов не знал немецкого языка, то я очень беспокоился о нем: как он там один управляется? Я решил обязательно съездить к нему в Дуйсбург. Щипанова я застал у прокатного стана. Он стоял в синем комбинезоне и, жестикулируя, что-

то объяснял немецкому рабочему. Щипанов не видел меня. Я подошел к стану и услышал:

— Ну сколько тебе еще говорить, дурья твоя голова. Так у тебя ничего не получится. Надо следить за температурой валков на обоих концах. Иначе лист уведет будет, ферштеен?

Увидев меня, Щипанов оставил своего собеседника, подошел ко мне и, поздоровавшись, сказал:

— Ну что я могу вам сказать, кое-чему здесь поучиться можно, но и мы их поучить тоже можем. Масло для смазки листов у них отличное. Бумага прокладочная тоже...— Потом почесал затылок, добавил:— И вот что еще: немцы они...

— Ну конечно, немцы, не французы же,— смеясь, заметил я.

— Да уж аккуратны больно. Ну до чего же они точно все соблюдают. Вот бы нам этому обучиться, такой аккуратности.

— А что это вы ему объясняли?— спросил я Щипанова, кивнув в сторону рабочего, с которым он разговаривал.

— Ему-то? Глупость они допускают: все контролируют и точно соблюдают, а за температурой прокатных валков не следят. Вот я ему и объяснял.

В это время подошел начальник цеха. Я спросил его, как работает советский практикант. Немец сказал, что Щипанов работает хорошо и он не возражал бы продлить срок его пребывания на заводе. «Он и сам учится, и нам дает полезные советы»,— так аттестовал Щипанова начальник цеха.

«Природная смекалка — характерная черта наших людей,— подумал я. — Необходимо помочь им овладеть наукой и техникой, и тогда нам ничто не будет страшно». В те годы в области образования делалось многое, и у всех была глубокая уверенность, что проблема кадров, необходимых для промышленности, будет разрешена.

Летом 1932 года мне с группой советских металлургов пришлось побывать на одном из металлургических заводов в городе Крефельде. В группе инженеров, прибывших сюда, двое были с завода «Электросталь». Одного из них особенно интересовало производство листовой быстрорежущей стали. Такая сталь требовалась в то время для производства дисковых пил и тонких фрез. Завод в Крефельде получил большой советский заказ, и поэтому нас там хорошо принимали. Мою просьбу познать комить наших специалистов с производством листовой быстрорежущей стали главный инженер завода охотно удовлетворил.

Закончив ознакомление с работой основных цехов, я зашел к нему, чтобы попрощаться и поблагодарить за предоставленную возможность побывать на заводе.

— А я не думал, что вы покажете нам прокатку быстрорежущего листа,— заметил я под конец.

— Инженерам крупновского завода я бы не показал, но вам почему же не показать? Мы над этим технологическим процессом бились десять лет — вы будете его осваивать не менее двадцати, а мы за это время так далеко уйдем, что все наши современные методы производства будут представлять интерес только для историков.

Об этом разговоре я рассказал инженеру с «Электростали», который интересовался производством листовой быстрорежущей стали. Это был очень серьезный человек. Я его знал еще по Горной академии, уже в студенческие годы он выделялся своими способностями.

— Что же, посмотрим,— улыбаясь, сказал он мне.— Я вам напишу, когда мы начнем это производство.

Месяца через три со вновь прибывшими практикантами я получил от него записку. Она была лаконичной: «Провели прокатку первых слит-

ков. Листы получились очень хорошие. После проведения положенных испытаний перейдем на регулярное производство. Если будете вновь в Крефельде, передайте главному инженеру завода, что мы скоро сможем поставлять ему такой же лист, а может быть, даже и лучше».

Так на практике решалась задача — нагнать в короткое время Запад, от которого мы так отстали.

Весь 1932 год в Германии ни на день не утихала жестокая классовая борьба. Одна за другой вспыхивали рабочие забастовки. Объявлялись локауты. Закрывались не только отдельные цехи на заводах, но и целые заводы.

На заводах Круппа количество заказов резко сократилось, и в некоторых цехах плавильные печи нечем было загружать. Часть мартеновских печей работала лишь три дня в неделю — в остальные дни в них поддерживали огонь, не давая им полностью остыть, чтобы при получении заказов сразу ввести в действие. Рабочие ходили мрачные — боялись, что могут совсем потерять работу.

В том году было как никогда много разного рода избирательных кампаний и особенно чувствовалось, как накаляются политические страсти. По вечерам мы с Тевосяном и другими практикантами частенько заходили в дешевые пивные и закусовые, где тамошняя публика — рабочие, мелкие чиновники, ремесленники — бурно реагировала на каждое сообщение о ходе выборов. Эти заведения в дни выборов превращались в самые настоящие политические клубы. Каждый час владелец пивной или ресторанчика получал по телефону сведения с результатами подсчета голосов и, поднявшись на подмости, громкогласно сообщал их присутствующим. По репликам, возгласам и аплодисментам публики можно было судить о ее симпатиях и антипатиях.

В Эссене было много членов партии католического центра. Правда, рабочие крупновского концерна почти не принимали участия в политической борьбе. Люди у Круппа работали десятилетиями — они более всего дорожили своим местом на заводе и как огня боялись потерять его. Во время всеобщей забастовки, охватившей летом 1930 года всю Рейнскую область, администрация крупновского завода не без злорадства сообщила нам, что в день объявления забастовки в цехи явились даже большие — они боялись, что их могут счесть забастовщиками.

Инженеров, явно сочувствующих Гитлеру, тогда на заводе было очень мало. Большинство их вообще уклонялось от разговоров, хоть в какой-то степени связанных с политикой. Но по мере роста влияния Гитлера кое-кто из мастеров и инженеров стал высказываться явно в прогитлеровском духе.

— Скажите, разве это справедливо: Германия перенаселена, а в вашей стране столько пустующих земель, — нередко говорили нам на заводе.

Кое-кто из мастеров и рабочих стал холоднее относиться к нашим практикантам — антисоветская пропаганда приносила свои плоды. Фашизм поднимал голову. В городе быстро увеличилось число штурмовиков. Их руководитель Рем похвалялся, что у него армия больше, нежели у правительства. Участились демонстрации и митинги, устраиваемые национал-социалистами. Речи Гитлера и его последователей становились резче и исступленнее.

Тридцатого января 1933 года Гинденбург назначил Гитлера рейхсканцлером.

Двадцать седьмого февраля я приехал по делам в Берлин. В восемь часов утра, как обычно, я вышел на вокзале Фридрихштрассе и только было собирался отправиться в ближайший ресторанчик — Ашингера,

чтобы позавтракать, как был буквально оглушен криками газетчиков, бегавших по перрону. Я сумел разобрать только два слова:

— Dritte Ausgabe!¹

Фашистская газета «Ангрифф» вышла сегодня уже в третий раз! Что же случилось?

Я купил газету, сунул ее в карман и отправился к Ашингеру. Закачал завтрак и, когда официант отошел от столика, развернул газету. На первой странице был большой снимок здания рейхстага, из окон которого валил дым. Надпись гласила: «Коммунисты подожгли рейхстаг. Следы поджигателей ведут в советское посольство. Один из поджигателей арестован...»

В торговом представительстве, где у меня были дела, работа началась в десять часов утра. У меня еще оставалось время. Надо пройти к рейхстагу и посмотреть, что там происходит. Торопливо проглотив завтрак, я направился по Унтер ден Линден, в конце которой находился рейхстаг. Еще издали я увидел огромную толпу, окружавшую здание. В нем самом виднелись всюду пожарные, продолжавшие бороться с огнем. Среди толпы шныряли какие-то подозрительные личности.

«Лучше, пожалуй, уйти отсюда»,— решил я и направился к торгпредству.

«А может, там уже полиция?»— вдруг мелькнуло у меня в голове. В явно провокационной заметке «Ангрифф» говорится: «Следы ведут в советское посольство».

Я решил сразу не входить в торгпредство, а пройти по противоположной стороне улицы, чтобы сперва осмотреться. Медленно прохожу мимо, но ничего подозрительного не замечаю. Двери торгпредства открываются и закрываются, все время кто-то входит, кто-то выходит. Я пересекаю улицу и вхожу. Все в порядке. В вестибюле на обычном месте—старик немец, швейцар. В непрерывно движущихся кабинках лифта поднимаются сотрудники.

Направляюсь к М. П. Полову— в это время он исполнял обязанности постоянного представителя Наркомтяжпрома при торговом представительстве.

— Неудачно приехал. Хотя, быть может, даже и хорошо—все равно пришлось бы вызывать,—сказал он.—Немедленно возвращайся в Эссен. Переговори с каждым практикантом лично и проверь, нет ли у них каких-либо материалов, которые могут использовать против нас с провокационной целью. Ты ведь знаешь, кое-кто вопреки инструкциям собирает коммунистические листовки и газеты. Я недавно с одним инженером из командированных к нам на приемку оборудования большой бой выдержал. Ему, видите ли, когда он вернется домой, нужно будет доклад делать и, в частности, рассказать о том, какую работу проводит компартия Германии. Так вот, для этого доклада он собрал уйму материала. Доказывай потом, что это за материал—собирал он его или, наоборот, распространял! Сейчас каждый день можно ждать провокаций. Надо быть готовым к самому худшему. Не исключено, что Франция и Англия вмешаются в происходящие события и оккупируют Рейнскую область. Я запрашу срочно наше посольство в Париже. Если такое произойдет, мне невозможно будет поддерживать с тобой связь, и я попрошу, чтобы они взяли над тобой шефство... А теперь быстро отправляйся в Эссен—ты еще успеешь на поезд, уходящий с Цоо в час дня. Но надо спешить...

Я взял такси и отправился на вокзал Цоо. Билет брать было уже поздно. В автомате взял перронный билет и выбежал на перрон. Поезд

¹ Третий выпуск!

уже отходил от платформы, я вскочил на подножку вагона, но в этот момент раздался пронзительный свисток, и рука железнодорожника сдернула меня с подножки.

— Verrückter Mann, was machen Sie denn!¹

Я объяснил, что мне нужно в Эссен. Оказывается, поезд на Эссен ушел пять минут назад, а этот состав направляется в депо.

Я пошел в зал ожидания и посмотрел расписание. С Потсдамского вокзала через три часа также отходит поезд на Эссен. Я отправился на Потсдамский вокзал. И вдруг только теперь до моего сознания дошло, от какой опасности я избавился. В то время как горит подожженный кем-то рейхстаг, на платформу выбегает человек, бросается на ходу в поезд, пытаясь, по-видимому, возможно быстрее улизнуть из города. Почему? Ответ простой: он, вероятно, причастен к поджогу.

Ну как же можно так опрометчиво поступать! Ведь если бы меня арестовали, то вышел бы я из тюрьмы не скоро. Они ищут повода для провокаций, изобретают их, а тут блестящий повод сам падает в руки. Ох, как нужно быть осторожным!

Советские практиканты находятся не только в Эссене на заводе Круппа, но также и у «Демаг» в Дуйсбурге, у Рёхлинга в Вецларе и Фёльклингене. Необходимо побывать у всех, проинструктировать и проверить, все ли у них в порядке.

Хозяин квартиры, где я жил, оказался мерзавцем. До прихода Гитлера к власти он состоял в компартии, затем демонстративно вышел из нее, а свою дочь направил в гитлеровский союз молодых девушек — «Hitler Mädchen». На меня же он сделал какой-то донос.

В начале марта я сидел как-то вечером дома и читал. Раздался стук в дверь. Подумав, что это хозяин, я сказал:

— Herein².

Дверь медленно приоткрылась, и я увидел вытянутую руку с револьвером, а затем грузную фигуру штурмовика. За ним в комнату вошли еще шесть человек.

— Оружие есть?

У меня в руках был карандаш, и я сказал:

— Вот мое оружие.

— Я вас серьезно спрашиваю: есть у вас оружие?

— Кроме вот этого, у меня нет никакого другого.

— Мы хотим проверить, чем вы занимаетесь, — сказал один из вошедших в комнату, видимо старший.

Все почему-то стали рассматривать потолки и стены комнат. Потом один из штурмовиков сказал:

— Нам сообщили, что у вас на потолках и стенах нарисован советский герб: серп и молот.

— Но вы видите, что этого нет! — ответил я.

Штурмовики открывали ящики стола, шкафы, переворачивали постели, заглядывали под кровати, зачем-то отодвинули диван.

На мой возмущенный вопрос, кто дал им право производить у меня обыск, мне заявили нагло-надменным тоном:

— Во время революции права не получают, а берут.

Через час штурмовики от меня ушли, но я слышал, как они производили обыск у моего соседа.

¹ Сумасшедший, что вы делаете!

² Войдите.

После ухода штурмовиков, вполне понятно, спать мне не хотелось, и я стал расхаживать по комнате.

В дверь постучали снова, и в комнату вошел сосед.

— У меня только что был обыск,— взволнованно произнес он.

— У меня тоже.

— Да, но между нами все-таки разница! Вы иностранец, а я бывший офицер кайзеровской армии. У меня два железных креста. Я их получил под Верденом. У меня семь ранений. Когда они вошли ко мне, я им сказал это. Но вы вдумайтесь в то, что они мне ответили! Они сказали: «Вы еврей, и ваши кресты не стоят и ломаного гроша». Я никогда раньше не думал о том, кто я по рождению,— для меня Германия была родиной. Они отняли ее у меня.— Несколько успокоившись, он твердо произнес:— Я не коммунист и никогда, видимо, коммунистом не буду, у меня другие идеалы, но, ежели вам придется с ними драться, я буду на вашей стороне. Ведь это не люди...

Извинившись, сосед ушел к себе.

Кто он? Я его несколько раз встречал в коридоре и на лестнице. Он занимал одну комнату. Иногда я видел его с милостливой белокурой девушкой. Мне сказали, что это его невеста.

Я встретился с ним еще раз месяц спустя. Он очень осунулся, даже постарел.

— Ну, с Германией у меня все покончено. Уезжаю. Вы знаете, я собирался жениться, но моя невеста Ингеборг заявила вдруг, что она не может выйти замуж за еврея. Вернула мне кольцо.

— Куда же вы едете?

— Пока во Францию, а там видно будет.

— Желаю успеха.

Он испытующе поглядел на меня и произнес серьезно и даже как-то торжественно:

— Помните, в борьбе с ними я — на вашей стороне.

Больше я никогда его не встречал.

Этот обыск положил начало репрессиям в отношении членов советской колонии. Последовали новые обыски, а затем аресты и конфискации. Меня неоднократно задерживали на улицах, снимали с поездов, трамваев, производили налеты на мою квартиру. На протяжении 1933 года мне довелось семнадцать раз побывать в полиции, жандармском управлении и штабах штурмовых отрядов. Обыски производились и на квартирах практикантов.

А на заводе стали появляться новые правительственные заказы, явно военного назначения. Доступ в некоторые цехи, где раньше работали советские практиканты, теперь был закрыт. Жить и работать становилось все труднее.

В городе происходили непрерывные манифестации нацистов. Штурмовики маршировали по улицам, топая коваными башмаками, и горланили свои песни. Когда они шли, прохожие останавливались и вытягивали руки вперед в фашистском приветствии. Кто этого не делал, того нередко стаскивали с тротуара на мостовую и избивали.

Начался разгром политических и рабочих организаций. Ушли в подполье коммунисты. Распустили социал-демократическую партию и партию католического центра, разогнали все демократические юношеские организации. Сильно росла национал-социалистская партия и ее молодежные организации. Закрылись все левые, прогрессивные газеты и журналы. Я сам видел, как жгли на улицах и площадях книги неугодных нацистам авторов. На уроках истории в реальном училище учитель Бедов рассказывал нам об инквизиции, о сожжении книг в сред-

невековой Испании. Тогда мне и в голову не приходило, что я стану свидетелем картин, воскрешающих наиболее мрачные страницы истории.

Как-то утром, когда я уже был у себя в бюро в здании заводоуправления крупновского концерна, раздался звонок. Я поднял телефонную трубку и услышал взволнованный голос жены:

— У нас обыск...

Связь прервалась.

Надо идти. В бюро в это время находился один из наших практикантов — инженер Митько.

— Пойдемте со мной. У меня дома обыск. Вы идите по противоположной стороне улицы. Если все обойдется, то мы вместе вернемся на завод; если же меня задержат, то проследите, куда меня отведут. Запомните место и немедленно отправляйтесь в Берлин — в посольство. Сообщите, где я нахожусь.

Мы шли с Митько — он по одной, я по другой стороне улицы. Вот и дом, где я живу. Внешне нет никаких тревожных признаков: ни машин, ни людей не видно. Вставляю ключ в замочную скважину и открываю входную дверь. В вестибюле у двери стоит молодой человек в штатском.

— Здравствуйте! Вы живете здесь?

— Да, конечно.

— Пожалуйста.

Поднимаюсь к себе на второй этаж и открываю дверь квартиры. В комнате у меня пятеро молодых людей — все в штатском. Один из них сидит за столом и листает мои бумаги. Двое стоят у книжного шкафа и перебирают книги. Двое стоят у окна и разговаривают. Тот, что за столом, видимо, старший.

— Зачем вы пришли? — недовольным голосом спрашивает он.

— То есть как это зачем?

— Вы могли спокойно работать, — продолжает он.

— Как же я могу спокойно работать, если у меня на квартире производят обыск?

— Почему же это должно вас волновать? Мы посмотрим и уйдем.

Я еле сдерживаю себя, чтобы не вспылить.

— Когда в квартире производится обыск в отсутствие хозяина, то могут найти и то, чего у него не было.

— Что вы хотите этим сказать? — хмурясь, произносит он и поднимается из-за стола.

— Я, кажется, сказал совершенно ясно. Если обыск производится в отсутствие хозяина, то могут сказать, что у него нашли то, чего у него нет.

— Советую вам быть осторожнее в выражениях. Мы официальные представители официальной организации.

И он отвернул борт пиджака — там была уже знакомая мне нашивка: *Geheime Staatspolizei* — гестапо.

— Мы хотим знать, чем вы здесь занимаетесь.

— Я в Эссене живу не первый год, и это не моя, а ваша вина, если вы до сих пор не знаете этого.

— Не будем ссориться, а вот эту книгу я у вас заберу. Она в новой Германии запрещена. — И он взял со стола купленную мною год назад книгу Ремарка «*Der Weg zurück*»¹.

Гестаповцы вскоре ушли.

Жена принялась рассказывать, как все было:

¹ «Обратный путь». Она вышла у нас под названием «Возвращение».

— Я отказалась дать им ключи от шкафа и ящиков стола, но они засмеялись, вынули связку своих и открыли все, что им нужно было. Только я успела сказать тебе о том, что у нас обыск, как один из них нажал на рычаг и отобрал у меня трубку.

Но дело есть дело. Надо возвращаться на завод. На противоположной стороне улицы по тротуару ходил взад и вперед Митько. Он увидел меня и обрадовался. Мы пошли на завод.

Следующей ночью штурмовики произвели обыск у инженера Фрида. Искали пишущую машинку, которой у него никогда не было.

Официальные протесты Наркоминдела не помогают, бесчинства продолжаются. «Может, стоит поговорить с директором завода Геренсом?» — появилась у меня мысль.

Позвонил Геренсу:

— У меня есть вопросы, которые необходимо обсудить с вами.

— Буду рад вас видеть. Заходите.

Кабинет Геренса этажом выше. В большом кабинете он один. Поднимается из-за стола. Здравуемся.

— Я хочу довести до вашего сведения, что в Эссене создались такие условия, когда нам трудно пользоваться возможностями, предоставляемыми действующим между нами соглашением.

— А в чем дело? Разве мы чиним вам какие-либо помехи?

— В городе для нас созданы условия, которые мешают выполняемой нами работе. Вчера днем у меня на квартире был уже не первый обыск, ночью с обыском пришли к нашему практиканту Фриду.

Геренс нахмурился — разговор этот явно был ему неприятен.

— Видите ли, — сказал он, поднявшись с кресла и начав ходить по кабинету, — мы частная фирма и не вмешиваемся в дела правительства. У нас совершенно другая система, чем у вас. Нам порой даже трудно определить, где у вас кончаются функции правительственных учреждений и где начинается поле деятельности промышленных организаций. У нас это определено четко. Что же касается обысков и арестов, то они и у вас происходят. Вот недавно печать сообщила о том, что на Урале вами арестованы три инженера фирмы «Метро-Виккерс».

— Это что же, в ответ на арест английских инженеров производятся обыски у советских специалистов?

— Конечно, нет, это я привел как пример. Я просто не представляю, что мы можем сделать для вас. Единственно, чем я могу вам помочь, — это дать совет обратиться в иностранный отдел полицейского управления. Там вам как иностранцу окажут необходимое содействие.

С легким поклоном он протянул мне руку.

Визит ничего не дал.

Несколько дней спустя я получил из Москвы телеграмму, в которой сообщалось, что две недели назад по моему адресу отправлено письмо с шестью железнодорожными билетами для закончивших стажировку практикантов. Письмо с билетами я не получал, и это очень обеспокоило меня. Я пошел в почтовую контору, чтобы переговорить с ее начальником, которого я хорошо знал, так как получал в день не менее тридцати писем и мне не раз уже приходилось у него бывать.

— Мне отправлено из Москвы письмо. Я его давно жду, но его мне не доставили. Скажите, не отправляете ли вы мою корреспонденцию на просмотр в полицию?

Начальник конторы покраснел.

— Я лично ни одного вашего письма никуда не отсылал и никогда не задерживал. Можете мне поверить.

— Но, может быть, прежде чем поступить к вам, они поступают по другому адресу?

— Вот этого я не знаю.

Опять неудача. А что, если мне действительно сходить в полицейское управление? Но если уж идти, то во всяком случае идти надо не в иностранный отдел, а в гестапо, к хозяевам.

На следующий день я и отправился туда. Местное гестапо занимало помещение на втором этаже огромного здания полицей-президиума. В полицей-президиуме я бывал — получал визы для выезда в другие страны, а также в Саарскую область. Но в гестапо еще не был ни разу.

Вхожу в приемную начальника гестапо Воппеля. Говорю секретарю:

— Доложите, что с господином Воппелем хочет поговорить уполномоченный Советского Союза на заводе Круппа.

Секретарь исчез за дверью. Через минуту дверь открывается, и высокая плотная фигура Воппеля появляется на пороге.

— Прощу. Садитесь, — приглашает он меня.

— Надолго? — не утерпел и съехидничал я.

— Можете уйти, когда вам будет угодно, — ведь не я вас приглашал. Вы сами пришли... Я знаю, о чем вы будете говорить, — не давая мне произнести ни слова, продолжал Воппель. — Но должен вам заявить, вас беспокоили не мои люди. Мои были у вас только один раз. Все остальное — дело штурмовиков. Вообще в городе черт знает что творится. Я несу ответственность за порядок в городе, но при существующем положении это просто невысказано.

— Ну, а мои письма, господин Воппель, скажите откровенно, они у вас находятся?

— Разумеется. Эти идиоты на границе считают, что у меня никаких других дел, кроме как читать ваши письма, нет!

Он подошел к столу, открыл один из ящиков и, мурлыча под нос модный мотивчик, начал рыться с добродушно-рассеянным видом в бумагах.

Меня невольно передернуло. Я вспомнил недавний разговор с одним немцем...

В субботу после работы я обычно выезжал в Картхаузен — небольшое селение, где жила моя жена с больной дочкой. Мы снимали там комнату у старика Фромана. Фроман, владелец небольшого земельного участка, держал ресторанчик и сдавал несколько комнат в своем двухэтажном домике. На воскресные дни, особенно в летнее время, к нему съезжалось довольно много народу из городов индустриального Рура. Место было живописное, а цены за жилье и питание умеренные. Фроман боготворил Вильгельма II и не одобрял Гитлера. Когда мы оставались с глазу на глаз, он говорил: «Гитлер — ничтожество. Вильгельм — вот это настоящий человек!»

В то воскресенье я встал очень рано и пошел прогуляться в соседний лесок. Возвращаясь, я увидел на тропинке, ведущей к дому, незнакомого человека, видимо ожидавшего кого-то. Завидев меня, он направился мне навстречу. Когда мы поравнялись, он сказал тихонько: «Neil Moskau!»¹ — и, сжав кулак, слегка приподнял левую руку (правая рука у него висела плетью).

— Здравствуй, — ответил я.

— Не удивляйтесь, но я ждал вас, хоть мы и незнакомы. Я местный житель, недавно вышел из тюрьмы. Был членом ландтага. Меня

¹ Да здравствует Москва!

посадили буквально на следующий же день после прихода Гитлера к власти.— Говорил он с трудом, кашляя и задыхаясь.— Во время мировой войны я был ранен в голову. Мне сделали трепанацию черепа и наложили серебряную пластинку. В тюрьме меня жестоко били. Били не только меня, а всех арестованных. Вопли и стоны неслись со всех сторон, и их пытались заглушить музыкой — заводили патефон... После одной из экзекуций у меня разошлись на голове швы. Они не думали, что я выживу, и поэтому к рождеству выпустили меня из тюрьмы. Полумертвым сдали на руки родственникам. Но те меня выходили, я встал на ноги. Мне сказали, что каждую неделю сюда к нам приезжает человек из Москвы, и я решил рассказать вам все, что мне известно. О зверствах нацистов знают мало. Это садисты, им доставляет наслаждение причинять людям страдания. А что они делают с нашей молодежью! Они развращают ее, хотят превратить в животных. В одной из школ — я это знаю достоверно — учитель наци потребовал, чтобы ученики целого класса плюнули в лицо их товарищу за то, что он прежде дружил с еврейским мальчиком и пытался оправдать эту дружбу. Когда один из учеников не вынес моральной пытки и упал в обморок, учитель потребовал вытолкать его пинками из класса...

Бледное, без кровинки лицо и потухшие глаза, в которых застыло страдание, без слов говорили о муках, перенесенных этим человеком. На прощание он снова поднял сжатую в кулак руку и сказал:

— Neil Moskau!..

Воппель, кажется, продолжал рыться в ящике, потом, повернувшись ко мне, с улыбкой произнес:

— Вот оно. У меня скопилась уйма писем!

А я в эту минуту думал: «Сколько же замучил этот внешне столь добродушный и обходительный гестаповец таких, как тот мой случайный знакомец из Картхаузена?»

Воппель протянул мне толстый конверт с пятью сургучными печатями.

— Возьмите.

Я машинально протянул руку. В конверте было шесть железнодорожных билетов, которые я ждал.

— Ваши люди забрали у меня книгу.

— Знаю. Она запрещена и изъята из всех библиотек Германии, а также у всех частных лиц.

— Но я иностранец. Я заплатил за нее четыре марки семьдесят два пфеннига. Это моя собственность.

Воппель опешил. Снова подошел к столу. Взял книгу и, протягивая ее мне, произнес:

— Возьмите, но никому не передавайте. Я уважаю личную собственность. А что касается обысков и арестов, то я принимаю меры, но в городе я не хозяин положения, и вы это сейчас сами увидите — я позвоню гаулейтеру.

Он взял телефонную трубку и набрал номер.

— Говорит Воппель. У меня находится уполномоченный Советского Союза на заводе Круппа. Он справедливо возмущается отношением штурмовиков к его людям и к нему лично.

Я не слышал, что говорил гаулейтер, но по всему было видно, что он взял штурмовиков под защиту.

Воппель явно выходил из себя. Положив наконец трубку, он сказал:

— Вот, вы могли убедиться: я принимаю меры, но, как видите, почти безуспешно. Я бы вам посоветовал обратиться к фирме Круппа,

она финансирует все это движение. Достаточно им позвонить, и все будет в порядке.

Я не верил своим ушам: официальный представитель власти говорит о том, кто финансирует нацистов!

Я переехал от хозяина-доносчика на Егерштрассе, ближе к заводу. Новый хозяин — представитель одной из фирм, торгующих текстильными товарами, — сдал мне две комнаты. Питались мы этажом выше, у фрау Рауэ. Муж фрау Рауэ — он был старше ее лет на двадцать, кайзеровский офицер в отставке — получал пенсию, но ее не хватало, и жене пришлось сдавать комнату и готовить завтраки, обеды и ужины для советских практикантов. После ужина мы обычно задерживались у фрау Рауэ — муж ее приносил газеты, читал их, и мы обсуждали новости.

Шел процесс Георгия Димитрова, его мужественные обличительные речи вызывали восхищение не только у нас, советских людей, но и у многих немцев. Читая как-то в газете одно из смелых выступлений Димитрова, Рауэ остановился и, стукнув кулаком по столу, воскликнул: — Вот это человек!

С февраля по апрель 1934 года газеты всего мира были заполнены сообщениями о героической борьбе с суровой природой Арктики горстки советских людей — знаменитых челюскинцев, высадившихся после гибели «Челюскина» на льдину Чукотского моря. В возможность спасения ста четырех человек на Западе никто не верил. В одной из датских газет появился даже преждевременный некролог начальника экспедиции Отто Юльевича Шмидта. Газета писала, что «Отто Шмидт встретил врага, которого никто еще не мог победить. Он умер как герой, этот человек, чье имя будет жить среди завоевателей Северного Ледовитого океана».

«Фёлькишер беобахтер», официоз национал-социалистской партии, злорадствуя, убеждала, что со спасением людей ничего не выйдет. Самолеты погибнут, их ждет обледенение, «каждая посадка — это риск и зависит от счастливой случайности».

И вот одна за другой телеграммы стали приносить радостные вести: 5 марта летчик Анатолий Ляпидевский вывез всех женщин и детей, а 13 апреля самолеты Молокова, Водопьянова и Каманина забрали последних челюскинцев, вывезли даже всех собак. Одна из эссенских газет писала, что таких людей, как Молоков и Каманин, любая страна мира считала бы за честь иметь своими гражданами.

Почти два месяца героика челюскинцев не сходила со страниц иностранной печати. А нам, представителям Советского Союза, все завидовали.

В июле 1934 года меня пригласил директор крупновского концерна Геренс.

— Мы хотели бы встретиться с теми лицами, которые у вас могут решить вопрос о судьбе нашего договора. Мы готовы встретиться в Эссене, Берлине или Москве. Где для вас будет удобнее.

«Будут ставить вопрос о разрыве соглашения», — подумал я. Оно было заключено на десять лет — прошло примерно пять.

Из Берлина я послал Тевосяну телеграмму: «Геренс предложил организовать встречу для обсуждения вопросов о дальнейшей судьбе соглашения. По моему мнению, они будут ставить вопрос о разрыве соглашения».

Через несколько дней я получил ответ: «Согласны встретиться в Москве. Договоритесь о времени встречи. Приезжайте в Москву за день до прибытия немцев».

И вот я в Москве. Прямо с вокзала — к Тевосяну, домой заехал только затем, чтобы оставить чемодан.

У Тевосяна в кабинете уже находился профессор Григорович — наш бывший учитель. Тевосян и я не только слушали у него курс, но и делали под его руководством дипломные проекты.

— Что произошло? Рассказывай. Вечером нас обещал вызвать Серго.

Я подробно стал излагать, как изменилась в последнее время на заводе обстановка. Об арестах и обысках у практикантов, о прекращении допуска наших специалистов в некоторые цехи, об увеличении количества военных японских заказов и в связи с этим о появлении на заводе значительного количества японских приемщиков, об увеличении производства сталей военного назначения.

— Нет никаких сомнений, что представители Круппа поставят вопрос об аннулировании соглашения.

— Не думаю, чтобы это было так, — сказал Тевосян.

Григорович поддержал его.

— Они заинтересованы в договоре больше, чем мы, — стал развивать свои доводы Тевосян. — Все основные сведения по производству качественной стали мы уже получили. На заводе практику прошли более двухсот наших специалистов, а платить по договору нам предстоит еще много. Они не дураки, чтобы отказываться от денег. Я думаю, что они просто хотят что-то у нас выторговать. Во всяком случае завтра все станет ясно.

Во втором часу ночи нас с Тевосяном вызвали к Серго. У него, видимо, только что закончилось совещание. Начальник секретариата Семочкин пригласил нас к нему в кабинет. Серго вышел навстречу. У него был очень усталый вид. Он поздоровался и, положив руку мне на плечо, спросил:

— Ну что, выгоняют?

— Да, выходит, что так, товарищ Серго.

— А вы не уходите. Нам еще нельзя уходить. Учиться надо. Многому еще надо учиться... Узнайте, чего они хотят. Если денег — можно денег добавить. Заказы новые хотят — дадим новые заказы. А уходить нам рано... Так что поговорите с ними, осторожно выясните, чего они хотят. Вот только если вас Гитлер не желает больше терпеть — ну, тогда я уже ничего не смогу поделать.

Мы ушли от Орджоникидзе, получив исчерпывающие указания.

На следующее утро в Москву прибыли два представителя фирмы «Крупп»: заведующий русским отделом доктор Эмке и главный юрист-консульт завода доктор Шу.

С советской стороны в переговорах участвовали трое — Тевосян, Константин Петрович Григорович и я.

Доктор Шу — мастер вести переговоры — сразу же, как говорится, взял быка за рога.

— Ребенок, родившийся пять лет назад, сегодня должен умереть. Мы прибыли в Москву с поручением договориться об аннулировании нашего соглашения.

После этой тирады Тевосян, несколько помедлив, спросил:

— А почему же все-таки вы пришли к необходимости порвать соглашение?

— Видите ли,— пояснил доктор Шу,— подписывая договор, мы рассчитывали на солидные заказы, но этого не получилось.

— Вопрос о заказах можно обсудить. Мы могли бы предложить вам новые, солидные заказы.

Шу промолчал.

«Неужели они хотят сорвать с нас за техническую помощь еще что-то? — подумал я.— Мы и так платим много».

— Договор был заключен пять лет назад, как вы знаете, в долларах,— снова заговорил Шу.— Тогда курс доллара был в два раза выше. Сейчас доллар упал.

— Значит, вы хотите получить в связи с этим компенсацию? У вас есть какие-то конкретные предложения?

— Предложений у меня нет,— безучастно ответил Шу.

— Тогда, быть может, вы подумаете, и завтра этот вопрос мы можем обсудить, если, конечно, вы готовы будете к этому.

— Ну что же, пожалуй, переговоры можно на этом прервать и встретиться завтра, если вы этого желаете,— сказал Шу.

Мы попрощались.

— Все-таки, по-видимому, у них нет твердого намерения аннулировать соглашение. Они просто пытаются оказать на нас давление,— сказал Тевосян, когда немцы ушли.— Завтра они, вероятно, выдвинут какие-то предложения. Придется пойти на некоторую компенсацию в связи с падением курса доллара. Хотя для этого и нет оснований. Валюта всех стран мира упала. Относительно новых заказов договоров будет легче. Нам сейчас так много всего надо. Но я не представляю, с кем можно было бы вести переговоры на эту тему. Доктор Эмке в состоянии обсуждать такие вопросы? — спросил меня Тевосян.

— Думаю, что нет. Вопросами производства он не занимается.

— Ну, посмотрим, с чем они придут завтра,— повторил Тевосян.

Мы разошлись.

Наутро новая встреча. Только сели за стол, Шу снова заявил о необходимости расторгнуть соглашение.

— Нас вынуждают к этому особые обстоятельства,— сказал он.— Давайте разойдемся по-хорошему.

— Но какие формальные причины вы выдвигаете для расторжения нашего договора? — спросил Тевосян.

— Фактические я вам изложил, а формальные, если дело будет передано в арбитраж, мы найдем. И для заключения соглашения, и для его расторжения всегда можно найти основания,— добавил Шу.

Да, видимо, сохранить соглашение не удастся. Мы холодно распрощались. Доктор Шу и доктор Эмке на следующий день выехали в Германию. Через день выехал и я — необходимо было ликвидировать все наши дела в Эссене.

В Берлине меня задержали в торгпредстве — поручили временно исполнять обязанности уполномоченного Наркомтяжпрома по Германии.

В августе, завершив дела в Эссене, я окончательно перебрался в Берлин и поселился в доме на Гайсбергштрассе, принадлежавшем советскому полпредству.

Условия жизни и работы в Германии все усложнялись: власти чинили всевозможные препятствия для нашей работы, а штурмовики то и дело провоцировали различные конфликты. Объем наших заказов сократился, хотя многие фирмы очень хотели сохранить установившиеся торговые связи. Переговоры о заключении нового торгового соглаше-

ния затягивались. Они происходили в Москве, и мы, находясь в Берлине, не знали всех перипетий.

Огромный аппарат торгового представительства фактически бездействовал. У приемщиков не было работы. Старых заказов оставалось мало, новые не поступали. Многие сотрудники стали собираться домой. Разговоры о доме, о Москве и ее жизни не прекращались.

В это время на киноэкраны Советского Союза вышел «Чапаев». Восторженные отзывы о фильме мы не только читали в газетах, но и слышали от приезжавших из Москвы. Помимо того, что мы были слышаны о фильме, нам очень хотелось увидеть его еще и потому, что знаменитая Анка-пулеметчица — Мария Попова — в то время работала у нас в торгпредстве, и мы все ее хорошо знали. Узнав, что фильм через Берлин направляется в Париж для показа сотрудникам посольства, мы упростили задержать ленту до утра и всю ночь крутили ее, с волнением вновь переживая героическое время своей юности.

В конце ноября в Берлин прибыла группа директоров советских заводов, возвращавшаяся из Англии с выставки промышленного оборудования. Среди них был Борис Львович Ванников — тогдашний директор Тульского оружейного завода. Он попросил меня помочь ему познакомиться с некоторыми немецкими предприятиями.

Закончив деловой разговор, мы прошли в столовую торгпредства поесть, так как время было обеденное. Хотя жили мы с женой в Германии долго, но все никак не могли привыкнуть к немецкой кухне. В особенности к жидким бульончикам из кубиков «магги» и отсутствию хлеба. Обычно мы ели в столовой торгпредства, где была русская кухня.

Мы заняли с Ванниковым столик и заказали обед. К нам подошел Левон Шаумян — сын расстрелянного бакинского комиссара Степана Шаумяна, — он в эти дни также находился в командировке в Берлине.

— Здравствуйте, земляки, — приветствовал нас Шаумян. Он уже пообедал и подсел к нам.

— Мы-то с тобой земляки, а он-то какой же земляк? — заметил Ванников, кивая в мою сторону.

— Он тоже наш, бакинский, — сказал Шаумян.

— Разве ты бакинец? — спросил меня Ванников.

— Да, конечно.

— А когда выехал из Баку?

— В двадцать первом.

— В девятнадцатом был в партии?

— Был.

— А в какой организации состоял?

— В ячейке союза металлистов.

Ванников положил ложку, посмотрел на меня, прищурился глазами, и вдруг резко бросил:

— Ну, знаешь, я сам в этой ячейке состоял.

— А я секретарем ячейки был и тоже не знаю такого члена организации.

Вот так история! Встретились двое из одной и той же подпольной организации, в которой было тогда всего четырнадцать членов, и не знают друг друга! Что же это такое?

— Ну, а кто тогда был секретарем райкома? — вдруг спросил Ванников.

— Ваня, — ответил я и в свою очередь спросил: — А как его фамилия?

— Тевосян. Теперь об этом можно сказать.

Тут только я заметил, как смеялся Шаумян,— он-то нас обоих хорошо знал по Баку. Все еще смеясь, он спросил:

— Ну, разобрались теперь?

Я стал вспоминать. Действительно, в нашей ячейке был один похожий на Ванникова. В памяти постепенно вставал энергичный молодой мастерской с доков — Ванников в то время работал на ремонте судов. В нашей ячейке он состоял недолго. И вот встреча в Берлине. Через пятнадцать лет.

Обед прошел в воспоминаниях. Он, оказывается, остановился в том же самом доме на Гайсбергштрассе, где жил и я. Вечер мы провели вместе.

Спать я лег поздно, и вдруг среди ночи меня разбудил сильный стук в дверь.

— *Weg da?*¹ — спросил я спросонья.

— Открой, это я, Ванников.

Он был сильно возбужден.

— Я только что говорил с Москвой. Звонил жене. Только успела она мне сказать, что в Ленинграде убили хозяина, как связь с Москвой прервали. Вторично я соединиться не смог.

— Убили! Кого убили?

— Если бы она сказала: убили ленинградского хозяина, то было бы ясно — Кирова. Но она сказала — в Ленинграде убили хозяина!

Сообщение жены Ванникова ошеломило нас. Мы долго судили да рядили, что же такое произошло.

— Пойдем разбудим Арутюнова,— предложил Ванников.

Арутюнов — один из директоров, прибывших, так же как и Ванников, в Берлин из Англии,— тоже был ошарашен сообщением.

Было уже около пяти часов утра. Примерно через час выйдут газеты. Можно будет хоть узнать подробно.

В начале седьмого мы вышли из дому. Было еще темно. Прошли втроем в сторону зоопарка. Наконец появились первые газетчики. Они пронзительно кричат.

Хватаем газету. На первой странице крупными буквами напечатано: в Ленинграде убит секретарь областного комитета партии Киров.

И вот с тех пор прошло несколько месяцев, и я возвращаюсь домой, в Москву, совсем. После всех предотъездных тревожных проверок паспортов и таможенного контроля на границах, когда наконец все осталось позади и поезд спокойно двигался по белорусской земле, можно отдохнуть. Теперь уже никакого контроля и проверок. Да и поздно уже, пора укладываться спать, но нахлынувшие воспоминания отгоняют сон.

Вспомнилось большое собрание в Колонном зале Дома Союзов, проходившее лет восемь назад под знаком борьбы двух миров. В нем участвовало много ученых. Большое впечатление произвело на меня тогда выступление академика Абрама Федоровича Иоффе. Он говорил о городах будущего, о роли энергетики в развитии цивилизации. Какие радужные перспективы открывались перед нашей страной! Было много и других выступлений, посвященных использованию достижений науки и техники у нас и на Западе. Но тогда западный мир мне трудно было представить, он был для меня слишком абстрактным. Теперь я вдосталь на него посмотрелся, познакомился с Европой, как говорится, воочию.

¹ Кто там?

Как же велико различие, размышлял я, между нашим и тем мирами! Мы и они — два социальных полюса.

Они достигли высокого уровня производства, умеют создавать великолепные машины, инструменты, изготавливают прекрасные вещи, у них всего много, и многое они могут производить добротно, дешево и хорошо. У них рационально организовано производство — они создали замечательные заводы, и над проблемами науки и техники в хорошо организованных лабораториях и институтах у них работают специалисты высокой квалификации. Они умеют решать задачи, связанные с производством, но не в состоянии решить проблему распределения того, что производят.

Решат ли они ее?

Мне казалось, что они не смогут сделать этого. Их строй неминуемо придет к катастрофе. Владыки капиталистического мира начинают понимать это и пытаются найти путь к спасению, ищут путей к сокращению производства, уничтожают то, что добыто, сделано, выращено. Гитлер и его движение, вскормленное ими, развили бурную деятельность, но зовут они не вперед. «Мы начинаем историю там, где она остановилась шестьсот лет назад», — говорил на митингах Гитлер, об этом он писал и в «Майн кампф».

Вчера, когда мы стояли на какой-то небольшой станции перед Минском, с горечью прочитал я на дверях лавчонки написанное мелом объявление: «Карасину нет и не известна»... У нас свои трудности, много трудностей, но совершенно другого рода. Нам не хватает многого, почти всего. Двадцать лет назад в нашей семье никто не имел двух смея белья. Так жило большинство в нашей стране. Теперь мы хотим все это иметь. Этого хотят все. Мы стремимся создать в стране такие условия, чтобы все, а не только избранные могли хорошо питаться, одеваться, жить в хороших домах. Нам кажется диким — как это можно сдерживать производство!

На Западе изобилие продуктов — это предвестник кризиса сбыта, падения акций на бирже, катастрофы и разорения для капиталистов. «Найдут ли они средство избавиться от кризисов перепроизводства?» — думал я.

Через двадцать лет, в 1955 году, я встретился с директором американской фирмы «Вестингауз» Ноксом. В составе советской делегации я прибыл тогда в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Нокс пригласил меня к себе в контору на Уолл-стрит. Когда я поднялся на бесшумном лифте и вошел в просторный кабинет Нокса, он, здороваясь со мной, произнес по-русски:

— Очень рад видеть у себя русского инженера. Нам надо бросить валять дурака и развивать торговые отношения. Нам есть чему учиться друг у друга.

— Чему же, вы считаете, необходимо учиться у вас?

Нокс внимательно посмотрел на меня и сказал:

— Устраивать свой быт. Мы создали много полезного для облегчения быта, у нас появилось много приборов и приспособлений, облегчающих труд.

— А чему же вы хотите научиться у нас?

— Плановому ведению хозяйства, — не задумываясь, ответил Нокс. — Мы большие не допустим того, что было в начале тридцатых годов. Кризиса больше не будет! — И добавил, усмехнувшись: — Не рассчитывайте больше в ваших планах на кризис.

— Как же вы можете планово развивать свою экономику при частной форме собственности на орудия и средства производства? Вы в

лучшем случае можете планировать лишь в рамках своей фирмы, а такое планирование не спасет вас от кризисов.

— Договоримся. Найдем возможность договориться. Повторяю, кризисов мы больше не допустим! Не считайте нас за глупцов. Мы сделали выводы из уроков кризиса двадцать девятого года.

Так говорят они теперь...

Поезд опять стоит дольше положенного — вышел из графика. Небольшая станция. Холодно. Ветрено. Деревья голые. В лужах — прошлогодняя рыжая трава. Сумрачный пейзаж дополняет толпа людей, одетых в одного покроя одежду удивительно мрачных цветов и рисунка. Вспомнилась шутка: «И каких только цветов костюмного материала у нас нет — черный, серый, стальной, цвета угля, кокса, сажи!» Когда же все-таки мы сможем по-настоящему заняться производством того, что необходимо непосредственно для потребления, того, что украсит человеку жизнь?! Когда? Доживу ли я до того времени, когда мы будем экспортировать сталь, станки, машины, а ввозить, ну, допустим, галстуки?

С тех пор прошло тридцать лет. Мне часто приходится бывать за границей. Я жадно слежу за нашим растущим экспортом промышленной продукции и испытываю огромное удовольствие, встречая изделия наших заводов за рубежами нашей родины. У меня радостно бьется сердце, когда я вижу на дорогах Австрии наши автомашины «Москвич» и сидящих за их рулем деловых австрийцев. У меня загорелись глаза, когда, находясь на станкостроительном заводе в Индии, я увидел советские станки, изготовленные в Одессе.

Да, сбылось то, о чем я мечтал. Наша промышленная продукция вышла на мировой рынок, а импортные галстуки и сорочки можно приобрести в Мосторге.

...Наконец паровоз дал протяжный гудок — поезд трогается, и я вскакиваю на ходу на подножку вагона.

Вот и Можайск. Скоро Москва.

В Москве и Челябинске

...Ну вот наконец Москва.

Поезд медленно подходит к перрону Белорусского вокзала. Меня никто не встречает.

Дом, в котором я получил квартиру, недалеко от вокзала. Сдаю вещи в камеру хранения и отправляюсь домой пешком. Поднимаюсь на четвертый этаж. К двери приколота записка: «Ключи у соседей, звони в дверь рядом». Вместе с ключом мне дают короткое разъяснение: жена второй месяц лежит в больнице, дочь под Москвой у тетки.

Открыл опустевшую квартиру. Позвонил в Главспецсталь. В управлении делами мне сказали:

— А мы за вами машину послали. Только не сообразили, что вы шофера не знаете, а шофер не знает вас. Теперь он будет, вероятно, до ночи стоять. Он очень аккуратный и исполнительный человек. Что же нам делать, и послать-то больше некого.

— Я сам схожу, от меня это близко.

Записав номер машины, я снова отправился на вокзал. Разыскал шофера, забрал вещи, отвез их домой и на этой же машине направился к Тевосяну.

У Тевосяна был заведен порядок принимать приезжавших в Москву в тот же день. Он никогда не задерживал людей и не любил, когда его ждали.

Когда я вошел к нему, он был один в кабинете. Мы поздоровались, и он принялся рассказывать последние новости.

Он все еще находился под впечатлением решений XVII съезда партии.

— Большие задачи поставлены перед металлургами — нам нужно дать к концу второй пятилетки семнадцать миллионов тонн стали. Горячие головы называли и более высокие цифры, но Орджоникидзе сказал, что надо реалистически подходить к плану. По темпу роста производство высококачественной стали значительно превышает общее производство стали. Нам передают ряд заводов, которые производят рядовой металл. Их необходимо перестроить на производство высококачественного. Перед Главспецсталью ставятся большие задачи. Необходимо освоить производство многих новых типов стали. Себестоимость стали у нас очень высокая. Мы все время живем на дотации. На этот год мы получили семь миллионов рублей. Серго предложил отказаться от трех миллионов рублей, он просит ограничиться четырьмя. Сейчас собираюсь выехать на заводы вместе с группой специалистов. Возьму с собой хорошего плановика и финансиста. Наши заводские работники вопросами себестоимости совершенно не занимаются. Никто не знает, во что им обходятся многие изделия. Не знают цены на сырье, не знают стоимости проведения отдельных технологических операций. Просто диву даешься, до чего большинство заводских работников невежественно в вопросах экономики.

— А ты помнишь Мюллера, начальника цеха крупновского завода? — заметил я. — Он превосходно знал не только технику сталеварения, но и что почем. Да, у нас, к сожалению, этим похвастаться некому.

Вспомнил я и Швайгера — начальника мартеновского цеха заводов Рёхлинга в Фёльклингене.

Как-то после длительного отсутствия я вновь появился у него в цехе и, здороваясь, спросил:

— Ну, от чего теперь у вас болит голова, что теперь вас занимает? — (Швайгер имел привычку употреблять это выражение.)

— Огнеупоры, — ответил Швайгер.

Меня это удивило — на заводе было хорошо налаженное производство огнеупорных материалов, и качество их было высоким.

— Почему же именно огнеупоры?

— Дело в том, — озабоченно стал объяснять Швайгер, — что на соседнем заводе расход огнеупоров на тонну стали составляет четырнадцать килограммов, а у меня — восемнадцать. Это очень серьезно. Мой сосед может снизить цену на сталь и тогда отобьет наших покупателей, а если он этого не сделает, то просто будет зарабатывать больше, и тогда я не смогу спокойно спать. Вот я и решил провести у себя фундаментальные исследования и определить, каким путем добиться большей стойкости огнеупоров и как экономнее использовать их.

И действительно, Швайгер провел множество опытов с огнеупорами и добился своего — ведь к этому его понуждали требования экономики...

А Тевосян тем временем продолжал рассказывать о том, как пренебрежительно к этим требованиям относятся наши производственники.

— Недавно я спросил директора одного из уральских заводов, во что обходится ему кубометр воды, так он даже обиделся: такими, мол, пустяками директору вовсе не обязательно заниматься, вода для нас никогда не была проблемой. Они забывают, что рубли складываются из копеек. Хочь сам во всем разобраться. Может быть, удастся вовсе отка-

заться от дотации. Вот обрадовался бы Серго, если б удалось снизить стоимость производства не на три, а на все семь миллионов! — Глаза у него заискрились, он улыбнулся и, помолчав немного, заговорил уже другим, товарищески-деловым тоном: — Ну, а теперь давай потолкуем о твоей работе. Есть два варианта. Первый — Запорожье, заместителем главного инженера завода. Главный там Кащенко, ты с ним знаком. Он хорошо знает металлургическое производство. Там есть и чему поучиться, и поработать с пользой. Второй — Челябинск. Там главный инженер — немецкий специалист Вальтер. Ты его тоже знаешь. Вальтер собирается возвращаться в Германию, и завод останется без главного инженера. Если хочешь, поезжай в Челябинск. Конечно, лучше всего бы остаться тебе в главке, но я боюсь начинать снова этот разговор.

Еще в июле прошлого года, когда я приезжал в Москву, мы много говорили на этот счет с Тевсяном. Он настойчиво предлагал мне работать в главке. Мне же хотелось поработать на заводе, и я отказался от его предложения.

— Нет, я хочу поехать на завод, — повторил я и сейчас.

— Ну что ж, тогда я буду оформлять твое назначение в Челябинск.

И мы принялись обсуждать, что мне предстоит делать в Челябинске.

— Завод за эти годы вырос, построен новый цех с крупными печами, уже производятся многие сплавы, но нам надо отработать технологические процессы, — рассказывал Тевсян. — Мы плохо используем хромистую руду, огромное количество хрома теряется в шлаках. До сих пор еще не умеем делать некоторые сплавы, так необходимые для изготовления ответственных марок стали. Всем этим придется заняться. Работать там нелегко, хотя директор завода Власов — человек энергичный и неплохой организатор, но один он не в состоянии устранить все трудности. На Урале ведь очень тяжело с энергией — заводы растут быстрее, чем энергетическая база, и поэтому все время сидят на голодном пайке. Ты когда можешь выехать на завод?

— Засиживаться в Москве не собираюсь. Правда, у меня дома не все благополучно — жена в больнице, и я еще не знаю, каково ее состояние. Во всяком случае задерживаться больше недели не намерен.

Неделя прошла в бесконечных хлопотах. В первый же день разыскал жену. Она находилась в клинике профессора Плетнева — крупнейшего специалиста по болезням сердца. Когда я вошел в палату, мне показалось, что в кровати лежит маленькая девочка — так неузнаваемо изменилась жена. Для ее лечения был применен какой-то новый диетический метод, и она очень исхудала. Мне предложили ее на два месяца направить в Сочи. Одна она ехать не могла, и пришлось отправить ее в сопровождении медицинской сестры.

На следующий день разыскал дочь, она находилась у сестры жены. Ее муж, член партии с 1905 года, был председателем Госарбитража.

Все остальные дни вплоть до отъезда провел в управлениях и отделах Главспецстали, знакомясь с планами, программами, отчетами Челябинского ферросплавного завода.

Мне сказали, что на завод только что выехал шведский инженер Стиг. С ним заключен договор на год, он поможет заводу наладить производство малоуглеродистых марок феррохрома. Позже выяснилось, что Стиг по образованию химик, никогда на ферросплавных заводах не работал и технологии производства не знал. Человек он был неплохой, старался никому не мешать. Но все его советы были элементарны. Когда в производстве создавалось какое-то затруднение и необходимо было принимать решение или дать совет, он обычно отшучивался: «Если не помогает кислота, надо действовать щелочью — так обычно учил нас профессор химии в Упсальском университете».

В то время иностранные специалисты получали двойные оклады: один оклад в валюте — в долларах, марках, кронах или фунтах, второй — в рублях. Оклады иностранных специалистов во много раз превышали те, что получали советские специалисты. Как правило, им предоставляли в дополнение к окладу бесплатную квартиру. Главный инженер Челябинского завода получал, например, тысячу триста рублей в месяц, а инспекционер Вальтер — тысячу пятьсот долларов плюс тысячу пятьсот рублей. Некоторые из иностранных специалистов действительно приносили большую пользу, и их высокие оклады окупались сторицей. От некоторых же пользы было как от козла молока.

А на Челябинском заводе помощь хороших инспекционеров ох как была нужна! Еще когда я в 1931 году приезжал в командировку на завод, я видел, что установленное фирмой «Сименс» оборудование работает плохо. Печи часто выходили из строя. Вначале мы брали грех на себя — считали, что наши плавильщики не освоили управления этими мощными плавильными агрегатами совершенно новой конструкции. По существу мы тогда учились на сверхсовременных печах производству сложных сплавов, а иностранные фирмы учились на поставках нам оборудования производству новой техники. Но расходы все несли мы и в то же время были подопытными кроликами. И трудности у нас были двойные: приходилось овладевать и незнакомой нам технологией производства, и новым, нигде и никем еще не опробованным оборудованием.

Находясь в Москве, я почти каждый день встречался с Тевосяном. Он делился со мной не только производственно-техническими соображениями, но и политическими.

Газеты изо дня в день напоминали о капиталистическом окружении, о необходимости усилить бдительность. Но наше непосредственное дело — подъем промышленности, и ее успехи захватывали нас и отодвигали в сторону все остальное.

В эти дни я находился в каком-то радостном опьянении. Знакомясь с планами производства качественных сталей и ферросплавов, просматривая отчеты предприятий, я видел, как стремительно поднимаемся мы в гору, и то, что еще пять лет назад казалось труднодостижимым, теперь уже разрешено или же на подходе к разрешению.

Путь, который качественная металлургия капиталистических стран проходила за десятилетия, наша качественная металлургия пробежала за каких-то четыре-пять лет. Успехи металлургической промышленности позволили Серго Орджоникидзе заявить: «Нет такого металла, нет такого профиля, который мы не могли бы прокатать, нет такой марки металла, которую бы мы не смогли плавить».

Ошеломляющий успех первой пятилетки вселил в людей глубокую уверенность в возможность быстрого решения всех основных задач.

На совещаниях в Госплане обсуждали проблемы промышленных комплексов, устанавливавших связи между угольными месторождениями Кузнецкого бассейна и железорудными месторождениями горы Магнитной. Все это для меня было ново и захватывало грандиозностью масштаба.

А с чем, с каким наследством начинали мы нашу первую пятилетку?

Пять различных общественных укладов — от феодального до росков социалистического. Промышленность не бог весть какая — только в европейской части страны. Весь Восток, вся колоссальная азиатская часть страны не производили почти ничего. В Сибирь простые стулья.

оконное стекло, тарелки и чашки везли из Ленинграда, Москвы, Харькова. Везли потому, что там не было ничего своего. О создании промышленности на Востоке с его еще не тронутыми богатствами также много говорилось на совещаниях в Госплане, в которых я принимал участие. Развертывались ошеломляющие проекты строительства мощных гидроэлектростанций, крупных металлургических заводов, химических предприятий и прокладки новых железнодорожных путей. В то время мы еще не представляли себе всех трудностей, с которыми встретимся, когда начнем промышленное освоение Востока. Мы не представляли, с какими новыми проблемами — большими и малыми — мы столкнемся. Мы работали над проектами новых заводов, изучали современные технологические процессы, но мы часто забывали о том, что нам трудно будет достать самые простые рукавицы или войлочные шляпы, синие стекла для сталеваров или чернила для приборов с самописцами.

Мы не думали о том, где достанем посуду для столовых и оконное стекло для строящихся домов. Каждодневно перед нами возникали трудности, которых не было при строительстве заводов в Европе — в обжитых местах, где были развиты все производства, необходимые как в повседневной деятельности заводов, так и в быту людей.

И при этом мы реально не представляли — да у нас эти вопросы просто и не возникали, — а как в столь короткий срок стремительно поднять самих людей, десятки тысяч людей до высот современной техники? Ведь многие из них, приходя на заводы, не имели ни малейшего представления о современной технике. В то время как на заводах Европы этот процесс приспособления людей к новой технике происходил постепенно на протяжении длительного времени, у нас он совершался скачкообразно.

Мы должны были в одно и то же время и учиться и учить.

В 1931 году, когда я читал в Институте стали курс «Качественные стали», мне пришлось заниматься с группой «парттысячников». Тысячи человек, партийцев с заводов, из партийных и советских организаций, были направлены в высшие учебные заведения. Профессора и преподаватели по возрасту не отличались от студентов, а порой профессора были даже моложе студентов.

Так мы начинали первую пятилетку.

Задачи второй пятилетки были еще сложнее, и их труднее было решать. Еще труднее было координировать планомерное развитие.

Тевосян говорил мне, что в развитии металлургии обнаружилось много узких мест. Отстает развитие рудной базы, не хватает огнеупорных материалов, коксующихся углей. Желание изготовлять больше и быстрее выполнять планы приводит к противоречию с укоренившейся практикой небольших заводов, производивших простые стали. На уральских доменных печах руду и древесный уголь подавали вручную. Полвозили или на тачках, или на лошадях, кирпич на всех строительствах рабочие носили буквально на собственном горбу, а котлованы под фундаменты рыли, пользуясь киркой и лопатой. Так строили мы тогда новые заводы.

Много лет спустя, находясь в Индии на металлургическом заводе Тата, я встретил старого американского металлурга-доменщика, приглашенного сюда для консультации: на заводе реконструировались доменные печи. Узнав, что я из Советского Союза, он страшно обрадовался. Взяв меня за руки и не отпуская от себя, принялся расспрашивать о Кузнецком заводе.

— Ну, как работают там доменные печи? Ведь это я их строил в тысяча девятьсот тридцать втором году. А может, их уже и нет? Так хочется хоть одним глазком взглянуть, что там у вас сейчас делается. Вы далеко ушли за эти годы. Поверьте мне, в мире нет сейчас лучших

доменных печей, чем ваши. Это вам говорит человек, знающий доменное дело...

— Чем же они хороши? — спросил я.

— Такой автоматизации и насыщенности приборами управления, как на ваших последних доменных печах, нет нигде.

Этот разговор происходил в начале 1960 года. А двадцать пять лет назад на многих доменных печах Советского Союза основным средством механизации была лошадка, подвозящая к печам уголь и руду, и средством контроля был глаз мастера. Я вспоминаю, с каким восхищением мы наблюдали тогда за работой скипового подъемника, загружающего железную руду и кокс в доменную печь крупновского завода в Борбеке!

В 1959 году, когда я был в США, один молодой журналист спросил меня:

— Скажите, что вас больше всего поразило в США?

Я ответил ему то, что в действительности чувствовал:

— Меня больше всего поразило то, что вы думаете, что нас можно чем-то поразить.

Нет. Времена, когда мы поражались, приезжая за границу, давно прошли. Когда же мы видим в других странах действительно хорошие вещи, то это вызывает у нас не чувство удивления, а раздражение на самих себя: ведь вот могли бы делать не только не хуже, а даже лучше, знаем, как это можно сделать, а пока не делаем!

А как действительно далеко ушла наша страна в доменном деле! Используя самые последние достижения науки, мы создали приборы и сумели заглянуть туда, куда не мог и никогда не сможет проникнуть глаз человека, — внутрь работающей доменной печи: это позволяет нам наблюдать за тем, как движутся в печи руда, кокс, газы, и автоматически управлять процессом выплавки чугуна. Теперь мы помогаем строить доменные печи другим странам. Тогда мы об этом даже не могли мечтать.

Новые горизонты открылись позже, когда мы поднялись выше. Но этот подъем был нелегким, мы спотыкались и падали, набивали синяки и шишки. Нас сопровождали не только успехи, но и неудачи. Иногда они вели к большим несчастьям и неприятностям.

Как-то мне рассказали об аварии на заводе «Электросталь». Шел ремонт электропечи, руководил им молодой инженер, недавно окончивший Горную академию. Он знал, что по правилам техники безопасности необходимо заземлить корпус печи, с тем чтобы избежать опасности удара током. На медные шины токоподводящей системы он положил железный ломик и соединил его проводом с землей.

Ремонт закончили, а инженер забыл убрать положенный им железный лом. Включили печь, и произошло короткое замыкание огромной силы. Многие фабрики и заводы этого района были отключены. Инженер был так напуган, что решил скрыть улики и зарыл ломик со следами медных полос на нем во дворе завода. Инженер был арестован. Он долго не хотел объяснить действительных причин аварии, а когда рассказал, как было на самом деле, его освободили. Это было еще до того времени, когда отдельные оплошности и ошибки стали рассматриваться как сознательное вредительство.

Наши неудачи нам порой трудно было объяснить. Значительно проще было предположить, что все они — результат деятельности враждебных сил. А эти силы все же существовали и действовали. Мне самому не раз приходилось сталкиваться с людьми, неприязненно относящимися к советским порядкам и мерам, принимаемым партией и Советским государством. Но я считал, что с окончанием гражданской войны

активная борьба закончилась, а преимущества новой социальной системы настолько очевидны, что только слепые могут не замечать этого. И необходимо просто какое-то время, чтобы такие люди могли приспособиться к новым жизненным условиям, сложившимся после революции. Так считали почти все люди моего поколения и, исходя из этого, строили свои отношения.

Правда, действительность порою напоминала, что нам приходится работать в обстоятельствах далеко не простых.

В 1929 году, когда я был еще студентом, профессор Чижевский предложил мне место лаборанта в своей лаборатории в московском отделении Института металлов. Директором отделения в то время был профессор Чарновский. Чижевский дал мне к нему записку с просьбой зачислить меня лаборантом.

В то время студенты одевались кто во что горазд. Я совершенно случайно оказался обладателем дореволюционной студенческой форменной одежды. Когда я в своем одеянии пришел через несколько дней к Чарновскому и подал записку Чижевского, то он, посмотрев на меня оценивающим взглядом, сказал:

— Где вы пропадали? Нам надо спешить укомплектовать отделение своими людьми. Иначе какой-нибудь райком направит к нам «товарищей».

Моя студенческая тужурка и записка профессора послужили для Чарновского свидетельством того, что я не имею отношения к большевикам. Во всяком случае в этом заключался прямой смысл его слов о «своих людях».

Мы все были увлечены успехами индустриализации, размахом строительства, уверены в своей силе, в правоте своей исторической миссии и, откровенно говоря, реально не представляли, что нас может ждать впереди что-то тревожное, какая-то большая беда.

Стремительное движение страны вперед увлекало нас. Мы хорошо понимали, особенно те, кто побывал за границей, почему нам надо как можно быстрее двигаться вперед и в кратчайший срок преодолеть нашу отсталость.

Вспоминая тридцатые годы, я вижу перед собой множество людей, с которыми работал и дружил; среди них большой редкостью были люди с постными лицами. Были, правда, «начетчики», «законники» — они когда-то что-то заучили и застыли на этом. Но были они не в чести, над ними посмеивались. Огромное большинство людей того времени было через край наполнено радостью созидания, творчества, энергией, безграничной верой в правильность того, что делается, искренней готовностью делать все, на что пошлет их партия, государство. И это были люди, а не ходячие манекены, как их иногда пытаются изображать. Это были люди со всеми человеческими слабостями и страстями, страданиями и радостями.

В эту пору стремительного движения страны вперед, на фоне этого движения, многие личные огорчения или радости как бы растворялись в общих огорчениях, в общей радости. Слово «мое» было в те годы не в ходу — его стыдились произносить, оно было связано с прошлым. Привычнее стало «наше». Кто-то, помню, в шутку сказал, что необходима реформа русской грамматики: уже сейчас ее можно упростить, исключив местоимение «я» — в нем просто нет нужды, ведь вот обходятся же англичане без слова «ты».

Люди тридцатых годов, очень разные по характеру и положению, жили одинаково интенсивной жизнью строительства нового общества,

отдавая этому все, что могли отдать, но делали они это не как подвижники, а просто и естественно, не задумываясь, без всякой позы, и, совершая героические поступки, не замечали своего героизма. Это были энтузиасты, не одиночки-энтузиасты, а спаянный идеей и верой многомиллионный коллектив энтузиастов.

На работе, на собраниях, дома в семье больше всего разговоров было о работе и событиях в стране и за ее пределами. Но все же кое-что из личного время от времени прорывалось, привлекало к себе внимание; тогда оно обсуждалось, иногда осуждалось, нередко вызывало недоумение, что люди так много уделяют внимания личным удобствам, личным отношениям. Я помню, как в большой компании одна из женщин, оказавшаяся, вероятно, в очень трудных жилищных условиях, усомнилась, нужно ли строить Дворец Советов, лучше бы квартир строить больше. Сколько же гневных возражений вызвали эти ее слова!

— Нет, нам нужны именно вот такие монументальные сооружения. Все наше, советское, должно быть самым лучшим, самым красивым в мире. Самые лучшие театры, самые лучшие заводы, самое лучшее метро!

Всю свою «женатую» жизнь в Москве до отъезда за границу я прожил в бывшей бане; низкие сводчатые потолки и кирпичные стены как будто бы навечно были пропитаны сыростью. Капельки воды, как пот, выступали на стенах и струйками стекали на пол. Мы то и дело собирали ее у стен тряпками. У нас часто выходила из строя канализация, и комнату заливали нечистоты. Но если бы в то время кто-то предложил отказаться от строительства метрополитена или заводов и обратить эти средства на расширение жилищного строительства, то я, как и огромное большинство тех, кто жил в таких же условиях, что и я, не поддержал бы таких предложений. Мы были охвачены порывом творить что-то новое, грандиозное, великолепное.

Да, мы были мечтателями и мы хотели любой ценой осуществить наши мечты!

И все же вопреки такому нашему отношению — и это вполне естественно — «личная жизнь» у нас была. Мы влюблялись, страдали муками ревности, испытывали радость любви, счастье отцовства и материнства. Нам нелегко было растить детей. Как мучительно переживали мы, когда трудно было раздобыть для ребенка необходимое питание. Сами мы с детства научились стойко переносить все лишения, нас они мало трогали, но детство своим ребятишкам нам хотелось сделать светлым, радостным, беззаботным. Мы отказывали себе во многом, чтобы не дать им почувствовать лишения, знакомых нам с ранних лет.

Помню, у меня серьезно захворала маленькая дочка. Врач сказал, что хорошо бы дать ей лимонов или апельсинов. Тогда их можно было достать только в магазинах Торгсина, где товары продавались только за иностранную валюту или золото. «Наверное, у вас найдется», — сказал он, — золотое колечко или брошка. Для единственного ребенка не надо ничего жалеть». У старого врача на носу было пенсне в золотой оправе, а на безымянном пальце — массивное золотое обручальное кольцо. Галстук у него придерживался зашипом, тоже, видимо, золотым. Все это казалось мне рудиментами прошлого. У нас с женой не было ни одной ни золотой, ни серебряной вещи. И гора апельсинов, красовавшаяся в витрине нынешнего ЦУМа, была недоступна мне тогда так же, как Гималаи.

Слова врача: «Для единственного ребенка не надо ничего жалеть» — жгли меня, как раскаленное железо. Я кипел от возмущения и гнева. Но гнев этот был обращен к тем, кто, пользуясь нашими трудностями, только на золото продает нам то, что нам крайне необходимо.

В эти годы чувство товарищества, взаимной поддержки было развито исключительно сильно, и помощь иногда приходила совершенно неожиданно. Я уже не помню даже, кто мне тогда помог. Так поступали все, это было общей чертой людей того времени.

Короткие сборы завершены, и я еду в Челябинск. В купе нас двое. Мой попутчик — инженер, специалист по коксованию углей — едет на Магнитогорский завод. Видно, гурман. Его сумка набита разной снедью. Всю дорогу он со вкусом рассказывал, как приготавливают всякие мудреные блюда и почему они так называются. Время позднее, укладываемся спать, но с верхней полки до меня все время доносится его голос, он рассказывает так выразительно, что я даже в полусне ощущаю аромат этих блюд.

Утром пересекаем Волгу. На станциях женщины и дети предлагают в обмен на хлеб молоко в бутылках. С хлебом здесь неважно, перебои. По этой дороге я проезжал не раз. Обычно у перрона здесь шла бойкая торговля яблоками, молоком, курами и прочей снедью. Теперь ничего этого нет.

Кинель. Вдали видна буровая вышка — здесь уже разрабатывается Второе Баку. Дальше — в Башкирии — тоже открыта нефть. Одним из первооткрывателей башкирской нефти был студент Горной академии Алексей Блохин, мы с ним вместе учились. Вернувшись летом 1927 года с практики из Ишимбая в Москву, он рассказывал мне о том, что у него возникла дерзкая теория, объясняющая геологическое строение Уральских гор. Алексей был страшно возбужден. Мы ходили с ним по Пыжевскому переулку, и он говорил и говорил о возникшей в его голове идее.

— Дело в том, что на Урале мы, геологи, встречаемся с рядом загадок, которые нельзя на основе наших представлений о геологических структурах объяснить. Например, мы делаем проходку, отбираем образцы пород и вдруг под более древними породами находим более молодые. Как они туда попали? На этот вопрос до сих пор был один ответ: аномалия. И вот я нашел во время своих геологических поисков древнего рачка, которого на западном склоне Уральских гор никогда никто не находил. Он встречался и должен был, по всем нашим представлениям, находиться только на восточном склоне. Как же он попал на западный? Вот тогда-то и родилась у меня такая гипотеза: произошел гигантский сдвиг и восточный склон Уральских гор переполз на запад и перекрыл породами восточного склона породы западного. Если принять эту гипотезу — все станет на свои места. Собираюсь докладывать об этом на геологическом отделении Академии наук.

Позже я узнал, что его доклад произвел большое впечатление и многие видные ученые не могли себе простить, что такое объяснение загадки геологического строения уральских горных массивов пришло в голову не им, а совсем еще «зеленому» геологу, пока еще студенту...

Отроги Уральских гор. Сколько здесь богатств, сколько еще не раскрытых кладовых природы! А вот и знакомые уже мне столбы. По одну сторону надпись «Европа», по другую — «Азия». Они остаются позади. Мы уже в Азии.

Вот и Челябинск. Как же здесь все изменилось за последние четыре года! Центральная улица застроена большими красивыми домами. Впереди видны трубы районной электростанции ЧелябГРЭС. (Тогда она казалась очень крупной — сто семьдесят тысяч киловатт; таких

станций в стране насчитывалось всего несколько.) За нею высятся корпуса ферросплавного, абразивного и электродного заводов, а на другом берегу реки Миас дымит труба цинкового завода. Еще пять лет назад там был пустырь.

Итак, с мая 1935 года я стал челябинцем. Жить и работать мне здесь нравилось. До этого я по-настоящему длительное время не работал на металлургических заводах. Практику я проходил на Сормовском заводе, на заводе «Красный автоген» в Ленинграде, на Алавердском медно-химическом комбинате. Но быть практикантом и работать, вернее, руководить производством — это далеко не одно и то же. На Челябинском же ферросплавном заводе я был техническим директором. На мне лежала ответственность за всю технологию производства. Мои указания должны быть законом; я знал, что производство ферросплавов в нашей стране только возникало, мне предстояло руководить первым недавно построенным заводом. Среди инженеров-металлургов на заводе были лишь молодые специалисты, старых в этой отрасли металлургии не было вообще. Директор завода Марк Александрович Власов был моложе меня на два года (да и мне было всего тридцать четыре). Главный механик Гидгарц, учившийся во Франции, — тоже молодой. Заместитель директора Маккавеев, коренной уралец, — одного возраста с директором завода. Сменные инженеры — те и вовсе редко кто дотягивал до тридцати лет.

Кое-кого из них я знал, читал им когда-то лекции по производству ферросплавов. Теперь у них было передо мной немалое преимущество: они дополнили почерпнутые из моих лекций знания неопределимым опытом производства.

Власов принял меня хорошо и всячески старался создать самые благоприятные условия для работы. Но я чувствовал себя первое время не очень уверенно, к тому же на мне сказались и четырехлетнее пребывание за границей.

В Челябинске все — и условия и люди — было иным, чем на Западе.

Вот плавильщик печи Карнаухов, позже он стал мастером, лауреатом Сталинской премии. Все его мысли и усилия направлены на то, чтобы поднять производительность своей печи, снизить потери дорогого сырья — концентрата вольфрамовой руды. Этот концентрат поступает к нам из Англии. В деревянных ящиках. В каждом ящике — по два тяжелых мешочка из китайской соломки, на ящиках английские надписи, на мешочках — китайские. Добыча вольфрамового концентрата в Китае — монополия английской компании. За вольфрамовый концентрат мы платим английской фирме сибирским маслом и кубанской пшеницей. Карнаухов это знает, и он бережет каждую щепоть вольфрамового концентрата.

Неужто у нас в Советском Союзе нет вольфрамовых руд? Быть этого не может! Безусловно есть, и даже здесь, в Челябинской области. Одно из таких месторождений расположено между Челябинском и Троицком. Оно описано. О нем я читал в одном из журналов. Правда, это месторождение комплексное, как и многие уральские рудные месторождения. Вместе с вольфрамом в руде содержится медь. Медь нужно выделять из руды, ее присутствие в вольфраме недопустимо, а это усложняет производство.

Добычи отечественных вольфрамовых руд у нас в то время по существу еще не было. Мы, как робинзоны, все должны были начинать с азов. Мы не знали, как извлечь из руды нужный нам вольфрам, как получить из горной породы, в которой он находится в ничтожном коли-

честве, концентрат, а затем из концентрата — металл. Эти процессы в то время еще только разрабатывались. А вольфрам нужен был нам дозарезу. Вольфрам — это и нити электроламп, и режущие части ряда инструментов, и необходимая добавка во многие специальные стали, в том числе стали оборонного назначения. Вот и приходилось покупать и ферровольфрам, и вольфрамовый концентрат за границей.

Карнаухов знает это. Он озабочен тем, что процесс плавки еще не совершенен, и делится своими соображениями по улучшению производства ферровольфрама, изменению конструкции печи и печного инструмента.

Он никогда ни на что не жаловался, ничего не просил лично для себя, казалось, у него нет никаких других интересов, другой жизни, не связанной с производством.

В те годы завод построил немало больших кирпичных домов, и недостатка в жилье здесь не ощущалось. Орджоникидзе поощрял строительство жилых домов, особенно в новых промышленных районах страны, а Власов следил, чтобы для этого были использованы все возможности. «Будут квартиры — можно будет привлекать для работы на заводе нужных производству людей», — говорил Власов.

Первые два месяца я все же прожил на квартире для приезжих — так мне было удобнее. В то время легковых машин было очень мало, и я, например, первое время ездил на завод и по делам завода на пролетке. У нас был свой конный двор — более полутораста лошадей. Лошадь с телегой была основным видом транспорта и на строительстве и на заводе. «Грабарь» и «грабарка» в те годы были в чести на всех заводах и особенно на строительстве. Грабарь — рабочий, возивший на небольшой подводе — грабарке — землю с места строительных работ.

В Челябинске в тридцатых годах строились тракторный и цинковый заводы, завод абразивных материалов. Все это были совершенно новые для нашей страны производства. Позже здесь был построен трубный завод — тот самый, чьи металлурги в шестидесятых годах на отказ правительств некоторых европейских стран продавать Советскому Союзу трубы большого диаметра с достоинством заявили: не хотите — и не надо, мы все сделаем сами! И сделали.

И как же богат этот край — и природными ресурсами, и людьми!

Как-то, находясь на заводе Рёхлинга в Фёльклингене, я разговорился с одним из инженеров. Он сказал мне:

— Когда наши студенты сдавали экзамены по геологии рудных месторождений и не могли ответить профессору, где находятся месторождения того или иного полезного ископаемого, они обычно говорили: «Его месторождение на Урале». Они знали, что не ошибутся. Дело дошло до того, что профессор на экзаменах изменил форму своего вопроса, он стал спрашивать: «Кроме Урала, где еще находятся аналогичные месторождения?»

В самом деле, на Южном Урале было все. И геологические разведки открывали все новые и новые сокровища.

...Наконец-то, как говорится, смотрины закончены. Я ознакомился, кажется, со всем и со всеми на заводе. Пора приниматься за дело. Оно было для меня как будто и не ново. Еще в студенческие годы мне приходилось принимать участие в исследованиях, связанных с производством ферросплавов. Мой дипломный проект и дипломная работа также были посвящены им. Да и в начальном проектировании Челябинского завода, которое вел наш профессор Григорович, мне приходилось принимать участие еще студентом, а позже, как уже говорилось, я уже доцентом вел занятия со студентами именно по качественным сталям.

Я понимал всю важность стоящих перед заводом задач. Мы будем и впредь зависеть от Запада, если не создадим собственное производство ферросплавов. Мы не сможем строить азиатские, автомобильные, тракторные заводы — для них нужен специальный металл. Мы уже умеем изготавливать почти все необходимые нам стали. Но для их производства мы покупаем ферросплавы за границей — в Германии, Швеции, Норвегии. В 1933 году на небольшом немецком заводе я спросил главного инженера:

— Кому вы продаете изготавливаемый на заводе феррохром?

Он принялся перечислять:

— Примерно пять процентов всего производства мы поставляем близлежащим химическим заводам, два процента у нас покупает завод Беккера, около трех процентов...

Перебив его, я спросил:

— Ну, а много ли у вас покупает Советский Союз?

— А Советский Союз когда как. Семьдесят пять — восемьдесят процентов нашей продукции мы отправляем на ваши заводы. Да мы и работаем-то на уральской хромистой руде.

Наша хромистая руда вывозилась в те годы не только в Германию, но и в Швецию, Италию, США. Производить феррохром и многие другие сплавы мы не умели. Челябинский завод должен был заложить в стране промышленное производство ферросплавов.

Ахиллесовой пятой нашего производства был заводской брак. Значительное количество выплавляемого металла не удовлетворяло техническим требованиям. Правда, часть забракованных ферросплавов можно было превратить в годный металл, но для этого их приходилось переплавлять вновь, в особенности это относилось к феррохрому.

Жидкий феррохром при температуре около двух тысяч градусов выпускался из печи в большие плоские корыта — изложницы. Рабочие длинными железными прутьями пробивали в печи отверстие — летку, через которую жидкий металл и шлак ослепительно ярким огненным потоком устремлялись в изложницу. Металл и шлак бурлили — во все стороны летели искры, — и частички расплавленного шлака застывали в воздухе и мелкой стекловидной дробью падали на покрытый чугунами плитами пол. Плавильщики и горновые работали в валенках и войлочных шляпах, с защитными очками. Жидкий металл застывал на дне изложницы, образуя слиток-блин. Количество шлака по объему в три-четыре раза превышало количество металла.

Выпустив металл и шлак, рабочие заделывали летку огнеупорной глиной, и процесс плавления начинался сызнова.

Остывая, жидкий металл оплавлял в изложнице огнеупорный материал, который крепко связывался с нижней поверхностью слитка. Да и покрывающий слиток шлак взаимодействовал с металлом, выступая стекловидной глазурью на его внешней поверхности.

Остывшие слитки дробили и очищали от приставших к поверхности огнеупорных материалов и шлака, но полностью очистить от них металл не удавалось, и загрязненные куски вновь загружались в печь для переплавки. Это вело к снижению производительности, высокому расходу энергии, человеческого труда и в конце концов к высокой себестоимости.

Мне было совершенно ясно: первое, что надо делать, — это улучшать технологию производства; именно здесь скрыты основные резервы повышения производительности труда и снижения себестоимости. Но как? Какими путями?

Описаний технологических процессов производства в нашей технической литературе просто не было, а в иностранной были изложены

лишь сведения преимущественно рекламного характера. И это неспроста — все производство ферросплавов находилось в руках европейского картеля, который тщательно охранял секреты производства.

Помню, как в мае 1932 года, находясь в Швеции, я предпринял попытку ознакомиться с производством ферросплавов на шведских заводах. Нашим полпредом в это время была там Александра Михайловна Коллонтай. В Стокгольме я попал совершенно по другому поводу: в то время мы намеревались приобрести за границей электропечи и мне рекомендовали ознакомиться также и с конструкциями печей, изготавливаемых шведской промышленностью.

С Александрой Михайловной я лично не был знаком, но кто из нас не знал этой замечательной революционерки и государственного деятеля. Приняла она меня очень тепло. Когда я ей рассказал о том, с какими трудностями мы встречаемся при организации ферросплавного производства и как важно мне увидеть не на картинке, а в натуре хотя бы один из действующих ферросплавных заводов, я услышал обнадеживающий ответ:

— Я думаю, голубчик, что мне это нетрудно будет сделать: я переговорю со знакомым сенатором, связанным с металлургической промышленностью, и он, безусловно, окажет содействие в посещении того завода, о котором вы говорите. Кстати, мы передали большие заказы металлургической промышленности Швеции, и заводы заинтересованы в дальнейшем развитии связей с нами. У меня нет сомнений, что вы получите такое разрешение.

Через два дня, когда я вновь пришел к Александре Михайловне, она была в большом смущении.

— Не понимаю почему, но сенатор после тысячи извинений сказал, что, к сожалению, он не сможет ничего поделать — владельцы завода категорически заявили, что без разрешения европейского картеля они не могут допускать на свои заводы и знакомить с производством никаких посторонних лиц.

Примерно то же самое я услышал и от нашего торгового представителя в Швеции.

Уже после второй мировой войны Тевосян, который только что вернулся тогда из Западной Германии, рассказывал, что во время пребывания в Рейнской области ему пришлось вновь посетить заводы Круппа в Эссене и встретиться со многими старыми знакомыми. Они рассказывали ему, как работал завод во время войны, когда недоставало многих необходимых материалов.

— Нам ведь пришлось не только производить сталь, но и изготовлять для ее выплавки ферросплавы. Это было новое для нас производство, но мы его довольно быстро создали. — А затем рассказчик добавил, смеясь: — И в этом нам помогли вы!

— Как так?

— В ваших технических журналах так обстоятельно описывались все технологические подробности, что не было никакой необходимости что-либо проверять — это были не научные статьи, а по существу технологические инструкции. Мы прямо по ним строили производство.

Это признание подтверждало то, что нам было уже отчасти известно. Западные инженеры публиковали свои технические статьи главным образом в целях рекламы, мы же — как техническую информацию.

Года два назад я узнал глубоко взволновавшую меня новость, оставшуюся в нашей стране — увы! — незамеченной. Мы продали партию феррохрома Англии — стране, которая всегда была для нас символом технического прогресса. И вот теперь Англия покупает наш феррохром!

Англичане понимают толк в том, что покупают. Товары низкого качества они не возьмут. Думали ли мы, когда начинали, что может произойти такое?!

На Челябинском заводе первой нашей задачей было ликвидировать брак. В производстве феррохрома он достигал тогда двадцати пяти — двадцати восьми процентов.

Чтобы разобраться в причинах брака, изучить их и планомерно от них избавиться, после длительных консультаций с директором завода, начальниками цехов, мастерами, работниками лаборатории, отдела технического контроля была создана специальная комиссия.

Первое же разбирательство показало, что никто никогда серьезно изучением действительных причин брака на заводе не занимался. Издавались приказы с суровым осуждением виновных в изготовлении бракованных сплавов. Никакие конкретные меры для устранения брака не принимались.

Постепенно работа комиссии по браку приняла форму технической учебы и вместе с тем суда над техническим невежеством. Мы поставили себе целью увлечь этим всех работников завода, заставить их думать, как устранить брак. И мы добились этого.

Летом 1935 года Тевосян по совету Серго Орджоникидзе созвал совещание руководящих работников Главспецстали, чтобы поговорить об экономичности работы заводов. Но разговор этот превратился в детальный разбор технологических процессов, в анализ причин высокой себестоимости выпускаемой заводами продукции. Тевосян поставил перед нами задачу отказаться от дотации, а для этого значительно снизить стоимость производства. Во время обсуждения было внесено много разумных предложений.

После этого совещания мы стали обращать больше внимания на себестоимость продукции и не ограничивались количественной стороной выполнения плана.

Как снизить расход электроэнергии, материалов и труда? Что необходимо сделать, чтобы все механизмы бесперебойно работали? Эти вопросы стали неизменно подниматься на всех собраниях и технических совещаниях.

На производительности особенно сильно сказывались длительные простои печей, которые часто происходили по не зависящим от завода причинам. И прежде всего из-за ограниченного снабжения электроэнергией.

Другая трудность — обеспечение завода основными материалами. Запасы руды и кокса были у нас мизерными. Даже по более чем скромным нормативам, установленным в то время для завода, они могли обеспечить работу печей всего лишь на три-четыре недели. На заводе Круппа запасы основного сырья — руды и стального лома — были вполне достаточны для бесперебойной работы печей в течение шести — восьми месяцев.

В директорском кабинете у Власова висела большая черная доска, на которой каждое утро работники планового отдела записывали цифры, отражающие выполнение плана по видам продукции и состояние запасов основного сырья. Иногда запасы руды или кокса составляли всего лишь трехдневную потребность производства. В такие дни все на заводе были охвачены тревогой. Директор непрерывно названивал повсюду, выясняя реальную возможность поступления необходимых материалов, а мне вместе с начальниками цехов приходилось ломать голову над тем,

что нам предпринимать в том случае, если руда или кокс вовремя не поступят на завод.

Но в то же время было много и таких помех, устранение которых целиком зависело от нас. Это прежде всего брак и длительные простои оборудования во время ремонтных работ.

Необходимо было сократить до минимума время и частоту ремонта.

По плану, утвержденному Главным управлением в Москве, на ремонт больших печей отводилось тридцать дней в году. Печи для этого, одна за другой, останавливались ежегодно. Каждый день простоя большой печи приносил сорок тысяч рублей убытка. Следовательно, если бы удалось сократить время ремонта на десять дней, завод сэкономил бы четыреста тысяч. Но как это сделать? Даже в запланированные тридцать дней ремонтные работы не всегда заканчивались.

Я собрал ремонтную бригаду и изложил свои соображения. Но не успел кончить, как меня перебил один из слесарей:

— Оно хорошо пахать-то, лежа на печке, да круто заворачивать. Вы пойдите сами, да и сделайте ремонт за двадцать дней, а мы посмотрим, как это у вас получится. Надо знать дело, прежде чем говорить. Печь-то жаром пышет даже два дня после остановки. Ни к одной детали дотронуться нельзя. Когда работаешь, потом истекаешь. Рубаха коробом стоит. На спине соль выстывает.

— А вы погодите маленько, ведь я еще не кончил,— возразил я.— Вот если бригада сделает ремонт за двадцать дней, то, помимо обычной зарплаты, получит премию — сто тысяч рублей.

В уме у меня мелькнуло: из четырехсот тысяч рублей экономии не грех дать бригаде сто тысяч.

Но мои размышления нарушил тот же голос:

— А какой дурак нам сто тысяч даст?

— Я дам,— спокойно ответил я слесарю.— Подумайте, как сократить на десять дней время ремонта, и скажите мне.

Все молчали. Наконец языкастый слесарь как бы за всех ответил:

— Ну что же, за сто тысяч и подумать можно.

Бригада начала готовиться к ремонту. После разговора ее как будто подменили. План ремонта обсуждали все до единого члены бригады. Когда я подошел к ним, меня вначале даже не заметили; говорили с жаром сразу несколько человек:

— Да разве мы работаем, больше детали да инструмент ищем. Ремонт можно сразу начинать после остановки печи. А чтобы не жарко было, ее нужно закрыть. Соорудить специальную площадку и надвинуть на печь, тогда все, что выше, можно будет ремонтировать. Прежде чем останавливать печь, надо сначала изготовить все детали, которые заменить придется, разложить их по порядку — старую снимать, а новую ставить на место.

Тщательно разработав план ремонта и отлично к нему подготовившись, бригада сумела закончить все необходимые работы за семнадцать дней. Как и было условлено, я распорядился выдать бригаде сто тысяч рублей.

Выдать-то выдал, но потом полгода давал объяснения в различных инстанциях. Оказывается, я сделал сразу несколько нарушений: и власть превысил, и установленный порядок выдачи премий нарушил, и совершил еще много других прегрешений. Только вмешательство Тевосяна спасло меня от крупных неприятностей. Но дело было сделано. С тех пор уже никто не планировал на ремонт тридцать дней. А ремонтники почувствовали вкус к поискам путей улучшения ремонтных работ и довели в конце концов простои печей до одной недели в году.

Сколько себя помню, я всегда слышал разговоры о сокращении штатов. А когда стал работать, мне пришлось не только слушать эти разговоры, но и принимать участие в процедуре сокращения штатов.

Научной организацией труда у нас занимались только в самом начальном периоде индустриализации, а затем ею, как и вопросами экономики производства, заниматься перестали, потому что все было подчинено выполнению устанавливаемых планов любыми средствами.

Как правило, на наших заводах количество работающих было куда больше, нежели на аналогичных предприятиях во многих странах, где я побывал. На немецком ферросплавном заводе в Эшвейлере при таком же объеме производства, как на Челябинском, было занято всего сто тринадцать человек, в то время как в Челябинске работали четыреста пятьдесят два. «В чем же дело? Что у нас, оборудование хуже? — размышлял я. — Нет, лучше. Мы приобрели печи самой новейшей конструкции. Значит, у нас люди в цехах нерадиво относятся к делу? Нет. Разве такое скажешь о Подвиглове, Карнаукове, Подлужном, да и о десятках других? Тогда, может быть, инженеры малоинициативны? Опять нет! Это энергичные, инициативные люди, настоящие энтузиасты — Носаль, Дыханов, Сухоруков, Стрельцов, Рунов...»

Тогда в чем же дело?

Надо во всем тщательно разобраться.

Итак, у нас лучшие в мире печи — мы покупали тогда последние новинки. Некоторые из них были просто уникальными — они были только у нас, — и на этих печах людей требовалось меньше, нежели на печах тех европейских заводов, где мне приходилось тогда, в тридцатых годах, бывать. Где же эти лишние люди?

Ясно, что они заняты на каких-то операциях до печей и после печей. Мы решили тщательно проверить весь путь движения сырья до печей и выплавленного металла от печей до складов готовой продукции.

Когда я знакомился за границей с большими металлургическими заводами, мне обычно предлагали начать осмотр со складов сырья.

— Вот смотрите, — объясняли мне специалисты с завода Круппа, но почти то же самое я видел и у Маннесмана, и у Рёхлинга, и у многих других фирм. — К нам поступают целые составы с рудой, коксом, известью, и мы их разгружаем в течение нескольких минут. Саморазгружающиеся вагоны подаются на эстакаду над бункерами, открываются затворы — и все содержимое вагонов через люки попадает прямо в бункера. На всей операции разгрузки вагонов у нас работает один человек. Он открывает люки, нажимает кнопки механизма разгрузки, а после ухода состава подгребают случайно не попавшие в бункера кусочки руды, кокса или известняка и закрывает люки бункеров.

А как на Челябинском заводе?

У нас на этой операции работает более сорока человек! Почему? Да потому, что сырье поступает не в специально сконструированных для его перевозки вагонах, а на обычных железнодорожных платформах. Платформы подаются в длинный деревянный сарай — склад руды и кокса. По обеим сторонам железнодорожного пути размещены огромные забетонированные квадратные ямы. Рабочие, взобравшись на платформы, лопатами сбрасывают руду или кокс в эти ямы. В зимнее время кокс смерзается, и его трудно разгружать. Вагонов не хватает, график разгрузки нарушается, вагоны задерживаются более положенного времени, а за задержку вагонов виновные привлекаются к суровой ответственности.

Разительно отличался и весь внутризаводской транспорт нашего завода от того, что я видел в Европе. Там руда из бункеров, как правило,

направлялась по конвейерным лентам или по элеваторам в дробилки, а оттуда передавалась вновь на транспортные механизмы — все это совершалось без участия людей, автоматически. На нашем же заводе всюду были заняты люди. И хотя руда из бункерных ям забиралась мостовыми кранами с грейферным захватом, но это устройство не позволяло выгребать всю руду, особенно из углов. В ямы приходилось спускаться рабочим и лопатами выгребать руду на середину бункера, под захват грейферного крана. У наклонных желобов, установленных на дробилках, был малый угол наклона, измельченные кокс или руда не передвигались, а задерживались на них, образуя завалы. Все это результат просчетов и ошибок, допущенных при проектировании завода. Исправить их было уже трудно, для этого потребовалось бы перестроить всю систему подачи материалов. Поэтому в таких местах ставили рабочих с лопатами, и они передвигали дробленые материалы с желобов на ленты конвейера.

Оборудование у нас часто выходило из строя, и небольшая ремонтная мастерская вскоре превратилась в большой ремонтный цех с большим количеством станков и, конечно, с солидным штатом работающих.

Так обстояло дело во многих звеньях технологического процесса и особенно на вспомогательных операциях, на которые у нас обычно обращается мало внимания. А они-то чаще всего и определяют себестоимость и качество выпускаемой заводами продукции.

Трудности познания новой для нас технологии производства сопровождалась трудностями овладения сложным оборудованием, поступавшим из-за границы. Мы заказывали все самое новейшее, нередко такое, какого нигде еще не было. Оно создавалось специально для нас и впервые опробовалось на наших заводах. У поступивших на Челябинский завод печей Сименса было много новых, еще нигде не опробованных устройств. Их конструкция оказалась неудачной. Фирмы, поставлявшие оборудование, как правило, не обучали самой технологии производства.

— Технологией производства мы не занимаемся, — отвечали обычно представители этих фирм.

Нелегко было и строить.

Для строительства Челябинского ферросплавного завода не могли дать достаточного количества железа. Нет железа — его заменяли деревом: в плавильном цехе ставили деревянные стропила.

Суровый климат Урала не останавливал строительных работ даже зимой: в сильные морозы сооружали тепляки, строящиеся цехи обшивали тесом и внутрь вводили паровозы, их паром обогревали места, где производились работы.

Не было квалифицированных рабочих-металлургов: тех, кто строил печи, обучали и работе на них. Следы этого сохранились на заводе: рабочие и по сей день называли по старой памяти руду черной и белой щебенкой — ведь так строители называют дробленый камень, используемый при изготовлении бетона.

Не было стали, цемента, не хватало кирпича. Чем мы в избытке владели — это безграничной верой в то, что все, нами намеченное, будет безусловно построено и мы сделаем нашу страну самой передовой в мире. Все, чего нам не доставало, восполнялось энтузиазмом.

Но не одними только вопросами строительства и производства приходилось в то время заниматься. В 1936 году перед всеми был остро поставлен вопрос о повышении бдительности. Начальник заводской охраны Якушин развил кипучую деятельность. Он пересмотрел все ин-

струкции, подготовил новые, наметил дополнительные посты и потребовал, чтобы у всех на пропусках были наклеены фотокарточки. Но в это время из главка пришло указание сократить штаты. Стали думать, как быть. Якушин предложил сократить сторожей и завести сторожевых собак — ведь их содержание пройдет по совершенно другой статье расходов. Идея Якушина многим понравилась, решили ее реализовать. Стали скупать собак — немецких и кавказских овчарок. Но их надо было где-то держать и кормить. И вот в самом конце заводской территории под руководством Якушина возвели «собачий городок»: помещение для собак, кухню для приготовления пищи, помещения для хранения продуктов, инвентаря и много разных других.

Но разводка собак по постам, приготовление для них пищи, кормление и прочее потребовало работников. В результате штаты охраны остались прежними, а расходы возросли.

Выступив на одном из собраний, Якушин снова потребовал от всех усилить бдительность в связи с враждебной деятельностью шпионов и диверсантов, засылаемых к нам иностранными державами. Он заявил, что на заводе уже приняты все меры, чтобы закрыть даже самую малую щель и не дать проникнуть врагу. У него, мол, даже комар без проверки на завод не пролетит.

Но тут поднялся один из молодых рабочих и громко крикнул:

— Хватит хвастаться-то. Ты бы лучше как следует порученным делом занимался, а не болтал о бдительности. Товарищи! — обратился он к собранию. — Вот Якушин говорит, что он по охране завода такой порядок установил, что даже комар у него без проверки не пролетит. А я, товарищи, уже второй месяц на завод прохожу по пропуску, на котором у меня наклеена фотография бабушки!

— Ну, это ты уж слишком. Как говорится, ври, да знай меру! — крикнул Якушин.

— На вот, смотри сам! — И рабочий протянул свой заводской пропуск.

Документ пошел по рукам. Действительно, с замасленной картонки пропуска смотрело лицо старушки. В зале поднялся шум и смех. Якушин махнул рукой и отошел от стола президиума.

И все же проявлять разумную настороженность основания были. Наряду с неполадками, которые можно было объяснить неизученностью технологических процессов, перебоями в снабжении рудой, коксом, ограничениями в электроэнергии, недостаточной подготовкой кадров, на заводе случались и такие аварии, которые нельзя было объяснить только этими причинами.

В 1936 году произошло два случая, которые заставили задуматься.

На одной из печей для выплавки феррохрома вышел из строя мотор, поднимающий и опускающий механизм электрододержателя. Каретка электрододержателя не передвигалась.

— Вероятно, что-нибудь попало между направляющей и роликами каретки. Сейчас посмотрим, — сказал механик цеха и вытащил из зазора между кареткой и стойкой небольшой болт.

Печь эту недавно ремонтировали, и кто-то из рабочих высказал предположение, что во время ремонта один из болтов откуда-то выпал и застрял между кареткой и стойкой электрододержателя, заклинив детали. Поэтому каретка не могла передвигаться, а механизм подъема продолжал работать, и от перегрузки у мотора перегорела обмотка. В то время электромоторы, как и все электрооборудование, были дефицитны и мотор достать было трудно. Выход из строя мотора означал простой электропечи.

Вынутый из зазора болт был доказательством небрежной работы слесарей ремонтной бригады. Но кто-то обратил внимание на то, что конец болта был заточен на конус, то есть специально обработан так, чтобы он хорошо держался в зазоре, где и был обнаружен. При тщательном изучении болта следы заточки напильником обнаружились очень явственно. Выходит, попал он туда не случайно, а был подготовлен для того, чтобы надежно заклинить каретку и стойку.

Примерно через две недели произошел второй необъяснимый случай, еще более тяжелый. При аварии был убит один из рабочих.

Хромистую руду к печам подавала у нас сложная система конвейеров, элеваторов и устройство, называемое «скиповым подъемником». Этот подъемник напоминал большой ковш и перемещался вверх и вниз на стальном тросе. Концы троса закреплялись по обе стороны ковша специальными стальными «державками», укрепленными на болтах. Когда нагруженный ковш стал подниматься, рабочий, занимавшийся погрузкой, открыл заграждение, чтобы вымести просыпавшиеся кусочки руды, но тут ковш сорвался с троса и упал на рабочего — тот был моментально убит.

Изучение причин аварии показало, что отсутствовал один из двух болтов, прикреплявших концы троса к ковшу, и конец троса был вырван из своего гнезда.

Вначале причина аварии объяснялась очень просто: видимо, рабочий, производивший загрузку ковша рудой, перегрузил его и при подъеме конец троса сорвался, болт вылетел, и ковш упал. Все как будто бы говорило о том, что именно так оно и было. Решили разыскать болт и осмотреть его. Но болта нигде найти не могли, а резьба гнезда, где он находился, была чистой и ни один виток не был поврежден. Это уже не вязалось со схемой объяснения аварии. Где же болт? А не вывернул ли его кто-либо умышленно? Вспомнили аварию на феррохромовой печи. Там явно кто-то вложил в механизм заточенный на конус болт. Может быть, здесь так же преднамеренно был вывернут болт?

Оба эти случая вызвали большое беспокойство. Нельзя быть беспечным и думать, что классовая борьба у нас пришел конец.

Вместе с тем тогда мне не приходило в голову, что вполне оправданные призывы к бдительности могут быть использованы жестокими и мстительными людьми, бессовестными и беспринципными карьеристами, обманывавшими партию в своих личных целях. И повлечь за собою те нарушения законности, которые впоследствии нашли свою справедливую оценку в решениях XX съезда КПСС.

Постоянная тревога за план и за порученное дело объединяла людей. Хозяйственники, директора заводов нередко выручали друг друга. Как-то наш ферросплавный завод попал в большую беду. Не помню, по какой именно причине, но были задержаны анализы выплавленного на заводе ферровольфрама. Самая дорогая продукция завода, накопившаяся почти за месяц работы, не могла быть отправлена потребителям. Когда же наконец анализы были сделаны, оказалось, что весь ферровольфрам должен быть забракован — содержание марганца в нем значительно превышало установленные нормы. Удалить марганец из ферровольфрама нетрудно, но необходимо весь его заново переплавить.

Анализы ферровольфрама мы получили двадцать шестого декабря. Конец года. На наших печах мы бы все равно не сумели переплавить в оставшиеся дни весь металл — это было просто технически невозможно. Под угрозой оказалось выполнение годового плана завода. А завод всегда свои планы выполнял. Что делать?

На соседнем абразивном заводе работали электропечи значительно большей мощности. Завод уже выполнил свой годовой план и две печи остановил на ремонт. Мы об этом знали и решили попросить эти печи на три дня взаймы и весь ферровольфрам переплавить в них. Возникло только одно сомнение: можно ли вообще плавить сплавы, подобные ферровольфраму, в печах такой большой мощности? В мировой практике такого опыта не было. Даже печи Челябинского завода в то время относились к числу наиболее мощных, они более чем в два раза превышали мощность подобных печей европейских заводов.

Но выхода не было — или примириться с тем, что завод не выполнит годового плана, или идти на вынужденный риск.

Директор абразивного завода согласился уступить на три дня свои печи, а мы обещали ему помочь выполнить ремонтные работы, с тем чтобы он смог уложиться в утвержденный ему график ремонта.

Этот опыт переплавки ферровольфрама привел к неожиданным результатам: печи работали более спокойно, чем мы ожидали, расход энергии оказался ниже, качество полученного металла много выше, а отходы резко сократились.

План был выполнен, и коллектив завода присобрел новый бесценный опыт производства.

Как-то летом мы с Власовым поехали на Златоустовский завод, там должно было происходить совещание относительно снижения себестоимости. Ехали на машине. Из Челябинска в Златоуст вела узкая, вся в выбоинах грунтовая дорога. Ехали медленно. На полпути между Челябинском и Миасом мы увидели в стороне от дороги троих мужиков. Один из них бросал лопатой землю из кучи на лоток, второй качал ручной помпой воду из реки, а третий что-то выгружал из телеги. Я спросил Власова, что это они там делают.

— Золото моют, старатели.

Я попросил его остановиться. Как добывают золото, я знал только по рассказам Джека Лондона. Подошли к старателям, поздоровались, и я спросил:

— Что, песок промываете?

— Какой песок, — ответил один из них. — Пашню возим, не видите, что ли? Ее моем. Здесь песку нет. Вот оно где, золото-то, лежит. — И он показал на распаханное поле. — Сверху пшеница растет, а в земле золото...

В это время один из старателей подвез воз земли и стал лопатой разгружать ее в кучку на берегу речки. Все устройство для промывки «породы» состояло из двух деревянных желобов и большого эмалированного таза. Вода подавалась ручным насосом, сделанным из железной трубы диаметром около ста миллиметров, под струю воды один из старателей бросал лопатой землю. По наклонной плоскости желоба вода отосила все легкие частицы, стекая во второй желоб, стоящий немного ниже, и далее в эмалированный таз.

— Ну, а когда золото вынимать будете? — спросил я старателей.

— Да вот минут через десять. Мы уже давно моем.

— А сколько в день намываете?

— Когда как. Если повезет, то двадцать—двадцать пять граммов в день.

Старатели кончили промывку и смыли все тяжелые частицы, находившиеся на дне желоба, в эмалированный таз. Осторожно слили из него воду, выбросили всю наиболее крупную гальку, предварительно тщательно осмотрев каждый камешек. Потом один старатель вылил из бутылочки в таз ртуть и стал вращать таз, перекатывая по нему ртутные

шарики так, чтобы они проходили по твердым частицам осадка. Наконец наклонил таз, а второй старатель подставил пустую банку из-под консервов с опущенным в нее куском тряпки. Он вылил ртуть на тряпку и стал отжимать ее в банку. Когда развернул тряпку, мы увидели в ней два белых кусочка.

— Ну, вот вам и золото.

Старатель положил кусочки на жестянку, подошел к горящему костру и, подержав жестянку над углями, нагрел их. Кусочки пожелтели.

— Теперь все.

— Сколько же это по весу будет? — спросил я.

— В одном граммов пять, а в другом более восьми.

Мы попрощались со старателями и поехали дальше.

В то время на Южном Урале существовали две расчетные единицы — рубль и грамм золота. Золото можно было у старателей покупать по цене сорок рублей за грамм.

При пунктах скупки золота были открыты магазины, в которых старатели могли на боны покупать все необходимое. Боны они получали за сданное золото, и цены на товары были исчислены в золоте. В магазинах золотоскупки были такие товары, которые не всегда можно было найти в обычной торговой сети. Поэтому торговля бонами и золотом процветала, несмотря на то, что ее не только не поощряли, но и преследовали, хотя и не очень строго.

Как-то летом 1936 года нам вместе с Власовым пришлось побывать на рудниках, находившихся недалеко от станции Бреды. Машины у нас не было, и мы решили нанять лошадь. Обратились к одному из местных жителей и попросили его довести до рудника.

— Что же, довести можно. Почему не довести. Заплатите, так доведу.

— Ну, а сколько возьмете? — спросил Власов.

— Да цена-то у нас до этих мест известная. Все мы одинаково берем — меньше я не возьму, а больше вы все равно не дадите.

— Сколько же все-таки?

— Шесть.

— Чего шесть?

— Шесть грамм.

— Чего шесть грамм?

— Золотишка шесть грамм. Чего же еще-то? На граммы-то у нас здесь золото да водку мерят.

— Но где же я вам золота-то возьму?

— Да вам себя и утруждать не надо. Цена-то у нас тоже известная — сорок рублей за грамм.

В Челябинской области в то время старателей было очень много. Как только начиналась весна, старатели уходили на поиски золота. У нас на заводе тоже было несколько заядлых золотоискателей. Еще на полях лежал снег, но им уже не терпелось, и они просили дать им отпуск без сохранения содержания. Удержать их на заводе было невозможно. Это была своего рода болезнь. Даже неудача не могла их сломить.

После совещания в Наркомтяжпроме относительно снижения себестоимости продукции заводов Главспецстали Серго ввел премиальную систему, в которую входило премирование и за снижение себестоимости. Работники производственных цехов получали десять процентов оклада за каждый процент снижения себестоимости. Такая система повела к тому, что все цеховые работники стали интересоваться не только увеличением производительности оборудования, но и стали искать пути к сни-

жению расхода сырья, электроэнергии, применять более доступные и дешевые материалы и создавать в целях снижения затрат новые производственные процессы.

Итак, премировали теперь и за перевыполнение плана, и за снижение себестоимости. Такая система все время побуждала искать новые возможности для повышения производительности и снижения затрат. А это оказывало сильное влияние на изучение технологии производства и поиски решений таких задач, которые ранее всеми считались в условиях завода неразрешимыми.

В производстве ферросилиция мы первоначально использовали древесный уголь. Доставать его стало трудно, и он был дорог, значительно дороже кокса. Постепенно от него отказались и перешли на кокс.

Потом решили: зачем нам покупать крупный кокс — все равно приходится его дробить. Доменщикам необходим кокс крупный, а нам удобнее мелочь, которая для них непригодна, ее-то мы и должны забирать — коксик ведь дешевле кокса. Если мы заменим кокс коксиком, будет двойная выгода: его и дробить не надо, и он дешевле.

На соседнем заводе при выплавке абразивного материала — корунда — в отходах оставалось небольшое количество металла, содержащего три-четыре процента кремния. Вместе с другими заводскими отходами все это вывозилось в ближний овраг, на свалку. А мы на ферросплавном заводе кремнистые сплавы — ферросилиций — готовили специально. Правда, содержание кремния в ферросилиции было значительно выше, нежели в отходах абразивного завода. Тогда-то одному из работников завода и пришла мысль использовать эти отходы в нашем производстве.

— На то, чтобы восстановить кремний из кварца, мы тратим электроэнергию, а тут рядом в овраге лежит этот кремний и посмеивается над нами: «Ну до чего же вислоухие у нас работники на ферросплавном заводе, до сего времени не догадаются нагнуться и поднять то, что лежит под ногами», — говорил на производственно-техническом совещании один из опытейших бригадиров завода Андрей Подлужный.

Мы стали вывозить со свалки абразивного завода этот металл и сразу же установили, насколько это выгодно, — себестоимость ферросилиция заметно снизилась. Тогда мы решили договориться с директором абразивного завода, чтобы он не сбрасывал металлические отходы на свалку, а разгружал прямо у нас на заводе.

Переговоры велись долго. Директор абразивного завода насторожился.

— А на что вам этот металл сдался? — спросил он.

— А почему он должен пропадать, если его можно пустить в дело? — вопросом на вопрос ответил Власов.

— Погрузка его в вагоны и выгрузка у вас на заводе стоит денег. Кто нам будет за это платить?

— Но ведь вы все равно его погружаете и выгружаете. Разница только в том, что выгружаете на свалке, а мы предлагаем разгружать у нас на заводе.

— Не могу.

— Почему же не можешь?

— Там я привез и сразу же все сбросил, а как это будет у вас — еще вилами на воде писано. То место для разгрузки не подготовлено, то еще что-нибудь случится — и будут простаивать вагоны и рабочие. Разве я не знаю, как это бывает?.. Не могу, и все.

В конце концов договорились, что мы будем оплачивать все транспортные расходы завода, а металл он будет отгружать бесплатно. Это

было выгодно для обоих заводов. Но каждая сторона после окончания переговоров и соглашения все же считала, что дала маху: директор абразивного завода сожалел, что отдал бесплатно свой металл, а мы — что согласились оплачивать абразивщикам транспортировку.

У нас уже было новое отношение к себестоимости. Мы почувствовали вкус к вопросам экономики производства. Его привил нам Серго Орджоникидзе.

Зима 1935 года была очень снежной. Метели, длившиеся неделями, заметали все пути-дороги. Автомобильный и железнодорожный транспорт действовал с большими перебоями.

Запас хромистой руды на заводе был небольшим, а основной рудник, откуда поступала руда, из-за снежных заносов оказался отрезанным от железной дороги. Надвигалась угроза остановки завода.

Тут вспомнили, что за несколько лет на заводе накопилось в отвалах большое количество мелкой руды: вся поступающая на завод руда дробилась, мелочь отсеивалась. Никто ее и не считал за руду — мы не умели ее перерабатывать. Она дождалась того времени, когда будет построен цех для брикетирования рудной мелочи.

На совещании с начальниками цехов я обрисовал положение с рудой и предложил переплавлять в печах рудную мелочь. Начальник первого цеха категорически отказался.

— Нельзя этого делать, мы все печи загубим. Я, откровенно говоря, и не знаю, как вести процесс плавки на мелкой руде... Вы ведь нам сами когда-то говорили, — напомнил он, — что в печи следует загружать кусковую руду, а не пыль.

Началась жаркая дискуссия, в ходе которой выкристализовались три предложения. Первое: остановить печи на ремонт раньше срока. Но у нас были срочные заказы на феррохром и мы подвели бы ряд сталеплавильных заводов. Второе: передать запас кусковой руды первому цеху — ему хватило бы на три-четыре недели, а за это время могли расчистить дорогу на рудник. Печи же второго цеха временно переключить на выплавку ферросилиция. И третье предложение: переплавлять мелкую хромистую руду.

Я настаивал на последнем.

В виде поощрения я предложил не включать стоимость руды при определении цеховой себестоимости феррохрома, поскольку она уже списана с баланса (в себестоимости же феррохрома стоимость руды составляла двадцать — двадцать пять процентов).

Начальник второго цеха сразу сообразил, что в случае удачной премии за низкую цеховую себестоимость металла будет большой, и заявил, что попробует работать на мелочи.

Его опыт оказался удачным. Регулировка работы печей усложнилась, но вести плавку все же было можно. В первый же месяц работы второго цеха на мелкой руде заработок работающих на феррохромовых печах возрос в три-четыре раза. Это вызвало на заводе большой шум. Ко мне пришла делегация из первого цеха.

— Почему это вы в такие условия поставили второй цех?

— Но вы ведь отказались перерабатывать мелкую руду. Если хотите, то и вы можете ее переплавлять. Подумайте и скажите.

Первый цех также переключился на переплавку рудной мелочи.

В результате все отходы руды — несколько тысяч тонн — были переплавлены, и завод не только вышел из трудного положения, но и получил большую прибыль. После этого успеха заводских работников буквально одолел какой-то зуд. Появилось много предложений, как, где и что мож-

но сэкономить. Немало, естественно, было неверного или несвоевременного, но было достаточно и такого, что действительно вело к снижению расходов, и мы такие предложения реализовывали.

Несмотря на то, что при заводе был построен большой жилой массив и жилищный вопрос не представлял особой остроты, все же жильем приходилось заниматься немало.

В те годы многие рабочие отказывались поселяться в больших каменных домах. В квартиры, расположенные на первых этажах, еще шли, но жить выше многие отказывались наотрез.

— А куда же я поросеночка поселю? Ну сам-то еще туда-сюда, на третий этаж заберусь, но с поросенком-то как быть?

Почти во всех дворах домов вскоре после их заселения выстраивались ряды сараюшек, где жильцы держали не только разнообразный скраб, но и разную живность — поросят, кур, а некоторые даже коров. Это было естественно — на завод пришло много людей из деревень. Они еще не могли представить себе жизни без коровушки, без поросенка, без птицы, а кроме того, это было и значительным подспорьем к получаемому заработку, в особенности у низкооплачиваемых, неквалифицированных рабочих.

На всех заводах Урала многие рабочие и в старые времена имели свои небольшие хозяйства. В 1929 году, когда я впервые попал на небольшой уральский заводик в селении Пороги, я еще застал этих полурбочих-полукрестьян. Почти все они держали скот, и не только коров и свиней, но и лошадей. У них были большие огороды и даже сенокосные угодья. В те времена металлургические заводы останавливались во время сенокоса. Директора заводов не могли ничего сделать, чтобы удерживать своих рабочих, и вынуждены были прекращать работу даже в основных цехах и вести разного рода ремонтные работы.

У многих рабочих нашего завода также была тяга к земле, многие хотели иметь земельные участки, заниматься огородами, садами, держать живность. Это поощрялось. И наряду с жилищным строительством, которое вел завод, недалеко от заводской территории был отведен значительный земельный участок под индивидуальное строительство. Завод оказывал застройщикам кой-какую помощь, но этого, видно, было недостаточно. К нам стали поступать сведения, что на индивидуальное строительство «уплывают» также и дефицитные заводские материалы.

Как-то ко мне пришел начальник отдела снабжения завода Воронов и сказал:

— У нас большой расход гвоздей. На каждый ящик для упаковки ферровольфрама — (а гвозди шли главным образом на изготовление ящиков) — необходимо пятьдесят шесть гвоздей, ну самое большее шестьдесят. Сколько изготовлено ящиков — известно. Подсчитать, сколько нужно гвоздей на всю программу, легко. А сколько гвоздей израсходовано? В четыре раза больше! Знаете, куда наши гвозди идут? На индивидуальное жилищное строительство. Весь поселок на наших гвоздях держится. Охрана в проходных многих задерживала и гвозди у них из карманов высыпала. Тащат наши гвозди...

Вопрос о гвоздях был поднят на производственно-техническом совещании. Когда Воронов привел расчеты действительной потребности завода в гвоздях и повторил то, что уже говорил мне — «тащат наши гвозди», — кто-то из участников совещания спокойно произнес:

— И будут тащить! В продаже гвоздей-то нет. Что же делать тем, кто строится, как не тащить? И рады бы купить, да негде.

Вот тогда и возникла мысль об организации на заводе гвоздильного производства, хотя бы полукустарного.

Вместе с Вороновым мы решили собрать наиболее заинтересованных в получении гвоздей — тех, кто на выделенном около завода участке строил себе индивидуальные домики. Коротко рассказали о расширении гвоздей на заводе.

— Вообще-то расхитителей следовало бы отдать под суд. Кое-кого из сидящих здесь также задерживали в проходной и отбирали гвозди,— сказал Воронов.

— Ну, а если мы поставим небольшой станочек и на нем тонн десять—двадцать гвоздей сделаем,— как думаете, хватит на ваше строительство? — спросил я.

— Да если бы вдвое меньше дали, и то хватило бы! — с жаром сказал один из присутствующих на собрании.

И я подумал: а что, если поехать на Магнитогорский завод и выпросить там бракованную проволоку. Когда я был на Магнитке, то у проволочного цеха видел не одну кучу проволоки-путанки. Мне казалось, что ее можно выправить, перетянуть на волочильном станке, а из проволоки различной толщины можно на небольшом станочке изготовить уйму гвоздей.

Я сказал:

— Мы вам поможем, достанем проволоку, установим станочек, а вы поработайте. Будет проволока — будут и гвозди.

Все с радостью согласились.

«Теперь надо ехать на Магнитку и доставать проволоку»,— подумал я, уходя с собрания

Директором Магнитогорского завода был тогда Абрам Павлович Завенягин. У меня с ним, как я уже говорил, давнее знакомство и даже дружба. Не могу не сказать хотя бы коротко, что это был за человек. Умница, инициативный, упорный в отстаивании своей точки зрения: уж если он что задумал, то не было, казалось, ни доводов, ни силы, которые могли бы заставить его изменить свою позицию. К своим решениям он приходил в итоге глубокого анализа всех соображений «за» и «против». Он мог подолгу, внимательно выслушивать людей, тщательно взвешивать все их доводы. Он никогда не обрывал своих собеседников. Совещания, которые он проводил, были длительными, и я частенько недоумевал: ну как это он может выслушивать такие долгие, порой скучные, даже нудные, а иногда и просто глупые речи!

— Надо же дать человеку высказаться, а может, он что и путное скажет,— смеясь, возражал он мне, когда мы возвращались с таких долгих, утомительных совещаний.

Завенягин приехал в Горную академию из Донбасса. В Юзовке он был секретарем уездного комитета партии. Когда ректором академии был избран Иван Михайлович Губкин — тогда ректоры не назначались, а избирались,— он обратился к партийной организации с просьбой выделить ему в помощь нескольких студентов для работы в ректорате. Среди них был Завенягин. И. М. Губкин назначил его вскоре, как об этом уже было сказано, своим заместителем. С именем Завенягина связаны строительство и реконструкция ряда наших заводов, а также организация многих отраслей новой техники. Умер Завенягин в декабре 1956 года, будучи заместителем Председателя Совета Министров СССР.

На протяжении всей своей жизни он неустанно занимался большой организационной работой и был блестящим администратором. Наукой управлять он владел великолепно.

Уже тогда, в Горной академии, Завенягин проявил недюжинные организаторские способности, показал себя реально мыслящим, находчивым человеком. Это была его идея — использовать знания и опыт профессорско-преподавательского состава и энтузиазм студенчества для того, чтобы решить на первый взгляд неразрешимую задачу: создать из ничего учебное и научное учреждение.

В то время нечего было и думать о получении средств на оборудование, материалы, приборы, аппараты. В стране только что закончилась гражданская война, а Поволжье поразил страшный голод. Просить о материальной помощи было не только бессмысленно, но и стыдно. Губкин собрал совещание и предложил всем заведующим кафедрами самим изыскать средства на оборудование лабораторий. Тогда выступил Завенягин. Подчеркнув, что в стенах академии собраны специалисты, которые могут многое сделать для промышленности, он стал развивать свои мысли:

— Ведь мы можем брать от промышленности заказы и на заработанные деньги приобретать оборудование, приборы. Только так реально мы можем превратить эти пустующие помещения в учебные аудитории и научно-исследовательские лаборатории. А для того, чтобы у людей была заинтересованность в этих работах, установим такой порядок: сорок процентов от вырученных за выполненные работы денег будем передавать тем, кто будет выполнять эти работы, а шестьдесят процентов — на приобретение оборудования для лабораторий.

Так Завенягин тогда и поступил. И это позволило не только быстро оснастить лаборатории всем необходимым, но и превратило академию в научный центр, выполнивший много полезных для страны работ. Было тогда Завенягину всего двадцать лет. В тридцать четыре года он был уже директором крупнейшего в стране Магнитогорского металлургического завода, кандидатом в члены ЦК партии.

Серго Орджоникидзе одинаково высоко ценил Завенягина и Тевосяна, и оба они с особой теплотой и восторженностью относились к Серго. Я знал, как тщательно, любовно выполняли они все его поручения, не передоверяя никому, сами следили за тем, чтобы все указания Серго неукоснительно выполнялись.

Это был замечательный пример отношений между государственным деятелем старшего поколения и выращиваемыми им новыми кадрами руководителей, отношений, основанных на глубоком взаимном уважении, доверии и заботе.

Завенягин нередко приезжал в Челябинск на заседания обкома, и я с ним имел возможность встречаться.

После совещания относительно гвоздей я решил переговорить с ним по телефону, прежде чем ехать на Магнитку.

— А я завтра в Челябинске буду,— сказал мне Абрам Павлович, когда я позвонил ему на завод.— Там и поговорим, да и повидаемся, а то я тебя уже давно не видел.

С Завенягиным мы встретились на даче у Власова, я еще жил один, бобылем,— семья находилась в Москве. Жена все хворала. Власов предложил переночевать у него, и мы с Завенягиным расположились в одной комнате. Спать нам не пришлось — проговорили до утра. Вспомнили Горную академию, Гипромез.

— А помнишь, как тебе от Серго попало?

— Почему ты это вспомнил?

— Почему? Мне кажется, что Серго обладает каким-то особым даром поднимать настроение людей, зажигать их. Он как аккумуляторная батарея огромной мощности.

В самом деле, даже когда Орджоникидзе наказывал людей, он их словно приподнимал.

— Ударить можно по-разному: стукни человека по темени — у него голова опустится и он, кроме своих сапог, ничего не увидит; толкни его в подбородок — у него голова приподнимется и он увидит новые горизонты. Так, что ли? — сказал Завенягин.

Мы оба в темноте рассмеялись.

— А помнишь, как ты скис, когда тебе объявили выговор с опубликованием в печати, а после разговора с Серго ты приехал в великолепном настроении.

И мы припомнили историю с выговором. После окончания Московской горной академии Завенягин был назначен, как я уже говорил, директором Гипромеза. Дела в Гипромезе обстояли в то время очень плохо. Сроки выполнения проектных работ затягивались, а это ставило в трудное положение строящиеся заводы. Со всех концов страны в Наркомтяжпром шли одна за другой тревожные телеграммы.

Мы жили тогда с Завенягиным в одной комнате большой пятикомнатной квартиры — он предложил мне переселиться к нему. Хотя мне в Ленинграде и предоставили хорошую квартиру, но мы еще не отвыкли от условий студенческого общежития. Как-то утром, первым развернув газету «За индустриализацию», я увидел приказ Орджоникидзе, в котором Завенягину за необеспечение строительства металлургических заводов технической документацией объявлялся выговор с опубликованием в печати.

Войдя в комнату, где мы спали, я тут же прочел приказ Завенягину.

Абрам Павлович взял у меня газету, собственными глазами увидел приказ, нахмурился и сказал:

— Не успели назначить, а уже выговор объявляют. Ну как тут можно работать?

Я был всецело на стороне Завенягина.

— Действительно, в чем здесь твоя вина? Разве можно в такой короткий срок выправить положение с документацией?

— Сегодня же поеду к Серго, буду просить об отставке. Кто станет теперь считаться со мной! Без выговора и то трудно было чего-либо добиться, а теперь и вовсе невозможно будет. Со мной никто и разговаривать-то не захочет.

Весь день Завенягин был мрачнее тучи, а вечером выехал в Москву.

Через день он должен был вернуться. Я знал, когда он придет, и не уходил на работу, дожидаясь его возвращения. Наконец хлопнула дверь прихожей, и я увидел веселое лицо Абрама Павловича. Своего хорошего настроения он не мог скрыть, да, по-видимому, и не пытался.

— Был у Орджоникидзе?

— Конечно, был!

— Ну и как? Что он сказал?

Завенягин рассмеялся.

— Сейчас все расскажу по порядку, дай только раздеться. Попал я к Серго вчера днем. С утра у него было совещание. Как только оно закончилось, Семочкин говорит: «Заходите, я ему уже докладывал — он вас ждет». Открываю дверь, вхожу, а у него в кабинете еще народ — члены коллегии. Орджоникидзе увидел меня, подошел, поздоровался, положил мне на плечо руку и спросил: «Ну, как дела?» — «Неважно, товарищ Серго, — говорю я ему. — Работа, вероятно, мне не по плечу. Да ведь вы сами ее уже оценили, выговор мне объявили. По всей видимости, мне не справиться с этим делом». Серго снял с плеча руку, слегка

толкнул меня вперед и, обращаясь к присутствующим, сказал: «Посмотрите-ка на этого молодого человека! Его Серго обидел, а он на советскую власть не хочет больше работать!» Я было к двери, а он: «Нет, товарищ Завенягин, подожди! А при чем тут, товарищ Завенягин, советская власть? Ты вот на что ответь мне!» Потом показал на стул и сказал: «Садись!» Я сел. «Рассказывай, в чем у тебя основные трудности». Говорю, конструкторов не хватает, чертежники перегружены. «Сколько тебе дополнительно народа нужно?» — «Около двухсот человек». — «Так ты воюй за них. Сходи в Ленинградский обком, там поговори. Да поговори так, чтобы тебя и в Москве слышно было! Тебе теперь, Завенягин, терять нечего. Выговор у тебя есть, и об этом знает вся страна. Два выговора сразу один за другим не дают. Воспользуйся случаем — шуми, стучи кулаками, требуй. Говори там, в Ленинграде, что это выговор дали не тебе, а всей ленинградской организации. Как, мол, вы могли допустить, чтобы молодой специалист начал свою деятельность с выговора... Возвращайся в Ленинград и воюй за кадры, за план. Ну, и я тоже поговорю с обкомом, попрошу их помочь тебе. Желаю удачи, товарищ Завенягин». На этом у меня разговор с Серго и закончился.

Завенягин принялся расхаживать по комнате и насвистывать.

— Сегодня же поеду в обком, — заявил он потом решительно.

Не успели мы с ним выйти из дому, как раздался телефонный звонок. Звонили из Гипромеза и передали, что звонил секретарь обкома и спрашивал Завенягина.

Через две недели в Гипромез было направлено с ленинградских предприятий сто восемьдесят новых работников.

Через три месяца положение с технической документацией было выправлено, и в газете «За индустриализацию» появился новый приказ Орджоникидзе, снимавший налог на Завенягина взыскание...

— Абрам Павлович, не сможешь ли ты в одном деле? — спросил я Завенягина, боясь откладывать разговор о гвоздях до утра. — Пройший раз, когда я был у тебя на Магнитке, я видел у проволочного цеха много проволоки-путанки, не дашь ли ты нам тонн пятнадцать — двадцать? Одним словом, платформу такой путанки.

— А зачем она вам понадобилась?

Я рассказал ему историю с гвоздями.

— Такую проволоку я могу дать, но это не решение вопроса... Как же много металла нужно, чтобы насытить страну. Надо новые заводы строить. Еще в Гипромезе мы думали о строительстве завода качественных сталей на бакальских рудах. Надо снова вопрос поднять... Ну, давай поспим немного, а то завтра голова будет болеть.

Хотя в дачном поселке уже пели петухи, мне не спалось. Разговаривая с Завенягиным о Серго, я вспомнил об одном поручении, которое получил от Орджоникидзе еще в 1932 году. Его очень заботил выбор дальнейших путей для развития металлургической промышленности. Не будучи специалистом, он каким-то особым чутьем определял основные проблемы каждой отрасли, на решении которых следует сосредоточивать усилия.

Находясь в Эссене, я получил длинный перечень вопросов, связанных с организацией производства стали, и небольшое письмо Серго Орджоникидзе, в котором он просил встретиться с Крупном фон Боленом, Рёхлингом и другими руководителями германской металлургической промышленности и поставить перед ними такой вопрос: каким способом они на нашем месте производили бы сталь — мартеновским или конверторным? Серго писал, что этот вопрос обсуждали в Москве спе-

циалисты и огромное большинство их высказалось за мартеновские печи. Они утверждали, что производство стали в конверторах — это отжи- вающий метод. Конверторная сталь обладает невысоким качеством, и применение ее в нынешних условиях ограничено. В Европе, мол, ее из- готовят потому, что у них конверторы установлены еще в начале ве- ка. Вместе с тем известно, что в Англии строится новый завод, писал Серго, оборудованный конверторами. Никто не мог дать вразумитель- ного ответа на вопрос, почему же англичане ставят на этом заводе кон- верторы, а не мартеновские печи.

«Вопрос, что строить: мартеновские печи или конверторы? — писал Орджоникидзе, — очень важен для нас в связи с планами сооружения новых металлургических заводов и расширения существующих».

Я решил прежде всего получить консультацию у Германа Рёхлин- га, владельца металлургических заводов в Вецларе и в Саарской об- ласти.

Рёхлинг был колоритной фигурой, выделявшейся среди немецких промышленников. Он оставался верноподданным императора Виль- гельма II даже после краха монархии и поддерживал с ним добрые от- ношения в изгнании. Вильгельм, видимо, ценил Рёхлинга, во всяком случае помнил о нем, недаром в день своего шестидесятилетия Герман Рёхлинг получил от экс-императора поздравительную телеграмму.

Рёхлинг хорошо знал промышленность Европы, внимательно сле- дил за ее развитием и вовремя принимал меры, чтобы отхватить наибо- лее выгодные и перспективные области для вложения своих капиталов. Это был старый, опытный индустриальный волк. Он хорошо знал, ка- кую овцу следует хватать и за какое место ее легче всего удержать.

С Германом Рёхлингом у нас был договор о технической помощи, по которому мы могли держать на заводах в Вецларе и Фёльклингене до двенадцати практикантов одновременно. В связи с работой практи- кантов и для консультации по ряду возникающих в нашей промышлен- ности вопросов мне приходилось часто выезжать на эти заводы.

Получив письмо Орджоникидзе, я позвонил на завод в Фёльклинге- не и договорился о встрече с Рёхлингом.

Я приехал в Фёльклинген в назначенное время, оставил чемодан в гостинице и сразу же направился к главной конторе завода. С Рёх- лингом я встретился на лестнице — он поднимался вместе с молодой девушкой. Поздоровавшись со мной, Рёхлинг познакомил нас:

— Моя племянница. А это русский большевик.

— Откуда вы знаете, что я большевик? Насколько мне известно, ни советские, ни иностранные газеты об этом не сообщали.

— Молодой человек, — в глазах Рёхлинга сверкнули насмешливые огоньки, — ваша партия — правительственная партия, так неужели же она не будет посылать своих членов для выполнения поручений за гра- ницей? Я никогда не спрашивал вас, член вы партии или нет. Не спра- шивал потому, что не хотел и не хочу ставить вас своим вопросом в затруднительное положение. Но ваших практикантов я часто спраши- вал об этом, и все они давали мне один и тот же стандартный ответ: беспартийный. Собственно говоря, меня не интересовала и не интересует партийная принадлежность ваших людей. Я не имею к ним никаких претензий, они ведут себя корректно. Меня интересует другое. Почему те, кто их инструктирует, исходят из того, что мы все здесь идиоты и будем верить тому, что они нам отвечают?.. Но оставим этот разговор, все это не имеет ровно никакого значения... Так о чем же вы хотите со мной проконсультироваться? — спросил Рёхлинг, когда мы, поднявшись по лестнице, вошли в его кабинет.

— У меня к вам поручение от Орджоникидзе. Скажите, как бы вы, будучи на его месте, развивали дальше металлургическую промышленность? Что бы вы строили — мартеновские печи или конверторы?

— Разумеется, конверторы,— не задумываясь, ответил Рёхлинг.

— А почему?

Рёхлинг в упор посмотрел на меня и задал вопрос, который поставил меня в тупик:

— В тысяча девятьсот тридцать седьмом году вы хотите выплавить семнадцать миллионов тонн стали. Так ведь? Вы находитесь уже второй год в Германии, и вам, конечно, известно, что наиболее экономичным производство стали в мартеновских печах будет тогда, когда вы в печь будете загружать тридцать процентов чугуна и семьдесят процентов стального лома — скрапа. Скажите, сколько в тысяча девятьсот тридцать седьмом году у вас будет скрапа?

У меня сразу же мелькнула мысль: «А кто на этот вопрос у нас может ответить?»

— Не знаю,— произнес я в смущении.

— Сейчас я вам скажу, сколько у вас в действительности будет скрапа.— Рёхлинг нажал кнопку звонка и сказал вошедшему секретарю: — Принесите книгу о положении на скрапном рынке.

Секретарь вышел и вернулся с большой книгой, напечатанной на машинке. Рёхлинг стал листать страницы и вполголоса говорить:

— Греция... Венгрия... Франция... Англия... Вот Россия... Сколько же вы будете иметь в тысяча девятьсот тридцать седьмом году стального скрапа? Вот смотрите — четыре с половиной миллиона тонн. А чтобы мартеновские печи работали экономично, вам необходимо, как я уже сказал, иметь одиннадцать миллионов. Следовательно, вы будете пользоваться очень неэкономичным процессом, загружать в мартеновские печи огромное количество дорогого чугуна. А чугун вы могли бы перерабатывать более экономичным путем — в конверторах.

— Откуда вы знаете, сколько у нас будет скрапа? — спросил я Рёхлинга.

— Существует закономерность: весь металл, произведенный в стране, через двадцать пять лет возвращается на металлургические заводы в виде стального скрапа. Конечно, это грубый подсчет, но вполне достаточный для оценки перспектив. Помимо того, что вы сами производите сталь, вы много металла в форме разного машинного оборудования и стального проката ввозите из-за границы. Мы на этот импорт металла сделали необходимую поправку. Таким образом мы и определяем будущее наличие скрапа в вашей стране. Я бы на вашем месте строил конверторы, а не мартеновские печи,— заканчивая беседу, подтвердил Рёхлинг.

Всю эту историю я рассказал утром Завенягину и, закончив ее, спросил его:

— Скажи, а как в действительности работают у тебя на Магнитке мартеновские печи?

— Вот черт, до чего же точно предсказал Рёхлинг, как мы будем работать. Когда ты с ним вел этот разговор?

— Осенью тысяча девятьсот тридцать третьего года.

— Мы загружаем в печи до шестидесяти пяти процентов чугуна. Нам не хватает скрапа. Ну конечно, поэтому, в частности, и получается такая дорогая сталь.

Прошло еще тридцать лет, и у нас в стране вновь возник вопрос о конверторном производстве стали. Правда, за это время и метод про-

изводства стали в конверторах сильно изменился, и качество конверторной стали значительно улучшилось. Теперь уже мало осталось тех, кто сомневается в возможности ее использования для изготовления ответственных изделий, а на ряде заводов нашей страны уже построены и сооружаются новые крупные конверторы.

Нет, не зря в свое время задумался над этим вопросом Серго...

Неделю спустя после моей встречи с Завенягиным из Магнитогорска к нам на завод пришла железнодорожная платформа толстой проволоки. К концу тридцать шестого года на заводе прекратились всякие разговоры о расхищении гвоздей.

На металлургическом заводе Рёхлинга была солидно поставлена переработка доменных шлаков. Здесь из жидкого шлака отливалась брусчатка для мощения улиц, ступени и подоконники для строительства и ряд других изделий. Многие дороги в Саарской области, особенно в районах, прилегающих к заводу, были вымощены шлаковой брусчаткой.

Когда я впервые знакомился с металлургическим производством у Рёхлинга, все объяснения мне давал главный инженер завода доктор Фауст. Мне нравилась идея, которую он стремился проводить на заводе. Он говорил:

— На производстве ничего не должно пропадать. Вообще должно исчезнуть понятие «отходы производства». То, что представляет собою отход одного производства, может и должно стать сырьем для другого. Задача инженера — так построить технологический процесс, чтобы использовать все полностью, работать без отходов.

Еще тогда я обратил внимание на то, что при выпуске чугуна из доменной печи мастер на заводе Рёхлинга отбирает пробу не только чугуна, но и шлака. По пробе шлака он судит не только о качестве чугуна, но и решает, куда направить шлак, для каких целей использовать его. Если шлак подходит для отливки строительных деталей или брусчатки, мастер направляет ковш с жидким шлаком на специальную площадку, где подготовлены формы для литья. Если же шлак не подходит для этих целей, то он направляет его на установку для грануляции, где сильной струей воды шлак размельчается на небольшие частички — гранулы, затем подается в бункера и направляется строительным организациям, которые используют его на строительстве. Часть шлака сливают в шлаковые ямы, где он застывает, а затем дробится и сортируется по крупности отдельных кусков — этот дробленный шлак, как и гранулированный, в Германии широко использовали при проведении строительных работ.

На ферросплавном заводе в Эшвейлере, о котором я уже упоминал, шлаки перерабатывало связанное с фирмой небольшое дочернее предприятие. На небольшой площадке у заводского забора под навесами стояли дробилки, большие сита и магнитный сепаратор. Удаляемый из печей шлак тут раздробляли и пропускали через магнитный сепаратор, выбирая из него частицы феррохрома. Потом дробленный шлак проходил через сита, распределялся на несколько фракций по крупности частиц и направлялся в бункера.

Такой шлак охотно покупали строительные фирмы, особенно для дорожного строительства. Так небольшое предприятие зарабатывало большие деньги, торгуя дробленным шлаком и возвращая основному производству выделенный из шлака металл, а ферросплавный завод избавляло от расходов на уборку шлака.

У нас же шлак из цехов вывозили в конец заводской территории и там сваливали под откос. Уборка тонны шлака стоила заводу три руб-

ля. Шлак нужно было погружать на железнодорожные платформы или автомашины, вывозить на место свалки и разгружать там.

Я решил посмотреть эту свалку. По огромной горе шлака бродило несколько женщин и ребятишек. Они что-то собирали в ведра и корзины. Я подошел к ним, спросил:

— Что вы собираете?

— А разве здесь запрещено ходить? — не отвечая на мой вопрос, вызывающе спросила одна из женщин, обмотанная платком.

— Нет, не запрещено. Просто интересуюсь: может, и я вместе с вами собирать буду.

Все засмеялись.

— Уголь для самоваров да утюгов, больше ничего путного здесь не найдешь, сколько ни ищи,— произнесла женщина в платке.

Среди шлаковой массы, кроме кусочков древесного угля и кокса, кое-где блестящие шарики феррохрома — металлурги их называют «королями».

Самый дешевый сорт феррохрома в те годы стоил несколько более двух тысяч рублей за тонну. Я понимал, что и нам следовало бы наладить переработку и сортировку шлака и извлекать из него все металлические частицы.

Но на заводе не хватало рабочих рук. Кроме того, на разработку проекта такого подсобного предприятия, на утверждение его и получение средств на строительство ушло бы очень много времени. Сколько же пройдет времени, подумал я, пока мы практически сумеем приступить к этому? А хотелось все делать быстро. Почему же не предложить вот им, этим женщинам, выбрать металл из этой огромной шлаковой горы. Конечно, следует заплатить. Сколько? Рубль за килограмм? Почему рубль? Могут ведь потребовать обоснование. Стало как-то смешно. Просто будет им легко считать: десять килограммов — десять рублей, сто килограммов — сто рублей. Вот и обоснование! А завод сможет весь этот металл использовать и тоже будет не в накладе.

Снова, обращаясь к женщинам, я сказал:

— Вы бы лучше вот такой металл собирали вместо угля.

— А на кой ляд он нам нужен. В бабки, что ли, с тобой играть? Уголь-то мы для самовара собираем.

— А я за этот металл заплачу по рублю за килограмм.

Женщины посмотрели на меня с недоверием. А самая бойкая из них сказала:

— А не обманешь?

— Нет, не обману. Соберите побольше, а потом приходите вон в то здание.— И я показал на заводоуправление.

Через две недели секретарь, войдя в кабинет, сказала мне:

— Вас спрашивает какая-то женщина.

— Пусть войдет.

— Он самый и есть,— сказала вошедшая.— Ну, говорил, что по рублю за килограмм заплатишь — теперь бери и плати. Я много этих шариков насобидала.

Я вызвал Воронова и сказал ему:

— Возьмите под отчет деньги и поезжайте с этой женщиной. Заберите у нее весь феррохром. Взвесьте и заплатите по рублю за килограмм. Заплатите сразу же. Как только взвесите, так немедленно и заплатите.

Мне важно было не допустить, чтобы за деньгами сборщицы ходили неделю и их гоняли за разного рода справками.

Воронов скоро вернулся и сказал:

— Туда с грузовиком ехать надо, там около двух тонн металла будет.

— Возьмите грузовик и, главное, сразу же с ней рассчитайтесь. На следующий день один из инженеров, зайдя ко мне, сказал:

— Вы не видели, что на шлаковом отвале делается?

— Нет, а что?

— Там полпоселка работает, всю шлаковую гору перекапывают.

Приходившая ко мне женщина получила от Воронова тысячу семьсот восемьдесят рублей. Ее муж работал на заводе и зарабатывал в месяц шестьсот двадцать рублей. Мы едва успевали принимать от сборщиков металл и, переплавляя его в печах, сильно увеличили производство. В Москве недоумевали: чем вызвано такое большое увеличение производства феррохрома?

Но здесь опять, оказывается, я сделал нарушение — так платить, как я платил, было нельзя. А как следовало платить, никто не мог сказать.

— Вам никто права устанавливать расценки и производить незаконные выплаты не давал, — услышал я гневные слова из главка.

Наш Клондаик пришлось закрыть.

На заводе не все печи были хорошей конструкции. Одна из них совершенно не подходила для производства ферросплавов, и на ней никто не хотел работать. Расход электроэнергии у нее был очень высоким, а производительность низкая. Когда-то это была сталеплавильная печь, потом ее кое-как приспособили для ферросплавного производства. Однажды в разговоре с начальником ремонтно-механического цеха, опытным механиком, я спросил:

— А не можем ли мы эту печь полностью реконструировать? Неужели у нас не хватит ума сделать такую же конструкцию, как эти? — И я показал на новые печи, полученные в свое время из Германии.

— Почему же, сможем! Надо только захотеть.

Новый корпус печи работники ремонтно-механического цеха изготовили за месяц. Печь смонтировали, предварительно разобрав старую. Я с изумлением глядел на отлитые из алюминия буквы ЧЭМК — Челябинский электрометаллургический комбинат, — прикрепленные на том месте, где обычно на печах, полученных из-за границы, стояла эмблема фирмы. Специалисты ремонтно-механического цеха любовно изготовили все детали и даже отлили и закрепили на корпусе печи свою марку.

Увидев печь с нашим фабричным клеймом, я почувствовал, как радостно забилось у меня сердце. Я вспомнил Сименса и «АЭГ», как они хотели поставить нас на колени, как диктовали нам цены, как во время переговоров вел себя Иост, нагло-откровенно показывая, что мы без них все равно не обойдемся.

Ан нет, обойдемся! В наших механических ремонтных мастерских сделана такая же печь, какие готовят на специальном оборудовании лучшие заводы Германии. Да, они в то время были лучшими в Европе — печи Сименса я видел не только на немецких заводах, но и в Англии и в Швеции.

Когда мы осматривали печь, механик цеха стал разворачивать что-то завернутое в старую газету.

— Вот еще хочу вам показать, похвастаться.

В его руках была новая фреза. Тогда такие фрезы только-только стал изготавливать московский завод «Фрезер», но выпускал их он в то время мало и нашему заводу достать их было практически невозможно — они шли на машиностроительные заводы.

— Ремонтные цехи могут пока обойтись и без такого инструмента, — отвечали нам на просьбы о фрезях.

— Сами сделали — в ноги никому кланяться не будем. Не хуже, чем «Фрезер» делает,— продолжал механик.

В глазах его и на улыбающемся лице можно было читать все обуревающие его чувства: и радость удачи, и удовлетворенность результатами решения поставленной задачи, и гордость.

А я думал: ведь когда включили первые электропечи завода, когда из них вылетел снап искр и полились первые струи жидкого шлака и металла, когда раздался рев гигантских вольтовых дуг, двое рабочих из пусковой бригады в страхе спрыгнули с площадки прямо вниз — так были они напуганы необычным зрелищем,— и долго еще они не могли спокойно работать: у них из рук валился инструмент. Но вот прошло всего три года — и они же легко и уверенно управляют печами. Правда, пока это были чужие печи — мы еще не умели изготавливать своих. А теперь сами и печь сделали. Теперь нас не испугаешь и не остановишь тем, что нет инструмента.

Рассматривая изготовленную в наших мастерских фрезу, я вспомнил проспект одной из немецких фирм, изготовлявших инструмент. На первой странице проспекта, отпечатанного на русском языке, стояло: «Догнать и перегнать Америку вы сможете, пользуясь нашим инструментом».

Нет, мы догоним всех вас, пользуясь своим инструментом. Только бы нам не мешали.

Как трудно быстро двигаться вперед, держа в одной руке винтовку, а в другой — штурвал.

Ну ничего, выдержим, выдюжим!

Чем только не приходилось заниматься на заводе в эти два года! В конце 1936 года в «Правде» появилась статья, призывающая устраивать для детей новогодние елки. Директор завода был в Москве и прислал оттуда нам телеграмму об этом. Я пригласил заведующую детским садом. Это была еще совсем молодая девушка, в революцию ей было всего два года. Она за свою жизнь не видела ни одной праздничной елки. Да и вообще случилось как-то так, что на заводе я оказался чуть ли не единственным человеком, который видел рождественские елки и в детстве, еще до революции, когда они устраивались во многих школах, и всего год назад, в Германии и Франции. Пришлось помогать устраивать первую советскую новогоднюю елку. В детском саду, собрав воспитательниц, я стал рассказывать все, что знал.

— Ну, а что детишки у елки делать будут? Стоять как истуканы? — спросила одна из молодых воспитательниц, явно недовольная всей этой затеей.

В самом деле, что же происходило у елки? Я сам тогда был всего один раз на ней. Помню, что все танцевали и я тоже. Но так как танцевать я не умел, то, через минуту наступив своей партнерше-девочке на ногу, я так растерялся, что забыл обо всем на свете. Вспомнил я, правда, что, перед тем как уйти из школы, каждый вынимал билетик с номером и по нему получал подарок. Мне достался тогда похожий на апельсин мяч. Моих сведений для организации елки было явно недостаточно, но другие и этого не знали.

Энергичная молодая воспитательница не успокаивалась:

— Это же надо будет заставить детишек рождение Христа прославлять. Елки-то устраивались на религиозной основе. Даже как-то странно слышать об этом... — Она запнулась и закончила: — От... вас.

— А почему странно? Кто же предлагает Христа славить? Ведь можно устроить веселый детский праздник. Давайте приложим все усилия к тому, чтобы елка была нарядной.

— Ну и попадет нам за эти усилия,— не унималась воспитательница.— Я думаю, этот вопрос следует сначала в парткоме обсудить.

— «Правда» пишет об устройстве детских елок, а вы все чего-то боитесь,— сказал я.

— «Правда»? Так чего же вы об этом сразу не сказали!

Не теряя времени, работники детского сада занялись изготовлением игрушек для елки. Потребовался разноцветный картон и изобретательность авторов. Ну, наделаем пятиконечных звездочек, а дальше: что навешивать на елку еще, а где взять свечи и как их на елке закрепить? — тревожились все.

Выручил приехавший из Москвы Власов. Он привез с собой несколько ящиков настоящих, не самодельных елочных украшений — Москва к устройству елок подготовилась.

С какими только трудностями не приходилось сталкиваться заводским работникам! Если бы их можно было устранить, сколько дополнительной продукции они смогли бы производить!

Ведь использовались далеко не все возможности завода. И связано это было с чрезмерной централизацией управления промышленностью, хотя в те годы, при Орджоникидзе, у директоров заводов было куда больше прав. Позже их значительно урезали. Маневрировать производственными агрегатами было трудно — жесткий номенклатурный план не позволял выходить за рамки этого плана.

Позже, как известно, планирование сверху пошло еще дальше.

— Мы теперь начинаем планировать поагрегатно,— рассказывал мне работник Госплана,— планы спускаем не только заводу в целом, но устанавливаем план и на отдельные крупные заводские установки, например на крупные пресса.

— А для чего вы это делаете? — недоумевал я.— Вы этим совсем на нет сведете роль заводских специалистов.

А сколько недоразумений, нарушений и даже невольных преступлений вызывала такая система!

Мне вспомнился такой случай. Из города к ферросплавному поселку прокладывалась трамвайная линия. Нужно было ставить металлические опоры для подвески медного провода. Необходимо было вести сварочные работы, но у строителей не было карбида кальция, и работы были приостановлены. Кто-то сообщил в Челябинский обком партии, что карбид кальция смогли бы выплавить на ферросплавном заводе. Из обкома позвонили нам и сказали, что для челябинских строителей необходимо изготовить три тонны карбида кальция. Начались длительные разговоры директора завода с одним из секретарей.

— Поймите меня — не могу я без разрешения Москвы, главка переводить печи с одного вида продукции на другой, тем более что мы вообще карбидом кальция не занимаемся,— убеждал Власов.

— Что же нам, на бюро обкома ставить вопрос об отношении директора ферросплавного завода к нуждам области?

Власов сказал, что он подумает, как быть, и сообщит в обком.

— И слева бьют, и справа бьют — куда теперь мужику податься! — воскликнул он, кладя телефонную трубку и вытирая вспотевший лоб.

В самом деле, если отказать обкому, то наживешь себе там недругов, а если начнешь плавить карбид кальция, то из Москвы получишь нахлобучку. Но обком-то здесь, рядом, а Москва далеко. От Москвы можно скрыть, что занимались не тем, что запланировано.

Остановили одну из печей будто бы на небольшой ремонт, а на

самом деле в этой печи стали изготавливать карбид кальция. Этим было положено начало обману.

А ведь можно было бы все это сделать иначе, если бы директор завода был в действительности директором и мог разумно распоряжаться всем, чем располагает завод. В случае с карбидом кальция в конце концов никто не оказался в накладе — и план по ферросплавам был выполнен, и карбид кальция изготовлен. Но все это происходило в нездоровой атмосфере пререканий, угроз, обмана. По всем отчетам и ведомостям завода прошло, что одна из печей стояла на ремонте пять дней, в то время как она стояла всего один день, а четыре дня на ней изготавливали карбид кальция. Электроэнергия, израсходованная на производство карбида кальция, была списана на производство феррохрома, что исказило действительные показатели по этому виду заводской продукции. Карбид кальция пришлось отгрузить строителям бесплатно, так как его нельзя было провести по заводской документации — это была «нелегальная» продукция.

Главная забота директора завода на Западе — это обеспечить свое предприятие выгодными заказами и при этом не продешевить. От совершенно других забот болит голова у нашего директора. Он отвечает за все и занимается всем. Особенно достается директору предприятия, строящегося в новом, необжитом районе. Он в ответе не только за чисто заводские дела, но и за жилые поселки со всеми необходимыми учреждениями: почтой, кино, школами, детскими садами, яслями, больницами, банями, клубами, стадионами. На приемах директора, которые происходили у нас, как правило, не реже раза в неделю, кто только и с чем только не бывал! Директор нашего предприятия — это вожак большого коллектива людей, и в его нигде не записанные, кстати, обязанности входит не только обеспечение нормального выполнения этим коллективом своих производственных функций, но на нем лежит также и забота о том, чтобы все материальные и духовные потребности членов этого коллектива были удовлетворены.

В последнее десятилетие мне часто приходится бывать за границей, и я невольно сопоставляю функции и положение директора советского предприятия и директора любого из предприятий капиталистических.

В 1959 году был я на урановых рудниках и химических заводах в США — в штате Нью-Мексико, в местах, немного напоминающих Челябинскую область. На большом химическом заводе было лишь несколько постоянных строений промышленного типа, значительная часть поселка состояла из передвижных домиков-трейлеров. Такой поселок производит странное впечатление. Трейлер — сооружение, по внешнему виду напоминающее автобус, но с одной только входной дверью в центре. На его небольшой площади размещены спальня, а иногда и две, столовая, кухня, душевая, санузел. Здесь достаточно места, чтобы спать, здесь можно сесть за стол и пообедать, даже не одному, а небольшой семьей. В кухоньке есть газовая плита и холодильник, но в этой «квартире» невозможно сделать даже двух шагов, здесь можно только сидеть или лежать.

Я попросил разрешения зайти в один из трейлеров. Хозяйка, пожилая женщина, извиняясь, что у нее не прибрано, пригласила меня войти. В трейлере живут по существу две семьи — она с мужем и ее замужняя дочь. По обоим концам трейлера были спальни, все остальное размещалось в центральной части.

— Давно вы здесь живете? — спросил я женщину.

— Три года. До этого мы жили в Колорадо.

— Ну, а что же вы делаете по вечерам? Есть здесь какой-нибудь клуб или кино?

— В нашем поселке нет ничего. Но мы иногда ездим в кино в город.

— Далеко отсюда?

— Нет, не очень, около семидесяти миль.

— А школа здесь есть?

— Школы нет.

— Но ведь многие живут в поселке с детьми, где же обучаются дети?

— Детей утром отправляют на автобусе в близлежащую школу, а затем на автобусе же доставляют обратно в поселок.

— А далеко ли отсюда школа?

— Семьдесят миль.

— Детишкам, вероятно, трудно учиться в таких условиях?

— Что поделаешь? — Женщина глубоко вздохнула. Видимо, она вспомнила, как обучалась ее дочь, — ведь, по ее словам, она живет в таких условиях около двенадцати лет. — Здесь есть школа-пансионат, но там надо много платить.

Дирекция рудников и заводов не несет по отношению к работающим никаких обязанностей. Рабочие выполняют работу — дирекция выплачивает им обусловленную плату. Перед владельцами заводов и шахт одна цель: больше заработать. И делают они только то, что необходимо для решения этой задачи.

Наша цель — создать вместе с современным промышленным предприятием и все необходимые условия для жизни и деятельности работающих на нем людей. Поэтому во всех наших проектах мы предусматривали возможности расширения строящихся предприятий и жилых поселков.

Директор советского завода должен во всем разбираться и во все вникать. На него обращены взоры тысяч людей, от их пристального внимания ничего не ускользает, и каждый изъян, каждый промах будет легко замечен.

День ото дня возникали передо мной в Челябинске новые и новые проблемы. День ото дня возрастала и ответственность.

Большой бедой для завода были аварии, особенно когда они сопровождались несчастными случаями. В 1936 году таких случаев на заводе было несколько. Как-то в связи с ограничением в подаче энергии пришлось отключить печи. Двое дежурных электриков, воспользовавшись остановкой, решили осмотреть высоковольтные изоляторы, установленные на крышке трансформатора, и протереть их. В то время как они находились наверху, ограничение сняли и печи можно было включать.

Третий электрик, заглянув в трансформаторную будку, крикнул:

— Никого в будке нет? Я включаю.

Работавшие на трансформаторе электрики, видимо, не слышали его, а он их снизу не заметил. Оба моментально были убиты. Этот случай заставил обратить особое внимание на технику безопасности при работе в местах, где оборудование, приборы находились под высоким напряжением.

Были приняты, казалось, все необходимые меры, но через две недели новый несчастный случай со смертельным исходом свидетельствовал о том, что сделанного недостаточно и необходимы более тщательные и решительные меры, в том числе система защитных приспособлений, действующих автоматически. Ведь причиной увечья и смерти во многих случаях была невнимательность, а то и просто рассеянность ра-

ботников. Уже много лет спустя, когда я работал в области атомной энергии, я обратил внимание на систему, созданную при работе с радиоактивными веществами. Эта система так тщательно отработана, что не идет ни в какое сравнение с системами техники безопасности, существующими на старых, давно сложившихся производствах. Объясняется это тем, что атомная промышленность складывалась в условиях, когда уровень технического развития был уже достаточно высок.

С Власовым мы хорошо сработались и научились с полуслова понимать друг друга. Я высоко ценил его как организатора, а он доверял мне как специалисту. Он пользовался большим уважением всех работающих на заводе. Знал Власову цену и оказывал большое доверие Серге Орджоникидзе.

В начале 1937 года Орджоникидзе вызвал Власова в Москву. Мы уже знали, что его предполагают направить в Свердловскую область директором Красноуральского медеплавильного завода.

Так это на самом деле и случилось.

— Серго подробно рассказывал мне, как важно сейчас увеличить производство меди и какие большие возможности есть для этого на Красноуральском заводе. Но они, к сожалению, не используются,— сказал мне Власов, вернувшись из Москвы.— Серго предложил, не откладывая дела в долгий ящик, съездить на завод, ознакомиться с производством, а потом уже дать окончательный ответ. Я поехал в Красноуральск. Какой же это интересный завод! И сколько там работы, сколько еще не решенного. Я пробыл там всего несколько дней. Расскажу только один эпизод, и вы меня поймете. Завод этот медеплавильный, но никто не удосужился проверить, а что делается с золотом, которое практически содержится во всех уральских рудах. Ну, конечно, было известно, что при плавке руды золото переходило в медь, и его при электролизе меди извлекали. Но что происходит с золотом на технологических операциях до плавки? Об этом никто не думал. А на заводе большой цех по обогащению руды — получению из нее концентрата. Одним словом, промывные воды из обогатительной фабрики системой деревянных желобов сбрасываются в речку, и никто не удосужился проверить, что же эти воды несут с собой. А одному из бывших старателей пришлось в голову по пути движения этих вод поставить фильтры. Он соорудил деревянные рамочки, заполнял их старым тряпьем и укреплял в деревянных желобах. Каждую субботу он снимал с рамок тряпье, заменял его другим, а снятое сушил и сжигал — и извлекал таким образом пятнадцать—двадцать граммов золота еженедельно. Золото он сдавал на пункт золотоскупки и зарабатывал столько, что его заводская зарплата составляла мелочишку на карманные расходы... Да, завод очень интересный,— заключил Власов.

— Так вы решили переходить туда?

— Из Красноуральска я вернулся в Москву, как просил Серго,— продолжал Власов.— Ехал я со смешанными чувствами. Очень уж не хотелось уезжать из Челябинска, сроднился я здесь со всем. Но и поработать в Красноуральске хотелось. Все же я больше склонялся к тому, чтобы остаться в Челябинске. Колебаниям положил конец Серго. Взял меня за плечо и говорит: «Так я и знал, Власов, что согласишься!» Ну, что мне оставалось после этого делать? Я дал согласие ехать в Красноуральск. Не могу я отказать Серго. А вы разве смогли бы?

Коллектив Челябинского ферросплавного жил интересно, интенси-
вно. Мы расширяли производство, осваивали новые виды сплавов, строи-

ли жилые дома, общественные здания. У завода появился свой кино-театр, на берегу горного озера — хороший пионерский лагерь.

Серго Орджоникидзе добился узаконения директорского фонда. Этот фонд складывался из отчислений от сверхплановых накоплений за счет прибыли. Если накопления превышали сумму, установленную планом, тогда в распоряжение директора отчислялось пятьдесят процентов от этой сверхплановой прибыли. Так как завод перевыполнял планы производства, а к снижению себестоимости работники приобрели уже вкус, то сверхплановые накопления у нас достигали нескольких миллионов. Часть этих средств шла на премирование, приобретение путевок в санатории и дома отдыха, на жилищное строительство и строительство детских учреждений.

В обсуждении плана использования директорского фонда принимали участие представители общественных организаций, и это создавало дополнительные стимулы для борьбы за увеличение накоплений.

Производственный план 1936 года мы закончили досрочно и значительно перевыполнили. Все были довольны. Новый год решили встретить всем инженерно-техническим коллективом. На таких встречах, которые мы проводили уже не раз, действовал неписанный закон: если директор мог позволить себе на вечере немного выпить, технический директор в этот вечер ни капли спиртного в рот не брал. Если выпивал главный механик или главный энергетик завода, то не притрагивались к рюмке их заместители. К слову сказать, из руководящих работников завода пристрастия к спиртному не имел никто. То, что рассказано, говорит лишь о том, как свойственно было всем чувство ответственности за дела на заводе.

В новогодний вечер очередь дежурить по заводу выпала мне и заместителю главного механика Сюткину. Очень интересный человек был этот Сюткин. Большого роста, с красивой окладистой русой бородой и правильными крупными чертами лица — такими представляются былинские русские богатыри. Человек спокойный и сильный, Сюткин уже самой своей внешностью внушал доверие. Он обладал большими природными способностями и богатым жизненным опытом.

Итак, на этот вечер в «горячем резерве», как это называлось, находились мы с Сюткиным. И вот когда мы все сидели за новогодним столом в заводском клубе, ко мне подошел Сюткин и, наклонившись, тихо сказал:

— На заводе авария. Только что звонили, надо ехать.

Мы быстро и незаметно покинули зал.

— В чем дело? — на ходу спросил я Сюткина.

— Видимо, прорвало магистральную трубу, питающую завод водой. Я звонил на насосную станцию, у них все в порядке, все насосы работают, а на печах воды нет. Что же еще может быть? Надо ехать на линию. Все печи отключены.

Мы сели в машину и поехали по трассе магистральных труб водопровода. Стояла лунная ночь. На небе ни облачка, а мороз достигал тридцати двух градусов. Вдруг перед нами открылась совершенно фантастическая картина: в свете луны на фоне сверкающего снега из-под земли бил огромный фонтан воды высотой в двадцать — тридцать метров, струя падала в сторону железнодорожной ветки и тут же замерзала, образуя причудливые айсберги. Возникла серьезная опасность, что лед перекроет полотно железной дороги и прекратится подача угля на электростанцию. Тогда авария достигнет районного масштаба.

Сюткин сразу понял причину аварии — в месте соединения двух труб пробило прокладку — и, оценив опасность, крикнул шоферу:

— Топор!

У каждого заводского водителя в багажнике всегда лежал топор. «Зачем ему топор?» — мелькнуло у меня в голове.

— Скорее топор! — повторил Сюткин, обращаясь к замешкавшемуся шоферу.

Выхватив из рук шофера топор, он побежал к стоявшей неподалеку поленице дров, быстро вытащил полено, затесал его на конус и бросился к фонтану. Сильным ударом обуха Сюткин вогнал клин в щель, из которой била вода, и течь прекратилась.

Весь обледеневший, с сосульками замерзшей воды на бороде и бровях, похожий на сказочного деда-мороза, Сюткин снял шапку, вытер варежкой лицо и, улыбаясь, сказал:

— Ну вот, теперь можно обсуждать, как будем ликвидировать аварию. Время для этого найдется. А печи-то пока включать можно.

Мы пошли на завод, к печам. Сюткин быстро составил план аварийных работ, дал необходимые указания ремонтникам и предложил мне возвратиться в клуб. Не то, мол, весь праздник людям можно испортить. Опасности никакой уже нет. А сам пошел переодеваться.

С самого начала 1937 года в городе поползли слухи о враждебной деятельности некоторых лиц. Участились аресты.

На партийных активах говорили о диверсиях, уже происшедших и о готовившихся, но вовремя раскрытых. Приводили результаты закончившейся проверки партийных документов, из которых явствовало, что в некоторые партийные организации пробрались чуждые элементы.

На одном из таких собраний рассказали о том, что при проверке партийных документов в Троицке у одного из членов партии, занимавшего ответственный пост, был обнаружен фальшивый партийный билет, а дальнейшее разбирательство привело к раскрытию целой группы. Оказалось-де, что колчаковцы, отступая из этих мест, оставили здесь своих людей и снабдили их поддельными партийными документами. Эта группа должна была будто бы представлять собой партийную организацию, работавшую в тылу Колчака. Члены этой группы всячески поддерживали и продвигали друг друга на высокие должности в советских и партийных организациях.

Мы слушали эту историю, как криминальный роман, но не имели никаких оснований ей не верить. Невольно и у меня самого зарождались разного рода сомнения и подозрения: а кто же окружает меня?

И вдруг ко всем прочим тревогам и бедам на всех нас обрушилось тяжелое горе. 19 февраля 1937 года утром, когда я еще был дома, раздался телефонный звонок. Я поднял трубку и услышал голос дежурного по заводу. Медленно, как будто бы говоривший был тяжело болен, дежурный передал сообщение, полученное из Москвы. Ошеломленный, я продолжал держать возле уха телефонную трубку, хотя разговор давно уже был окончен.

— Ты что не едешь? — услышал я словно издали голос жены. — Да что с тобой?

Говорить я не мог, только с трудом выдавил из себя единственное слово:

— Серго.

— Что Серго? — с ужасом в глазах, прикрывая рукой рот, вскрикнула жена.

Я молча опустил голову.

Серго не стало...

Аресты начались и на нашем заводе. Был арестован начальник строительства нашего электрометаллургического комбината В. Яковлев. На всех, кто его знал, это произвело очень тяжелое впечатление.

В. Яковлев приехал в Челябинск не по своей воле — до этого он был секретарем Хамовнического райкома ВКП(б) в Москве и входил в состав бюро Московского комитета, когда секретарем МК был Угланов. Когда Угланов был снят с поста секретаря МК, освободили и Яковлева.

Крупный, белокурый, с большими голубыми глазами, Яковлев уже своей внешностью производил приятное впечатление и располагал к себе. Он приехал в Челябинск с женой и сыном Илюшей. Способный, красивый, воспитанный мальчик, Илюша учился в одной школе с моей дочкой, но был значительно старше ее. Об Илюше очень хорошо отзывались учителя, а родители его были хорошими, простыми, гостеприимными людьми. За что же Яковлева арестовали? Видимо, за какие-то политические дела. Угланов был освобожден с поста секретаря Московского комитета как правый уклонист, затем он исчез. Может быть, какие-то проступки Яковлев совершил, будучи еще в Москве? В Челябинске его жизнь и деятельность проходили на виду у всех. Дела на строительстве, которым он руководил у нас, не давали ни малейшего повода обвинить его в чем-либо.

Но вот в феврале на Пленуме ЦК Молотов специально остановился в своей речи на «уроках вредительства, диверсии и шпионажа японо-немецких троцкистских агентов». Он говорил о вредительстве Яковлева в Челябинске, приводил его показания. Это было настолько чудовищно, что мы буквально были потрясены.

Мы не могли не верить Молотову, не могли не верить тому, что он действительно приводил показания самого Яковлева. Ну, если Яковлев — вредитель, кто же тогда не вредитель? «Не верю, — говорил я себе. — Не могу поверить тому, что сказано в показаниях Яковлева. Наверное, он писал это в состоянии невменяемости. Если то, что приводил в своем выступлении Молотов, было в действительности и делалось Яковлевым сознательно, то как же тогда мы проглядели это?»

В показаниях Яковлева, зачитанных Молотовым на Пленуме, приводились совершенно конкретные примеры вредительства: «Моя вредительская работа в области канализации...» Но ведь мы-то специалисты, и нам известны причины отдельных дефектов в строительстве. Их много есть и на производстве. Если мы не могли заметить умышленно совершаемых на строительстве актов вредительства, тогда кто же их обнаружил? Какие еще специалисты изучали их? Кто расследовал это дело?

Качество строительства на многих промышленных объектах в Челябинске было не очень высоким, и споров со строителями о качестве строительных работ было много. Мы знали причины недостатков, мы могли их понять и объяснить. Нет, не укладывается как-то в голове, что все это Яковлев делал сознательно. Но зачем тогда он пишет об этом в своих показаниях? Нет, видно, мне не найти объяснения происходящему...

После ареста мужа жена Яковлева уехала из Челябинска, и об этой семье мне долго ничего не было известно.

Но вот через двадцать восемь лет как-то вечером в моей квартире раздался звонок. Я открыл. В переднюю вошли две женщины.

— Вы меня не узнаете? — спросила одна из них.

В голосе послышалось что-то знакомое. Говорят, голос — единственное, что у человека не меняется с возрастом.

— Яковлева, Ирина Леонидовна. Помните?

Я опешил.

— Опять в Москве. После Двадцатого съезда меня реабилитировали. Мужа тоже. Посмертно. — Голос у нее дрогнул. — Вернулась, пыталась найти сына. Ведь когда меня забрали, ему было всего пятнадцать

лет. Узнала, что Илюша был в армии и пропал без вести в тысяча девятьсот сорок первом году. Но вот знакомые сказали, будто видели его в тысяча девятьсот сорок четвертом году в военной форме, с медалями на груди. Появилась смутная надежда: а может, он жив? Буду искать...

Седьмого мая 1965 года в «Московской правде» появилась заметка о встрече матери и сына через двадцать восемь лет после разлуки. Долгие и трудные поиски были не напрасны. Ирине Леонидовне удалось найти Илюшу. Илья Васильевич жил в Казахстане, в городе Кзыл-Орда, работал в областном отделении «Сельхозтехники».

Оба они пришли ко мне домой. Пришли с газетой.

— Вот, нашла!

Сколько же сил и выдержки оказалось у этой маленькой, поистине негибавшей женщины. Ее вера в правду помогла ей пережить тысячи дней скорби и одиночества. Сын достоин матери — он прошел трудный путь, но не сбился с правильной дороги, его тоже ничто не сломало.

На заводе произошла история, всколыхнувшая всю заводскую общественность.

Какая-то женщина подала в районный комитет партии заявление на электрика завода члена партии Нечаева, утверждая, будто сама слышала, как Нечаев, выходя вместе с каким-то матросом из пивной, говорил вражеские речи. Секретарь райкома предложил заводской партийной организации рассмотреть на общем партийном собрании это заявление в присутствии женщины, подавшей его. Когда секретарь парт-организации Хитров прочитал заявление, Нечаев вскочил с места, раскатынный и бледный как полотно, и, озираясь по сторонам, стал кричать:

— Товарищи! Все это ложь, ложь все это!

— Ты не кричи, а вот когда я тебе слово предоставлю, тогда и объяснишь что и как,— останавливая Нечаева, сказал ведущий собрание Хитров.

Нечаева на заводе хорошо знали, и он пользовался большим уважением. Раздались выкрики:

— Пусть Нечаев объяснит нам все, как было дело!

— Товарищи,— опять начал Нечаев,— все знают, что я за всю жизнь ни разу ни в одной пивной не был. Я ничего не пью. Это всем известно. Мне врачи запретили пить. У меня язва желудка. Это все знают.

Представитель райкома сказал:

— Но ведь она видела, как вы из пивной выходили. Она ведь тоже член партии.

И, обращаясь к присутствующей на собрании незнакомой нам женщине, спросил:

— Это он?

— Как будто бы он, только тогда он в кепке был.

Нечаев снова вскочил с места, крича:

— Да у меня и кепки-то нет. Я всю жизнь в шляпе хожу.

А женщина, словно загипнотизированная, тихо повторяла:

— Это он, как будто бы он... Только тогда на нем кепка была и с ним рядом матрос стоял... Они вместе из пивной выходили.

Я стал приглядываться к заявительнице. Она производила странное впечатление: какая-то безликая, повторяет монотонно одни и те же, словно бы заученные фразы.

В большом клубном зале, где происходило собрание, яблоку негде было упасть. Стульев не хватало, и многие стояли у стен и дверей. Сразу во многих местах поднялись желающие что-то сказать. Раздавались негодующие голоса:

— Что она, как попугай, затвердила: как будто бы да как будто бы.

Слесарь Микулин кричал с места:

— Вы знаете, что Нечаев все время ко мне придирается, но я должен прямо сказать: врет баба. Надо ее освидетельствовать, она свихнулась, наверно.

— Да кто она? Откуда взялась?

Эти вопросы, обращенные к секретарю партийной организации Хитрову, вывели его из себя. Он обозлился.

— Сейчас обсуждается вопрос — не откуда она взялась, а ее заявление... — (Фамилии заявительницы Хитров так и не назвал). — А Нечаева надо внимательно изучить. Вот и прошлый раз он не все партийной организации о себе рассказал. Скрыл от нас, что у него по прошлой работе выговор был.

Опять начался шум. Председатель долго стучал по столу, пытаясь навести порядок, а когда шум несколько стих, поднялся один из лучших бригадиров завода Андрей Подлужный. Его я хорошо знал. Это был старый член партии. Он вступил в организацию вскоре после февральской революции. Дрался с Колчаком, а когда закончилась гражданская война, поселился в Челябинске. На заводе он работал с самого начала строительства. Андрея на заводе знали все и звали по имени. Фамилию его многие даже не помнили. Рассудительный и спокойный человек, он многим давал полезные советы, а его вразумительные короткие выступления производили куда большее воздействие, нежели длинные и цветистые речи присяжных ораторов.

— Не дело ты затеял, товарищ Хитров, — внешне спокойно произнес Андрей, хотя чувствовалось, как он волнуется. В зале стало тихо. — Когда мы тебя в секретари выбирали, ты таким не был. Ну что ты привязался к человеку? Говорил нам Нечаев о выговоре. Я как сейчас помню. Он рассказывал нам, что на заводе, где он раньше работал, произошел несчастный случай — током человека убило. Хоть сам он и не виноват в этом, но раз под его началом работы велись — ему и отвечать. Вот и наказали. Да вы все, наверно, помните это? — обратился он к собранию. — Говорил ведь Нечаев о выговоре?

— Говорил, говорил! — раздались сразу несколько голосов.

— Ну вот, видишь? — И Андрей в упор посмотрел на председателя. — Что же это получается?

Хитров растерялся и буркнул:

— Ну, значит, я позабыл.

А Андрей продолжал:

— Да нет, ты не забыл. Дай бог, чтобы у всех была такая память, как у тебя. Ты скажи лучше: зачем вы человека хотите утопить? Вот что на собрании надо обсуждать. Утопить Нечаева мы не дадим, Хитров! — тихо, но твердо произнес Андрей. — Не дадим! Ты это знать должен.

Речь Андрея произвела сильное впечатление. Все как-то приободрились, вдруг почувствовав в себе силу — силу партийного коллектива большого завода.

— Если у тебя, товарищ Хитров, есть какие-то сомнения относительно того, что сказал Нечаев, давайте поручим группе товарищей все как следует проверить, тогда и решать будем. Выберем сейчас трех-че-

тырех человек и проверим. Да я и сам могу, если доверите и поручите мне, участвовать в этой проверке. А зря наговаривать на людей нельзя. Нечаев не первый год в партии. Он Деникина в восемнадцатом году бил. Я — Колчака, а он — Деникина.

Предложение Андрея было принято.

Когда расходились с собрания, по дороге домой я думал: «Почему мы не избрали секретарем партийной организации Андрея? Многие его тогда, при перевыборах, называли. А не согласились. Он, мол, нужен на производстве. Его трудно будет заменить. А руководить заводской партийной организацией разве легче? Где важнее иметь таких людей, как Андрей? Ошибку допустили, что Хитрова секретарем выбрали. Нельзя было этого делать». С тяжелыми думами я вернулся домой.

— Тебе с завода звонили несколько раз. Сказали, чтобы позвонил, как только придешь с собрания, — сказала жена.

Дежурный по заводу, когда я позвонил ему, сказал:

— Пришла, телеграмма из Москвы.

— Прочитайте, — попросил я дежурного.

— «Открепляйся в Ростокинский райком партии. Выезжай в Москву. Решение состоялось. Завенягин, Тевосян».

Абрам Павлович Завенягин в то время был уже первым заместителем наркома тяжелой промышленности, Иван Тевадросович Тевосян только что был утвержден главным инженером Главного управления по кораблестроению вновь организованного Наркомата оборонной промышленности.

Но на этом посту Тевосян пробыл недолго. Через несколько месяцев он был назначен вместо арестованного Муклевича начальником Главного управления, а еще через месяц его утвердили заместителем наркома оборонной промышленности.

Незадолго до этой телеграммы я получил от Тевосяна письмо. Он сообщил, что готовится решение об образовании нового наркомата, который объединит все производство военной техники. Писал он и о том, что в новом наркомате значительное место будет отведено организации производства металлов для вооружения и он, вероятно, перейдет на работу в новый наркомат. И вот решение состоялось. Получил назначение не только Тевосян, но и я. Какое же назначение? Что я должен буду делать в наркомате?

(Окончание следует)



ВЛАДИМИР СОКОЛОВ

★

НОВОАРБАТСКАЯ БАЛЛАДА

Гляжу все чаще я
Средь шума будничного
На уходящее
С чертами будущего.
Мне жалко поезда,
Вспять откатившегося
Дымка и посвиста,
Невоплотившегося.

Ташкентской пылью
Вполне реальной
Арбат накрыло
Мемориальный.
Здесь жили-были,
Вершили подвиги,
Швырнули бомбу
Царизму под ноги.
Смыт перекресток
С домами этими
Взрывной волною
Чрез полстолетия.

Находят кольца.
А было — здание.
Твои оконца
И опоздания.

Но вот! У зданий
Арбата нового,
Вблизи блистаний
Кольца Садового,
Пройдя сквозь сырость
Древесной оголи,
Остановилась
Карета Гоголя.
Он спрыгнул, пряча
Себя в крылатку,
На ту — Собачью —
Прошел площадку.
Кто сел в карету?
Кто автодверцей
В минуту эту
Ударил с сердцем?

Кто, дав спасибо,
А не мерси,
Расстался с нею —
Уже с такси?

Ведь вот, послушай,
Какое дело:
Волной воздушной
И стих задело.
Где зона слома
И зона сноса,
Застряло слово
Полувопроса.
Полумашина,
Полукарета
Умчала отзвук
Полуответа...

Прощай, любимая!
В твоём обличье
Неуловимое
Есть что-то,
птичье,
Все улетающее,
Все ускользящее,
Одна слеза еще,
В улыбке тающая,
И все. С обломками
Я за чертою,
С мечтой, с обмолвками,
Со всей тщетою.

Прощай, летящая,
Прическу пугающая.
Все уходящее
Уходит в будущее.

..*

Нет сил никаких улыбаться,
Как раньше, с тобой говорить,
На доброе слово сдаваться,
Недоброе слово хулить.

Я все тебе отдал. И тело
И душу — до крайнего дня.
Послушай, куда же ты дела,
Куда же ты дела меня!

На узкие листья рябины,
Шумя, налетает закат,
И тучи на нас, как руины
Воздушного замка, летят.



ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ

★

ДВА ТОВАРИЩА

Повесть

В субботний день после работы я получил повестку и уже во вторник, совершенно голый, стоял посреди актового зала педагогического института, где мы, призывники сорок такого-то года рождения, проходили медицинскую комиссию.

За окном было сыро и пасмурно. Порывистый ветер трепал деревья и раскачивал форточку, которая дергалась и скрипела, как бы напоминая о приближении осени.

Очередная врачиха, худая, как жердь, черная, похожая на цыганку, хриплым, прокуренным голосом заставляла меня присесть, повернуться, нагнуться и брезгливо дотрагивалась до моего посиневшего, покрытого «гусиной кожей» тела рукой, обтянутой резиновой желтой перчаткой вроде тех, какими пользуются электрики, имеющие дело с проводами высокого напряжения.

Наконец и эта процедура была закончена, и мне разрешили предстать перед главными членами комиссии, заседавшими за длинным, ничем не покрытым черным столом, на правой ножке которого блестела жестяная блямба с выбитым на ней инвентарным номером.

Их было трое: маленький шуплый старичок в белом халате, белой шапочке, из-под которой вылезали такие же белые волосы, полная женщина, тоже в халате и в шапочке, и молодой майор с золотыми зубами, с красными просветами на зеленых погонах.

Маленький старичок задумчиво поглаживал мизинцем свои коротко подстриженные усики, смотрел в пространство мимо меня, и взгляд его не выражал ничего, кроме невыносимой скуки много прожившего и много повидавшего за свою жизнь человека. С тех пор как он впервые надел халат, перед его взором прошли тысячи, а может быть, десятки тысяч голых людей всех возрастов и рангов, и все они, в сущности, мало чем отличались друг от друга. Он мог под любой одеждой распознать голого человека, поэтому все, что происходило сегодня в этом большом и холодном зале, мало интересовало его.

Другое дело майор. Он смотрел весело на меня, на старичка, на полную врачиху, на всех остальных врачей и на моих товарищей, которые тряслись от холода перед этими врачами. И весь его цветущий веселый вид говорил, что майор — оптимист. В конце концов одни и те же вещи можно видеть по-разному, все зависит от точки зрения. Можно смотреть на лужу и видеть лужу, а можно смотреть на лужу и видеть звезды, которые в ней отражаются. Человек-то, конечно, гол, но если при этом он будет неуклонно соблюдать воинскую дисциплину, выполнять требования уставов, приказы вышестоящих начальников и постоянно

совершенствовать свое воинское мастерство, то сможет стать отличным боевой и политической подготовки, ведь отличники в конце концов тоже голые люди.

Майор только поинтересовался:

— Что это у тебя под левым глазом?

— В темноте на что-то наткнулся,— сказал я.

— На кулак? — спросил майор и подмигнул мне, довольный своей догадливостью.

Что касается женщины, сидевшей между старичком и майором, то она, по-моему, ни о чем таком вовсе не думала и каждый голый индивидуум интересовал ее только в определенном смысле: годен он или не годен к строевой службе.

— Годен к строевой,— сказала она и тут же, потеряв ко мне интерес, перевела взгляд на следующего по очереди, который мелко постукивал зубами у моего затылка.

Майор отметил что-то на лежавшем перед ним листке бумаги и протянул мне повестку:

— Отдашь на завод как основание для расчета. Два дня на расчет, два — на пропой, один — лечить голову после пьянки, в понедельник — отправка. Все.— Майор формулировал свои мысли кратко и четко.

Я пошел в угол, где лежали на скамейке мои вещи, и поспешно натянул на себя холодное белье и все остальное, кроме плаща — плащ я надел в коридоре.

В коридоре шла совершенно иная жизнь, не похожая на ту, что осталась за дверью. На подоконнике, поставив на батарею парового отопления ноги в забрызганных грязью желтых ботинках, сидел мой бывший друг Толик, рослый парень в синей «болонье», с рыжей челкой, вылезшей из-под кепки. Он был, как всегда, в центре внимания.

Многочисленные зрители, обступив Толика, торопливо и дружно докуривали папиросы, а потом отдавали ему. Собрав штук десять или больше окурков, Толик аккуратно оборвал изжеванные мундштуки, а остальное высыпал в широко разинутый рот.

Все восхищенно замерли. Парень в кожаной куртке нагнулся и смотрел Толику прямо в рот, а другой парень, в желтом плаще, присел на корточки и смотрел на Толика снизу. Толик трудолюбиво жевал окурки, они шипели у него во рту и полыхали бледными искрами. Потом он сделал глотательное движение, опять широко раскрыл рот, в нем ничего не было, только язык, зубы и десны почернели от пепла. Наступила минута молчания.

— Потрясающе! — не выдержал парень в желтом плаще.— Первый раз вижу живого человека, который жрет горящие окурки. И не горячо?

— Ничего,— скромно сказал Толик, вытирая платком почерневшие губы,— я привык.

— А ты керосин пить умеешь? — спросил парень в кожаной куртке.

— Не знаю, не пробовал,— уклонился Толик.— Граненый стакан съесть могу. Есть у кого граненый стакан?

Граненого стакана ни у кого не оказалось. Была только железная кружка, прикованная цепью к питьевому бачку, но железо Толик не ел.

Заметив меня, Толик спросил:

— Ты домой?

Я ответил:

— Домой.

— Подожди, пойдем вместе. Я только рот сполосну.

Он побежал в туалет, находившийся в конце коридора.

Я ждать его не стал и пошел один.

Когда пришел, мать в коридоре мыла полы. Она бросила к порогу тряпку, я вытер ноги и проеiel в комнату. Мать подняла тряпку и прошла следом за мной.

— Ну что? — спросила она.

— А где бабушка? — спросил я.

— Пошла в магазин за хлебом.

— А,— сказал я и посмотрел на маму.

Она смотрела на меня с тревогой и надеждой на то, что все обошлось.

— Все в порядке,— сказал я беспечно.— Годен к строевой.— И протянул ей повестку.

Мама бросила тряпку на пол, вытерла о халат мокрые руки. Когда она брала повестку, руки ее дрожали. В повестке было написано, что мне, Важенину Валерию Сергеевичу, к такому-то числу необходимо получить на производстве полный расчёт, включая двухнедельное пособие, и явиться в райвоенкомат, имея при себе кружку, ложку, смену белья, паспорт и приписное свидетельство. Мать прочла все от первого слова до последнего, а потом села на стул и заплакала.

Я зашел сзади и обнял ее за плечи.

— Мама,— сказал я,— я же не на войну.

Наш город делился на две части — старую, где жили мы, и новую, где мы не жили. Новую чаще всего называли «за Дворцом», потому что на пустыре между старой частью и новой строили некий Дворец, крупнейший, как у нас говорили, в стране. Сначала это должен был быть крупнейший в стране Дворец металлургов в стиле Корбюзье. Дворец был уже почти построен, когда выяснилось, что автор проекта подвержен влиянию западной архитектуры. Ему так намылили шею за этого Корбюзье, что он долго не мог очухаться. Потом наступили новые времена, и автору разрешили вернуться к прерванной работе. Но теперь он был не дурак и на всякий случай пристроил к зданию шестигранные колонны, которые стояли как бы отдельно. Сооружение стало называться Дворец науки и техники, тоже крупнейший в стране. После установки колонн строительство снова законсервировали, под крупнейшим в стране обнаружили крупнейшие подпочвенные воды. Прошло еще несколько лет — куда делись воды, не знаю,— строительство возобновили, но теперь это уже должен был быть крупнейший в Европе Дворец бракосочетания.

Вообще в нашем небольшом городе было много чего крупнейшего. Крупнейший бондарный завод, крупнейший мукомольный комбинат и крупнейшая фабрика мягкой тары, где делали мешки и авоськи. Шестиэтажный дом, в котором мы жили, был когда-то крупнейший в нашем городе, потом появились новые, покрупнее.

Квартира наша была не крупнейшая — она состояла из двух смежных комнат. В ней мы жили втроем. Мой отец с нами не жил. Он оставил нас, когда мне было лет шесть или семь, а он работал в редакции городской газеты и учился заочно в Московском университете. Однажды после сессии он привез из Москвы новую жену и ушел от нас. Сам я этого момента не помню, да, собственно говоря, такого момента, наверное, и не было, потому что он несколько раз уходил и возвращался, и еще неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы мама однажды не сказала:

— Хватит. Либо оставайся здесь, либо там.

Отец остался там. С новой женой Шурой они долго мыкались по частным квартирам и только недавно получили собственную в кооперативе.

Он давно уже ушел из редакции, потому что стал за это время писателем — писал для цирка репризы. Кроме того, с самого детства я слышал, что отец задумал и пишет грандиозный роман, на который возлагает большие надежды.

Сначала он к нам приходил часто — каждое воскресенье. Приносил конфеты, подарки, расспрашивал, как я живу, как учусь. В последнее время, когда я стал уже взрослым, отец бывал у нас реже (я сам к нему ходил иногда), но все-таки бывал и давал матери деньги. Мать деньги брать не хотела (я ведь на себя уже сам зарабатывал), но боялась обидеть отца и брала.

Вообще она, несмотря ни на что, относилась к отцу хорошо и жалела его.

Почти каждый день после работы под надзором мамы и бабушки я готовился к поступлению в институт.

За год до этого я пытался попасть в Московский энергетический, но сделал в сочинении три ошибки (две стилистические и одну грамматическую) и провалился. Был зверский конкурс. Мама была огорчена больше меня.

Она считала, что я по призванию энергетик, наверное, потому, что мне иногда удавалось починить перегоревшие пробки или сменить спираль в утюге. Я в своем призвании не был уверен и по совету Толика поступил работать. К великому маминому неудовольствию.

Моя мама, женщина умная и образованная (она имела высшее экономическое образование и работала старшим нормировщиком на заводе), могла понять все, что угодно.

Она не могла понять одного — моей странной, на ее взгляд, дружбы с Толиком.

— Я понимаю,— говорила она,— когда людей связывают общие интересы или когда они дружат по идейным убеждениям.

Я был бы не прочь дружить с Толиком по идейным убеждениям, но, насколько мне помнится, таковых в ту пору ни у него, ни у меня не было, и мы дружили просто так, потому что были всегда вместе. Мы жили на одной улице, в одном доме, а теперь еще работали на одном заводе и в одном цехе. Так что общие интересы у нас все-таки были.

На нашем заводе делались очень серьезные, очень важные вещи. Настолько важные, что мы сами толком не знали, какие именно. Не то ракеты, не то скафандры — в общем, что-то космическое.

Что касается нас с Толиком, то мы сами важных вещей не делали. Мы делали ящики для этих важных вещей. Мы их сколачивали из досок, и профессия наша называлась «сколотчики». Размеры ящиков считались секретными, потому что, как нам объясняли, по размерам ящиков можно определить размеры изделий, а по размерам изделий их назначение и характер. Мы с Толиком, как ни думали, ничего по этим размерам определить не могли. Толик в глубине души, по-моему, надеялся, что в космос запускают просто ящики как таковые. Поэтому внутри ящиков он иногда писал карандашом свою фамилию «Божко» в расчете на то, что какой-нибудь из них попадет на другую планету и таким образом фамилия эта станет известной не только на земле, но и за ее пределами.

Утро мое начиналось всегда с небольшого скандала. Сначала звонил будильник на стуле возле кровати, но я его выключал. Потом из соседней комнаты на помощь будильнику спешила бабушка, которая, к сожалению, не выключалась.

Маленькая сухонькая старушка в белоснежном передничке, бабушка носила увеличительные очки с толстыми стеклами, делавшими ее глаза большими и страшными.

— Валерик, тебе пора вставать, — сообщала она таким сладким голосом, будто поздравляла меня с днем рождения.

Я лежал, уткнувшись лицом в подушку.

— Валерик, ты слышишь: уже половина восьмого.

Это было сильно преувеличено, потому что будильник с вечера я ставил всегда ровно на семь.

— Валерик, ведь ты не спишь. Я же вижу, что ты притворяешься. На такие мелкие провокации я не поддавался.

Бабушка переходила к угрозам:

— Валерик, я все равно не уйду, пока ты не встанешь.

Я бы не встал, пока она не уйдет, но тут в комнате появлялась мама с решительным выражением на лице. Не тратя времени на разговоры, она стаскивала с меня одеяло. Дальнейшее сопротивление было бесполезным, я вскакивал и тащился в трусах в уборную.

Там мне тоже очень-то задерживаться не позволяли, приходила мать и грохала по двери кулаком.

— Валера, если ты там решил накуриться, пеняй на себя.

— Катя! — кричала из комнаты бабушка. — Скажи ему, чтобы он, когда выйдет, выключил свет, вчера лампочка горела всю ночь.

В девятнадцать лет меня опекали, как маленького. Ни о каком куренье не могло быть и речи. Не говоря уже о питье. С девушками гулять разрешалось, но не позже чем до половины двенадцатого.

— Если девушка хорошая, — говорила мама, — она поймет, что у тебя дома будут волноваться. Ты можешь привести девушку сюда, и сидите здесь сколько угодно.

Девушки, даже хорошие, предпочитали сидеть с парнями на лавочках или обниматься в подъездах. У меня никакой девушки не было. У меня были только мама и бабушка, которым для полного спокойствия хотелось, чтобы все процессы моей личной жизни протекали на их глазах. В девятнадцать лет я понял, что ограничение свободы личности — тяжелое наказание, даже если оно следствие чьей-то безмерной любви.

Я выходил из дому примерно в половине восьмого, когда народу на улице было уже полно. В такое время все куда-нибудь да торопятся. Кто на работу, кто в детский сад, кто в магазин.

На перекрестке возле сквера маячит долговязая фигура парня в сандалиях на босу ногу, в синей рубашке с закатанными по локоть рукавами. Он один никуда не торопится и стоит просто так, равнодушно глядя на дома, на прохожих, на идущие мимо автомобили. Я подкрадываюсь к парню сзади и хлопаю его по плечу.

— Здорово, Толик!

Толик, вздрогнув от неожиданности, оборачивается, и конопатое лицо его расплывается в глупейшей улыбке.

— Привет! — Он небрежно сует мне руку дощечкой.

Я достаю сигареты, мы садимся на заборчик, ограждающий сквер, курим.

Толик вынимает из кармана шариковый подшипник, вертит его на пальце, лукаво поглядывая на меня. Ему явно хочется, чтобы я спросил, зачем ему этот подшипник, и, хотя меня подшипник совершенно не интересует, я спрашиваю:

— Зачем он тебе?

— А ты догадайся.

— Делать мне нечего — буду еще догадываться.

— На мотороллер,— великодушно объясняет Толик.— Когда куплю, пригодится. Запчасти сейчас днем с огнем не найдешь. Эх, и ездить с тобой будем! — Толик кладет руки на воображаемый руль, наклоняется, словно в крутом вираже.— Вррррр.

Время подходит к восьми, людей на улицах все прибавляется. Машин тоже. Медленно проскрипел автобус, скособоченный на правую сторону: на нем нависло столько народу, что кажется странным, как это он не перевернется. Прогромыхал «МАЗ» с длинным, метров в двадцать, прицепом на многих колесах. За ним, припадая на передние колеса, прошелестела черная «Волга».

— А ты вчера что делал? — спрашивает Толик.

— Ничего. Лежал, книжку читал.

— Что за книжка?

— «Над пропастью во ржи...».

— Про шпионаж?

— Нет, про жизнь.

— А почему ж пропасть?

— Не знаю, не дочитал еще.

— Может, дальше про шпионаж? — надеется Толик.

— Может быть,— говорю я.— Смотри — Козуб едет.

Витька Козуб — наш старый знакомый. Он жил когда-то в нашем доме, и я с ним даже учился вместе в школе, в четвертом классе. Я бы с ним учился и дальше, если бы остался на второй год. За двенадцать лет упорной учебы Козуб кое-как одолел семилетку и четырехмесячные курсы шоферов третьего класса. Теперь он ездит на стареньком сером «ГАЗ-51» с полустершейся надписью на левом борту: «Будьте осторожны на перекрестках!»

Сейчас осторожность надо проявлять больше всего ему самому. И он ее проявляет, потому что заметил нас. Бдительно вытянув длинную шею, он приближается к перекрестку, выключив скорость.

Мы с Толиком сидим, курим, делаем вид, что ни сам Козуб, ни его машина нас совершенно не интересуют. Мы даже совсем отворачиваемся и смотрим в другую сторону.

Но вот машина вписалась в поворот.

— Пошел! — командует Толик.

На повороте Козуб переключает скорость и дает полный газ, но уже поздно. В два прыжка настигаем мы беззащитную жертву, и вот уже наши пальцы крепко вцепились в задний борт кузова.

Козуб начинает бросать машину из стороны в сторону, мы раскачиваемся, как обезьяны на ветках. Очень трудно удержаться. Но вот я нашел уже точку опоры и одну ногу перекинул в кузов. Толик тоже. А враг не дремлет. Он применяет новый маневр. Визжат тормоза, и в полном соответствии с законом Ньютона наши тела довольно активно стремятся сохранить состояние равномерного прямолинейного движения. Словно две торпеды на параллельных курсах, мы летим вперед, рискуя пробить головами кабину.

— Что, ушиблись? — Козуб вылез на подножку и смотрит на нас через борт с лицемерным сочувствием.

— Ничего.— Толик потирает ушибленное колено.— Валяй дальше.

— Слезайте.

— Как же, слезем,— ухмыляется Толик.

— Хуже будет,— грозит Козуб.

— Куда уж хуже? Милицию позовешь?

— Зачем милицию? Он шайку свою соберет,— говорю я.

— Да уж найду. кого позвать,— обещает Козуб.

Он стал таким храбрым после того, как подружился с Греком. Этой дружбой Козуб гордился, как будто Грек его был академиком или министром. Но Грек не был ни академиком, ни министром — он был просто хулиганом, достаточно, однако, известным в масштабе нашего города.

Козуб при случае намекал нам, что, стоит ему мигнуть Греку, тот из нас сделает блин, но намеки оставались намеками, потому что Грек был чаще всего далеко, а мы близко.

— Последний раз спрашиваю: не слезете?

— Последний раз отвечаю: не слезем.— Толик плюнул мимо Козуба на дорогу.

— Ну, ладно, я вас теперь покатаю.

— Покатай, будь другом,— просит Толик смиренно.

Едем дальше. Посреди кузова подпрыгивает запасное колесо. Мы садимся на колесо и подпрыгиваем с ним вместе.

Проехали железнодорожный переезд, пересекли пустырь с недостроенной громадой Дворца бракосочетания, потом район наших местных Черемушек. Вот стадион «Трудовые резервы», а за ним уже и наша проходная. Я заглянул в кабину через плечо Козуба на щиток приборов.

Мы живем в век больших скоростей. На спидометре семьдесят. Со спидометра я перевожу взгляд на дорогу, потом на Толика. На лице Толика полное уныние. Если мы покинем машину на этой скорости, наши тела слишком долго будут сохранять состояние прямолинейного движения. Тормозить брюхом об асфальт не очень приятно.

— Постучи ему,— предлагает Толик, хотя в действенность этой меры ни на секунду не верит.

Я тоже не верю, но — другого выхода нет — стучу. Сначала тихонько, потом кулаком, потом в это дело включается Толик, мы громим кабину четырьмя кулаками — никакого эффекта. А колеса крутятся, и наше родное сверхважное предприятие осталось далеко позади.

Козуб злорадно смотрит назад, и лицо его вытягивается от злости и удивления. Мы подкатили к заднему борту запаску и пытаемся перевалить ее через борт. Снова визжат тормоза, наступает состояние относительного покоя. Козуб вылезает на подножку.

— Вы что делаете?

— Да вот,— с невинным видом отвечает Толик,— хотим поставить небольшой опыт: сможет колесо ехать отдельно от машины или не сможет.

— Ладно, слезайте.

— Слезать? — Толик смотрит на меня, и я отвечаю ему глазами: ни в коем случае.

— Никак не выходит,— вздыхает Толик и садится на борт.

— Далекое, что ли?

— Далекое.

— Как хотите.— Козуб достает сигарету, закуривает.— У меня по часовой график, я не спешу.

— Тебе хорошо,— завидует Толик.— А вот у нас сделщина. Помоги, Валера, будь другом,— обращается он ко мне, склоняясь опять над запаской.

Двум человекам сбросить с машины колесо легче, чем одному поднять его на машину. Закон всемирного тяготения. Это знает даже Козуб. Он для этого слишком долго учился.

Произнеся короткую речь, полную негодования и угроз, он разворачивает машину и подвозит нас прямо к проходной.

— Спасибо,— говорит Толик, слезая.— И не забудь, Витя: мы кончаем работу в четыре.

Вплотную к нашему цеху примыкает склад тары из-под оборудования — беспорядочное нагромождение ящиков на большом пространстве. Толик, раскинув руки, лежит на траве под ящиком. Я стою рядом. Курим. Светит солнышко. До начала работы еще минут двадцать. Делать нечего.

— Не хочется на работу идти, — вздыхает Толик. — Ты бы рассказал что-нибудь, что ли?

— Стихи хочешь?

Толик стихи не любит, но тут соглашается.

— Давай стихи.

— Ну, ладно. — Я взбираюсь на один из ящиков. Толик принимает удобную позу, смотрит на меня снизу вверх.

В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит один во всей вселенной.

Вокруг, насколько хватает взгляда, стоят эти большие заграничные ящики. Они громоздятся друг на друга и кажутся каким-то странным пустынным городом...

...А царь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы
И с ними гибель разослал
К соседям в чуждые пределы.

Ну как? — спрашиваю я.

— Здорово! — искренне говорит Толик. Он залезает на ящик и садится на край, свесив ноги. — И как ты все это помнишь? Не голова, а совет министров. Я даже в школе когда учился, никак эти стихотворения запомнить не мог. Не лезут в голову, да и все. Слушай, а вообще вот эти, наверное, которые стихи пишут... поэты... ничего себе зарабатывают.

— Наверно, ничего, — соглашаюсь я.

— Работа, конечно, не для всякого, — задумчиво говорит он. — Не с нашими головами. А я вот читал в газете: один чудак нашел в пещере... забыл чего нашел. Деньги, что ли. Ты не читал?

— Нет, не читал.

Толик вздыхает.

— Мне бы чего-нибудь такое найти, я б матери платье новое справил. Джерси.

— Да зачем ей джерси?

— Ну так, знаешь. Слушай! А что, если мы с тобой вдруг проваливаемся сквозь землю и перед нами... — он закрывает глаза и мечтательно покачивает головой, — куча золота.

— Да ну тебя, — говорю я. — Нужно тебе это золото.

— А что? — говорит Толик. — Зубы вставил бы.

— Зачем тебе? У тебя и свои хорошие.

— Золотые лучше, — убежденно говорит Толик.

Разговоры мы вели, может, и глупые, но в то время я мало думал об этом.

Я относился к Толику хорошо до тех пор, пока не произошла эта история, которая помогла мне понять и Толика, и себя самого.

Но расскажу по порядку.

Однажды в субботу я сидел в большой комнате за обеденным столом и под надзором мамы готовился к новому поступлению в институт — учил русский язык. Мама лежала у окна на кушетке и читала

«Маленького принца» Экзюпери, который в последнее время стал ее любимым писателем, оттеснив на второй план Ремарка. Все, что писал Экзюпери, казалось маме очень трогательным. В самых трогательных местах она доставала из-под подушки давно уже мокрый платок и плакала тихо, чтобы мне не мешать. Напротив нее за своей швейной машинкой сидела бабушка. Она перешивала мою старую куртку: наверное, думала, что я эту куртку буду еще носить. Треск машинки меня раздражал.

— Мама,— сказал я,— я пойду учить к себе в комнату.

Мама подняла ко мне заплаканное лицо и твердо сказала:

— Нет, ты там ляжешь на кровать.

— Но ты же лежишь,— сказал я.

— Я лежу, потому что отдыхаю. Работаю я всегда сидя.

Мама вытерла слезы и снова уткнулась в книгу, давая понять, что разговор окончен.

Делать было нечего, я снова взялся бубнить эти проклятые правила. Я старался делать это как можно громче, чтобы заглушить раздражавший меня стрекот швейной машинки.

— «Слова,— читал я,— нужно переносить по слогам, но при этом нельзя отделять согласную от следующей за ней гласной, например: люб-овь, кров-ать, пет-ух».

Когда я это прочел, бабушка остановила машинку и насторожилась. В воздухе повисла зловещая тишина. Я сразу почувствовал, что что-то произошло, перестал читать и повернул голову к бабушке. Она не отрываясь смотрела на меня и молчала. Я, не зная, что сказать, тоже молчал.

— Что такое «хетуп»? — строго спросила бабушка.

— Хетуп? — переспросил я заискивающе.— Какой хетуп?

— Только что ты сказал «хетуп».

— А-а,— сообразил я. У меня даже отлегло от сердца.— Я сказал не «хетуп», а «петух».

Я думал, что на этом инцидент будет исчерпан, но я забыл, с кем имею дело.

— Валера, ты сказал «хетуп».

— Бабушка, я не говорил «хетуп», я сказал «петух». И даже не сказал, а прочел вот здесь в учебнике: «люб-овь, кров-ать, пет-ух».

— Нет, ты сказал «хетуп».

Мать подняла голову от книжки, посмотрела сперва на бабушку, потом на меня, пытаюсь понять и осмыслить происходящее.

— Что еще за спор? — сурово спросила она.

— А чего ж она говорит,— сказал я,— что я сказал «хетуп».

— Не она, а бабушка,— поправила мать.

— Все равно. Я сказал «петух», «петух», «петух». — Мне было так обидно, что я еле сдерживал себя, чтоб не заплакать.

— Господи! — всплеснула руками бабушка.— Ну зачем же так волноваться? Если ты даже ошибся и сказал «хетуп», в этом же нет ничего...

— Я не ошибался, я сказал «петух».

— Ну, хорошо, пускай я ошиблась, пускай мне послышалось «хетуп», хотя на самом деле ты сказал «петух».

— Да, я сказал «петух».

— Ну и ладно, пожалуйста, успокойся. Ты сказал «петух». — Бабушка пожевала губами и все-таки не сдержалась: — Хотя, если бы ты старался быть объективным...

Этот разговор мог кончиться плохо, но в это время в коридоре раздался звонок, и я побежал открывать.

За дверью стоял Толик. Он был в коричневом, сшитом на заказ костюме, в белой рубашке с галстуком. Сбоку на ремешке, перекинутом через плечо, болтался транзисторный приемник.

— Вытри ноги и проходи,— сказал я.

Толик нагнулся и стал развязывать шнурки на ботинках.

Из комнаты выглянула мама.

— Толя, что за глупости? — сказала она.— Зачем ты снимаешь ботинки? Вытри ноги, и все.

— Ничего, ничего,— сказал Толик.

Он снял ботинки и, подойдя к маме, протянул ей руку.

— Здравствуйте, Екатерина Васильевна.

У него были черные эластичные носки с красной полоской.

Он вошел в комнату, огляделся, подошел к бабушке и, протянув руку ей, сказал громко:

— Здравствуйте, бабушка.

— Здравствуй, Толя,— сказала бабушка и посмотрела на него с нескрываемым восхищением.— Ты куда это так вырядился?

— Так,— сказал Толик,— просто переоделся.

— Садись,— сказала мама, подвигая к нему стул.

— Благодарю.— Толик подтянул штанины, чтоб не вытягивались, положил руки сначала на стол, потом его смутила белая скатерть, он снял руки со стола и положил на колени.

— Толя,— спросила бабушка.— Кто тебе гладит костюм?

— Да я, соответственно, сам глажу.

— Почему соответственно? — спросила мама.

— Просто слово такое,— пояснил Толик.

— Какой аккуратный мальчик,— вздохнула с завистью бабушка.— Ты, наверное, в брюках в постель не ложишься?

Толик смущенно кашлянул, шмыгнул носом и посмотрел на меня.

— Да ведь вообще не положено.

— Бабушка хочет сказать,— объяснил я,— что бывают счастливые люди, у которых такие вот аккуратные внуки.

Толик сидел красный от смущения и от галстука, давившего шею. Он не знал, как реагировать на мои слова, и промолчал.

— Чаю хочешь с вареньем? — спросила мама.

— Благодарю,— сказал Толик,— что-то не хочется.— Он многозначительно посмотрел на меня, я понял, что светские манеры даются ему с трудом.

— Сейчас пойдем,— сказал я.

— Куда это вы собрались? — спросила мама.

— Надо подышать воздухом.

Толик солидно кашлянул.

— Опять будете шляться до часу ночи,— сказала мама.

— Ладно,— сказал я,— никуда не денемся.

Я пошел в другую комнату и переоделся. Конечно, костюм мой был не так уж выглажен, но какие-то складки еще оставались.

Когда я вошел, бабушка посмотрела на меня, потом на Толика и вздохнула. Сравнение было явно не в мою пользу.

— Пошли, что ли,— сказал я.

Толик чинно встал, подошел к маме, протянул руку.

— До свиданья, Екатерина Васильевна,— сказал он громко.

Потом подошел к бабушке и протянул руку ей.

— До свиданья, бабушка,— сказал он еще громче.

Я пропустил его вперед. Пока Толик зашнуровывал ботинки, мама стояла в дверях комнаты и, насмешливо усмехаясь, смотрела на нас обоих.

Выйдя на лестницу, Толик облегченно вздохнул и снова стал самим собой. На площадке он подошел и посмотрел вниз.

— Слушай, а ты бы отсюда за миллион рублей прыгнул?

Я посмотрел вниз и отказался немедленно.

— А я бы, пожалуй, прыгнул,— сказал Толик.

— И ноги сломал бы.

— Зато миллион рублей,— сказал Толик.— Знаешь, я на эти деньги чего купил бы?

— Костыли,— сказал я.

— Зачем костыли? — обиделся Толик.— Можно «Москвич» с ручным управлением.

Мы вышли на улицу. Вечерело.

Солнце еще не зашло, но его не было видно. Оно просто пряталось где-то за домами, и его лучи лежали под крышами самых высоких зданий. Мы шли в сторону парка.

— Слушай,— неожиданно спросил Толик,— у тебя отец — хороший человек?

Вопрос был сложный. У меня самого отношение к нему было смутное. Точнее, я к отцу своему относился по-разному. Но одно дело, что думал я сам по этому поводу, и другое дело, что отвечал другим.

— Хороший,— сказал я, и это была правда, потому что отец мой был, может быть, и не совсем хорошим, но скорее хорошим, чем плохим.

— А почему же он мать твою бросил?

— Он не бросил, просто они не сошлись характерами.

— А чего там сходиться-то? — усомнился Толик.— Чего сходиться? У меня вот отец с кем хочешь сойдется характерами. Мать ему чего не так скажет, он ей как врежет, она летит из угла в угол.

Отец Толика дядя Федя работал в бане просторщиком. Что значит это слово — я не выяснил до сих пор, знаю только, что дядя Федя сторожил в бане одежду клиентов, подавал желающим полотенце, похлопывал по спине и приносил из буфета пиво в стеклянных кружках. За это он получал в зависимости от объема услуг и щедрости клиента десять — пятнадцать копеек. Некоторые давали больше, но таких было мало. Он работал через день по двенадцать часов, но готов был работать и каждый день, если бы разрешили, не из любви к профессии, а из-за этих самых гривенников, которых к концу смены набиралось довольно много. Мать Толика несла эту мелочь в магазин к знакомой кассирше и обменивала на бумажки, а когда бумажек набиралось достаточно, дядя Федя шел в сберкассау и делал очередной вклад.

— А много у твоего отца денег? — спросил я у Толика.

— Много,— вздохнул Толик.— Я точно не знаю, но там, наверное, машины на три уже наберется. И все мало ему. Я получку принесу, он все до копеечки пересчитает и по расчетной книжке проверит. А чуть недосчитается — сразу по шее.

— А как же ты на мотороллер собираешь? — спросил я.

— Выкручиваюсь,— сказал Толик.— Я говорю, что мастеру даю по десятке с каждой получки... Слушай,— оживился он,— а ты своего отца не спрашивал, сколько вот поэты или писатели зарабатывают?

— Не спрашивал. А зачем тебе?

— Так просто. Мне один чудаков говорил: рубль за строчку. Это можно знаешь сколько строчек написать.

— Сколько? — спросил я.

— Много,— ответил Толик и остановился.— Что это там такое?

На спортплощадке во дворе красного кирпичного здания школы возле турника толпились какие-то люди.

— Может, соревнования? — предположил я.

— Не похоже, — усомнился Толик. — Пошли, поглядим.

Мы подошли ближе. Там к турнику было подвешено какое-то сооружение из арматурной проволоки, как я потом понял — макет купола парашюта. От купола шли стропы, соединявшиеся у брезентовых лямок с блестящими замками. Возле турника толпилось человек пятнадцать ребят нашего с Толиком возраста. Рядом на параллельных брусках вышался худощавый человек лет тридцати (по нашим тогдашним представлениям, пожилой), в кожаной куртке на молниях и в старой летной фуражке с облезлой кокардой. К куртке у него был прикручен большой значок с изображением белого парашюта на синем фоне. Наискось через значок шла блестящая металлическая цифра «600», а на цепочке болтался еще треугольничек, и там тоже было выцарапано какое-то число, не то «15», не то «45» — я точно не разглядел.

Человек этот сидел на одном бруске и упирался левой ногой в противоположную стойку, удерживая равновесие. Мы с Толиком сразу догадались, что это инструктор по парашютному делу. Догадаться было, конечно, нетрудно.

Держа в руках авторучку и раскрытый блокнот, инструктор следил за ребятами, которые поочередно влезали в лямки, разворачивались влево, вправо и прыгивали на землю, уступая место следующим по очереди.

— Следующий! — выкрикивал инструктор и отмечал в блокноте очередную фамилию.

Когда мы подошли, в лямках болтался высокий парень в клетчатой ковбойке. У него были очень длинные ноги, и парень поднимал их, чтобы они не волочились по земле.

— Развернись влево, — командовал инструктор.

Парень положил на грудь правую руку, потом левую, потом, подумав, поменял их местами, потянул лямки на себя, и его длинное неуклюжее тело послушно повернулось влево.

— Вправо, — сказал инструктор. — Да побыстрей. Если ты и в воздухе будешь так долго соображать, тебе до самой земли времени не хватит.

— Что это вы делаете? — шепотом спросил Толик у остроносого парня в синем берете.

— Тренируемся, — тоже шепотом ответил парень. — Прыгать с парашютом будем.

— С турника, что ли? — насмешливо спросил Толик.

— Почему ж с турника? С самолета. Нас от военкомата направили, — сказал парень и пошел к турнику, потому что подошла его очередь.

Пока он разворачивался вправо и влево, Толик зашел сбоку и внимательно наблюдал. Парень расстегнул лямки и сполз на землю.

— Следующий, — сказал инструктор.

Следующих не оказалось.

— Все, что ли? — спросил инструктор.

— Как все? А я? — неожиданно сказал Толик.

— А чего ж ты стоишь? — рассердился инструктор.

— Задумался, — объяснил Толик.

Он стащил с себя транзистор, сунул его мне и вышел вперед. Влез в эти лямки, застегнул замки и стал болтать ногами, ожидая указаний инструктора.

— Не болтай ногами, — строго сказал инструктор. — Это тебе не качели. Развернись влево.

Толик решительно потянул за обе лямки, но у него почему-то ничего не получилось, и он стал раскачиваться, пытаясь развернуться.

— Ты что? — закричал инструктор. — Не знаешь, как разворачиваться?

— Забыл, — сказал Толик, глядя на инструктора.

— Если забыл, надо спросить. В воздухе спрашивать будет некого. Положи левую руку на грудь. Сверху правую. Берись за ляжки. Тяни. Теперь вправо.

Вправо у Толика получилось совсем хорошо.

— Молодец, — похвалил инструктор. — Слезай. Как фамилия?

— Божко, — четко сказал Толик.

— Божко? Что-то я такой фамилии не помню.

— Пропустили, — нагло сказал Толик.

— Да? — Инструктор покорно пожал плечами и отметил что-то в блокноте. — Может быть. Есть еще кто-нибудь?

Толик стал мне усиленно подмигивать и призывать знаками последовать его примеру, и мне очень хотелось поступить так же, как он, но я не решился.

Инструктор спрятал блокнот и ручку в карман и прыгнул на землю.

— Сегодня в три часа ночи чтобы все были на бульваре у кинотеатра «Восход». Ровно в три придет машина, поедет прыгать. Ясно?

— Ясно! — нестройным хором закричали парашютисты.

— Можете расходиться, — сказал инструктор и первым направился к выходу.

Мы вышли на улицу. Я отдал Толику транзистор, он его на плечо вешать не стал, а держал в руках и размахивал. Потом он его включил и стал размахивать еще больше. Передавали Эдиту Пьеху по заявкам передовиков Саратовской области.

— Выключи ты его, — попросил я. Настроение у меня было паршивое.

Толик посмотрел на меня и все понял.

— Слышь, Валера, ты не огорчайся, — сказал он. — Утром придем и вместе прыгнем.

— Как же, прыгнем, — сказал я. — Тебя-то он в блокнот записал, а меня нет.

— А чего ж ты растерялся? — сказал Толик. — Я же тебе подмигивал. В общем, придем, а там видно будет. Ему все равно, есть ты в списке или нет. Ты думаешь, он мне поверил, когда я сказал: пропустили? Да ему лишь бы план. Понял? Я это точно знаю.

В этом смысле Толик действительно знал больше меня. И умел многое из того, чего я не умел.

Мы идем по парку. Все аллеи запружены бесчисленными толпами желающих убить длинный субботний вечер.

Уже стемнело. Включили электричество. В дальнем конце парка грянула музыка — начались танцы. Мы прошли из конца в конец парка, постояли у танцплощадки, попили из автомата воды с мандариновым сиропом, заглянули в Зеленый театр, где шел концерт художественной самодеятельности гарнизонного Дома офицеров.

Идем дальше. Дошли до главного входа, опять повернули в сторону танцплощадки, но уже по другой аллее, по параллельной. Толик идет чуть впереди, заложив руки в карманы, раздвигая прохожих плечом. А меня все затирают, оттесняют от Толика, я отстаю, потом догоняю. Толик оборачивается, замедляет шаг, поджидая.

— Что ты все отстаешь? — ворчит он. — Не можешь ходить по-человечески? Будешь всем уступать дорогу — далеко не уйдешь.

На улице, в парке, везде, где много народу, Толик чувствует себя как рыба в воде. Он идет, уверенно выбрасывая вперед длинные ноги,

вертит головой, здороваётся с какими-то людьми, которых я даже не успеваю заметить, и обращает внимание на всех девушек, идущих нам навстречу. И все они, или почти все, поражают воображение Толика. Вот он схватил меня за руку.

— Гляди, вон кадришка какая идет.

«Кадришками» по моде нашего времени Толик называл всех девочек. Были у него в словаре и другие названия — «кralи», «курочки» или просто «бабы».

Я не чувствую в себе достаточного интереса, и мне очень стыдно. Мне кажется, что во мне чего-то не хватает, раз я не испытываю при этом такого же восторга, как Толик. Мне не хочется казаться в его глазах дураком, и, вызывая в себе ложное возбуждение, я кричу с предельной заинтересованностью:

— Где кадришка?

— Проща уже,— сердится Толик.— Пока ты тут чухался...

Не успев договорить фразы, он кидается за обогнавшей нас девичьей на длинных, словно ходули, ногах:

— Девушка, а девушка, вы не из баскетбольной команды?

— Иди ты к...— не оборачиваясь, ответила девушка.

Толик вернулся сконфуженный.

— Что она тебе сказала?— спросил я.

— Да ничего,— сказал Толик.— Дура длинная.

Идем дальше. Толик сопит, молчит, переживая только что перенесенный позор.

— Толик,— спрашиваю я,— у тебя есть идейные убеждения?

— Чего?— удивился Толик.

— Я спрашиваю: у тебя есть идейные убеждения?

— Маленько есть,— подумав, ответил Толик.

— А какие у тебя убеждения?

— Разные,— отмахнулся Толик и опять насторожился.— Пошли.

— Куда?— не понял я.

— Потом поймешь.

Он схватил меня за руку, увлекая вперед. Мы почти побежали. Свернули на боковую безлюдную аллею. Впереди нас шли две девушки в красных платьях с красными сумочками в руках.

— Понял— куда?— сказал Толик, сбавляя ход; теперь мы шли с той же скоростью, что и девушки.— Давай что-нибудь говори.

— А что говорить?— спросил я.

— Неважно что, лишь бы громко.— И тут же повысил голос:— Ничего себе кralи идут, а?

— Ничего,— сказал я еле слышно.

— Громче,— шепнул Толик и снова во весь голос:— Тебе какая больше нравится?— И, не дождавись моего ответа, почти прокричал:— Мне крайняя... Что ж ты молчишь?— снова прошептал он.

Видно, поняв, что со мной каши не сварить, он стал вести игру сам.

— Девушки, вы здешние?— спросил он.

Девушки молча свернули направо.

— Гляди,— громко восхитился Толик,— попутчицы.

Мы свернули следом за девушками. Тогда они неожиданно развернулись и пошли в обратную сторону.

— Куда мы, туда и они,— бодро прокомментировал этот маневр Толик, и мы, пропустив их вперед, опять пошли следом.

Наше преследование кончилось безрезультатно. Возле главного входа девушек ждали двое парней. Когда они шагнули навстречу девушкам, мы с Толиком сделали по шагу в обратном направлении. Физическое превосходство парней было очевидным.

— Ну что, теперь погонимся за другими? — спросил я удрученно.
— Зачем гоняться? — сказал Толик. — Пускай они за нами гоняются. Вон на лавочке две сидят, пойдем с ними поговорим.

— Да ну их, — сказал я. — Бегаем как дураки по всему парку, а толку чуть.

— Ну, пошли, сейчас познакомимся.

— Как же, познакомимся, — усомнился я.

— Точно тебе говорю: познакомимся. Пошли.

— Ну, ладно, пошли, — сказал я.

Толик обрадовался.

— Ты себе какую берешь?

— Никакую, — сказал я сердито.

— Ну, ладно, я себе беру блондинку, а твоя будет рыжая. Ты рыжих любишь.

Я и сам не знал, каких я люблю.

Наши очередные жертвы, ни о чем не подозревая, сидели на лавочке и разговаривали.

— Здравствуйте, — сказал Толик.

— До свиданья, — сказала блондинка.

— Спасибо, — сказал Толик и сел рядом с блондинкой. — Прошу вас, — пригласил он меня.

Я подчинился и сел рядом с рыжей.

— Знакомьтесь, — сказал Толик, кивая в мою сторону, — мой друг Валерий, очень большой человек, лауреат Международной премии за укрепление мира между народами.

— А вы кто? — с любопытством спросила блондинка.

— Я? Я поэт Евтушенко, — сказал Толик скромно.

— А я думала: Маяковский, — сказала блондинка.

— Маяковский — это он.

— А если серьезно? — спросила блондинка.

— А если серьезно... — Толик встал и представил торжественно меня и себя: — Валерий Важенин, Анатолий Божко.

Это прозвучало солидно. Довольный произведенным впечатлением, Толик сел на место и уже тихим, вкрадчивым голосом спросил:

— А вас как прикажете?

— Ее Поля, — сказала блондинка, — а меня... вы только не подумайте, что я нарочно... так у нас получилось... меня зовут Оля.

— Очень хорошо, — сказал Толик, — запомнить легко, а забыть еще легче. Ну что, Оля и Поля, может, пойдем туда-сюда пошляемся?

— Что это вы так говорите? — подала голос Поля. — Что это за слова такие — «пошляемся»?

— Это я по-французски, — оправдался Толик. — В смысле погуляем.

Поля посмотрела на Олю.

— Мне все равно, — сказала Оля.

— Может, пойдем потанцуем? — спросила Поля.

— Блестящая идея, — согласился Толик.

Мы встали, пошли. Запас шуток у Толика истощился, некоторое время мы шли молча. Молчание грозило стать затяжным, и Толик нашел выход из положения.

— А что это мы идем и молчим? — сказал он. — Может, поговорим о чем-нибудь?

— А о чем? — деловито спросила Оля.

— Мало ли о чем. Валера, расскажи девочкам стих. Вот этот... про дерево.

— А вы любите книжки читать? — заинтересовалась Поля.

Я смутился.

- Да так. Иногда.
- Я книжки ужасно люблю,— сказала Поля.— Особенно жизненные. Вот я недавно прочла «Сестру Керри».
- Драйзера.— Я проявил эрудицию.
- Не знаю. Так там мне больше всего понравилось, что все, как в жизни. Когда я жила в Днепропетровске, у нас была одна соседка, капля воды — сестра Керри. А еще недавно я читала «Красное и черное»...
- Стендаля,— подсказал я.
- Поля остановилась и посмотрела мне прямо в глаза.
- Учтите, Валера,— строго сказала она.— Я авторов никогда не запоминаю.
- Мальчики, а билеты у вас есть? — вдруг вспомнила Оля.
- В самом деле,— сказал я и посмотрел на Толика.
- Толик похлопал себя по карману и сделал кислую рожу.
- Так надо купить,— сказала Поля.
- Правильно,— обреченно сказал Толик.
- Может, у вас нет денег?
- У нас? — Толик скривился презрительно.— У нас денег мешок. Валера, отойди на минутку.— (Мы отошли с ним в сторону.) — У тебя хоть что-нибудь есть?
- Тридцать копеек.
- Это не деньги,— сказал Толик.— Это слезы. Посиди пока с ними, чтоб не сбежали. Я скоро вернусь.
- Он ушел, а я остался. Говорить было не о чем, мы молчали. Первой заговорила Оля.
- Жарко сегодня,— сказала она, вытирая шею платочком.
- Да, действительно жарко,— согласился я.— Может, хотите воды? Надо было как-то растянуть время.
- Лучше мороженое,— робко сказала Оля.
- Эскимо? — бодро уточнил я и потрогал в кармане свои тридцать копеек.
- Пломбир,— возразила Поля.
- В этот момент я ее ненавидел. Мы встали в хвост длинной очереди за толстой теткой в цветастом открытом платье. Не знаю, на что я рассчитывал. Может, на то, что, пока подойдет очередь, появится Толик. Или разразится стихийное бедствие.
- Очередь двигалась довольно быстро. Небо было чистое, звездное. Стихийного бедствия пока не предвиделось. Что делать? Может, просто сбежать? Очередь катастрофически приближалась. Спасение пришло неожиданно
- Смотрите,— сказала вдруг Поля.— Спутник летит.
- Где спутник? — спросил я, выходя на всякий случай из очереди.
- Вон, прямо над головой, смотрите.
- Я отошел еще дальше.
- Нет, это не спутник,— сказал я,— это самолет.
- Откуда вы знаете? — не поверила Оля.
- Во-первых,— сказал я,— это можно определить по шуму двигателей. Во-вторых, по огням. Они называются «БАНУ» — бортовые аэронавигационные огни.
- Вы что,— сердито спросила Поля,— все знаете?
- Не все,— сказал я,— но это знаю. В школе я занимался в авиамодельном кружке, и мы там кое-что проходили.
- Братцы,— сказала Оля,— а очередь-то мы пропустили.
- Неужели? — всплеснул я руками.
- И в самом деле. Тетка в цветастом платье, которая стояла впереди

меня, отходила в сторону, торжественно, как факел, неся перед собой эскимо на палочке.

— Все ваша эрудиция,— упрекнула Поля.

— Ну, ничего, постоим,— сказал я в расчете на то, что теперь нам мороженого просто не хватит.— Время у нас еще есть.

— Какое же время? — сказала Оля.— Вон ваш товарищ уже идет. Наконец-то. Беспечно размахивая транзистором, к нам приближался Толик.

— А если вы все знаете,— не унималась Поля,— скажите, это правду говорят, что дельфины — мыслящие существа?

— Чего? — спросил подошедший Толик.

Поля повторила вопрос.

— Не думаю,— сказал Толик.— Если б они были мыслящие, они бы в трусах плавали.

Мы пропустили девчонок вперед, а сами немного отстали.

— Достал? — шепотом спросил я у Толика.

— Достал два билета,— сказал Толик,— толкнул частнику подшпик за рубль.

— Что же делать?

— Придумаем что-нибудь... Девочки,— сказал он, подходя к Оле и Поле,— вот вам два билета, вы идите, а мы сейчас придем. У нас тут еще одно небольшое дельце есть.

— Что это у вас все дела какие-то? — недоуменно сказала Поля, но билеты взяла.

Они ушли, а мы остались. Играла музыка. Над освещенной, забитой людьми танцплощадкой стояла пыль.

— Ну что ты еще придумал? — спросил я у Толика.

Мне это уже все надоело, я бы с удовольствием ушел домой, чтобы лежа на диване, подремать над какой-нибудь книжицей.

— Пойдем через служебный вход,— сказал Толик.— Больше делать нечего.

Возле оркестрового купола в заборе, ограждающем танцплощадку, кто-то выломал железные прутья, получилась дыра, не очень большая, но для нас с Толиком в самый раз. Эту дыру Толик и называл служебным входом. Возле дыры, опершись на забор, стояли два парня в одинаковых синих рубашках, здоровые и плечистые, должно быть спортсмены. Они о чем-то между собой разговаривали.

— Ребята, милиции нет? — деловито спросил Толик.

Парни перестали разговаривать, повернулись к нам.

— А что, пролезть хотите? — с любопытством спросил тот, который загоразивал дыру.

— Может быть,— уклончиво сказал Толик.— А что?

— Да ничего,— парень подвинулся к своему товарищу, освобождая дыру.— Откуда тут милиция? Валяйте.

— Как бы не вляпаться,— засомневался Толик.

— Как хотите,— сказал парень,— мы вот не вляпались.

Толик посмотрел на парней, потом на меня.

— Ну, ладно,— решил он,— давай, Валера, ты первый, а я за тобой.

Только я пролез на ту сторону и разогнулся, как сразу заметил красную повязку на рукаве парня, стоявшего возле дыры.

— Вот и хорошо,— сказал парень. Он сжал мою руку повыше локтя так сильно, что я понял: вырваться бессмысленно.

Толик сразу все сообразил и отпрянул от забора.

— Так вы дружинники,— сказал он укоризненно.

— Так уж получилось,— сказал тот, что держал меня за руку.— Чего ж ты не лезешь?

— В другой раз,— пообещал Толик.

— Ну, смотри, дело твое,— сказал дружинник и обратился к своему товарищу: — Пойдем, что ли?

— Пойдем,— сказал тот, почесывая затылок. Ему, видно, очень не хотелось со мной возиться.

— Пошли,— сказал тот, что держал меня за руку.

— Пусти руку,— сказал я,— тогда пойду.

— А не побежишь?

— Не бойся,— успокоил я,— не побегу.

Пробираясь между танцующими, я столкнулся с Олей и Полей. Они танцевали вдвоем.

— Валера,— обрадовалась Оля.— А Толя где?

— Сейчас я его найду,— сказал я.

— Вы не ждите,— сказал дружинник,— он его долго будет искать.

Мы вышли с танцплощадки и направились по аллее к выходу.

Сзади на почтительном расстоянии двигался Толик.

— Ты, может, с нами хочешь? — обернулся дружинник.

— А чего это мне с вами идти? Я через забор не лез,— сказал Толик.— Валера, что матери передать, если надолго задержат?

— Ничего,— сказал я сердито.

— Валера, ты на меня не сердись. Если бы я первый полез, они сцапали бы меня.

— А почему же ты не полез первым?

— Кому-то же надо быть первым. А теперь что ж — нам двоим пропадать?

— Ну и сволочь у тебя дружок,— заметил дружинник, шедший ближе ко мне.— Возьми его тоже,— сказал он своему товарищу.

— Иди сюда,— сказал второй дружинник и сделал шаг к Толику.

— Сейчас, разбежался,— сказал Толик и на шаг отступил.

— Догоню ведь,— сказал дружинник и сделал еще один шаг.

— Как же, догонишь,— сказал Толик, отступая к кустам.— У тебя по бегу какой разряд?

— Черт с ним,— сказал тот, что был возле меня.— Хватит нам на первый раз одного.

— Ты можешь теперь пойти на танцы,— сказал я Толику.— Дырка свободна.

— Ладно,— оборвал дружинник.— хватит разговаривать. Пошли.

Дежурный по отделению милиции, молодой белобрысый сержант, при моем появлении не проявил ни малейшего удовольствия.

— Вы еще мне танцоров будете водить,— сказал он дружинникам.— Дали бы под зад пинка — и пускай себе катится на все четыре. А теперь протокол на него составлять, начальству докладывать.

— Мы еще одного хотели взять,— сказал дружинник, приведший меня,— да он убежал.

— Ладно, идите.— Сержант недовольно махнул рукой.— А ты садись на скамейку, посиди.

Я сел на желтую, с облупившейся краской скамейку, а дружинники все еще стояли, переминаясь, перед барьером, отделявшим их от дежурного.

— Ну, чего стоите? — сказал дежурный.— Сказано вам: свободны.

Они-то, наверное, думали, что им вынесут благодарность за их выдающийся подвиг. Обиженные, они повернулись и направились к выходу.

Сидевший на табуретке у входа толстый милиционер в надвинутой на глаза фуражке посторонился. дружинники вышли.

— Так, может, я пойду, если я вам не нужен,— сказал я и встал.
— Отдохни пока,— сказал дежурный и обратился к стоявшей перед ним девице примерно моего возраста, а может, чуть-чуть постарше: — Так как твоя фамилия?

Девушка стояла, положив руки и подбородок на барьер, и смотрела на милиционера преданными глазами.

— Иванова,— сказала она охотно.

— А может, Петрова?

— Может, Петрова,— согласилась девушка.

— А правильно как?

— Правильно Иванова.

— Ты где-нибудь работаешь?

— Нет. Работала в столовой, потом уволили по сокращению. На самообслуживание перешли.

— В какой столовой?

— В какой столовой-то? Ну, в обыкновенной столовой. Знаете, где едят.

— Ты мне голову не морочь. Номер столовой?

— А я чего-то не припомню.

— И где находится не помнишь?

— Нет.

— Ну, хорошо. А родители у тебя есть?

— Нет.

— А у кого ты живешь?

— У тетки.

— А как фамилия тетки?

— Иванова.

— А зовут как?

Девушка перевела взгляд с сержанта на меня, потом опять на сержанта, пожалала плечами и вздохнула.

— Не помню.

Сержант вздохнул тоже.

— Ну, хорошо. А где живет твоя тетка?

— А она не живет. Она померла.

Дежурный вышел из себя.

— Слушай, что ты мне голову морочишь. Вот сядь здесь и сиди до утра. Начальник придет, он сам с тобой будет разговаривать.

— Как же сидеть? — возмутилась девушка. — Мне на троллейбус надо и спать охота.

— Сидя поспишь. Ну-ка, танцор, подойди сюда.

Я подошел.

— Как фамилия?

— Важенин.

— Зовут?

— Валерий.

— Где работаешь?

— В почтовом ящике. — Я решил напустить туману.

— Что ж ты, ящик, без билета на танцы лазишь? Денег нет? — (Я промолчал.) — Раз денег нет — сиди дома. А теперь будешь здесь сидеть. До утра. А утром к судье — и на пятнадцать суток. Понял? Вот. Садись... Крошкин, — сказал он толстому милиционеру. — Ты тут погляди за ними. Я сейчас вернусь.

Сержант ушел.

Девушка сидела на лавочке, обхватив руками колени и глядя в пол. Когда я сел рядом, она быстро вскинула на меня глаза и снова опустила их к полу. Я исподволь к ней пригляделся. Беленькая

такая, с красивыми ногами. Глаза у нее, насколько я успел заметить, были большие, темные, только слишком подкрашены в уголках. Темная юбка в обтяжку слегка открывала круглые колени.

— Тебя правда Валеркой зовут? — шепотом спросила девица.

— А что ж я — врать буду? — ответил я тоже шепотом.

Она убрала руки с колен и подвинулась ко мне вплотную.

— А я им все вру,— сказала она.— Им хоть правду говори, хоть неправду — все равно не поверят, так я вру нарочно, пускай работают, пишут свои протоколы. Или вообще не говорю ничего. Спрашивает: «Как зовут?» А я говорю: «Не помню».— «Что, говорит, тебе память отшибло?» А я говорю: «Не отшибло, а я такая и родилась беспамятная». Ну, он злится! А вообще-то меня Татьяна зовут.

— «Итак, она звалась Татьяной...»

— Чего это ты сказал?

— А это стихи такие,— сказал я.

— Стихи? — переспросила она мечтательно.— Я стихи ужас как люблю. Прямо до смерти.— И прочла, откинув в сторону правую руку: — «Вино в бокале надо пить, пока оно играет, жизнь дана, надо жить, двух жизней не бывает».

Милиционер на табуретке очнулся, сдвинул фуражку на затылок, посмотрел на Татьяну.

— Ты чего? — спросил он зловеще.— Самодеятельность устраиваешь?

— Проснулся? — обрадовалась она.— С добрым утром, дядя. Физкультпривет!

— Я вот тебе дам физкультпривет,— лениво проворчал милиционер.

— Какой сердитый,— скривила губы Татьяна.— Тебя что, работа испортила?

— У меня работа нормальная,— сказал милиционер.— Не то что у тебя.

— А сколько тебе платят за твою работу, а?

— С меня хватает.

— Я вижу, что хватает. Небось, когда здесь по коридору идешь, ушами за стенки цепляешься.

— Замолчи! — повысил голос милиционер.

— А чего мне молчать-то? Свобода слова. Понял? Чего хочу, то говорю.

— Замолчи, а то встану,— сказал милиционер. И встал.

— Ну, чего встал? — Татьяна тоже встала.— Думаешь, я тебя испугалась, да? Да мне на тебя плевать. Тьфу!

Милиционер двинулся к ней. Я вжался в стенку. Сейчас что-то будет. Татьяна, протянув вперед руки с растопыренными пальцами, продолжала дразнить приближавшегося к ней милиционера.

— Ну, подойди сюда.— перешла она на завораживающий полусшепот.— Подойди, бегемот проклятый, подойди еще. А-аа! — закричала она неожиданно пронзительным голосом, вскочила на лавку и прижалась спиной к стене.

— Чего орешь? — растерялся милиционер.

— А что, испугался? — Татьяна заплясала на лавке.— Чего ору, да? А вот хочу и ору. А-аа! — закричала она еще пронзительней.

Расстегивая на ходу кобуру револьвера, вбежал дежурный сержант. Остановился посреди комнаты.

— В чем дело? — спросил он, переводя взгляд с Татьяны на милиционера.

— Спроси у нее.— Милиционер отошел к своей табуретке, сел и снова закрыл глаза козырьком.

— Чего вопила? — спросил с любопытством сержант у Татьяны.

Татьяна села на место, оправила юбку, сложила руки между колен и сказала жалобно:

— Сержант, он меня изнасиловать хотел.

— Тебя? — насмешливо переспросил сержант.

— Меня,— сказала она еще жалобней и для убедительности шмыгнула носом.— Вот, пожалуйста, свидетель сидит,— показала она на меня.— Он может подтвердить.

— Бедная ты,— сказал сержант, заходя за свою загородку.— Несчастливая. Беззащитная.— И стукнул неожиданно кулаком.— Будешь у меня тут хулиганить — я тебя живо на пятнадцать суток оформлю. Ясно?

— Ясно,— покорно согласилась Татьяна.

Зазвонил телефон. Сержант снял трубку.

— Дежурный по отделению милиции слушает,— сказал он в трубку.— Да. Алкоголики? Ну, ладно, поместим где-нибудь. Я думаю, им отдельной жилплощади не требуется? — Он повесил трубку, раскрыл какую-то книгу и отметил в ней что-то.

— Сержантик,— ласково сказала Татьяна,— отпусти меня домой, а? А то я на последний автобус опоздаю, тетка волноваться будет.

— Тетка, которая померла? — поинтересовался сержант.

— Да она не то чтобы померла, а так — и померла, и не померла, и живет еще.

— Отпустить ее, что ли? А, Крошкин? — обратился сержант к толстому милиционеру.

— Крошкин,— попросила Татьяна.— Крошечка, скажи, пусть отпустит.

— А ты чего обзывалась? — обиженно сказал Крошкин.

— Да я ж пошутила. Я просто так. Характер у меня дурной. Тетка говорит: «Тебя с таким характером ни один дурак не возьмет замуж».

— Ладно, пусть идет,— махнул рукой сержант.

— Пусть идет,— согласился Крошкин. Отодвинулся, освобождая проход, и снова закрыл глаза козырьком.

— Вот спасибо.— Татьяна вскочила и направилась к выходу. Обернулась: — Спасибо, сержантик. И тебе спасибо. Слышь, Крошечка.— Она постучала пальцем по козырьку.

— Иди,— махнул рукой Крошкин.

— И больше не попадайся,— добавил сержант.

— В ваше отделение,— сказала Татьяна,— ни за что в жизни.

Мы остались втроем. Сержант посмотрел на меня.

— Ну, а с тобой, орел, что будем делать?

Я пожал плечами:

— Дело ваше.

— Ладно,— сказал он весело,— я сегодня добрый. Валяй и ты.

Я не заставил себя долго упрашивать.

Татьяна стояла на улице. Она рассматривала приткнувшиеся к бордюру тротуара милицейские мотоциклы. Увидев меня, обрадовалась, как родному.

— Ой,— сказала она, разведя руки в стороны.— Тебя тоже выпустили? А я так и знала, что выпустят. Куда ж им нас девать? Некуда. Тебе куда идти?

— Некуда,— ответил я в тон ей.

— Как некуда? — всполошилась она. — Тебе что, негде ночевать? — Она подошла ко мне ближе и посмотрела мне прямо в глаза.

— Что ты, — поспешно сказал я, — я пошутил. У меня все есть. У меня есть квартира с мамой, бабушкой и швейной машинкой.

— Да? — сказала она разочарованно. — А где ты живешь?

Я сказал. Она вздохнула.

— Тебе близко. А мне аж за Дворец переть. Автобусы спатки легли.

— Пошли провожу, — предложил я.

— Далекое ведь.

— Ничего, — сказал я беспечно.

Она взяла меня под руку, и мы пошли. Никогда до этого я не ходил под руку с девушкой. На улице было тепло и тихо. Шелестели листья на ветках деревьев. По улицам только что прошли поливальные машины, и звезды отражались неясно на мокром асфальте.

Мы шли рядом. Я посмотрел на нее сбоку и засмеялся.

— Ты чего смеешься? — спросила она удивленно.

— Вспомнил, как ты Крошкина воспитывала, — сказал я.

— А! — Она засмеялась тоже. — Здорово я ему выдала. Вообще-то он ничего, толстячок потешный. Правда?

— Правда, — сказал я, остановился и посмотрел на нее. — Послушай, а за что тебя забрали в милицию?

— А ты разве не понял? — тихо спросила она.

— Не понял.

Она выпустила мою руку, отошла в сторону и сказала вызывающе:

— За легкое поведение.

— Правда? — спросил я упавшим голосом.

— Конечно, правда.

Она опять оживилась, схватила меня за руку, и мы пошли дальше.

— Понимаешь, я с мальчишкой одним на лавочке целовалась. Я вообще-то целоваться не люблю. А он пристал ко мне, прямо чуть не плачет. А у меня характер такой дурной: жальливая я очень. Думаю: «Ну, если ему так нужно, что мне, жалко, что ли? Не убудет ведь меня. В крайнем случае потом умоюсь». А тут этот Крошечка. «Вы чем, говорит, занимаетесь в общественном месте?» А я говорю: «Не твое дело, проходи себе стороной». А он говорит: «Ах, не мое дело...» И свисток в зубы. А я говорю: «Выплюнь ты этот свисток, он заразный». Мальчишка-то убежал, а мне бежать не на чем, у меня и так каблук еле держится. А ты думаешь, я правда нигде не работаю? Это я им нарочно сказала. А я вообще-то работаю в парикмахерской. Вот приходи, я тебе любую стрижку сделаю, полку молодежную, полку простую, канадскую, бокс, полубокс, что хочешь. У нас работа художественная. Наш бригадир говорит: «Парикмахер — все равно что скульптор. Он из оборота произведение искусства делает».

На пустыре было тихо и темно. Неуклюжая громада Дворца, освещенная единственной лампочкой, мрачно темнела на фоне звездного неба и косилась на нас пустыми проемами окон.

— Страшный какой, — сказала Таня. — Кто ж. интересно, будет в таком жениться?

— Может, мы с тобой, — пошутил я.

— Не надо насмехаться, — строго сказала Таня.

Пустырь сразу переходил в широкую улицу. Потом мы пересекли площадь, прошли еще немного вперед и повернули направо в темный глухой переулок, в конце которого горел фонарь на столбе. Мы до этого фонаря не дошли и остановились возле крупнопанельного пятиэтажного

дома. Было только половина первого, но ни одно окно в доме не светилось, все подъезды тоже были темны.

— Как в войну во время затемнения,— сказал я.

— А откуда ты знаешь, как было в войну? — спросила она.

— Я не знаю, мне рассказывали,— сказал я,— а потом еще я видел кино.

— Чего-то я к тебе за какой-нибудь час так привыкла,— грустно сказала она.— Как будто сто лет тебя знаю. Даже расставаться не хочется.

Я подумал, что она врет, но все равно было приятно.

— Мне тоже не хочется,— сказал я.

— Может, еще погуляем? — спросила она.

Легко сказать — погуляем. Мама с бабушкой, наверно, уже сходят с ума, обзвонили уже все милиции, больницы, «скорую помощь» и бюро несчастных случаев. Я постеснялся ей это сказать, я сказал:

— Не могу. Мне на работу рано вставать.

Она поежилась то ли от холода, то ли просто так.

— На работу? Мне вообще-то тоже. Ну, ладно, пока.

Она издали протянула мне руку. Рука у нее была маленькая и холодная.

— А когда мы с тобой встретимся? — спросил я.

— Никогда.— Она вырвала руку и скрылась в темном подъезде.

Я постоял немного на улице, потом тоже вошел в подъезд. Ничего не было видно. Я нашупал рукой шершавую полоску перил и остановился, прислушался, услышал ее шаги. Она тихо, словно крадучись, поднималась по лестнице. Я думал: сейчас откроется дверь и я на слух определю, на каком этаже она живет. Сейчас она была, как мне казалось, на третьем. Пошла выше. Четвертый. Еще выше. Значит, она живет на пятом. Остановилась. Сейчас откроется дверь. Не открывается. Я посмотрел вверх. Ничего не было видно, только чуть обозначенное синим окном на площадке между третьим и вторым этажами. Может, Татьяна тоже пытается разглядеть меня и не видит? Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я ступил на первую ступеньку лестницы. Потом на вторую. Тихо-тихо, ступая на носках, я поднимался по лестнице. Вот и пятый этаж. Лестница кончилась. Татьяна была где-то рядом. Я слышал, как она прерывисто дышит. Я вытащил из кармана спички и стал ломать их одну за другой, потому что они никак не хотели загораться. Наконец одна спичка зашипела и вспыхнула, и я увидел Татьяну. Испуганно прижавшись к стене, она стояла в полушаге от меня и смотрела, не мигая. Потом ударила меня по руке, и спичка погасла. Потом она обхватила мою шею руками, притянула к себе и прижалась своими губами к моим.

Я позабыв о маме, о бабушке, о себе самом.

Вдруг она громко зашептала:

— Убери руки, обижаться буду! Руки! — Она резко меня оттолкнула.

Я зацепил ногой мусорное ведро, оно загремело.

— Тише! — шепнула она.

Глаза мои привыкли к темноте, в слабом свете, проникавшем сквозь окно на площадке между этажами, я различал смутно ее лицо. По моему, она усмехалась. Усмехалась потому, что я дышал, как загнанная лошадь, и ничего не соображал.

— Ты что, сумасшедший? — спросила она.

— Нет,— сказал я, переводя дыхание.

— А чего ж ты?

— Чего «чего»?

— Чего руки распускаешь, говорю? — сказала она громко.

Я не знал, что ответить.

— Ты всегда так делаешь? — спросила она уже тише.

— Всегда.— Я рассердился и полез в карман за сигаретами.

— Дай закурить,— сказала Таня.

— А ты разве куришь?

— А как же.

Прикуривая, она смотрела на меня с любопытством. Я поспешил прикурить сам и погасил спичку. Некоторое время курили молча. Потом она спросила:

— Ты раньше с кем-нибудь целовался?

— Всю жизнь только этим и занимаюсь.

— Что-то не похоже,— усомнилась она.

— Почему?

— Почему? — Она затянулась и пустила дым прямо мне в нос.— Не умеешь. Хочешь, научу?

Я ничего не ответил. Она взяла у меня окурок и вместе со своим бросила в лестничный пролет. Окурки, ударяясь о ступеньки и рассыпая бледные искры, полетели зигзагами вниз, то встречаясь, то расходясь, и пропали.

— Ну, учись,— сказала Татьяна и пригнула меня к себе.

Назавтра мы договорились встретиться снова. В восемь часов возле универмага.

Приближалось утро, небо бледнело, на улицы вышли дворники и громко шаркали метлами.

Пустьрь я пересек напрямую и вышел к площади Победы. За площадью свернул на бульвар и пошел по аллее. Редкие фонари рассеивали конусы света, на темных скамейках блестела роса.

Я шел, не торопясь. Торопиться мне, собственно говоря, было уже просто некуда. Бабушка с мамой, конечно, обегали все, что можно обегать ночью, и теперь сидят при свете, ждут. Приду — будут попрекать, будут демонстративно глотать сердечные таблетки и капли. Хоть совсем не приходи.

Потом я услышал какие-то голоса и смех и посмотрел вперед. Впереди меня под фонарем расположилась группа каких-то людей. Они сдвинули вместе две скамейки, некоторые сидели на этих скамейках, а те, кому не хватило места, стояли.

Я несколько сбавил шаг и стал смотреть себе под ноги. Потом нашел кусок кирпича, хотел положить его в карман, но в карман он не влез, я прижал его к бедру и пошел немного правее, подальше от скамейки. на всякий случай. Мало ли чего может случиться, когда на улице нет ни милиции, ни прохожих — никого, кроме меня и этих парней.

О чем они разговаривали между собой — я не слышал, но когда я поравнялся с ними, они замолчали и уставились на меня, я этого не видел, но чувствовал. Я шел, напрягшись, и держал кирпич так, чтобы его не было видно.

— Валерка! — услышал я знакомый голос и обернулся. Ко мне приближался Толик.

И я сразу вспомнил двор школы, турник, тренирующихся парашютистов и приказ инструктора в кожаной куртке собраться в три часа ночи на бульваре у кинотеатра «Восход».

Я незаметно бросил кирпич в кусты.

— Ты откуда? Из милиции, что ли?

— Из санатория.— сказал я сердито. Я никак не мог простить ему, что он ушел, когда дружинники тащили меня в милицию.

— Ну, я так и знал, что до утра выпустят,— сказал Толик.— У них и без тебя работы хватает.

— Ну да,— сказал я,— ты все знал заранее. А чего ж тогда ты со мной не пошел?

— А зачем нам вдвоем идти? — сказал Толик.— Тебе разве легче было бы, если б меня тоже забрали?

— Морально легче,— сказал я.— Вместе лезли, вместе надо и отдохнуть. Я на твоем месте ни за что не ушел бы.

— Ну и зря,— сказал Толик.— Зря не ушел бы. Ты прыгать будешь?

— Ну да, прыгать,— сказал я.— Ты-то выспался, а я из-за тебя всю ночь глаз не сомкнул.

— А я, думаешь, спал? — обиделся Толик.— Я этих провожал. Как их? Олю и Полю.

— Ну и что? — спросил я.

— Да ничего. Они в общежитии живут. Я хотел с Олей в подъезде постоять, а эта зараза рыжая тоже стоит, не уходит. Ну, я плюнул и ушел. Поехали, а?

— Да я не знаю,— заколебался я.— Мать волноваться будет.

— Не будет,— сказал Толик.— Она ко мне приходила в час ночи, я сказал, что ты поехал к товарищу за книжками для института и останешься у него ночевать. Поехали.

В это время из-за угла выехал микроавтобус с включенными подфарниками. Он остановился как раз напротив скамеек. Из него вылез знакомый уже нам инструктор и, сложив ладони рупором, весело закричал:

— Эй, парашютисты, вали все сюда!

Все парашютисты кинулись прямо через газон к машине.

— Ну что, ты едешь или не едешь? — нетерпеливо спросил Толик.

— Да я не знаю,— сказал я. Я все еще колебался.

— Ну, как хочешь,— сказал Толик и побежал к машине.

— А, была не была,— сказал я и побежал вслед за ним.

Дорога была длинная. Мы проехали весь город, выехали на шоссе, потом свернули на проселочную дорогу и еще долго ехали по ней. Когда приехали на аэродром, было уже совсем светло.

Аэродром был аэроклубовский. На нем не было, как я себе представлял раньше, бетонных дорожек или стеклянных ангаров — просто клочок поля с выгоревшей травой, два небольших домика и несколько белых цистерн с бензином, врытых наполовину в землю.

Маленькие зеленые самолетики (потом я узнал, что они называются «ЯК-18») взлетали, садились, рулили по земле, таща за собой хвосты желтой пыли. По полю взад и вперед сновали какие-то люди в комбинезонах.

Наш микроавтобус подъехал к одному из домиков, над крышей которого болтался полосатый мешок.

Инструктор первый вылез из кабины и встал возле дверцы.

— Вылезайте, да побыстрее,— скомандовал он.

Парашютисты стали по одному выпрыгивать из машины, а инструктор считал:

— Раз, два, три, четыре...

Пятым из машины вылез я.

— А ты встань сюда.— Инструктор показал мне место рядом с собой.— И ты тоже,— сказал он вылезшему из машины Толику. Пересчитал остальных. Скомандовал: — В колонну по два становись! Равняйся! Смирно! Шагом марш вон к тому самолету.— Он показал на самолет,

который стоял отдельно от других. У него на фюзеляже был нарисован такой же, как на куртке инструктора, парашютный значок.

— А мы как же? — растерялся Толик.

— Как хотите, — сказал инструктор. — У меня вас в списках нет.

Мы остались одни.

— Дурачок какой-то, — укоризненно сказал Толик, глядя вслед удаляющемуся инструктору. — Раньше не мог сказать.

— А он нарочно завез нас, хотел проучить, — сказал я.

— Я и говорю: дурачок. — Вид у Толика был виноватый. — Может, такси где поймаем? У меня деньги есть. Я у отца трешку свистнул.

— Какое уж тут такси, — безнадежно сказал я.

Я достал сигареты, дал Толику, взял себе. Пробегавший мимо человек в комбинезоне сказал:

— Ребята, здесь курить нельзя. Там за домом курилка.

За домиком вдоль стены тянулась длинная, врытая в землю скамейка, перед ней железная бочка, тоже врытая в землю и наполненная наполовину водой. Вода была мутная, в ней плавали жирные размокшие окурки. На краю скамейки сидели два летчика. Один — лет тридцати, маленький, коренастый, черный, как жук, — был похож на мелкого жулика. На нем были широкие брюки и бежевая куртка на молниях. Из-под белого подшлемника выбивалась на лоб аккуратно подстриженная челочка. Другой был постарше, повыше, рыжий, с белыми глазами, как у альбиноса. Мы с Толиком сели с другого края.

Летчики не обратили на нас никакого внимания, они вели между собой какой-то странный, непонятный мне разговор.

Белоглазый жаловался:

— Выходит, курсант сломал ногу, а ты должен за него отвечать.

— А как он сломал? — спросил черный. — Ткнулся на три точки?

— Если б на три. А то как шел носом, так и воткнулся.

— И что, ничего теперь с ногой сделать нельзя?

— Черт ее знает. Отдали пока в ПАРМ, может, там сварят. А не сварят — придется новую ставить. А за новую вычтут из зарплаты.

— Это уж точно, — вздохнул черный. — У меня в прошлом году курсант фонарь в воздухе потерял, и то два месяца высчитывали, а это же нога.

Он встал и швырнул в бочку окурков. Белоглазый тоже встал и свой окурков раздавил каблуком.

Они ушли.

Впереди нас, немного левее, белели наполовину врытые в землю большие цистерны. Они были огорожены колючей проволокой. Между двумя цистернами стоял маленький черный ишак, запряженный в двухколесную тележку, на которой лежала железная бочка. И маленький человек в грязном комбинезоне при помощи ручного насоса перекачивал что-то не то из цистерны в бочку, не то из бочки в цистерну.

— А я эту Олю вчера поцеловал, — неожиданно похвастался Толик. — Мы стояли в подъезде, а рыжая пошла к себе воды попить. А я Олю к батарее прижал и — чмок, прямо в губы. А она ничего, только говорит: «Не надо, Толя, мы еще мало знакомы». А я говорю: «Так будем больше знакомы». И тут эта рыжая снова приперлась и помешала. — Толик с видом явного превосходства посмотрел на меня.

— Подумаешь, — сказал я. — Я всю ночь целовался.

— С милиционером?

— Зачем с милиционером? С девчонкой. Вчера познакомился.

— Где познакомился? — Толику никак не хотелось в это поверить.

— В милиции, — сказал я.

— Не заливай.

— Не веришь — не надо, — сказал я и снова стал следить за человеком в грязном комбинезоне.

Человек перестал качать насос. Сложил шланг, после чего залез на бочку и пнул ишака сапогом. Ишак покорно тронулся и, миновав узкий проход в колючей проволоке, побрел в сторону стоянки самолетов, таща за собой двуколку с железной бочкой, на которой крупными белыми буквами было написано: «Масло».

— Слышь, — не выдержал Толик. — А что за девчонка? Красивая?

— Красивая, — сказал я.

— А зовут как?

— Таня.

Я не хотел рассказывать ему, но он пристал как банный лист: как выглядит да сколько лет, и я постепенно ему все рассказал. Тогда Толик подумал и сказал с облегчением:

— А, я ее знаю.

— Откуда? — удивился я.

— Да ее все знают, — сказал Толик. — Она с Козубом путалась.

— Кто это тебе говорил? — не поверил я.

— Козуб. Да я и сам сколько раз видел их вместе.

— Мало ли чего ты видел. Может, это вовсе и не она.

— Да как же не она? — сказал Толик. — Все сходится: Татьяна, работает парикмахершей. Она за Дворцом живет?

— Нет, не за Дворцом, — соврал я. Продолжать этот разговор мне не хотелось.

Далеко над опушкой леса на большой высоте кружился самолет. Он делал всевозможные фигуры: петли, бочки, иммельманы, то падал вниз камнем, то свечой взмывал вверх и терялся за легким облачком.

Из-за домика вышел белобрый паренек в комбинезоне, подпоясанном армейским ремнем. Под ремнем болтался шлемофон с дымчатыми очками. В руках у него было ведро, в ведре лежала какая-то часть мотора, болты, гайки. Я сначала не обратил на парня никакого внимания, потому что следил за самолетом.

— Во дает! — восхитился Толик. — Вот бы на нем прокатиться. Скажи?

Я не ответил.

Паренек достал из кармана комбинезона сигареты, спички, закурил.

— Смотри, смотри, штопорит! — закричал Толик.

— Не штопорит, а пикирует, — поправил парень.

— Да? Пикирует? — усомнился Толик. Он осмотрел парня с ног до головы, задержал взгляд на шлемофоне с очками и спорить не стал.

Я тоже посмотрел на парня и вдруг узнал:

— Славка!

Славка недоуменно посмотрел на меня и тоже просиял:

— Валерка! Ты что здесь делаешь?

— Да ничего. Толик, познакомься: это Славка Перков, мы с ним в школе вместе учились.

Толик не спеша протянул Славке руку и со значением представился:

— Толик.

— А ты здесь что делаешь? — спросил я.

— Вообще то же, что и все, — сказал Славка. — Летаю.

— Как летаешь? — не понял я.

— Ну как летаю. Обыкновенно. Я же в аэроклубе учусь. Ты разве не знал?

— Первый раз слышу.

— Вот тебе на.— Славка даже присвистнул.— Да я уже кончаю. Еще месяц — и все.

— А потом что? — спросил я.

— Потом пойду в истребительное училище. Сейчас у истребителей такие скорости, что летать можно только лежа.

— И ты сам можешь летать на самолете без инструктора?

— Конечно, сам,— сказал Славка.— Я же тебе говорю: кончаю уже.

— И вот так можешь? — Я показал на самолет, выполнявший фигурный пилотаж.

— Знаешь что? — Славка встал, взял ведро в руки.— Хочешь со мной прокатиться?

— А разве можно?

— Даже нужно. А то нам вместо человека мешок с песком во вторую кабину кладут. Для центровки. Но на всякий случай, если спросят, хочешь ли в аэроклуб, говори: «Хочу». Мечта, мол, всей жизни. Понял?

— Понял,— сказал я.— Только я ведь с товарищем.

— Ну, можно и товарища.— Славка посмотрел на Толика.— Пойдешь?

— Я-то?

— Ты-то.

Толик посмотрел на Славку, потом на кувыркающийся самолет, снова на Славку.

— Да нет,— сказал он лениво,— что-то не хочется.— Повернулся ко мне: — А ты иди, если хочешь, я здесь подожду.

Мы со Славкой прошли в конец стоянки, к самолету, который стоял без колес, поднятый на «козелки». Из открытой кабины торчали ноги в брезентовых сапогах.

— Техник! — Славка поставил ведро и забрался на крыло.— Техник! — Он дотронулся до одной ноги и покачал ее.— Я карбюратор промыл, все в порядке.

Голос из кабины ответил:

— Теперь промой подшипники колес, набей смазку, я шплинт поставлю, потом проверю.

— Техник,— сказал Славка.— Мне летать пора.

Ноги поползли сперва вверх, потом опустились на крыло, из кабины вылез рыжий человек с перепачканным смазкой лицом.

— «Летать», «летать»,— сказал он, вытирая потный лоб рукавом и еще больше размазывая грязь.— Летать все хотят, а как дранть машину, так вас днем с огнем не найдешь. Скажи командиру, пусть пришлет курсантов, которые отлетали.

— Ладно,— сказал Славка,— скажу.— Он повернулся ко мне: — Бежим.

Посреди аэродрома квадратом были расставлены четыре длинные скамейки, на них сидели курсанты в комбинезонах, полный человек в кожаной куртке и военной фуражке и летчик с белыми глазами, который в курилке жаловался на курсанта, сломавшего какую-то ногу.

В стороне от квадрата маленький летчик, похожий на жулика, распекал долговязого, нескладного парня с длинными, как у обезьяны, руками.

— Ты, Кузнецов,— говорил летчик,— длинный фитиль. Ты не можешь сообразить своей головой, что, когда у тебя крен семьдесят градусов, руль поворота работает, как руль высоты, а руль высоты работает, как руль поворота.

— Почему не могу? Могу,— тихо обижался Кузнецов.

— А если можешь, какого хрена выправляешь шарик ногой, когда его надо ручкой тянуть?

Курсант виновато глядел в пространство. Может быть, он не знал, что ответить.

Тут Славка схватил меня за руку и всунулся между летчиком и курсантом.

— Иван Андреич,— сказал он.— Вот мой товарищ, он хочет в аэро-клуб поступить.

— Молодец,— сказал Иван Андреич.— Летчик — самая настоящая профессия для мужчины. Летчик — это романтика, красивая форма, деньги...

— И короткая жизнь,— неожиданно сострил Кузнецов.

— Что ты сказал? — возмутился Иван Андреич.

— Я пошутил,— быстро сказал Кузнецов.

— Ах, ты пошутил. Сейчас же на стоянку к Моргуну и драить машину. Понял?

— Иван Андреич, я пошутил,— взмолился Кузнецов.

— Шутка становится остроумней, когда за нее надо расплачиваться,— изрек Иван Андреич.— Шагом марш к Моргуну!

Курсант нехотя двинулся в сторону стоянки.

— Бегом! — крикнул ему вслед Иван Андреич. И повернулся ко мне:— После аэроклуба можешь поступить в любое училище. Три года — и ты лейтенант. Еще три года — старлей. Восемнадцать лет прослужишь — полковник. Документы принес?

— Нет,— сказал я, ошеломленный богатством открывшихся перспектив.

— Хорошо, принесешь завтра. Аттестат зрелости, справку с места работы, с места жительства, две фотокарточки. В отделе кадров скажешь, чтоб записали во второе звено ко мне. Понял?

Тут незаметно подошел белоглазый.

— Почему же он должен записываться во второе,— сказал он,— может, он хочет в первое.

Иван Андреич повернулся к белоглазому, осмотрел его с головы до ног, словно видел впервые, и тихо, но внятно сказал:

— В первое он не хочет. Ему там нечего делать.

— Почему же нечего? — обиделся тот.— Что ты — лучше других?

— Я лучше,— убежденно сказал Иван Андреич.— Я курсантов летать учу, а не шасси ломать.

— Тоже мне учитель нашелся,— фыркнул презрительно белоглазый.— А в прошлом году кто фонарь потерял?

— А ты — хрен в сметане,— не найдя других возражений, буркнул Иван Андреич.

— Товарищи! — крикнул из квадрата человек в кожанке.— Прекратите немедленно. Вы что тут базар устроили? Хоть бы постеснялись курсантов.

— Да мы ничего, товарищ майор,— смутился Иван Андреич.— Просто небольшой обмен опытом.— Он наклонился ко мне и тихо напомнил: — Во второе звено. Понял?

— Иван Андреич,— снова влез Славка.— Можно, я его с собой в зону возьму для ознакомления?

Иван Андреич замялся.

— В зону нельзя,— сказал он.— По кругу еще куда ни шло, а в зону нет. Строжайший приказ по ДОСААФ: посторонних не возить.

— А я его возьму,— сказал белоглазый.— У меня сейчас Ухов летит, посажу к нему.

— Еще чего не хватало,— возмутился Иван Андреич.— Да твой Ухов летать не умеет. Угробит зазря человека. А из него, может, ас мирового класса бы вышел. Может, вышел бы космонавт.

Он говорил таким тоном, будто неизвестный мне Ухов уже меня загубил.

— Перков! — закричал Иван Андреич Славке так, словно Славка был далеко.— Разрешаю. Понял? Под свою ответственность. Пусть возьмет мой парашют. Только без фокусов. Если что, ноги вырву, спички вставлю и ходить заставлю. Понял?

— Так точно. Понял,— ответил Славка.

Первый раз в жизни я в воздухе. Натужно на одной ноте гудит мотор, самолет, задрав нос, медленно подбирается к пухлому облаку. Внизу какой-то чахлый лесок, деревушка, узкая полоска шоссе с ползущим по нему ярко-красным, похожим на божью коровку автобусом.

В наушники сквозь гул мотора прорываются голоса:

— «Альфа», я — сорок шесть, закончил третий, разрешите посадку.

— «Альфа», я — семнадцатый, к взлету готов.

— Сорок шестому — посадка.

— Семнадцатый, побыстрее взлетайте, не чухайтесь на полосе.

— Двадцать третий, куда лезешь не в свою зону, дурак?

— Четырнадцатый, прекратите болтовню в эфире. Ваша зона четвертая, четвертая зона. Как поняли меня? Я — «Альфа». Прием.

— Я — четырнадцатый, понял вас, понял. Прием.

Низкий невнятный голос сонно бубнит:

— Даю настройку, настройку, настройку. Один, два, три, четыре, пять, пять, четыре, три, два, один. Как понял меня? Прием.

— Понял, давно понял, закройся. Прием.

— Радисты, радисты, я — «Альфа», перестаньте хулиганить. Я — «Альфа».

— Валерка,— неожиданно слышу я свое имя и вздрагиваю,— как чувствуешь себя?

Сообразив, в чем дело, нажимаю на кнопку переговорного устройства (кнопку мне показали еще на земле):

— Тридцать первый, я — Валерка, чувствую себя отлично. Как поняли? Прием.

— Не дурачься,— отвечает спокойно Славка.

Он сидит в передней кабине. Передо мной, заслоня горизонт, торчит его круглая голова, обтянутая кожей потертого шлемофона.

Славка — мой школьный товарищ, с которым я просидел столько времени за одной партией,— ведет этот самолет. Он может накренить его влево или вправо, может по своему усмотрению ввести в пике или перевернуть вверх колесами. Славка, которому я не однажды давал по шее, который учился в школе гораздо хуже меня, может управлять этой машиной, может делать с ней все, что угодно. На разворотах машина кренится, одно крыло опускается к земле, другое упирается в небо. Я хватаюсь за подлокотники кресла. Самолет переваливается на другое крыло, потом выравнивается и опять ползет вверх.

Снова Славкин голос:

— Поуправлять хочешь?

Я недоверчиво смотрю на его затылок.

— Ты мне, что ли?

— А кому же еще? Поставь ноги на педали.

Нагибаюсь, смотрю на педали, потом осторожно совываю ноги под ремешки.

— Поставил? — спрашивает Славка. — Теперь возьми ручку управления.

Беру.

— Ручка управления, — говорит он тоном преподавателя, — служит для управления элеронами и рулем высоты. Ручку от себя — самолет идет вниз, ручку на себя — вверх, ручку влево — левый крен, ручку вправо — правый. Педали служат для управления рулем поворота. Чтобы повернуть влево, надо координированным движением дать ручку влево и левую ногу вперед. Вот так.

Ручка и педали чуть шелохнулись, самолет накренился, горизонт поплыл вправо мимо Славкиной головы.

— Понял? — спросил Славка и выровнял самолет.

— Понял, — сказал я.

— Ну давай, шуруй.

Я взял и не долго думая двинул ручку влево к борту кабины и тут же бросил ее, потому что самолет чуть не перевернулся — левое крыло оказалось внизу, а правое уперлось в небо. Потом крылья описали обратную дугу, самолет покачался и пошел ровно.

— Ты что, ошалел? — испуганно сказал Славка.

— Ты же сам сказал — ручку влево, ногу вперед.

— Я сказал, — проворчал Славка. — Надо чуть-чуть, еле заметным движением. Хорошо, что аэродром далеко, а то руководитель полетов сделал бы замечание.

— Ты извини, я не хотел, — сказал я.

— Ничего, обошлось, — сказал Славка и закричал: — «Альфа», «Альфа», я — тридцать первый, вошел в зону, разрешите работать!

Работать ему разрешили.

Я посмотрел на стрелки высотомера — прибора, похожего на часы. Маленькая стрелка стояла на единице, большая на двойке. «1200 метров», — сообщил я.

— Сейчас будем делать восьмерку, — сказал Славка. — Сперва левый вираж на триста шестьдесят градусов, потом правый. Вон видишь, на горизонте телевизионная вышка? По ней будем ориентироваться.

Я посмотрел вперед и увидел в дымке город — бесчисленное количество серых коробочек. Вышки я не увидел.

Правое крыло плавно поползло вверх, все выше и выше, я подумал, что самолет сейчас перевернется, вцепился в подлокотники сиденья, но крыло остановилось почти вертикально, и горизонт поползло вправо. Неимоверная тяжесть вдавила меня в сиденье. Такое ощущение, будто к ногам и рукам привязали двухпудовые гири, а щеки вместе с ушами ползут к плечам.

Славка поворачивает ко мне расплывшееся от счастья лицо.

— Ну как, жмет?

— Жмет немного, — бодрюсь я, еле двигая отяжелевшей челюстью.

— Это что, — говорит Славка, — ерундовая перегрузка. Вот на реактивных — там жмет. Переходим в правый вираж.

Правое крыло падает вниз, левое занимает его место над головой. Снова перед глазами плывет горизонт, но теперь уже в другую сторону.

Самолет выходит из виража, выравнивается.

— Петля! — коротко объявляет Славка.

Я не могу передать все свои впечатления, не могу рассказать, как все это было. У меня для этого не хватает слов.

Были петли и полупетли, бочки правые и левые, боевые развороты и перевороты через крыло. Не всегда я мог понять, где верх, где низ.

Земля и небо менялись местами. Иногда казалось, что самолет висит неподвижно, а вселенная вращается вокруг его оси.

Потом наступило затишье, и все встало на свои места. Земля была внизу, небо вверх — даже не верилось.

— Хочешь еще поуправлять? — спросил Славка.

— Еле заметным движением? — спросил я, приходя понемногу в себя.

— Теперь наоборот. Можешь показать все, на что способен. Поставь ноги на педали, возьми ручку. Когда я скажу «пошел», возьмешь ручку на себя до отказа, а левую ногу до отказа вперед. Не резко, но энергично. Понял?

— Понял.

Славка убрал газ, стало тихо. Скорость падала, самолет терял устойчивость — покачивался и проваливался вниз, «парашютировал».

— Пошел!

Я что было сил рванул ручку на себя и двинул вперед левую педаль. Самолет взмыл вверх, встал почти вертикально и вдруг рухнул на левую плоскость. Беспорядочно вращаясь, рванулась навстречу земля. Я испуганно бросил ручку, схватился за подлокотники кресла. Славка перевел самолет в пикирование, потом боевым разворотом вывел на прежнюю высоту.

— Знаешь, что ты сделал? — спросил он.

— Иммельман, — наобум брякнул я.

— Левый штопор, — объяснил Славка. — Сейчас будем правый делать. Ручку на себя и правую ногу вперед. Приготовься. — Он убрал газ, самолет снова начал «парашютировать».

— Пошел!

В правый штопор я ввел самолет более уверенно.

И вот наконец мы садимся, рулим по земле. Нас встречает уса-тый механик. С поднятыми вверх руками он пятится назад, и самолет послушно тащится за ним. Механик остановился. Остановился и самолет. Механик сложил руки крестом, Славка выключил двигатель. Потом он выбрался на плоскость и открыл фонарь надо мной.

— Ну как ты, живой? — спросил он, заглядывая ко мне в кабину.

— Голова кружится, — сказал я.

— Ну и вид, — сказал Славка. — Зеленый, как огурец. Ничего, бывает хуже. Я первый раз после зоны облевал всю кабину. Потом самому чистить пришлось.

И все-таки мне этот полет понравился. Потом я летал много и на самых разных самолетах. Легал со скоростью звука и быстрее звука, сам делал и петли и полупетли, бочки горизонтальные и восходящие бочки. Один раз мне даже пришлось катапультироваться, когда я вошел в плоский штопор и не мог из него выйти, но ни от одного полета у меня не осталось столько впечатлений, сколько от того первого раза, когда Славка разрешил мне прикоснуться к ручке управления.

После полета я пошел искать Толика. В ушах еще стояли крики по радио, шум мотора. Перепонки болели от перепадов давления. Меня еще мутило, в ногах была слабость, а земля казалась нетвердой и зыбкой. Толик мне был нужен немедленно. Я хотел ему рассказать, как все было, как я летал, как говорил по радио, как управлял самолетом и вообще какой я был молодец. Меня просто распирало от впечатлений.

Толик сидел в прежней позе на прежнем месте. Судя по его отрешенному виду, он отсюда и не уходил никуда.

— Ну как? — спросил он со слабо выраженным любопытством. — Летал?

— Летал,— сказал я счастливо.— Еще как летал, Толик!

— Здорово?— спросил он недоверчиво.

— Здорово,— сказал я и, пока не остыл, начал рассказывать:— Значит, так. Надеваем парашюты, садимся в кабину. Запустили мотор, проверили управление. «Альфа», я — тридцать первый, разрешите вырывать».— «Тридцать первый, я — «Альфа», вырывать разрешаю».— «Альфа», я — тридцать первый, разрешите взлет».— «Тридцать первый, я — «Альфа», взлет разрешаю»...

— Подожди,— перебил Толик,— а чего ты такой бледный?

— Ерунда,— сказал я,— укачало немного. Ты слушай дальше. «Альфа», я — тридцать первый, разрешите работать».

— Слушай,— вдруг загорелся Толик.— А что, если мы с тобой сейчас проваливаемся и перед нами голая баба, а?

— Дурак ты,— сказал я,— и не лечишься.

— Нет, ты рассказывай, рассказывай,— сказал Толик.

— Иди ты к черту.

Я махнул на него рукой и пошел в сторону стоянки. Туда подошла машина, которая должна была увезти нас в город.

Домой я вернулся около часу дня. Благодаря усилиям Толика мое возвращение прошло без скандала.

В квартире пахло распаренным бельем и мылом. Стиральная машина гудела на кухне, как самолет. Мать вышла из кухни, вытирая намоченные руки о полы халата.

— Привет,— сказал я ей преувеличенно бодрым тоном.— Как вы тут без меня живете?

— Валера,— спокойно сказала мама,— в следующий раз, когда ты захочешь ночевать у товарища, я бы хотела знать об этом заранее.

— Ладно, ладно,— сказал я и прошел в комнату.

Бабушка сидела у окна и читала библию.

Библия была у нее настольной книгой. Еще когда я был совсем маленьким, она читала мне Новый завет вперемежку с «Коньком-горбунком» и «Песней о купце Калашникове». Помню, мне было жалко не столько самого Иисуса, сколько его ученика Петра, которому Иисус предсказал в роковую ночь, что, прежде чем прокричит петух, Петр трижды отречется от него. Так оно и получилось: трижды отрекся Петр от Христа, а потом вспомнил его слова и горько заплакал.

Потом, когда я научился читать, мне нравилось, как пишутся слова в этой книге «Ветхаго и Новаго завета». И еще нравилось, что все касающееся Иисуса писалось с большой буквы: «Истинно говорю тебе, что Человек Сей есть Сын Божий».

Не могу сказать, чтобы бабушка моя была очень набожной, хотя регулярно читала библию и ходила иногда в церковь не молиться, а слушать, как там красиво поют, и сама порой подпевала тоненьким своим голосочком.

Вообще-то голос у нее был нормальный, но пела она всегда тоненько (слезно), и я вспоминал при этом сказку, в которой волку подковали язык.

К бабушкиным религиозным причудам я относился снисходительно, особенно после того, как в седьмом классе наша учительница химии Леонила Максимовна (она работала по совместительству внештатным лектором в обществе «Знание») посредством нескольких химических опытов неоспоримо доказала отсутствие бога. В библию я тоже давно не верил, но то, что все, касающееся бога, писалось там с большой буквы, мне по-прежнему нравилось. При случае мне хотелось о себе самом написать в подобном стиле. Например, как меня сажали в само-

лет: «И взяли Его за Руки Его, посадили Его в кабину. А Плечи Его и Живот Его и все Тело Его привязали ремнями».

Я поприветствовал бабушку (помахал ей рукой и сказал: «Приветик»), прошел к себе в комнату, снял пиджак и повесил на спинку стула. Мама вошла следом за мной и остановилась в дверях.

— Ты есть хочешь? — спросила она.

— Пожалуй, можно слегка подзакусить,— великодушно согласился я.

— Иди мой руки.

Я пошел в ванную, умылся. Вернулся на кухню. Съел две тарелки фасолевого супа, две котлеты с картошкой и с ощущением легкого голода пошел к себе в комнату.

— Ты что собираешься делать? — спросила мама.

— Хочу немного вздремнуть.

— Ты разве ночью не спал? — Мама подозрительно посмотрела на меня.

— Вообще-то спал, но еще немного подремать не мешает.

Я снял рубашку и брюки, повесил на спинку стула, забрался под одеяло и уснул как убитый.

Я проснулся с ощущением, что спал очень долго. Я открыл один глаз и посмотрел на часы — они показывали половину восьмого. В восемь я обещал Тане быть возле универсама.

До универсама на автобусе три остановки, пешком минут десять. Десять минут на сборы, пять на то, чтобы что-нибудь пожевать. Пять минут можно еще подремать. Я закрыл глаза.

Через пять минут я решил, что десять минут на сборы слишком много — пяти минут за глаза хватит. За эти пять минут я подсчитал, что на дорогу тоже оставил слишком много — если даже не будет автобуса, быстрым шагом ходьбы минут шесть. Семь от силы. Короче говоря, без десяти восемь я все-таки встал и в трусах побежал в ванную ополоснуться.

Бабушка сидела за швейной машинкой. Мамы не было.

— Физкультпривет,— сказал я бабушке, пробегая мимо.

Вернувшись, я хотел быстро одеться, но брюки куда-то пропали. Ложась спать, я повесил их на спинку стула. Теперь их на стуле не было. Не было и под стулом. На всякий случай я перерыл постель, заглянул под кровать и вышел в большую комнату.

— Бабушка, где мама? — спросил я.

— Мамы нет,— ответила бабушка, продолжая трещать машинкой.— Она ушла в кино.

— В кино — это хорошо,— сказал я.— А где мои брюки?

— А где ты сегодня ночевал? — спросила бабушка.

— Странный вопрос,— удивился я.— Я же сказал: у товарища.

— Если ты ночевал у него, почему же ты весь день после этого спишь?

— У меня летаргия,— сказал я нетерпеливо.— Где мои брюки?

Бабушка оставила машинку и посмотрела на меня из-под очков.

— Твои брюки мама спрятала, чтобы ты никуда сегодня не ходил, а готовился в институт.

— А, в институт...— сказал я.— Хотите, чтобы я стал образованным и интеллигентным человеком, а сами воруете мои штаны. Придется мне идти на улицу в трусах.

— Как хочешь,— ответила бабушка, возвращаясь к любимому делу.

Эта угроза на нее не подействовала. Я вернулся в маленькую ком-

напу и стал рыться в шифоньере в поисках брюк. Брюки я не нашел, но нашел старую мамину юбку из какого-то лохматого зеленого материала. Я взял и примерил ее на себя. Посмотрел в зеркало. А что? Я в ней выглядел не так уж плохо.

Я снова вышел в большую комнату, сказал бабушке:

— Ну, я пошел, — и направился к двери.

— Валера, — остановила меня бабушка, — ты что, серьезно собираешься в таком виде на улицу?

Все-таки она испугалась.

— А что, разве так плохо? — спросил я простодушно.

— Нет, ты, конечно, если тебе самому не стыдно, можешь поступать, как тебе заблагорассудится. Но этим поступком ты поставишь в неловкое положение не только себя, но и нас с мамой. Где это видано, чтобы взрослый мужчина ходил по улицам в юбке?

— Взрослый мужчина, — повторил я. — Во-первых, у взрослых мужчин штаны не отбирают, а во-вторых, тут ничего такого нет, шотландцы, например, взрослые и не взрослые, сплошь и рядом ходят по улицам в юбках.

— Но ты же не шотландец.

— А кто знает? Я же не буду каждому паспорт показывать.

С этими словами я направился к выходу.

— Валерий! — строго сказала бабушка.

Я остановился.

— Я не могу позволить тебе в таком виде выходить на улицу.

— Тогда отдай брюки.

— Хорошо, я тебе отдам брюки, но маме я скажу, что ты меня вынудил.

— Согласен, — сказал я.

Бабушка открыла ящик стола, на котором стояла машинка, и достала брюки. На них были пятна от пыли.

— Прежде чем прятать брюки, надо как следует протирать ящик, — сказал я. — У меня лишних выходных брюк нет.

Я пошел к себе в комнату и, не снимая ботинок, быстро переделался. Было без пяти восемь.

— Валера, — еще раз попыталась образумить меня бабушка, — зачем ты уходишь, если мама тебе не разрешила?

— У меня дела, — сказал я.

— Какие могут быть на улице дела?

— Разные.

Я вышел.

Когда я пришел к универмагу, было четыре минуты девятого. Я оглянулся вокруг — Тани не было. Хорошо, что пришел раньше я, а не она.

Скамейку под часами захватила группа ребят. Их было много, скамейки им не хватило. Посреди скамейки сидел белобрысый парень с гитарой на веревочке и нещадно рвал струны. Остальные, которые сидели от него справа и слева или стояли напротив, покачивались в такт музыке и, делая зверские рожи, что-то такое пели. Песни у них были разные, а припев ко всем песням один:

Эх, раз! Еще раз!
Еще много-много раз!
Лучше сорок раз по разу.
Чем ни разу сорок раз!

При этом один из стоявших парней хлопал себя по ляжкам и тихо взвизгивал:

— Ух-ха!

Шла двадцатая минута девятого, Тани не было.

Под часами остановилась какая-то девушка. Я подошел ближе, посмотрел на нее сбоку. Девушка держала в руке изящную сумочку, на которой был изображен космонавт Леонов, свободно плавающий в космическом пространстве. Подпись под рисунком гласила: «Пролетая над Крымом». Я пригляделся к этой девушке и понял, что Таню в лицо я как следует не запомнил. То ли она, то ли не она. Они сейчас все одинаковые. Делают большие глаза и прически вроде тюрбанов. Я описал вокруг девушки глубокий вираж, посмотрел ей в лицо — ничего не понял. Сделал еще один круг в надежде на то, что если это Таня, то она узнает меня. Девушка взглянула на меня равнодушно и отвернулась. Значит, не Таня. Я отошел к газетному стенду, прочел заголовки: «Не снижать темпы заготовки кормов», «Новые злодеяния расистов», «Москва приветствует высокого гостя», «Демократия по-сайгонски», «Замечательная победа советских ученых», «Переполох в Белом доме».

Я вернулся к часам.

Ребят с гитарой на скамейке уже не было, на их месте сидели старичок с газетой и старушка с вязаньем. Было без пяти девять. Ну что ж, не пришла — значит, не пришла. Я пошел было по улице в надежде встретить Толика, но тут же вернулся. А вдруг она что-нибудь перепутала и решила, что мы встречаемся не в восемь, а в девять.

Я проторчал там еще ровно двадцать минут и только после этого ушел.

Толика я нигде не встретил, он был уже, наверное, в парке. В парк мне идти одному не хотелось, я вернулся домой.

После полета со Славкой во мне что-то словно бы перевернулось. Где бы я ни был — на работе, дома или на улице, — я все время представлял себе, что летаю.

Мама с бабушкой чувствовали, что со мной что-то произошло, но никак не могли понять, что именно, а я им ничего не рассказывал, понимая, что это бессмысленно — все равно не поймут.

Мать однажды не выдержала и спросила:

— Что ты ходишь все время словно очумелый? Может, у тебя какие-то неприятности? Неужели ты не испытываешь желания поделиться с родной матерью?

— Нет, мама, у меня никаких неприятностей, — сказал я, — у меня все в порядке.

Вскоре, однако, меня крупно разоблачили. Как-то я вернулся домой с работы раньше обычного. Мама с бабушкой стояли над фанерным ящиком от посылки, в котором у нас хранились документы. Сейчас содержимое ящика было вывалено на стол беспорядочной грудой.

— Чего вы тут роетесь? — спросил я с самым беззаботным видом.

Мама выпрямилась и строго спросила:

— Где твой аттестат?

Я хотел сказать сразу правду, но не решился и уклонился от прямого ответа.

— Какой аттестат?

— У тебя что, много разных аттестатов? — повысила голос мама.

— А, — сказал я, — разве его здесь нет?

— Валера, куда ты дел аттестат?

— Я его не брал, — сказал я.

Мама подошла ко мне.

— А ну, посмотри мне в глаза.

— Да что там смотреть! — Я рассердился и пошел к себе в комнату. — Нет аттестата, я его сдал.

Мама пошла за мной и встала в дверях.

— Куда сдал? — тихо спросила она.

— Куда надо, туда сдал, — сказал я. — В конце концов я уже достаточно взрослый человек и могу сам распоряжаться своей судьбой.

Мама не отступала.

— Я тебя спрашиваю, куда ты сдал аттестат?

— Куда, куда, — сказал я. — В военкомат.

— Зачем? — Несмотря на всю суровость маминого тона, глаза у нее были испуганные. Мне стало ее жалко, и я сбавил тон.

— Мам, ты не сердись, — сказал я, — я подал заявление в летное училище.

— Так я и знала, — сказала бабушка и всплеснула руками.

Мама вошла в комнату и села на кровать.

— Это правда?

— Правда, — сказал я, стараясь не встречаться с ней взглядом.

— И ты все хорошо продумал? — спросила она, помолчав.

— Да, мам, — сказал я. — Я все продумал. Я летал недавно на самолете, меня катал Славка Перков, и я понял, что хочу быть летчиком. Я не хочу быть энергетиком.

— Но почему обязательно энергетиком? — закричала мама. — Ведь есть много других специальностей. Ты можешь стать физиком, металлургом, железнодорожником. Неужели ты не можешь выбрать из всех одну какую-нибудь приличную специальность?

— Я уже выбрал, — твердо сказал я. — Я буду летчиком.

Мама попыталась воздействовать на мои сыновние чувства.

— Валера, — сказала она, — прошу тебя, пойми меня. Если ты будешь летать, я никогда не буду спокойна. Неужели ты не можешь понять, что ты у меня единственный сын. Что если, не дай бог, с тобой что-нибудь случится, я этого не переживу.

Я промолчал.

— Короче говоря, — успокаиваясь, сказала мама, — ты сейчас же пойдешь в военкомат и заберешь документы.

— Да ты что? Кто мне их отдаст? — сказал я.

— Если попросишь как следует, отдадут. В крайнем случае можешь сказать, что мама тебе не разрешает поступать в это училище.

Тут мне даже стало смешно.

— Ну и чудачка ты, — сказал я. — Да что это такое ты говоришь? Как это я пойду в военкомат и скажу, что мама не пускает меня в училище?

— Да, так и скажешь, — сказала мама. — И ничего тут смешного нет.

— Как же не смешно, — сказал я. — Да надо мной там весь военкомат обхохочется. А если будет война, я тоже скажу, что мама не пускает?

— Если будет война, тогда другое дело, а сейчас ты пойдешь и заберешь документы, если не хочешь, чтобы я это сделала сама.

С этими словами мама встала и пошла в большую комнату. Я пошел следом за ней посмотреть, что она будет делать. Она открыла шкаф, вынула из него свой выходной темно-синий костюм с ромбиком (этот костюм она надевала только в самых торжественных случаях) и пошла в ванную переодеваться.

— Если бы ты был хорошим мальчиком, ты бы не стал так волновать свою маму, — хмуро сказала бабушка.

— Значит, я нехороший мальчик, — сказал я и сел на стул.

Мама вернулась из ванной. Под синей жакеткой на ней была прозрачная блузка.

— Ты что, серьезно собралась в военкомат? — спросил я.

— Абсолютно серьезно,— сказала мама, вешая в шкаф свой халат.— Я сейчас же пойду к командиру военкомата.

— Не командир, а начальник,— сказал я.

— Вот я пойду к этому начальнику. Я с ним поговорю. Что это за безобразие? Как это можно мальчика без разрешения родителей записывать в военную школу?

— Мама,— я встал в дверях.— Ты никуда не пойдешь.

— Это еще что такое?— еще больше возмутилась мама.— Отойди от дверей.

— Не отойду,— сказал я.

— Ты, может быть, еще драться с матерью будешь? Отойди сейчас же!

В конце концов я отошел.

— Как хочешь,— сказал я.— Все равно документы тебе никто не отдаст.

— Ну, это мы еще посмотрим,— сказала мама и вышла.

Она вернулась примерно через час, возбужденная и довольная. Начальник сперва не хотел ее слушать, а потом сдался и пообещал затребовать документы обратно.

Я ничего не сказал ей. Я пошел к себе в комнату, лег на кровать. Вошла мама и села рядом со мной.

— Сынок,— тихо сказала она и, как в детстве, погладила меня по голове.— Сыночек. Прости меня, пожалуйста, но я не могла поступить иначе. Если бы ты стал летчиком, я бы этого не пережила.

Я ощущал себя самым несчастным на земле человеком. До каких же это пор мной будут руководить? Когда мне позволят самому отвечать за свои поступки?

У Толика жизнь была тоже не сахар.

Однажды в получку он пересчитал деньги и сказал:

— Порядок. Сегодня иду покупать мотороллер. Пойдешь со мной?

Документы для покупки в кредит у него были давно заготовлены. Не заходя домой, мы пошли сначала в сберкассу, там у Толика лежало шестьдесят с чем-то рублей и еще набежало четыре копейки процентов.

Мотороллер мы катили по очереди.

Сначала Толик сидел за рулем, а я толкал, потом толкал Толик, а я сидел.

Мотороллер был весь новенький, жирно смазанный маслом, а передние амортизаторы были еще обернуты вощеной бумагой, чтоб не пылились.

Уже в переулке, недалеко от нашего дома, мы остановились, чтобы передохнуть, мотороллер поставили на дороге, а сами сели на тротуар и закурили.

— Значит, в институт будешь поступать? — спросил Толик.

— Придется,— сказал я не очень весело.— Я уже подал в наш педагогический.

— Ты же в Москву хотел? — удивился Толик.

— Чего я там не видел,— сказал я.— Раз в училище не вышло, поступлю сюда, а там будет видно.

— Слушай,— сказал Толик.— А ты, может, в армию пойдешь. Оттуда в училище попасть легче, чем с гражданки. Там всем, у кого среднее образование, предлагают.

— Ну да?

— Точно тебе говорю. У меня братан двоюродный так поступил. Это меня заинтересовало. Значит, если я провалю экзамены — возь-

мут в армию. Из армии — прямая дорога в училище. Это же просто здорово. Блестящий выход из положения.

— Ладно, — сказал я, — поехали дальше.

Толик взгромоздился на мотороллер, и мы поехали. То есть он поехал, а я толкал. Так, подталкиваемый мною, Толик и въехал торжественно в наш двор.

Во дворе было шумно. Мужчины в беседке забивали «козла». Женщины вывели детей и стояли толпой, разговаривали о своих делах.

Группа пацанов в переулке играла в футбол. Когда мы с Толиком въехали, они сразу свой матч закончили, кинулись к Толику, обступили мотороллер и стали обсуждать его достоинства и недостатки.

Подошла и мать Толика, тетя Оля, которая развешивала во дворе белье. Она так и подошла с оставшимся бельем, перекинутым через руку.

— Это что такое? — спросила она у Толика, кивая на мотороллер.

— Не видишь, что ли? Мотороллер, — сказал Толик довольно бодро.

— А где ты его взял?

— По лотерее выиграл, — сказал Толик.

— Ах ты идиот несчастный, — сказала мать. — Да что же ты врешь, бессовестный. — Она подошла к своему окну (они жили на первом этаже) и постучала свободной рукой. — Федор!

Там долго никто не откликнулся.

— Федор, — повторила она, — выйди-ка на минутку.

Окно растворилось, из него высунулся небритый человек в нижней рубахе.

— Чего кричишь? — сказал он недовольно. — Знаешь ведь: человек с работы пришел, отдохнуть должен. — Но тут он заметил Толика с мотороллером, замолчал и долго с любопытством разглядывал и мотороллер и Толика.

— Что это? — спросил он наконец.

— Не видишь, что ли? Мотороллер, — понуро объяснил Толик, глядя на отца грустными и преданными глазами.

— Мотороллер? — заинтересовался отец. — Надо поглядеть.

Он раздвинул на подоконнике горшки с цветами и вылез наружу прямо через окно. Кроме нижней рубахи, на нем еще были серые галифе и шерстяные носки с дырами у больших пальцев. Он оглядел мотороллер со всех сторон, заглянул под переднее колесо, потом погладил рукой сиденье.

— Вот это машина, — сказал он с явным восхищением и повернулся к Толику: — И небось дорого стоит?

— Он его по лотерее выиграл, — насмешливо сказала мать.

— Да не по лотерее, — сказал Толик, — я пошутил. В рассрочку взял. Восемьдесят рублей всего заплатил, а остальные из зарплаты постепенно вычитать будут.

— Постепенно — это хорошо, — сказал отец одобрительно. — Постепенно — это не то что сразу. А на кой он тебе нужен?

— На работу с Валеркой ездить будем.

— На работу, — согласно кивнул отец. — С Валеркой? Это хорошо. Самое главное — удобно. В автобусе давиться не надо.

— И тебя буду возить, — осмелев, задобрив Толик.

— И меня, — эхом откликнулся отец и, неожиданно развернувшись, влепил Толику такую оплеуху, что он повалился вместе со своим мотороллером на землю и чуть не отдал матери ноги, да она вовремя отскочила. — Чтоб больше я этого мотороллера не видел, — спокойно сказал отец Толика и пошел обратно к окну.

— Дурак старый, — сказал ему вслед Толик, поднимаясь и потирая покрасневшую сразу щеку.

— Что ты сказал? — спросил отец и обернулся.

— Тунейдец кривой, — сплевывая на землю кровь, сказал Толик, хотя отец его был вовсе не кривой и даже не тунейдец.

— А ну подойди! — грозно сказал отец и сделал шаг к Толику.

— Сейчас подойду, — сказал Толик, отступая назад.

— Ну, ладно, — сказал отец, — ужо домой придешь — поговорим. — И полез в окно. На каждой ягодице у него было по огромной рыжей заплате.

— Ты с отцом лучше не спорь, — примирительно сказала мать и пошла развешивать дальше белье.

Толик поднял мотороллер и стал смотреть, не погнулся ли руль.

Вечером, когда мы, как всегда, должны были идти в парк, я зашел за Толиком, но, не дойдя до его двери, остановился в коридоре. Из-за двери доносился нечеловеческий крик и звонкие удары ремня по чему-то живому и теплomu. Мне стало жаль Толика.

Сочинение мы сдавали в том самом актовом зале, где некоторое время спустя я проходил медкомиссию. Я пришел сюда с созревшим желанием получить двойку.

Окна были распахнуты настежь, ветер гулял по залу и слегка шевелил листки бумаги, аккуратно разложенные на длинных черных столах по три стопки на каждом.

Мы ввалились туда огромной толпой, нас было человек сто пятьдесят или больше, может быть, даже двести. Все сразу кинулись занимать места поудобней; пока я колебаясь, осталось только четыре передних стола, за одним из них, стоявшим возле окна, уселась девушка в белой блузке с комсомольским значком, вероятно отличница. Уже все расселись, а я стоял в проходе между столами и растерянно озирался в надежде на какое-нибудь место сзади, но там было все забито.

Две преподавательницы, ожидая, пока все успокоится, тихо о чем-то между собой разговаривали. Одна из них, высокая, худая, с крашеными волосами и выдающимся вперед подбородком, подняла голову и посмотрела на меня.

— Молодой человек, вы что, не можете найти себе место? Садитесь сюда. — Она кивнула на стол перед собой.

— Ничего, я здесь, — сказал я и сел рядом с девушкой в белой блузке, хотя мне она (я говорю про девушку) совершенно не нравилась.

Место было не из самых лучших, зато возле окна, которое выходило во двор института, засаженный тополями.

За моей спиной стоял тихий гул, все перешептывались, скрипели стульями и шелестели бумагой. Преподавательницы начинать не спешили и продолжали вполголоса свой не слышный мне разговор.

Потом высокая преподавательница посмотрела на большие мужские часы, что были у нее на руке, и встала.

Она молча обвела аудиторию медленным взглядом, все сразу перестали шуршать бумагой и замерли.

— Товарищи, — сказала она негромким приятным голосом, — сейчас я напишу на доске темы ваших сочинений. Всего их будет четыре. Три по программе и одна свободная. Времени вам дается три часа. Бумаги достаточно. Если кому не хватит, мы дадим еще. Чистовики писать на листках со штампами. Все ясно?

Кто-то там сзади сказал:

— Ясно.

— Я думаю, насчет шпаргалок и списывания вас предупреждать не надо: вы уже люди взрослые и хорошо знаете, чем это грозит.

После этого она подошла к доске и стала писать темы сочинений:

«Образы крестьян в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», «Образ Катерины в пьесе Островского «Гроза» и «Тема революции в поэме Маяковского «Хорошо». Свободная тема называлась: «Моральный облик советского молодого человека».

Когда преподавательница написала это все на доске, все погалдели немного, посуетились, а потом опять стало тихо — началась работа. Девушка в белой блузке спросила, будут ли неточности в цитатах считаться ошибками. Преподавательница ответила, что смотря какие неточности; девушка успокоилась, разложила перед собой бумагу и стала усердно трудиться, закрыв свое сочинение промокашкой, чтобы я не подглядывал.

Я сперва хотел писать по Некрасову и уже вывел на бумаге название темы и стал составлять план, но потом мне стало скучно. Я подумал: зачем я буду писать по Некрасову или еще что-нибудь, если я все равно хочу получить двойку? Может, лучше и не стараться, просидеть все три часа просто так, а потом сдать чистую бумагу — да и все? И я стал смотреть в окно, что там происходит. Но там, собственно, ничего особенного не происходило.

— Молодой человек, вы почему не работаете?

Я поднял голову. Надо мной стояла высокая преподавательница и смотрела на чистую бумагу, которая лежала передо мной.

— Как не работаю? — не понял я.

— Я вас спрашиваю: почему вы ничего не пишете?

— Я думаю, — сказал я.

— Пора бы уже что-нибудь и придумать, — сказала она, посмотрев на свои большие часы. — Прошло полчаса, а вы еще не написали ни строчки.

— Ладно, — сказал я, — я успею.

— Смотрите, дело ваше. — Она пожала плечами и пошла между столами, проверяя, кто чем занимается.

Я подумал, что времени впереди еще много и, наверное, надо чем-то заниматься, а так просто сидеть и смотреть в окошко неудобно, да и смотреть, собственно, не на что.

И тут меня вдруг осенила замечательная идея, я даже не знаю, как это мне пришло в голову, — я решил написать, как я летал на самолете, как Славка давал мне подержать ручку, как он разрешил потянуть ее до отказа на себя, а левую ногу вперед, а потом опять ручку на себя и правую ногу вперед, и как самолет кувыркался в воздухе, и как кувыркались и летели навстречу деревья, и как мне было при этом страшно. И писать интересно будет, и двойку наверняка поставят, потому что сочинение не по теме.

Я вот только не знал, с чего начать — то ли с того момента, когда я ночью в сквере встретил Толика, то ли еще раньше, когда мы с Толиком увидели парашютистов во дворе школы, но потом мне показалось, что всего этого будет слишком много, и я начал прямо с аэродрома, как встретил Славку. Я все написал подробно: и как он сидел в курилке, и какой на нем был комбинезон, и какой за поясом висел шлемофон, и как мы ходили упрашивать Ивана Андреича, и как Иван Андреич спорил с белоглазым, и как мы потом со Славкой летели, и как он кричал по радио: «Альфа», я — тридцать первый, вошел в зону, разрешите работать!»

Все это я описал подробно, как что было, кто где стоял, кто что говорил. И я так здорово себе это все стал представлять, что даже и не заметил, как стал говорить вслух, подражая руководителю полетов:

— Тридцать первый. я — «Альфа», работать разрешаю, разрешаю работать, я — «Альфа», как поняли меня? Прием.

— Молодой человек,— услышал я голос высокой преподавательницы,— вы что разговариваете?

Я жутко смутился. Еще чего не хватало — вслух начал разговаривать.

— Да я про себя.

Страшно неловко. Ничего себе, подумает — паренек с приветом .

Преподавательница как-то странно на меня посмотрела, но ничего не сказала, только пожала плечами.

Это меня немного сбilo с толку, и я не сразу смог войти в прежний ритм, но потом опять все вспомнил и пошел писать дальше. Я описывал все очень подробно, потому что жалко было что-нибудь пропустить. И про то хотелось написать, и про это, и я не добрался еще до самого полета, как у меня кончилась вся бумага.

— Можно еще бумаги? — спросил я.

— А что, у вас разве уже кончилась? — удивилась преподавательница. Она только что обошла все столы и вернулась на свое место.

— Кончилась,— сказал я виновато.

— Ну, вот возьмите еще.

Я подошел к столу, она пододвинула ко мне лист бумаги.

— Мало,— сказал я.

Она дала мне еще лист.

— Еще,— сказал я.

Она переглянулась со своей соседкой и уставилась на меня.

— Да вы что? — сказала она.— Вы целый роман хотите писать?

— А разве нельзя?

Время, отпущенное на экзамен, уже истекало, а я только дошел до самого главного. «Ручку влево и левую ногу вперед — левая бочка, ручку вправо и правую ногу вперед — правая бочка. Ручку на себя до отказа и левую ногу вперед — левый штопор. Ручку на себя до отказа и правую ногу вперед...»

— Товарищ, вы что гудите?

Я очнулся. Скрестив на груди руки, надо мной стояла высокая преподавательница, а я, поставив ноги на воображаемые педали, тянул на себя воображаемую ручку управления самолетом и изо всех сил изображал губами рев мотора на полном газу.

Сзади кто-то хихикнул. Моя соседка по столу бросила на меня уничтожающий взгляд и отодвинулась, как бы подчеркивая, что не имеет со мной ничего общего.

— Ничего,— сказал я,— я просто так.

Преподавательница отошла.

Вскоре у меня опять кончилась бумага. Преподавательница дала мне сразу листов десять и сказала, что теперь-то уж мне должно хватить наверняка.

— Посмотрим,— сказал я уклончиво.

Время шло незаметно. Я не написал еще и половины, преподавательница посмотрела на часы и сказала:

— Заканчивайте, товарищи, осталось пятнадцать минут.

Девушка в белой блузке положила свое сочинение на преподавательский стол и тихо вышла из зала. За ней сдал свою работу демобилизованный солдат в гимнастерке с отложным воротником, потом косяком пошли остальные. Они молча клали свои листочки на стол и выходили. Осталось человек шесть. Преподавательница ходила между столами и торопила:

— Заканчивайте, товарищи, заканчивайте, время вышло.— Она пошла ко мне.— Заканчивайте.

— Сейчас,— сказал я.

Я все еще писал самое главное. «Ручку на себя, левую ногу вперед. Ручку от себя, правую ногу вперед. Ручку влево, левую ногу вперед. Ручку вправо, правую ногу вперед. Ручку вперед, ногу назад. Ногу вперед, ручку назад...»

Нет, что-то не так. Я зачеркнул это, чтобы написать правильно. «Ручку на себя, ногу от себя. Ногу на себя, ручку от себя...»

В конце концов я запутался намертво. Я поднял голову и ошалелым взглядом окинул аудиторию. Из абитуриентов я остался один. Высокая преподавательница, скрестив на груди руки, стояла передо мной и ждала, не давая сосредоточиться.

— Молодой человек,— сказала она,— может быть, вы думаете, что я вас буду ждать до вечера?

— Сейчас,— сказал я.— Еще две минуты.

— Никаких минут,— сказала она,— сдавайте работу немедленно.

Я отвечать ей не стал, мне было некогда. Мне надо было еще написать про сектор газа, про перегрузки, про то, как на выходе из пикирования оттягивает щеки к плечам, как дрожит и «парашютирует» самолет на малой скорости перед вводом в штопор; мне надо было многое еще рассказать, и я торопился, а преподавательница стояла у меня над головой и все чего-то ворчала.

— Молодой человек.— Она взяла меня за плечо.— Что с вами? Очнитесь!

— Отберите у него бумагу! — взвизгнула другая, сидевшая за столом преподавательница.— Что вы на него смотрите?

Та, которая стояла возле меня, схватила бумагу и потянула к себе. Авторучка оставила на бумаге косую полосу.

— Не трогайте!—закричал я, закрывая бумагу всем телом.—Я сейчас. Еще полминуты.

Но преподавательница дернула бумагу к себе, бумага затрещала, и я отпустил, чтоб не порвать.

— Очень странно вы ведете себя, молодой человек,— сказала преподавательница и понесла мои листочки к столу.

— А ну вас,— сказал я и, закрыв ручку, сунул ее в карман и пошел к выходу.

Я думал, что они меня остановят и отчитают за грубость, но они ничего не сказали: наверное, не хотелось им связываться с психом. Я вышел в коридор.

В конце концов стоит ли ради двойки так уж стараться?

Через день я пошел узнавать оценку. В приемной комиссии было много народу, все толклись возле девушки, сидевшей за боковым столиком.

— Ребята! — пыталась она перекричать всех, кто ее окружал.— Через полчаса оценки вывесят в коридоре, и вы все узнаете. Неужели так трудно подождать полчаса?

Девушка, которая была прошлый раз в белой блузке (сейчас на ней была зеленая кофточка), стояла перед столом секретарши и ныла:

— Девушка, ну пожалуйста, что вам стоит, посмотрите на «У», Уварова.

— Девушка, я вам сказала, через полчаса сами увидите.

— Ну что через полчаса? Ну какая вы странная. Неужели так трудно?!

— А вы думаете, не трудно? Вас вон сколько и каждый хочет, чтоб ему сделали исключение,— говорила секретарша, листая журнал.— Как вы говорите? Уварова? Двойка вам, Уварова. Приходите после обеда, получите документы. Вам что, молодой человек?

Демобилизованный солдат в гимнастерке с отложным воротником держал в руках зеленую хлопчатобумажную солдатскую шляпу. Сейчас такие шляпы носят солдаты, которые служат на юге.

— Перелыгина посмотрите,— робко попросил он.

— Девушка, ну как же — двойка? — не уходила Уварова.— Этого не может быть. Я в школе ниже чем на четыре никогда не писала.

— Перелыгин, у вас тройка. Вы идете вне конкурса?

— А как же,— обрадовался Перелыгин.— Мне больше тройки не надо.

— Девушка, вы еще посмотрите, там, наверно, ошибка.

— Уварова,— секретарша устало поморщилась,— я вам сказала все. Документы в отделе кадров после обеда. Ваша фамилия? — обратилась она ко мне.— Важенин? Вы знаете, с вами хочет поговорить Ольга Тимофеевна.

— Кто это — Ольга Тимофеевна? — спросил я.

— Ваш преподаватель. Она сейчас, кажется, в деканате. Пойдете прямо по коридору, четвертая дверь направо.

Честно сказать, идти в деканат мне не очень хотелось. Если поставили двойку, о чем разговаривать? Сказали бы, как Уваровой: «Приходите за документами» — и я бы пришел. Спорить не стал бы.

Ольга Тимофеевна сидела на столе и о чем-то разговаривала с черным, похожим на цыгана человеком, он стоял у окна. Мундштук папиросы, которую она держала в руке, был весь перемазан помадой.

Я поздоровался.

— Здравсьте,— хмуро ответила Ольга Тимофеевна.— Вы ко мне?

— Да, меня послали, — сказал я.

— Ваша фамилия Важенин? Возьмите стул, посидите. Я сейчас освобожусь. Так вот, Сергей Петрович, я думаю, что этот вопрос мы в ближайшее время решим. Николай Николаевич сказал, что он лично не возражает.

— Ну, хорошо,— сказал Сергей Петрович,— посмотрим, там будет видно.

Он взял со стола большой желтый портфель, а со шкафа снял соломенную шляпу с аккуратно загнутыми полями, попрощался и вышел.

Мы остались вдвоем. Ольга Тимофеевна раскурила погасшую папиросу. Она сидела прямо напротив меня, положив ногу на ногу.

— Так вот что, товарищ Важенин,— заговорила она, не спеша подбирая слова,— я прочла ваше сочинение. Оно написано не по теме.

— Правильно,— подтвердил я охотно.

— Вообще,— сказала она,— у нас не принято, чтобы абитуриенты писали, что хотели, но ваше сочинение мне очень понравилось, и я поставила вам пятерку.

— Пятерку? — Я посмотрел на нее: шутит, не шутит?

Вроде не шутит.

— Там, конечно, были незначительные ошибки, я их сама исправила. Но вообще все сочинение написано так свежо, так выразительно, хороший диалог, точные детали... Я поражена. Из моих абитуриентов еще никто так не писал. Вы занимаетесь где-нибудь в литкружке?

— Нет,— сказал я и сострил: — Может, все дело в генах?

— В каких генах?

— Ну, в обыкновенных. Наследственность. У меня ведь отец писатель. Не слышали — Важенин?

— Нет,— заинтересовалась она.— А где он печатается?

— Да он печатается мало. Он в цирке пишет репризы.

— А,— сказала она.

— Ага,— подтвердил я.

Она положила окурок в чернильницу и слезла со стола.

— Я очень рада, что познакомилась с вами. У нас в институте есть литературное объединение «Родник». Я им руковожу. У нас там очень способные ребята. Правда, прозаиков мало. В основном поэты.— Она помолчала, подумала и сообщила: — Я, между прочим, тоже пишу стихи.

— Да? — удивился я.

— Хотите послушать?

— С удовольствием.

— Я вам прочту последнее свое стихотворение.— Она отошла к стене, напряглась, вытянула шею и вдруг закричала нараспев:

Гроза. И гром гремит кругом,
Грохочет град, грома гречиху.
Над полем, трепеща крылом,
Кричит и кружится грачиха.

И я, подобная грачу,
Под громом гроз крылом играю.
Куда лечу? Зачем кричу?
Сама не знаю.

При этом на шее у нее вздулись жилы и лицо покраснело от напряжения. Она перевела дух и остановила на мне взгляд, выжидая, что я скажу. Я молчал.

— Ну как? — не выдержала она.— Вам понравилось?

— Счень понравилось,— сказал я поспешно.

— Мне тоже нравится,— искренне призналась она.— Я вообще не очень высокого мнения о своих способностях, да и времени не всегда хватает, но эти стихи, по-моему, мне удалось. Вы обратили внимание на аллитерации? Часто повторяющийся звук «гр» подчеркивает тревожность обстановки. «Грохочет град, грома гречиху...» Вы чувствуете?

— Да, это есть,— согласился я.

— А образ грачихи, которая кружит над полем и тяжело машет намокшими крыльями?

— Ну, это вообще,— восхитился я.

— Я послала эти стихи в журнал «Юность», не знаю, напечатают или нет.

— Должны напечатать,— сказал я убежденно.— Если такие стихи не будут печатать...

Она обрадовалась.

— Вы думаете? Мне тоже кажется, что должны, но без знакомства очень трудно пробиться. Печатают только своих.

— Наверно, блат,— согласился я.

— Ну, ладно.— Она поднялась и протянула мне плоскую, в кольцах руку.— Я думаю, что мы еще будем с вами встречаться и поговорим. Всего доброго.

— До свидания,— сказал я.

Иногда мне кажется, что я вообще невезучий человек. В самом деле, ведь вот когда я хотел поступить в институт — я в него не поступил. А когда не хотел и сделал все, чтобы не поступить,— мне ставят нятерку да еще находят литературные данные. А мне эти данные ни к чему. Мне бы попасть в училище.

По устной литературе Ольга Тимофеевна поставила мне пятерку без всяких разговоров. Я только начал ей отвечать и хотел наплести какую-нибудь чушь, но она меня перебила и сказала:

— Я верю, что вы все знаете.

И поставила оценку. Если бы так все шло дальше, я бы, пожалуй, вытянул на повышенную стипендию, но я вовремя придумал умнейший ход. Иностраный я завалил в пух и в прах, и то только потому, что вместо английского, который учил в школе, пошел сдавать немецкий.

Тут уж я насладился вволю. Я отомстил сполна всем, кто пихал меня в этот институт, и всем, кто хотел вырастить из меня местного гения. Такого чудовищного ответа древние стены этого института, наверно, еще не слышали. Экзаменаторша была так потрясена, что, когда ставила двойку, сломала перо. Я с удовольствием предложил ей свою ручку. Ее ручка писала толсто, а моя тонко. Поэтому двойка получилась как бы составленная из двух половинок: жирная голова на тонкой подставке.

Дома вздохов хватило на две недели, но я был доволен. Теперь оставалось только ждать повестку, и ждать пришлось недолго. Повестки мы с Толиком получили одновременно. Нам предлагалось явиться на медкомиссию остриженными под машинку, имея при себе паспорт и приписное свидетельство.

Долго стоял я перед дверью, обитой черной клеенкой. Я нажал кнопку звонка, и звонок где-то там далеко продребезжал еле слышно. Потом зашлепали шаги в мягкой обуви, дверь отворилась. Из-за нее выглянула женщина лет тридцати пяти с собранными в узел и заколотыми кое-как волосами. На ней был толстый махровый халат, расписанный красными большими цветами, и домашние тапочки. Эту женщину звали Шурой. Она была второй женой моего отца и, следовательно, приходилась мне мачехой. Она нисколько не удивилась моему появлению, хотя сделала вид, что удивилась.

— А, Валера,— сказала она,— проходи.— И отступила в сторону, пропуская меня внутрь.

Отец с Шурой занимали вдвоем отдельную квартиру из двух смежных комнат. Первая комната у них была общей, вторая спальней и кабинетом, в тиши которого отец создавал свои бессмертные репризы, интермедии, скетчи и сатирические куплеты для цирка, областной эстрады и сатирического радиожурнала «На колючей радиоволне».

Шура подошла к дверям второй комнаты, приотворила дверь и громко сказала:

— Сережа, к тебе посетитель.

Отец сидел за машинкой и что-то на ней выстукивал. Когда я вошел, он обернулся и обрадовался то ли моему появлению, то ли возможности оторваться от работы. Встал и протянул мне руку.

— Здорово. В гости пришел?

— Ага,— сказал я.

— Садись.— Он повернул ко мне кресло и сам сел на стул возле окна.— А я тут, понимаешь, сижу вот целыми днями, барабаню на машинке, даже пальцы болят. Ну, что у тебя нового?

— Ничего особенного,— сказал я.— Просто я уйду в армию.

— То есть как в армию? — удивился отец.

— Ну пока что еще не совсем в армию,— сказал я,— пока на комиссию, но раз остриженным — значит, уже все.

— Черт, как это все неожиданно,— пробормотал отец.— А что ж с институтом, ничего не вышло?

— Не хочу я в институт,— сказал я.— Если возьмут, пойду в летное училище.

— Мне мама говорила. Ну, я даже не знаю, как к этому отнестись. Ты должен все тщательно продумать, потому что профессия — такая вещь, которую надо выбирать на всю жизнь. Поэтому ты должен трезво подумать, может быть, это просто временное юношеское увлечение, и не больше. Профессия летчика уже давно перестала быть романтической. Но с институтом, конечно, можно и не спешить. Я учился после войны, будучи уже совершенно взрослым человеком. Ты уже в садик ходил.

Я вспомнил, что именно в то время, когда я ходил в садик, он от нас и ушел. Отец, видимо, тоже вспомнил это же, потому что в этот момент он смешался. Да, как раз тогда, когда я ходил в садик. Шура было примерно столько лет, сколько мне сейчас, они вместе учились в университете, и там у них это все произошло.

Шура просунула голову в дверь.

— Вы обедать будете?

— Конечно, будем,— сказал отец.

— Ну так идите, уже готово.

— Сейчас.— Отец подождал, пока она скрылась, повернулся ко мне: — Да, ты знаешь, Валера, я хочу тебя попросить об одной вещи, мне, правда, как-то очень неловко...— Он замаялся и понизил голос.— Но на всякий случай, если за столом пойдет какой-нибудь разговор, не говори, что я деньги вам приношу и все такое. Нет, ты ничего такого не подумай, это все неважно и деньгами я распоряжаюсь сам, но чтобы просто не было лишних разговоров.

Он встал, и я встал тоже. Я посмотрел на него. Он быстро отвел от меня взгляд и стал в замешательстве перебирать на столе бумаги. Он был в эту минуту такой жалкий, что мне стало как-то не по себе. Ведь мать мне всегда говорила и я сам это знал, что отец мой очень хороший и умный человек. И как же так получается, что из-за какой-то женщины, как бы ею ни дорожил, он позволяет себе говорить такие слова? Но я, конечно, ничего ему не сказал. Я только пробормотал невнятно:

— Хорошо, папа.

— Ну, ладно,— сказал он с наигранной бодростью, как бы давая понять, что разговор на эту щекотливую тему окончен.— Пошли обедать.

Мы вышли в большую комнату. Стол был уже накрыт. Шура разливала суп по тарелкам.

— Водку пить будете? — спросила она.

— Конечно, будем,— сказал отец и подмигнул мне.— Употребляешь?

— Да так,— сказал я,— если в компании.

— Ну, сегодня сам бог велел,— сказал отец.

Шура пошла на кухню и принесла начатую поллитровку «столичной» и три рюмки.

— Ты знаешь,— спросил ее отец,— что Валерка в армию уходит?

— В армию? — Она расставляла рюмки и была очень занята этим делом.— Когда?

— На днях,— сказал я.

— И в какие же части?

— Пока неизвестно.

Шура пробежала взглядом по столу — все ли в порядке — и села. Мы сели тоже.

— Ну что ж,— сказала Шура.— Армия приучает человека к дисциплине. Мой начальник Алексей Аркадьевич всегда говорит, что он

многими своими качествами обязан именно армии. Ну так что? — Она посмотрела на меня, потом на отца. — За него и выпьем?

— Да, конечно, — сказал отец.

Мы подняли рюмки и чокнулись.

— Ну, будь здоров.

Мы выпили. Все потянулись вилками к селедке, лежавшей на блюде посреди стола. Она была жирная, густо посыпана луком.

— Селедка — прелесть, правда? — отец обратился ко мне.

Селедка как селедка.

— Хорошая, — сказал я.

— Шура очень хорошо умеет ее разделявать.

— Ладно подлизываться, — сказала Шура, подвигая к себе тарелку с супом.

Мы, как по команде, дружно застучали ложками.

— Ты писать-то хоть будешь? — спросил отец.

— Конечно, — сказал я.

— Хоть изредка, — сказал отец.

— Раз в неделю, — пообещал я.

— Нет, раз в неделю не будешь, — сказал отец. — Надоест. По себе знаю. Я сам, когда служил в армии, даже во время войны, не очень любил писать письма. Так что, если раз в месяц черкнешь пару строк — жив-здоров, — и то будет хорошо.

Мы долго и сосредоточенно ели суп, потом Шура положила нам в эти же тарелки жаркое. Мы молчали, я несколько раз поднимал глаза, встречался со взглядом отца, и взгляд этот был очень жалостливый.

Мне казалось, что отец что-то хочет сказать, да все как-то то ли не решается, то ли не знает, с чего начать. Потом он положил вилку, посмотрел на меня в упор и сказал неожиданно:

— А ты вообще понимаешь, что сейчас происходит?

— В каком смысле? — спросил я.

— В обыкновенном. Твое детство и юность кончились. Начинается новая трудная жизнь. До меня это как-то не сразу дошло. А до тебя дойдет и подавно не скоро. Все слишком неожиданно. Надо бы тебе подарить что-нибудь.

— Не надо мне ничего, папа, — запротестовал я.

— Нет, надо.

Он быстро снял с руки свои часы и протянул мне.

— Держи.

Шура метнула на меня быстрый взгляд и сосредоточенно стала нализывать картошку на вилку. Надвигалась гроза. Я это понял по тому, как напряглась Шура.

— Не надо, — сказал я, следя за ее движениями.

— Надо, — настойчиво сказал отец. Он перегнулся через стол и надел мне часы на руку.

— В самом деле, зачем мальчику золотые часы? — не выдержала Шура.

— Он не мальчик, — строго сказал отец. — Он в армию уходит.

— Дело, конечно, твое, — пожала плечами Шура. — Только их у него украдут. Алексей Аркадьевич говорил, что у него однажды из-под подушки вытащили фотоаппарат.

— Меня совершенно не интересует, что говорит твой Алексей Аркадьевич. Это мой сын и мои часы. И я имею полное право, никого не спрашивая, подарить свои часы своему сыну.

— Пожалуйста, делай что хочешь, я тебе ничего не говорю, — обиделась Шура.

— Нет, ты говоришь,— повысил голос отец.— Ты говоришь совершенно определенно, что я не должен дарить свои часы своему сыну.

Шура ничего не ответила, уткнулась глазами в тарелку. Наступило долгое тягостное молчание.

Шура отодвинула тарелку, встала.

— Когда поешь,— сказала она отцу,— убери, пожалуйста, со стола.— И ушла в соседнюю комнату.

Отец посмотрел на меня виновато.

— Обиделась,— сказал он.— Ты не думай, она хорошая, только иногда скажет что-нибудь, не подумав, потом сама жалеет.

Из соседней комнаты снова вышла Шура. Она уже оделась и расколола волосы. Вид у нее был деловой.

— Ты не знаешь, где расческа? — спросила она.

— Ты собираешься уходить? — спросил отец.

— Да.

— Совсем?

— Совсем. Можешь оставаться один и создавать свои великие творения в одиночестве. Валера, ты можешь гордиться своим отцом. Он у тебя писатель. Инженер человеческих душ. Он пишет репризы для цирка. «Бип, что у тебя в чемодане?»—«У меня в чемодане теща». Ха-ха-ха!

Она нашла расческу и снова ушла в другую комнату.

— Ничего, это пройдет,— сказал мне отец.— Ты не обращай внимания.

— Я не обращаю,— ответил я.

Снова вышла Шура. В руках она держала несколько листов бумаги.

— Валера.— сказала она,— ты знаешь, что твой отец пишет роман?

— Шура,— тихо сказал отец.— Неужели тебе не стыдно?

— Мне очень стыдно,— сказала Шура и подняла листочки над собой.— Вот многолетний труд. Семнадцать страниц за двенадцать лет. Взыскательный художник. А какой стиль!— Она поднесла бумагу к глазам, прочла первую строчку:— «Море было зеленое». Море было зеленое...— Она повернулась к отцу.— Ты видел когда-нибудь зеленое море?

— Море бывает всякое,— сказал отец.— Синее, лиловое, черное, зеленое и даже, если хочешь знать, красное во время заката.

— Валера,— сказала Шура.— Ты видел когда-нибудь зеленое море?

— Я море вообще не видел,— сказал я поспешно.

— Очень жаль,— сказала Шура и ушла снова в другую комнату.

Отец стоял, обхватив руками голову.

— Какой стыд,— бормотал он.— Какой стыд!

Мне стало неловко, я понял, что делать здесь больше нечего.

— Я пойду, папа,— сказал я.

— Ладно, иди,— вздохнул отец.— Только матери не рассказывай. Ладно?

— Ладно. До свиданья, папа.

— Что же ты так уходишь? Я уезжаю в командировку и, наверное, не смогу тебя проводить. Давай простимся, как полагается.

Мы обнялись. За его спиной я незаметно снял с руки часы и положил на стол. Отец прошел со мной до дверей и хлопнул меня по плечу ободряюще:

— Не забывай, пиши.

— Ладно,— еще раз пообещал я.

Я спустился на одну площадку. Я посмотрел на отца, и мне показалось, что у него глаза полны слез. Я нагнул голову и медленно пошел по лестнице дальше.

Еще когда я учился, в десятом классе у нас был такой случай. Боб Карасев объяснился в любви Ленке Проскуриной, с которой сидел за одной партой. Ленка сказала ему: «Нет». Тогда Боб пошел домой, напустил полную ванну воды, залез в воду и вскрыл себе вены лезвием от безопасной бритвы. Его потом еле спасли.

Таких людей, как Боб, я не понимал никогда. Любил ли я кого-нибудь в жизни? Маму любил. Бабушку, несмотря ни на что, любил. А так, чтобы влюбиться в какую-нибудь девчонку, да еще резать из-за нее вены — на это я никогда не был способен. Может быть, это плохо. Учительница химии Леонила Максимовна говорила, что настоящий человек должен по-настоящему любить и по-настоящему ненавидеть. Ненавидел ли я кого-нибудь? Нет, пожалуй. Может, некого было. За всю жизнь не было у меня никаких врагов; были, правда, кое с кем мелкие стычки, но они быстро забывались и все проходило. Я не умел долго ни злиться, ни обижаться на кого-нибудь и не понимал людей злопамятных, обидчивых, непримиримых. Впрочем, я многого не понимал. Не понимал своего отца. Я бы понял, если бы знал, что с мамой ему было плохо, а с новой женой хорошо. Но он любил меня и хорошо относился к маме, а жил все-таки с этой женщиной, которая его не любила. Я был уверен, что она его не любила. Но он, наверное, думал иначе.

Я шел по широкой улице, где проносились автомобили и гремели трамваи. Скупое светило неяркое, но пока еще теплое осеннее солнце. Забираться в трамвай не хотелось, я шел пешком. Пройдя несколько остановок, я увидел на противоположной стороне улицы парикмахерскую, вспомнил, что мне надо постричься. На призывной пункт полагалось явиться постриженным под машинку — это указано было в повестке.

В парикмахерской все мастера были заняты.

Очередь впереди меня состояла из одного старичка с аккуратно протянутыми через обширную плешь длинными и редкими рыжеватыми прядями. Он сидел за низким полированным столиком и листал старые газеты. Я тоже взял со стола газету и стал ее разглядывать.

В это время из зала вышел очередной клиент, от него так и несло одеколоном. Старичок, который был передо мной, с газетой в руках подошел к двери, заглянул в зал и сказал мне:

— Идите. У меня постоянный мастер.

Тоже еще мне, старый пижон. У него постоянный, видите ли, мастер. Я положил газету и встал.

— Следующий! — сказала парикмахерша и обернулась. И я ее сразу узнал. Это была Таня. И как это я мог думать, что не узнаю ее?

— Привет, — сказал я, подходя к ее креслу.

— Здравьете, — сказала она, — садитесь. Польку или полубокс?

— Под ноль, — сказал я. — Ты меня разве не узнаешь?

Она равнодушно скользнула взглядом по моему отражению в зеркале и сменила ножи в электрической машинке.

— Не узнаю.

— Я — Валерка, — сказал я, задирая к ней голову. — Помнишь, в милиции вместе сидели?

— Не помню.

— Как же, — обиделся я. — А потом мы с тобой гуляли, стояли на лестничной площадке и даже... Ну, разве не помнишь?

— Не помню, — жестоко повторила она и сильно надавила мне пальцами голову. — Не вертись.

Она включила машинку и провела первую борозду посреди головы. Первые пряди моей роскошной прически упали на белое покрывало.

Она нагнулась ко мне и тихо спросила:

— Целоваться-то научился?
— Узнала? — обрадовался я.
— Сразу узнала, — сказала она. — Еще как ты первый раз заглянул, я тебя в зеркале увидела. В армию, что ли, уходишь?

— Откуда ты знаешь?
— По прическе догадалась. Жалко, волосы хорошие.
Ровно гудела машинка, и Таня деловито водила ею по моей голове, и я смотрел на свое отражение, которое казалось мне все более уродливым.

— Голова у тебя какая-то шишковатая, — сказала Таня. — Говорят, такие голько у умных людей бывают.

— Что ж ты тогда не пришла? — спросил я. — Когда у часов договоривались встретиться.

— А ты разве приходил?
— А как же. Я там полтора часа проторчал.
— Полтора часа? — удивилась она. — А я, знаешь, не хожу на эти свиданки. Договорись с каким, так он тебя обманет, пойдешь — одно расстройство.

Я посмотрел в зеркало на свой безобразно голый череп и без всякой надежды спросил:

— Может, тогда сегодня встретимся?
— Можно, — сказала она, сдергивая покрывало. — Пятнадцать копеек.

Мы подошли к кассе, я заплатил, а она расписалась в ведомости.
— Я в семь часов кончаю работу. Приходи сюда. — Она обернулась к двери: — Следующий!

Вечером мы сидели в парке на лавочке недалеко от плакатной экспозиции «Мы покоряем космос». Вращающийся фонтан рассыпал по кругу сверкающие в электрическом свете брызги. По радио кто-то читал «Моцарта и Сальери» таким голосом, будто передавал сообщение ТАСС.

Рядом с нами сидели молодые муж и жена, оба в серых костюмах. Муж покачивал стоявшую перед ним детскую коляску, равнодушно глядя на проходящих мимо людей.

На открытой эстраде шел концерт, приятный женский голос исполнял самую популярную песню сезона «Ты не печалься, ты не прощайся».

— Это хорошо, что ты пришел в парикмахерскую, — неожиданно сказала Таня. — Если б я тебя встретила на улице или хотя бы здесь, в парке, первая ни за что бы не подошла.

— Это еще почему? — удивился я.
— Из гордости. Как говорится, чем девушка торжее и грубей, тем лучше качество у ней, — сказала она со значением.

— Как? — не понял я.
Она повторила.

— И у тебя хорошее качество? — поинтересовался я.
— У меня очень хорошее, — ответила она серьезно, но тут же поправилась: — Смотри, конечно, в каком смысле. Если насчет характера, то ты не надейся, от меня просто так ничего не добьешься.

— Да я от тебя ничего не хочу добиваться, — смутился я. — Я просто так встретил тебя и позвал. Если не хотела, могла не идти.

— Нет, я вообще-то не против, если по-человечески, с уважением, если погулять хорошо да подружиться месяц-другой, а не в виде корыстных целей.

— Да что ты несешь? — возмутился я. — Какие у меня могут быть к тебе корыстные цели?

Вот уж не думал, что такая дура. На вид вроде нормальная, тогда,

в милиции, мне даже понравилась, а тут на тебе — прорвало. Я уже пожалел, что пригласил ее в парк. Лучше б дома лежал, книжку читал.

На летней эстраде раздались аплодисменты, а потом, видно на «бис», певица снова запела «Ты не печалься».

— Я раньше тоже пела в самодеятельности, — сказала Таня. — Исполняла романсы. «Средь шумного бала, случайно...» — закричала она нараспев дурным голосом.

Ребенок в коляске проснулся и заплакал. Отец зашикал на него и стал остервенело трясти коляску. Женщина посмотрела на Таню осуждающе и сказала:

— Можно бы и потише. Ребенка вот разбудили.

— С ребенком надо в детский парк ходить, — огрызнулась Татьяна. — А это взрослый, культуры и отдыха.

— У вас-то никакой культуры и нет, — сказала женщина.

— А у вас есть? — поинтересовалась Таня.

Я не знал, как себя вести. Первым нашел выход из положения молодой отец.

— Пошли, — коротко приказал он жене и, поднявшись, пошел в сторону танцплощадки, толкая перед собой орущую во весь голос коляску. Женщина тоже поднялась и пошла следом.

— Культурная! — крикнула вслед ей Таня. — Ты хоть рубашку убрала бы под платье, культура! — Довольная, она повернулась ко мне: — Ничего я ее отшила, скажи?

— Ничего, — сказал я. — Можешь за себя постоять.

— Да уж спуску не дам никому, пожалуй, — сказала она с сознанием собственного достоинства. — Меня отец так учил. У тебя-то отец есть?

— Есть, — сказал я.

— А где он работает?

— Дома.

— Кто ж это дома работает? — не поверила она.

— Отец. Он писатель, — пояснил я неохотно.

— Писатель? — Она посмотрела на меня недоверчиво. — И чего же он написал?

— Он пишет репризы для цирка. Знаешь, что такое репризы?

— Нет.

— Ну вот, например: «Бип, что у тебя в чемодане?» — «У меня в чемодане теща». Ха-ха-ха!

Реприза произвела неожиданный для меня эффект. Таня задержалась и тихо поползла с лавки.

— Ты что? — Я подхватил ее под мышки, чтобы она не свалилась.

— Теща? — со слезами на глазах повторяла она, корчась от смеха. — Ой, не могу! Теща в чемодане! А как же она туда попала?

— В каком смысле? — не понял я.

— Я спрашиваю: чемодан большой или теща маленькая?

— А черт ее знает.

Мне стало скучно. Я подумал, что хорошо бы найти где-нибудь Голика, может, он хоть отчасти взял бы ее на себя. Я даже посмотрел в оба конца аллеи в надежде, что он откуда-нибудь да появится, но его нигде не было видно, и я совсем скис. Черт знает что. Через несколько дней в армию, каждый вечер на учете, а тут сиди и думай, как теща могла попасть в чемодан. Мне уж пора о своем чемодане подумать. Хотя думать, собственно, о нем нечего. Только бы как-нибудь не промахнуться, попасть в училище. А то вдруг запихнут в пехоту и будешь — «кругом, бегом, встать, ложись». И так три года. А три года — это почти институт.

Я думал о своих делах, а Таня что-то рассказывала. Я ее не слушал.

но она не замечала, потому что ей надо было рассказывать независимо от того, слушают ее или нет.

— А вот когда я была совсем маленькая...— сказала она и вдруг замолчала.

Я обратил внимание на эту фразу только потому, что она была последняя.

— И что было, когда ты была маленькая? — спросил я.

Она ничего не ответила. Я заметил, что она как-то странно жметс ко мне плечом, а лицо отвернула и закрыла рукой, словно пыталась спрятаться от кого-то.

— Что с тобой? — спросил я.

— Молчи! — ответила она шепотом.

Я бросил взгляд на аллею и гут же все понял. Медленной походкой к нам приближался Козуб. Он был гладко прилизан, в черном костюме с черным галстуком бабочкой на белой рубаше.

— Здорово! — поприветствовал он, поравнявшись со мной, и остановился.

— Привет! — ответил я неохотно.

Таня все еще прикрывала лицо ладонью.

— Чего прячешься? — обратился к ней Козуб. — Чего прячешься? — повторил он свой вопрос.

— А я и не прячусь. — Таня убрала руку. — Просто так заслони-лась, смотреть на тебя неохота.

— Неохота, — зашипел Козуб, приближаясь к ней. — А когда я на тебя деньги тратил, охота было. У, сука позорная, сейчас я тебе глаз выну. — С этими словами он ткнул ей пальцем в лицо, но она вовремя увернулась.

Мне ничего не оставалось больше делать, как встать между ними.

— Отойди, — сказал я Козубу и подвинул его плечом.

— Не лезь! — окрысился на меня Козуб. — Не лезь, говорю, если не хочешь по мозгам заработать.

Я разозлился. Обидно, когда тебе так угрожают, да еще вот при девушке. И тут у нас пошел дурацкий такой разговор.

— От тебя, что ли, я заработаю? — спросил я.

— А хоть бы и от меня.

— Смотри, как бы сам не схватил по шее.

— Уж я-то не схвачу.

— А если схватишь?

— Пошли, потолкуем.

Козуб схватил меня за рукав и потащил к кустам. Я вырвал руку и пошел следом за ним. Мы стали за кустами друг против друга, чтобы продолжить наш содержательный разговор.

— Ну, чего надо? — спросил Козуб, задыхаясь от ярости.

— А тебе чего?

— А мне ничего.

— Ну и мне ничего. А девушку не трогай.

Козуб скривился презрительно.

— Девушку. Да у этой девушки таких, как ты, знаешь, сколько было?

Я схватил его за галстук.

— Давай отсюда проваливай, а то я тебе не знаю что сделаю.

Этого я действительно не знал.

Козуб вырвался, поправил галстук.

— Ты рукам воли не давай, — сказал он, охорашиваясь передо мной, как перед зеркалом. — Жалко, тут мусора ходят, а то бы я тебе сейчас рыло начистил.

Он положил руки в карманы и наискось через газон пошел в сторону танцплощадки. Я вернулся к Тане. Она сидела, не шелохнувшись, на прежнем месте.

Я сел с ней рядом. Не поднимая головы, острым носком туфли она чертила что-то перед собой на песке. Я достал сигареты.

— Дай закурить,— попросила она.

Я дал. Прикуривая, она бросила на меня быстрый, настороженный взгляд.

— Ты думаешь, у меня с ним чего было? — спросила она.

— А мне все равно,— сказал я.

Мне действительно было все равно.

— До чего же противные мужики,— сказала она с чувством.— Два раза в ресторан сводил и думает, что теперь я ему все должна.

— Ладно, пошли отсюда,— сказал я.

Она мне за этот вечер порядком поднадоела. А впереди еще предстоял длинный путь до ее дома с разговорами. Молчать, судя по всему, она не умела.

На мое счастье, у выхода из парка нам встретился Толик. Он куда-то торопился, идя нам навстречу, и лицо его выражало крайнюю озабоченность. Я загородил ему дорогу, он наткнулся на меня и долго стоял, ничего не понимая, словно соображал, как преодолеть это неожиданно возникшее на пути препятствие.

— Ты куда? — спросил я.

— Да я... Это самое... Слушай.— Он приходил потихоньку в себя.— Ты не видел этих самых... как их... Олю и Полю?

— Нет,— сказал я,— не видел.

— Вот бабы. Никогда нельзя верить. Договорились в кино смотреть, я пошел доставать деньги, вернулся, а их уже нет.

Таня стояла в стороне, разглядывая фотовитрину «Не проходите мимо».

— Да брось их,— сказал я Толику.— Пошли лучше с нами.— Я кивнул в сторону Тани.

Увидев Таню, Толик оживился.

— Твоя, что ли? — спросил он шепотом.

— Ага,— ответил я равнодушно.— Ты же ее знаешь.

— Вообще-то знаю, но незнаком,— сказал Толик грустно.— Баба, конечно, в порядке.

— Бери ее себе,— щедро предложил я.

— А ты как же? — спросил он.

— Ничего,— сказал я.— Как-нибудь перебьюсь.

Мы подошли к Тане, и я их познакомил. Толик протянул ей руку и представился, как всегда, со значением:

— Анатолий.

Она ответила:

— Очень приятно.

Мы вышли из парка. Из-за крыш домов выступила полная луна. Она светила так ярко, что вполне можно было выключить в городе все электричество.

Толик и Таня быстро нашли общий язык. Когда мы выходили на пустырь, Толик сказал ей почти серьезно:

— Если бы мне попалась такая девчонка, я бы на ней женился.

— Шути любя, но не люби шутя,— обиделась Таня.

— Да я разве шучу? — сказал Толик.— Я серьезно.

— В армии сперва отслужи, а потом женихаться.

— А что армия? — возразил Толик.— В армии женатому милое дело. Жена когда посылочку пришлет, когда сама придет.

— Ну, давайте я вас зарегистрирую,— предложил я, кивнув в сторону темневшего впереди будущего Дворца бракосочетания.

Идея пришлась Толику по вкусу, но Таня обиделась.

— Найди себе какую-нибудь дурочку и с ней шутики шути,— сказала она.— А я — за серьезные отношения.

Домой мы с Толиком возвращались во втором часу ночи. Небо было затянуто тонкими облаками. Лунный свет сочился сквозь облака, расплываясь, как масло на сковородке. Единственная лампочка возле Дворца бракосочетания теперь горела ярко и весело.

Если бы знать, что ждет нас возле этого Дворца, мы бы обошли его стороной, но мы ничего не знали и поэтому шли мимо него напрямую — оба торопились домой.

Когда мы их увидели, было слишком поздно менять направление. Их было человек шесть или семь. Они стояли кучкой возле стены и вполголоса переговаривались. Отдельных слов не было слышно, шел только общий гул от общего разговора. Я толкнул Толика в бок, но он уже сам все увидел. Не сговариваясь, мы замолчали и стали забирать немного в сторону, хотя надо было просто повернуть и бежать со всех ног обратно. Но было бы странно и стыдно бежать ни с того ни с сего, просто увидев людей, которые стоят и мирно разговаривают между собой.

— Эй, ребята! — От стены отделилась длинная темная фигура и направилась к нам.

— Грек! — упавшим от страха голосом шепнул Толик.

Тут уж надо было бежать, не раздумывая, но мы стояли как вкопанные, я почувствовал в коленях такую слабость, что, если бы и захотел, вряд ли смог двинуться с места.

Грек подошел вплотную. От него несло водкой, но на вид он был совершенно трезв. Он только сутулился и поеживался: видно, давно здесь стоял и продрог. В руке он держал папиросу.

— Ребята, закурить есть? — спросил он миролюбиво.

— У него есть,— услужливо сказал Толик, кивнув в мою сторону.

Делать было нечего. Я достал сигареты и молча протянул Греку.

В конце концов, может, правда человеку надо просто закурить, и ничего больше. Если разобраться, мы же их не трогаем, идем себе мимо. И нас совершенно не касается, зачем они здесь собрались и что делают.

Грек повертел в руках сигареты, вынул одну и засунул обратно.

— «Памир» я не курю. У меня от них горло дерет,— сказал он и швырнул сигареты на землю.

— Зачем же бросать сигареты? — не удержался я.

Когда мне хочется что-то сказать, я говорю, не думая о последствиях. Такой дурацкий характер.

— Да что тебе, жалко? — поспешил исправить мою ошибку Толик. Он нагнулся и поднял сигареты.— На вот.

Грек резко ударил его по руке. Сигареты снова упали на землю.

— Никогда не подбирай ничего с земли,— сказал он и, обернувшись, крикнул в темноту: — Козуб!

От стены отделилась еще одна темная фигура и приблизилась к нам. Теперь все было более или менее ясно. Козуб пожаловался Греку. Теперь меня будут бить. И Толика за компанию, наверное, тоже.

— У тебя какие сигареты? — спросил Грек, когда Козуб подошел.

— «Шипка». — Козуб торопливо полез в карман.

— Это другое дело,— удовлетворенно сказал Грек.

Козуб протянул ему сигареты и зажигалку. Вспыхнул огонь и запахло бензином. Прикурив, Грек поднес зажигалку прямо к моему носу, я слегка отстранился.

— Этот, что ли? — спросил Грек.

— Этот, — тихо ответил Козуб.

В то же мгновение я получил такой удар в нос, что у меня потемнело в глазах. На ногах я все-таки удержался. Я взвыл от боли и кинулся на Грека, но не смог его ударить ни разу: какие-то два типа из этой компании подскочили и схватили меня сзади за руки. Я попробовал отбиваться ногами, но тут подскочил кто-то третий. Он лег на землю и обхватил мои ноги руками.

— За что вы меня бьете? — спросил я.

Вопрос был, конечно, бессмысленным.

— Мы не бьем, а наказываем, — сказал Грек. — Ты зачем обижал нашего товарища? — Он кивнул на Козуба.

— Да кто его обижал? Я просто заступился за девушку.

И я начал путано объяснять, что когда Козуб приставал к Тане, у меня просто не было никакого другого выхода, что любой на моем месте поступил точно так же.

Грек меня выслушал очень внимательно.

— Значит, ты считаешь, что Козуб был не прав? — спросил он участливо.

— Да, — сказал я.

Он повернулся к Козубу.

— Ты слышал, что он говорит?

— Слышал, — ответил Козуб.

— И что же ты терпишь? А ну вмажь ему, чтоб было все справедливо.

Козуб не заставил себя долго упрашивать. От второго удара у меня потекла из носа кровь.

— Ребята, да бросьте вы, — занял неожиданно Толик. — Неужели из-за какой-то бабы нужно бить человека? Ну, побаловались, и ладно. Пошли по домам.

Грек повернулся к нему, Толик умолк и испуганно съезжился.

— Ты кто такой? — спросил Грек.

— Это его дружок, — сообщил Козуб. — Они вместе работают.

— Дружок? — оживился Грек. Ему в голову пришла замечательная идея. — А ну врежь-ка ему по-дружески. — Он подтолкнул Толика ко мне.

Толик попятился назад.

— Да ну бросьте шутить, ребята! — На своем лице он изобразил понимающую улыбку. — Уже поздно, домой пора, ребята, не надо шутить.

— А с тобой никто и не шутит. — Грек снова толкнул его вперед. — Врежь, тебе говорят, и пойдем по домам.

Толик отпрыгнул в сторону, хотел убежать, но Грек вовремя подставил ногу, и Толик упал.

— Ребята, отпустите! — закричал он. — У меня мать больная, у меня отец инвалид Отечественной войны!

Он боялся подняться и ползал на четвереньках, пытаясь уползти прочь, но, куда бы он ни поворачивался, всюду натыкался на чьи-то ботинки, кто-то загораживал ему путь из этого круга. Потом Грек схватил его за шиворот и сильно встряхнул. Затрещала рубаха. Толик вскочил на ноги, заметался, обращаясь то к Греку, то к Козубу, то ко мне:

— Ребята, ну что вы? Ну бросьте! Ну зачем?

Грек схватил его снова за шиворот и подтащил ко мне. Толик хныкал и пытался сопротивляться.

— Бей! — с угрозой сказал ему Грек.

— Валерка, — заплакал Толик, — ты же видишь — я не хочу, они меня заставляют.

— Бей! — повторил Грек и ребром ладони ударил его по шее.

Толик нерешительно поднял руку, мазнул меня по щеке и повернулся к Греку, глазами умоляя его отпустить. Греку было мало и этого.

— Разве так бьют? — сказал он. — Бей, как положено.

— Не могу, — сказал Толик, пятясь прочь от меня. — Слышь, Грек, я не могу. У меня мать больная, у меня отец...

— Сможешь, — сказал Грек.

Он схватил Толика за ворот так, что даже в темноте мне показалось, что лицо Толика посинело. Толик беспомощно засучил ногами.

— Ну! — Грек подтянул Толика снова ко мне и отпустил.

— Грек, — заплакал Толик. — Отпусти. Отпусти, слышь, я тебя очень прошу.

Подлетел Козуб.

— Ах ты гад! Бей, говорят тебе!

Изо всей силы он дал Толику пинка под зад. Толик, схватившись за зад, завыл и вдруг с нечеловеческим воплем бросился на меня.

Меня крепко держали, я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Я мог только вертеть головой. И когда я наклонял голову, Толик бил меня снизу, а когда я пытался отвернуться, он бил сбоку.

Я очнулся от холода, а может быть, оттого, что пришло время очнуться, и, придя в себя, почувствовал холод. Сначала мне показалось, что я лежу дома на кровати и с меня сползло одеяло. Не открывая глаз, я пошарил рукой возле себя, и рука прошла по чему-то мокрому, как я потом понял — это была облитая росой трава. Тогда я открыл глаза, но ничего не увидел. Так бывает, когда тебя мучат кошмары, ты заставляешь себя проснуться и вроде уже даже проснулся, но все еще видишь кошмары и надо приложить нечеловеческие усилия, чтобы разодрать веки по-настоящему.

Приложив нечеловеческие усилия, я увидел перед собой Толика. Он сидел, сгорбившись, надо мной и, глядя куда-то мимо, громко икал. Лицо его мне показалось большим и расплывчатым, оно заслоняло все небо. Небо было бледное, с красными отблесками на перистых облаках — дело, видимо, шло к рассвету.

Увидев, что я очнулся, Толик перестал икать и уставился на меня с выражением не то страха, не то любопытства.

— Ты меня видишь? — тихо спросил он.

Я его видел сквозь какие-то щелки, все распухло, было такое ощущение, словно на лицо положили подушку и проткнули в ней маленькие дырки для глаз.

— Вижу, — сказал я.

Тогда Толик лег на меня и, затрясшись всем телом, заплакал прерывисто, гулко и хрипло, словно залаял.

— Валера, прости меня, — причитал он, и слезы падали мне на рубашку. — Валера, я сволочь, я гад. Ты слышишь? Гад я, самый последний.

До моего сознания смутно дошла ночная сцена, но это воспоминание не вызвало во мне никаких чувств, никаких мыслей. Боли не было. Были только холод, ощущение распухшего тела, большого, как дирижабль, и ощущение тяжести.

— Слезь с меня,— сказал я Толику.— Слезь с меня, пожалуйста, мне тяжело.

Мне казалось, что как только он слезет, оболочка моя еще больше раздуется и я полечу легко и свободно к теплomu солнцу, которое скоро взойдет.

— Валера, я — гад! — выкрикнул Толик.— Ты слышишь, я — гад! Ты понял меня?

— Понял,— сказал я,— только, пожалуйста, слезь.

Всклипывая и размазывая рукавом слезы, Толик сполз и поднялся на ноги.

Ощущение тяжести не прошло, не было сил подняться. Тогда я перевернулся спиной вверх, подтянул колени к животу, встал сначала на четвереньки и только после этого смог подняться во весь рост.

Было по-прежнему сыро и холодно. Колени дрожали, расплываясь в разные стороны, не было никаких сил справиться с ними.

Небо заметно бледнело. На его просветлевшем фоне резко чернели четкие контуры Дворца бракосочетания в стиле Корбюзье с шестигранными колоннами, стоявшими как бы отдельно.

Я повернулся и, медленно передвигая ноги, пошел в сторону города с разновысокими коробками домов, в которых не горело еще ни одно окно, потому что было пока слишком рано.

Толик плелся позади меня, шагах в двух.

Мама с бабушкой, увидев меня, пришли в неопиcуемый ужас. Я посмотрел в зеркало и сам себя не узнал. Я испугался, что теперь не пройду комиссию. Впрочем, до комиссии все прошло. Остался только небольшой синяк возле левого глаза.

И вот наступил последний день. Я проснулся, когда на улице было еще темно. Но мама и бабушка уже поднялись. Узкая полоска света лежала под дверью. Там, за дверью, шла тихая суматоха, шаркали ноги и слышались приглушенные голоса. Я прислушался. Разговор шел о моей старой куртке, которую бабушка недавно перешивала. Мама ругала бабушку:

— Ты стала совсем ребенком. Ничего нельзя поручить. Я тебя просила положить куртку в шкаф для белья.

— Именно туда я ее и положила,— сказала бабушка,— это я хорошо помню.

— Тогда где же она?

— Я же тебе говорю: положила в шкаф. И даже пересыпала нафталином.

— Если бы ты положила в шкаф, она бы лежала в шкафу.

Я встал и вышел в соседнюю комнату.

— Что вы ругаетесь? — сказал я.

Бабушка и мама стояли посреди комнаты, а между ними на стуле лежал чемодан с откинутой крышкой.

— Я отдал куртку Толику протирать мотороллер.

— Как отдал? — возмутилась бабушка.

— Очень просто. Все равно носить ее я бы не стал.

— Зачем же я ее тогда перешивала? — грозно спросила бабушка.

— Этого я не знаю,— сказал я.— Я не просил.

— Ну вот, пожалуйста,— сказала бабушка, обращаясь к маме,— плоды твоего воспитания. Полнейшая бесхозяйственность.

— Ну, отдал так отдал,— сказала мама примирительно.— Не будем ругаться в последний день. Только я думала, что в армии она тебе еще пригодится. Там ведь не очень тепло одевают.

— Там бы ее у меня все равно отобрали,— сказал я и пошел в ванную.

Я посмотрел на себя в зеркало. Вид у меня был вполне нормальный. Только под левым глазом остался синяк, совсем небольшой, не больше обыкновенной сливы.

А в то утро все лицо было — сплошной синяк.

Мать хотела, чтобы я снял побои и подал в суд на Грека, но я не стал, не хотелось впутывать Толика, который тоже приложил к этому делу руку, если в данном случае можно так выразиться.

Матери про Толика я ничего не сказал. Зачем?

Я долго стоял под душем, и теплые струи воды обтекали меня. Мне было приятно и грустно и вдруг захотелось остаться дома и никуда не ехать. И я подумал, что, может быть, мне не раз еще захочется жить вот так, ругаясь с мамой и бабушкой, но этого уже никогда не будет, и если меня будут ругать, то не мама, не бабушка, а другие, чужие люди, которым моя судьба, может быть, безразлична.

Когда я вышел из ванной, в комнате царили мир и согласие. Мама перед зеркалом красила губы, а бабушка гладила на столе свою юбку. Чемодан был уже закрыт, а возле него на полу стояла старая хозяйственная сумка.

Она была доверху набита чем-то съедобным, сверху из нее торчала куриная нога.

— Это что такое? — спросил я.

— Это курица,— сказала мама.

— Нет, я спрашиваю вообще, что это за сумка?

— Это мы с мамой,— обернулась бабушка,— приготовили тебе еду на дорогу.

— И вы думаете, что я в нашу Советскую Армию поеду с этой хозяйственной сумкой? Чудаки. Да надо мной вот эти куры, которых вы сюда положили, смеяться будут.

— А что же делать, если в чемодан ничего не влезает? — сказала мать.

— В такой большой чемодан ничего не влезло? А что вы туда положили?

— Самое необходимое.— Бабушка вызывающе поджала губы.

— Сейчас я проверю,— сказал я и открыл чемодан.

Ну и, конечно, я там нашел много интересных вещей. Сверху лежало что-то зеленое. Я взял это двумя пальцами и поднял в вытянутой руке.

— Что это? — спросил я брезгливо.

— Разве ты не видишь? Моя кофта,— невозмутимо ответила бабушка.

— Ты думаешь, я ее буду носить? — спросил я с любопытством.

— А зачем же ты выбросил свою куртку?

— Я не выбросил, а отдал Толику,— сказал я,— но это уже другой вопрос. А я жду ответа на первый. Неужели ты думаешь, что я эту штуку буду носить?

— Ну, а если будет холодно? — вмешалась мама.

— Дорогая мамочка,— сказал я,— неужели ты думаешь, что, если будет семьдесят или даже девяносто градусов мороза и птицы будут замерзать на лету, я надену бабушкину кофту?

Я продолжал ревизию дальше. Кофта в одиночестве пролежала недолго. Скоро над ней вырос небольшой могильный холмик из разных бесценных вещей. Здесь был шарф, лишнее полотенце, две пары теплого

белья, которое я и раньше никогда не носил, и еще маленькая шкатулка с домашней аптечкой — средства от головной боли, от насморка, от прочих болезней.

Бабушка и мама молча наблюдали за производимыми мною разрушениями. Я посмотрел на них и жестоко сказал:

— Вот так все и будет. Вместо всего этого можно положить часть продуктов, но тоже особенно не злоупотреблять, я проверю.

Я ушел к себе в комнату и стал одеваться. Потом мы втроем позавтракали, и мама ради такого торжественного случая выставила бутылку портвейна. Она налила мне целый стакан, а бабушке и себе по половинке. Я выпил весь стакан сразу и стал есть, а мама с бабушкой только выпили, а есть не стали и смотрели на меня такими печальными глазами, что мне стало не по себе, и я тоже не доел свой завтрак, половину оставил в тарелке.

Потом я встал из-за стола и хотел пойти в уборную покурить, но мама поняла меня и сказала:

— Можешь курить здесь. Теперь уже все равно.

Я достал сигарету, закурил, но мне было как-то неловко, я сунул окурочек в коробок со спичками и спрятал в карман. Мы помолчали. Потом мама спросила:

— Если тебе все-таки понадобятся деньги или какие-нибудь вещи, пиши, не стесняйся.

— Ладно,— сказал я.— Только у папы больше не бери.

— Не буду,— вздохнула мама.

Время приближалось к восьми, мы начали собираться. На улице было тепло, но на всякий случай (все-таки осень) мы с мамой надели плащи, а бабушка свое засаленное рыжее пальто, пуховый платок и взяла палку.

— Ну, ладно,— сказала мама,— присядем на минуточку.

И мы присели. Мама с бабушкой на кушетку, а я на чемодан, но осторожно, чтобы не раздавить его. Потом мама посмотрела на часы и встала. И мы с бабушкой тоже встали и пошли к выходу.

В скверике перед вокзалом была уже уйма народу. Они расположились отдельными кучками на траве. Во главе каждой кучки сидел торжественно остриженный новобранец, одетый во что похуже.

Посреди скверика, возле памятника Карлу Марксу, стоял майор с большим родимым пятном через всю щеку, он держал перед собой список и во все горло выкрикивал фамилии. Возле него стояла кучка новобранцев. Я тоже подошел поближе послушать.

— Петров! — выкрикнул майор.

— Есть! — отозвался стоявший рядом со мной длинный парень в соломенной шляпе.

— Не «есть», а «я», — поправил майор.

Он отметил Петрова в списке, и тот отошел.

— Переверзев! Есть Переверзев?

Майор остановил взгляд на мне.

— Важенина посмотрите, пожалуйста,— сказал я.

— А Переверзева нет?

Переверзев не откликнулся.

— Как фамилия? — переспросил майор. Он меня не узнал.

Я повторил. Майор что-то отметил в списке и сказал:

— Ждите.

Лавируя между кучками провожающих и отъезжающих, я пошел к своим.

Проводы были в самом разгаре. В одной кучке пели:

Вы слышите, грохочут сапоги,
И птицы ошалелые летят.
И женщины глядят из-под руки...
Вы поняли, куда они глядят.

В другой орали:

Ой, красивы над Волгой закаты,
Ты меня провожала в солдаты...

Веселая девица, покраснев от натуги, выводила визгливым голосом:

Руку жала, провожала,
Провожала. Эх, провожа-ала...

Рядом с ними сидела самая большая куча, человек в двадцать, и они, заглушая всех остальных, пели «Я люблю тебя, жизнь».

Когда они спели «и надеюсь, что это взаимно», парень с гитарой тряхнул бритой головой, и все хором грянули:

Эх, раз! Еще раз!
Еще много-много раз!
Лучше сорок раз по разу,
Чем ни разу сорок раз!

Я посмотрел на них. Да это же те самые ребята, которых я видел на лавочке, когда ходил на свидание с Таней.

Потом я остановился еще возле одной группы. Там стриженный, перевязанный полотенцами парень наяривал на гармошке что-то частушечное, а толстая деваха плясала под эту музыку, повизгивая, словно ее щекотали.

— Работай! — кричал ей парень с гармошкой.

И она работала всю.

Тут меня кто-то окликнул, я обернулся и увидел Толика. Вместе с отцом и матерью он расположился под деревом. На газете у них стояла начатая бутылка водки, бумажные стаканы, лежал толсто нарезанный хлеб, помидоры и колбаса.

— Иди к нам, — сказал Толик.

Я подошел. Отец Толика отодвинулся, освобождая мне место.

— Садись, Валерьян, поспрадуем вместе.

— Меня там ждут, — сказал я.

— Подождут, — сказал отец Толика. — Посиди.

Я сел. Отец Толика был одет торжественно, в серый костюм. В боковом кармане у него торчала авторучка и носовой платок, сложенный треугольником. Я сел на траву. Дядя Федя налил полстакана водки и подвинул ко мне:

— Выпей маленько для праздника.

— Какой же сейчас праздник? — сказала мать Толика. — Сына в армию провожаешь.

— Все равно, раз люди пьют, — сказал он, — значит, можно считать, что праздник.

— А вы пить будете? — спросил я.

— Мы уже, — сказал Толик.

Он мог бы этого и не говорить, по его глазам было видно, что он «уже». Честно сказать, мне пить совсем не хотелось. Но отказаться было неудобно. Я взял стакан и выпил залпом, а отец Толика смотрел на меня с явным любопытством: посмотрим, дескать, что ты за мужик и как это у тебя получается. А потом схватил разрезанный помидор и прозянул мне. Я хотел выпить, не поморщившись, но меня всего передернуло, и я быстро заел помидором.

У матери Толика глаза были красные — видно, она только что плакала. Сейчас она смотрела то на меня, то на Толика, и было ясно, что ей нас обоих до смерти жалко.

— Бабушка твоя тоже приехала? — спросила она меня.

— Бабушка приехала и мама, — сказал я.

— Мать небось убивается?

— Нет, — сказал я. — А чего убиваться? Не на войну идем.

— Все равно, — сказала она жалко. — Что ж это получается, растишь вас, воспитываешь, а потом вы разлетелись — и нету вас.

Я достал сигареты, протянул сначала отцу Толика.

— Не балуюсь, — сказал он, — и другим не советую. Ты мне вот что скажи, Валерьян. Я в период Отечественной войны тоже служил в ВВС. У нас там никаких самолетов не было, а только продукты. Сало, масло, консервы.

— Опять, — рассердился Толик. — Я же тебе объяснял: ты служил не в ВВС, а в ПФС — продовольственно-фуражное снабжение.

— Мне пора, — сказал я и встал.

— Я тебя провожу, — сказал Толик и встал тоже.

Несколько шагов мы прошли молча. Потом остановились под топо-
лем.

— Валера, — начал Толик, волнуясь и подбирая слова, — ты на меня, наверное, обижаешься, хотя на моем месте...

Все эти дни я думал, как поступил бы на месте Толика, смог бы я или нет поступить иначе. Но в конце концов я понял, что смог бы. И не потому, что такой уж храбрый, а потому, что не смог бы сделать то, что смог сделать Толик.

— Ты понимаешь, — сказал он, — они же меня заставили.

— Да, но ты очень старался, — сказал я.

— Но они бы побили и тебя и меня.

— Ладно, — сказал я. — Поговорим об этом в другой раз.

Что я мог ему объяснить?

Я нашел бабушку с мамой там же, на лавочке. Мне места не осталось; его заняла большая семья, провожавшая детину двухметрового роста с красным распухшим носом на длинном лице. Дитина сидел в окружении матери, отца и двух маленьких девочек, должно быть сестер, и плакал, а мать его утешала.

— Игорек, — говорила она, — не ты один, многие идут, надо же кому-нибудь служить в армии. Костя, скажи ты ему что-нибудь, — обратилась она к отцу.

— Я ему уже говорил, — сказал Костя. — Если не хочешь служить в армии, надо было учиться получше.

— Ты где так долго пропадал? — спросила меня мама.

— Толика встретил, — сказал я.

— Опять Толика? Неужели и в армии тебе не удастся встретить кого-нибудь поинтересней?

— Ладно, — сказала бабушка. — Они же все-таки друзья. Столько времени провели вместе. Работали на одном заводе.

В это время на площадь перед вокзалом вышел майор с пятном на щеке и прокричал в мегафон:

— Выходи строиться!

Бабушка схватила свою палку и еще хотела взять чемодан, но я отобрал его.

Те, которые сидели рядом с нами, тоже засуетились. Заплаканный парень вскочил на ноги.

— Подожди, — сказала ему его мать. — Подожди, я тебе вытру слезы, а то неудобно в строй становиться заплаканным. — Она вынула

из сумки платок, вытерла парню слезы и подставила платок к носу.— Высморкайся.

И когда парень начал сморкаться, она посмотрела на него и вдруг сама заплакала громко, навзрыд.

— Ну вот еще, — сказал отец. — Держалась, держалась — и на тебе. Теперь ты еще будешь сморкаться.

Что там у них дальше произошло, я не знаю; мы побежали. Я бежал с чемоданом впереди и оглядывался. Мама и бабушка семенили сзади. Бабушка далеко вперед выкидывала свою палку, а потом как будто подтягивалась к ней.

Нас выстроили спиной к вокзалу в четыре шеренги. Я оказался в середине.

— Равняйся! — скомандовал майор. — Смирно! По порядку номеров рассчитайся!

Мы рассчитались. К майору подошел тучный подполковник в авиационной форме и спросил:

— Ну что, все в порядке?

— Двух человек не хватает, — почтительно сказал майор.

— Надо сделать переключку.

Майор достал из кармана порядком уже измятый список.

— Слушай сюда, — сказал он и начал переключку: — Алексеев!

— Я!

— Алтухин!

— Я!

После каждого ответа майор отрывал взгляд от списка и смотрел туда, откуда доносился голос вызываемого.

Моя фамилия шла следом за фамилией Толика, который очутился где-то в хвосте строя. В строю не оказалось все того же Переверзева и еще одного человека.

— Ну, ладно, — сказал подполковник, — больше ждать некогда. Разбейте людей на команды и грузите в вагоны.

Майор отсчитал сколько-то там человек, потом протянул руку, как бы отсекая часть строя, и скомандовал:

— Эта группа направо! Десять шагов вперед шагом марш!

Вторая группа сделала восемь шагов, третья, в которой был я, — шесть. Потом каждой группе выделили по сержанту. Нам достался толстый, здоровый парень, у него на груди было несколько значков.

Он, выпятив грудь вперед, гоголем прошел перед нашим строем, внимательно оглядел впереди стоящих. Потом отошел на два шага назад и изрек:

— Наша группа будет называться рота, так мне привычней. Ясно?

— Ясно! — заорали мы хором.

— Наша рота будет занимать третий вагон. Ясно?

— Ясно!

— В вагоне не курить, курить только в тамбуре. Ясно?

— Ясно!

— Все, — сказал сержант. — Какой порядок езды будет, кто дневальный, кто дежурный — решим на месте. — Он вдруг напрягся, вытянул шею из воротника с целлулоидным подворотничком и скомандовал: — Напра-у! Шагом арш!

И мы пошли. Не в ногу, конечно, а кто как сумел. А родители наши шли сбоку и все кричали одно и то же: чтобы мы за собой следили, чтобы писали письма.

Мама тоже умоляла меня писать чаще. За ней шла бабушка и ничего не говорила, только бодро взмахивала палкой.

Сержант привел нас на перрон. Здесь стоял уже готовый состав с прицепленным к нему тепловозом. Я думал, что состав будет товарный, а он оказался нормальным пассажирским, только из старых вагонов, таких, какие ходят у нас на пригородных линиях. Сержант приказал организовано занять в вагоне места, но никакой организованности не получилось, все торопились занять там места получше. Я тоже торопился, но недостаточно, и поэтому мне досталась боковая верхняя полка. Но мне, в общем-то, было почти все равно. Я забросил свой чемодан на полку и снова выбрался на перрон.

Бабушка и мама стояли спиной к продуктовому киоску, жалкие и одинокие. Я посмотрел на них — сердце сжалось.

— Ну что вы раскисли? — сказал я. — Радоваться должны. Наконец-то избавитесь от шалолая.

— Да, конечно. — Мама хотела улыбнуться, но из этого у нее ничего не получилось. Губы у нее вдруг задергались, она отвернулась к киоску и заплакала. Бабушка посмотрела на маму и тоже отвернулась к киоску.

— Эх вы, нюни, — сказал я. — Что ж это вы от меня отвернулись? И что мне теперь из-за вас, дезертировать, что ли? И чего вы ревете? Я же вот не реву. А если хотите, я тоже.

И я стал делать вид, что реву, хотя мне хотелось зареветь на самом деле. А может быть, я и на самом деле ревел, а только думал, что делаю вид. Но все-таки я их немножко успокоил. Мама повернулась ко мне, улыбнулась и сказала:

— Не обращай внимания. Мы же с бабушкой женщины, и нам иногда можно немного поплакать.

Потом мы стояли и молчали, и я думал, что надо сказать, может быть, что-нибудь очень важное и значительное, но ничего такого придумать не мог, и мама с бабушкой тоже ничего не могли придумать. Они стояли и смотрели на меня, а я на них смотреть не мог и озирался по сторонам, лишь бы на них не смотреть.

Недалеко от нас в окружении всей своей родни стоял тот самый парень, который плакал там, в сквере, но теперь он уже не плакал, а улыбался и, размахивая руками, что-то рассказывал матери и отцу, и мать тоже улыбалась, а отец слушал его хмуро и невнимательно. Во всяком случае мне так показалось, что невнимательно. А возле вагона стоял парень, который играл на гитаре, но теперь он был без гитары (наверное, оставил в вагоне). Возле него тоже стояли родители, маленькие пожилые люди, и еще чуть в стороне стояла красивая девушка — наверное, невеста, а может, даже жена. Она так стояла потому, что, наверное, считала, что у родителей сейчас больше прав на парня, а она отчасти вроде бы и лишняя, но если бы она была совсем лишняя, то, вероятно, ушла бы, но она не уходила — значит, лишней себя не считала. А может, считала, что если вот так будет стоять в самых ответственных случаях, то когда-нибудь обязательно станет не лишней: в общем, я не знаю, что там она себе думала, я сам об этом не успел додумать до конца, потому что в это время из вокзала вышел дежурный в красной фуражке и ударил в колокол.

И тут по радио раздался голос:

— Товарищи призывники, начальник эшелона подполковник Белов просит вас занять свои места в вагонах. Повторяю: товарищи призывники...

А из вокзала вышел майор с родимым пятном на щеке, он сказал что-то в мегафон, но, видимо, мегафон испортился, потому что ничего не было слышно. Тогда майор зажал мегафон под мышкой, сложил ладони рупором и уже без всякой механизации крикнул:

— По ваго-онам!

И сержанты, которые стояли возле каждого вагона, тоже стали кричать:

— По вагонам! По вагонам!

Но никто сразу и не пошевелился, и тогда сержанты стали тормозить отъезжающих и провожающих. И наш сержант подошел к нам и сказал маме и бабушке:

— Мамаши, команду слышали? Прощайтесь.

И мы стали прощаться. Мама меня обняла и прижалась ко мне, и я первый раз в жизни заметил, что она совсем маленькая. А она меня обхватила руками и не хотела отпускать, и в конце концов мне пришлось тихонько от нее освободиться, потому что я думал, что не успею проститься с бабушкой.

— Не забывай, пиши,— сказала мама, отпуская меня.

— Конечно, буду писать,— сказал я.— Раз в неделю обязательно напишу.

Бабушка тоже, когда я ее обнимал, показалась мне маленькой и сухонькой, и только сейчас я подумал, что она ведь совсем уже старенькая, что, может быть, я больше ее никогда не увижу. Так оно в конце концов и получилось, но тогда я еще не знал, что так получится, но подумал, что может так получиться.

Опять подошел сержант и сказал:

— Хватит прощаться, сейчас отправляемся.

Я пошел задом к вагону и все смотрел на маму и бабушку, а они шли за мной. И только я залез в тамбур, как прогудел тепловоз, наш состав тронулся. Сразу вся толпа провожающих кинулась за составом, и все заревели так, будто весь наш поезд направлялся прямо на кладбище.

А мама с бабушкой мне махали руками и махали, и я им махал тоже, а потом их заслонили другие лица, а я все равно махал в надежде на то, что они видят хотя бы мою руку. И тут я увидел отца. Он, видимо, только что прибежал на перрон и в одной руке у него был какой-то сверток. И я ему крикнул:

— Папа!

Он услышал мой крик, вскинул голову и стал растерянно пробежать глазами по вагонам, но он смотрел все не туда, и я крикнул ему:

— Я здесь!

Он меня так и не увидел и стал на всякий случай махать свободной рукой и крутил головой, пытаясь разглядеть меня в пробегающих мимо вагонах.

Так вот и кончилась моя предармейская жизнь. Но прежде, чем поставить точку, мне хочется еще рассказать об одной встрече с Толиком, которая произошла у меня через год после событий, которые я здесь описал.

Первые два месяца мы служили вместе, вместе проходили курс молодого бойца, вместе принимали присягу.

А потом нас разослали по разным частям, и хотя служили мы по-прежнему в одном гарнизоне, но уже не виделись совершенно. Как-то не получалось. Да и желания особого лично я не испытывал. Может, у нас и раньше дружбы особой не было, а мы считали — была, потому что не знали, что такое настоящая дружба.

Придя в армию, я не оставлял мысли о летном училище, писал во все инстанции рапорты и заявления, но прошел год, прежде чем мне удалось добиться положительного ответа.

И вот в один прекрасный день я вышел за ворота части со своим небольшим чемоданом. В кармане у меня лежало направление в училище, воинское требование на железнодорожный билет и кормовые деньги — восемьдесят шесть копеек, которые я получил в финчасти.

Погода была паршивая. Грязные облака тянулись над самой землей, едва не задевая за верхушки деревьев. Иногда начинал накрапывать дождь и тут же переставал. Я был в шинели, но в пилотке, потому что приказа о переходе на зимнюю форму одежды еще не было.

Я пришел на вокзал за три часа до отправления поезда, взял билет и пошел бродить по городу. Город этот был большой, больше того, в котором я жил до армии, но он мне не нравился, может быть, не потому, что он был хуже моего города, а потому, что был он совсем для меня чужой. Я бродил по нему, держа чемодан в правой руке, чтобы не козырять офицерам, которых здесь было полным-полно. А потом устал, зашел на какой-то бульвар и сел отдохнуть. Напротив меня на лавочке два пенсионера, посинев от холода, играли в шахматы. Я сначала наблюдал за ними, а потом отвлёкся и стал думать о своей жизни, о том, что произошло со мной за все это время. И вдруг над самым моим ухом оглушительно рывкнул знакомый голос:

— Почему не приветствуете?

Я моментально вскочил, инстинктивно потянул руку к пилотке и увидел перед собой счастливую рожу Толика.

— Вот дурак тоже еще! — рассердился я. — Ты откуда свалился?

— С луны, — сообщил Толик.

Я оглядел его с ног до головы. Вид у него был довольно странный. На нем, так же как и на мне, были шинель, сапоги и пилотка, но в руках он держал авоську, из которой торчали хлеб, сгущенное молоко и еще какие-то продукты.

— Что это у тебя такое? — спросил я.

Толик смутился.

— Да вот жена за продуктами послала?

— Разве у тебя есть жена?

— Да не моя жена — генерала. — И видя, что я ничего не могу понять, заторопился с объяснением: — Я сейчас, понимаешь, служу ординарцем у генерала. Я сначала был в клубе художником. А потом меня сократили. А тут генерал как раз. «Нет ли, говорит, у вас лишнего солдата, мне ординарец нужен». А ему говорят: «Есть, у нас как раз художника сократили». Ну и вот, с тех пор я у него служу. Ну, служба, конечно, сам понимаешь, подай-принеси. А вообще-то не тяжелая. Ни физзарядки, ни строевой, ни подъема, ни отбоя. Пол подмел, посуду помыл — и свободен. Пиво пью каждый день. Ну, конечно, в смысле денег мало-вато. Из магазина придешь, жена всю мелочь пересчитывает. Почем картошку брал, почем помидоры — все пересчитает. Если куда зачем надо съездить, дает на трамвай. Три копейки туда, три — обратно. Ну, а я другой раз на троллейбусе проеду или на автобусе. Приходится свои доплачивать. А откуда взять свои? Ну, бывает, из дому пятерочку подкинут или гонорар получишь. Вот и все.

— Какой гонорар? — удивился я.

— Вот тебе на! — удивился Толик еще больше. — Да ты разве не знаешь?

— Нет, — сказал я.

— Я же стихи сочиняю. В нашей в окружной газете уже три стиха напечатал. Хочешь, расскажу?

— Валяй, — разрешил я, все еще не веря.

— Ну, слушай, — сказал Толик. Он поставил авоську на скамейку

рядом со мной, а сам отошел на шаг, встал в позу и вытянул вперед правую руку.— «Старшина» называется.

Наш старшина — солдат бывалый,
Грудь вся в орденах
Историй знает он немало
О боевых делах.

Он всю войну провоевал,
Знаком ему вой мин.
Варшаву он освобождал
И штурмом брал Берлин.

Расскажет как-нибудь в походе
Военный эпизод.
И станет сразу легче врзде,
Усталость вся пройдет.

Наш старшина — пример живой
Отваги, доблести, геройства.
Он опыт вкладывает свой,
Чтоб нам привить такие свойства.

Толик читал стихотворение, размахивая рукой и завывая, как настоящий поэт. А потом посмотрел на меня с видом явного превосходства и спросил:

— Ну как?

— Это ты сам написал? — спросил я.

— Ну а кто же? — обиделся Толик.— У меня их много. Хочешь, еще расскажу?

— Нет, не надо,— сказал я.— Только это все как-то неожиданно.— Я был в самом деле растерян.

— Нет, ты скажи: вообще понравилось или нет?

— Ты просто гений,— сказал я почти искренне.— Я даже и не думал никогда, и не подозревал. И давно ты занимаешься этим делом?

— Давно,— вздохнул Толик.— Помнишь, мы еще когда работали на заводе, шли на работу и ты мне читал стихи?

— «Анчар»?

— Ну да. Вот с тех пор я и пишу. Сперва нескладно получалось, рифму никак не мог подобрать. А теперь вроде что-то выходит. Я понимаю, что это еще только первые шаги, но я поучусь, я упорный. Уже прочел статью Маяковского «Как делать стихи» и Исаковского «О поэтическом мастерстве». Начал изучать Добролюбова.

Я был просто поражен. Для меня это был гром с ясного неба. Я посмотрел на него пристально и неожиданно в лоб спросил:

— Слушай, а что, если мы с тобой вдруг проваливаемся сквозь землю и перед нами...

— Что? — быстро спросил Толик.

— Ничего,— сказал я.— Я хотел проверить — ты это или не ты.

— Ну и как? — поинтересовался Толик.

— Никак,— сказал я.— Я хотел бы, чтоб ты провалился и нашел кучу золота.

— Это было б здорово,— сказал Толик искренне.— Я бы тогда знаешь что сделал?

— Знаю. Купил бы «Москвич» с ручным управлением.

— Зачем же с ручным?—обиделся Толик.—Что ж я—безногий?— Он помолчал.— А ты чего с чемоданом? В отпуск, что ли?

— В летное училище,— сказал я.

— Зря,— сказал Толик.— Ненадежное это дело. Хотя и деньги хорошие, и все, но ведь работа опасная.

— Ну, ладно.— Я встал.— Мне пора.

— Постой,— сказал Толик. Он стоял и раскручивал авоську сперва в одну сторону, потом в другую.— Я вот часто думал про тот случай возле Дворца... Конечно, мне неприятно, что так получилось...

— Да уж приятного мало,— согласился я.

— Да, мало,— сказал Толик.— Но для тебя так было лучше.

— Интересно! — Я был искренне удивлен.— Это еще почему?

— Они бы тебя били сильнее,— сказал он, глядя мне прямо в глаза.

Это была уже философия. Потом я встречался с ней при иных обстоятельствах, слышал примерно те же слова от других людей, торопившихся сделать то, что все равно на их месте сделал бы кто-то.

— Ладно,— сказал я.— Чего уж тут говорить.

В правой руке у меня был чемодан, Толик в правой руке держал авоську. Я повернулся, чтобы идти, но Толик не пустил. Он забежал вперед и загородил мне дорогу.

— Слышь,— жалобно сказал он, перекладывая авоську в левую руку.— Слышь... Значит, до свиданья. Может, еще увидимся как-нибудь или спиемся. Все же не зря столько лет были друзьями.

Он протянул вперед руку и ждал. Я поставил чемодан на землю. Он набросился на мою руку с жадностью и невыносимо долго тряс ее.

— Слышь. Валера, не забывай,— говорил он.— Знаешь, в жизни все может быть, а дружба остается дружбой. Может, еще и пригодимся друг другу. Ты же мне вроде брата, дороже отца-матери...

В конце концов я освободился и пошел дальше. Пройдя немного, я обернулся. Толик стоял посреди дороги со своей дурацкой авоськой и раскручивал ее сперва в одну сторону, потом в другую. Увидев, что я обернулся, он поспешно заулыбался и стал ожесточенно махать рукой. Я не выдержал, поднял руку и сделал такой жест, как будто помахал ему ответно и в то же время как будто не помахал. Но скорее всего этот жест мог означать, что, мол, ладно уж. Чего уж там. Что было, то было.



АХМЕД ЕРИКЕЕВ

★

ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ

С татарского

На просторы полей светоносных взгляни:
Все полно глубины, чистоты, бескорыстья,
Почему же такие хорошие дни
Опадают, как осенние листья?

Улетают, чтоб к нам не вернуться назад,
Неожиданной нас наполняя печалью,
И напрасно их ищет внимательный взгляд
И вблизи, и за дальнею далью.

Их суровой нельзя не понять правоты,
Но в душе твоей зреет надежда живая:
Если дни опадают, то пусть, как цветы,
Опадают, плоды оставляя.

Перевел С. Липкин.



ВАС. ШУКШИН

★

ТРИ РАССКАЗА

Волки

Воскресенье, рано утром, к Ивану Дегтяреву явился тесть — Наум Кречетов, нестарый еще, расторопный мужик. Иван не любил тестя; Наум, жалеючи дочь, терпел Ивана.

— Спишь? — живо заговорил Наум. — Эх-ха!.. Эдак, Ванечка, можно все царство небесное проспять.

— Я туда не сильно хотел. Не устремляюсь.

— Зря. Вставай-ка... Съездим за дровишками. Я у бригадира выпросил две подводы. Конечно, не за здорово живешь, но черт с ним — дров надо.

Иван полежал, подумал... И стал одеваться.

— Вот ведь почему молодежь в город уходит? — заговорил он. — Да потому, что там отработал норму — иди гуляй. Отдохнуть человеку дают. Здесь — как проклятый: ни дня, ни ночи. Ни воскресенья.

— Что же, без дров сидеть? — спросила Нюра, жена Ивана. — Ему же коня достали, и он же еще недовольный.

— Я слышал: в городе тоже работать надо, — заметил тесть.

— Надо. Я бы с удовольствием лучше водопровод пошел рыть, траншеи: выложился раз, зато потом без горя — и вода и отопление.

— С одной стороны, конечно, хорошо — водопровод, с другой — беда: ты ба тогда совсем заспался. Ну, хватит, поехали.

— Завтракать будешь? — спросила жена.

Иван отказался — не хотелось.

— С похмелья? — полюбопытствовал Наум.

— Так точно, ваше благородье!

— Да-а... Вот так. А ты говоришь: водопровод... Ну, поехали.

День стоял солнечный, ясный. Снег ослепительно блестел. В лесу тишина и нездешний покой.

Ехать надо было далеко — верст двадцать: ближе рубить не разрешалось.

Наум ехал впереди и все возмущался:

— Черт-те чего!.. Из лесу в лес — за дровами.

Иван дремал в санях. Мерная езда убаякивала.

Выехали на просеку, спустились в открытую логовину, стали подыматься в гору. Там, на горе, снова синей стеной вставал лес.

Почти выехали в гору... И тут увидели впереди, недалеко от дороги, — волки... Вышли из леса, стоят, ждут.

Наум остановил коня, негромко, нараспев выругался.

— Твою в душеньку ма-ать... Голубочки сизые. Выставились.

Конь Ивана, молодой, трусливый, попятился, заступил оглоблю. Иван задергал вожжами. Конь хралел, бил ногами — не мог перешагнуть оглоблину.

Волки двинулись с горы.

Наум уже развернулся, крикнул:

— Ну, что ты?!

Иван выскочил из саней, пасилу втолкал коня в оглобли... Упал в сани. Конь сам развернулся и с места взял в мах.

Наум был уже далеко.

— Грабю-ут! — орал он, нахлестывая коня.

Волки серыми комками катились с горы наперерез подводам.

— Грабю-ут! — орал Наум.

«Что он, с ума сходит? — невольно подумал Иван. — Кто кого грабит?» Он испугался, но как-то странно: был и страх, и жгучее любопытство, и смех брал над тестем. Скоро, однако, любопытство прошло. И смешно тоже уже не было. Волки достигли дороги метрах в ста позади саней и, вытянувшись цепочкой, стали быстро нагонять. Иван крепко вцепился в передок саней и смотрел на волков.

Впереди бежал крупный, грудастый, с паленой мордой... Уже только метров пятнадцать—двадцать отделяло его от саней. Ивана поразило несходство волка с овчаркой. Раньше он волков так близко не видел и считал, что это что-то вроде овчарки, только крупнее. А сейчас Иван понял, что волк — это волк, зверь. Самую лютую собаку еще может в последний миг что-то остановить: страх, ласка, неожиданный окрик человека. Этого, с паленой мордой, могла остановить только смерть. Он не рычал, не пугал... Он догонял жертву. И взгляд его круглых желтых глаз был прям и прост.

Иван оглядел сани — ничего, ни малого прутика. Оба топора в саях тестя. Только клочок сена под боком да бич в руке.

— Грабю-ут! — кричал Наум.

Ивана охватил настоящий страх.

Передний, очевидно вожак, стал обходить сани, примериваясь к лошади. Он был в каких-нибудь двух метрах... Иван привстал и, держась левой рукой за отводину саней, огрел вожака бичом. Тот не ждал этого, лязгнул зубами, прыгнул в сторону. Сбился с маха... Сзади налетели другие. Вся стая крутнулась с разгона вокруг вожака. Тот присел на задние лапы, ударил клыками одного, другого... И снова, вырвавшись вперед, легко догнал сани. Иван приготовился, ждал момента... Хотел еще раз достать вожака. Но тот стал обходить сани дальше. И еще один отвалил в сторону от своры и тоже начал обходить сани — с другой стороны. Иван стиснул зубы, сморщился... «Конец. Смерть». Глянул вперед.

— Сто-ой! — заорал он. — Отец!.. Дай топор!

Наум нахлестывал коня. Оглянулся, увидел, как обходят зятя волки, и быстро отвернулся.

— Придержи малость, отец!.. Дай топор! Мы отобьемся!..

— Грабю-ут!

— Придержи, мы отобьемся!.. Придержи малость, гад такой!

— Кидай им чево-нибудь! — крикнул Наум.

Вожак поравнялся с лошадей и выбирал момент, чтоб прыгнуть на нее. Волки, бежавшие сзади, были совсем близко: малейшая задержка,

они с ходу влетят в сани — и конец. Иван кинул клочок сена; волки не обратили на это внимания.

— Отец, сука, придержи, кинь топор!

Наум обернулся...

— Ванька!.. Гляди, кину!..

— Ты придержи!

— Гляди — кидаю! — Наум бросил на обочину дороги топор.

Иван примерился... Прыгнул из саней, перевернулся, схватил топор... Прыгая, он пугнул трех задних волков, они отскочили в сторону, осадили бег, намереваясь броситься на человека. Но в то самое мгновение вожак, почувствовав под собой твердый наст, прыгнул. Конь шарахнулся в сторону, в сугроб... Сани перевернулись; оглобли свернули хомут, он захлестнул коню горло. Конь захрипел, забился в оглоблях. Волк, достигший жертву с другой стороны, прыгнул под коня.

Три оставших волка тоже бросились к жертве. В следующее мгновение все пять рвали мясо еще дрыгавшей лошади.

Вожак дважды прямо глянул своими желтыми круглыми глазами на человека...

Все случилось так чудовищно скоро и просто, что смахивало скорей на сон. Иван стоял с топором в руках, растерянно смотрел на волков. Вожак еще раз глянул на него... И взгляд этот, торжествующий, наглый, обозлил Ивана. Он поднял топор, заорал что было силы и кинулся к волкам. Они нехотя отбежали несколько шагов и остановились, облизывая окровавленные рты. Делали они это так старательно и увлеченно, что, казалось, человек с топором нимало их не занимает. Впрочем, вожак смотрел внимательно и прямо. Иван обругал его самыми страшными словами, какие знал. Взмахнул топором и шагнул к нему... Вожак не двинулся с места. Иван тоже остановился.

— Ваша взяла,— сказал он.— Жрите, сволочи.— И пошел в деревню. На растерзанного коня старался не смотреть. Но не выдержал, глянул... И сердце сжалось от жалости, и злость великая взяла на тестя. Он скорым шагом пошел по дороге.

— Ну, погоди!.. Погоди у меня, змей ползучий. Ведь отбились бы — и конь был бы целый. Шкура.

Наум ждал зятя за поворотом. Увидев его живого и невредимого, искренне обрадовался:

— Живой? Слава те господи! — На совести у него все-таки было неспокойно.

— Живой! — откликнулся Иван.— А ты тоже живой?

Наум почуял в голосе зятя недоброе. На всякий случай шагнул к саням.

— Ну, что они там?..

— Поклон тебе передают. Шкура!..

— Чего ты? Лаешься-то?..

— Я тебя бить буду, а не лаяться.

Иван подходил к саням. Наум стегнул лошадь.

— Стой! — крикнул Иван и побежал за санями.— Стой, паразит!

Наум нахлестывал коня... Началась другая гонка: человек догонял человека.

— Стой, тебе говорят! — кричал Иван.

— Заполосный! — кричал в ответ Наум.— Чего ты взелся-то? С ума, что ли, спятил! Я-то при чем здесь?

— Ни при чем?! Мы бы отбились, а ты предал!..

— Да как отбились?! Ты что!

— Предал, змей! Я тебя проучу! Не уйдешь ты от меня, остановись

лучше. Одного отметелю — не так будет позорно. А то при людях отлуплю. И расскажу все... Остановись лучше!

— Сейчас — остановился, держи карман! — Наум нахлестывал коня. — Оглоед чертов... откуда ты взялся на нашу голову!

— Послушай доброго совета: остановись! — Иван стал выдыхаться. — Тебе же лучше: отметелю и никому не скажу.

— Тебя, дьявола, голого в родню приняли, и ты же на меня с топором! Стыд-то есть или нету?

— Вот отметелю, потом про стыд поговорим. Остановись! — Иван бежал медленно, уже очень отстал. И наконец вовсе бросил догонять. Пошел шагом.

— Найду, куда не денешься! — крикнул он напоследок тестю.

Дома у себя Иван никого не застал: на двери висел замок. Он отомкнул его, вошел в дом. Поискал в шкафу... Нашел не допитую вчера бутылку водки, налил стакан, выпил и пошел к тестю.

В ограде тестя стояла выпряженная лошадь.

— Дома, — удовлетворенно сказал Иван.

Толкнулся в дверь — не заперто. Он ждал, что будет заперто. Иван вошел в избу... Его ждали: в избе сидели тесть, жена Ивана и милиционер. Милиционер улыбался.

— Ну что, Иван?

— Та-ак... Сбегал уже? — спросил Иван, глядя на тестя.

— Сбегал, сбегал. Налил шары-то, успел?

— Малость принял для... красноречия. — Иван сел на табуретку.

— Ты чего это, Иван? С ума, что ли, сошел? — поднялась Нюра. — Ты что?

— Хотел папаню твоего поучить... Как надо человеком быть.

— Брось ты, Иван, — заговорил милиционер. — Ну, случилось несчастье, испугались оба... Кто же ждал, что так будет? Стихия.

— Мы бы легко отбились. Я потом один был с ними...

— Я ж тебе бросил топор? Ты попросил — я бросил. Чего еще-то от меня требовалось?

— Самую малость: чтоб ты человеком был. А ты шкура. Учить я тебя все равно буду.

— Учитель выискался! Сопля... Гол, как сокол, пришел в дом на все на готовенькое да еще грозится. Да еще недовольный всем: водопроводов, видите ли, нету!

— Да не в этом дело, Наум, — сказал милиционер. — При чем тут водопровод?

— В деревне плохо!.. В городе лучше, — продолжал Наум. — А чего приперся сюда? Недовольство свое показывать? Народ возбуждать?

— От сука! — изумился Иван. И встал.

Милиционер тоже встал.

— Бросьте вы! Пошли, Иван...

— Таких возбудителей-то знаешь куда девают? — не унимался Наум.

— Знаю! — ответил Иван. — В прорубь головой... — И шагнул к тестю.

Милиционер взял Ивана под руку и повел из избы. На улице остановились, закурили.

— Ну не паразит ли? — все изумлялся Иван. — И на меня же попер.

— Да брось ты его!

— Нет, отметелить я его должен.

- Ну и заработаешь! Из-за дерьма.
 — Куда ты меня?
 — Пойдем, переночуешь у нас... Остынешь. А то себе хуже сделаешь. Не связывайся.
 — Нет, это же... что ж это за человек?
 — Нельзя, Иван, нельзя: кулаками ничего не докажешь.
 Пошли по улице по направлению к сельской кутузке.
 — Там-то не мог? — спросил вдруг милиционер.
 — Не догнал! — с досадой сказал Иван. — Не мог догнать.
 — Ну вот... Теперь все — теперь нельзя.
 — Коня жалко.
 — Да...
 Замолчали. Долго шли молча.
 — Слушай, отпусти ты меня. — Иван остановился. — Ну чего я в воскресенье там буду? Не трону я его.
 — Да нет, пойдем. Пойдем. А то потом не оберешься... Тебя жалючи говорю. Пойдем в шахматишки сыграем... Играешь в шахматы?
 Иван сплюнул на снег окурочок и полез в карман за другой папироской.
 — Играю.

Начальник

С утра нахмурилось, пролетел сухой мелкий снег. И стало зловеще тихо. И долго было тихо. Потом началось... С гор сорвался упругий, злой ветер; долина загудела. Лежалый снег поднялся в воздух, сделалось темно.

Двое суток на земле и на небе ревело, свистело, выло. Еще неста-рые, крепкие на вид лесины начинали вдруг с криком клониться и медленно ложились, вывернув рваные корни. В лесу отчаянно скрипело и трещало.

Одиннадцать человек лесорубов с дальней делянки остались без еды. Еще до бурана, объезжая работы, к ним заехал начальник участка, сказал, что машина с продуктами к ним вышла. И начался буран. Начальник остался на делянке.

Двенадцать человек, коротая время, спали, курили, забивали «козла», слонялись из угла в угол. Разговаривали мало. Когда сорвало крышу с избушки, малость поговорили.

— Долго держалась, — сказал начальник, с треском выставляя кость домино на грубо струганный стол из плах.

— Держалась, держалась, держалась, — повторил лесоруб с огромными руками, мучительно раздумывая, какую кость выставить. И тоже треснул об стол так, что весь рядок глазастых шашек подпрыгнул.

Четверо игроков молчком аккуратно восстановили его. Потом задумался третий... Тоже с треском выставил кость и сказал:

— Додержалась!

— Угорела! — сказал четвертый и выставил не думая.

На третьи сутки буран чуть вроде ослабел.

Начальник надел полушубок, вышел на улицу. Минут десять его не было. Вернулся, выбил из шапки снег, снял полушубок. Все ждали, что он скажет.

— Надо ехать, — сказал начальник. — Кто?

Трактористов было двое — Колька и Петька. Колька глянул на Петьку, Петька — на Кольку. Оба ребята молодые, здоровые.

— Что, стихает?

— Маленько стихает.— Начальник посмотрел на Кольку, усмехнулся.— Ну, кто?

— Ладно, я,— сказал Колька.

Один раз Колька, пользуясь переездом, крупно подкалымил на тракторе — перевез сруб — и пару дней гулял, а сказал, что стоял с пробитой прокладкой. Большеротый начальник знал это и всякий раз, здороваясь с Колькой, криво улыбался и спрашивал: «Ну, как прокладки?» Колька ждал, что его потянут за тот калым, но его почему-то не тянули.

Колька стал собираться.

Ему советовали:

— От ключа выбивайся на просеку, там сейчас не так убрдно.

— Где, на просеке?

— Скажи кому-нибудь. Наоборот, надо от ключа влево...

— Не слушай никого, Колька, ехай, как знаешь.

— Можя, обождать маленько? — предложил Колька и посмотрел на начальника.

Тот, нахмурившись, колдовал что-то в своем блокноте.

— Иди сюда,— сказал он.— Смотри: вот ключ, вот просека — поедешь просекой. Доедешь до Марушкина лога — вот он, снова повернешь на дорогу, там где-нибудь он стсит. Попробуйте буксировать. Не выйдет — возьмите побольше на трактор... Сала, хлеба. В зеленой канистре, под кулями, спирт — возьмите.

Лесорубы переглянулись. Кто-то хмыкнул.

— Та канистрочка давно уж теперь в кабине, рядом с Митей. Он с ей беседует.

— Похудела канистра, ясно.

— Да-а, Митя... Он, конечно, не только канистру уговорит...

Начальник не слышал этих замечаний.

— Можя, переждать малость? — еще раз предложил Колька.

Начальник захлопнул блокнот, подумал.

— По подсчетам, у него кончилось горючее часов пять назад. Ты будешь ехать часа три... Восемь. Давай. Часов через шесть ждем вас.

Колька шепотом сказал что-то и пошел на улицу. Минут через десять противно застрекотал пускач (пусковой моторчик) его трактора, потом глухо взревел двигатель...

— Поехал,— сказал один лесоруб.

Другие промолчали.

Митька Босых, деревенский вор в прошлом, поэт, трепач и богохульник, ругался в кабине матом. Его занесло вровень с кузовом; пять часов назад сгорела последняя капля горючего.

— Погибаю, пала! — орал Митька.— Кранты!.. В лучшем случае — членовредительство.

Зеленая канистра была с ним в кабине, и она действительно слегка «похудела».

Калина красная,
Калина вызрела!
Я у залеточки
Характер вызнала!..

Митька отхлебнул еще из канистры и закусил салом.

— Жись!.. Как сон, как утренний туман... Зачем жил, Митька? Смы-ысл?!

Тут он услышал сквозь вой и свист ветра гул трактора. Подумал, что показалось, прислушался: нет, трактор.

— Ура-а! — заорал Митька и полез из кабины.— Роднуля! Крошечка моя!..

Трактор с трудом пробивался; он то круто полз вверх, то по самый радиатор зарывался в сугроб, и тогда особенно натруженно, из последних своих могучих сил ревел, выбираясь, дымил, дрожал, лязгал, упорно лез вперед. Колька был отличный тракторист.

Увидев занесенную машину и Митьку около нее, Колька остановился, оставил трактор на газу, вылез из кабины.

— Припухаеть?!

— А?!

— Канистра живая?

— А?!

Ветер валил с ног, дул порывами: то срывался с цепей, тогда ничего вокруг не было видно, ровно и страшно ревели и трещало, точно драли огромное плотное полотнище, то вдруг на какое-то время все замнрало, сверху, в тишине, мягкой тучей обрушивался снег, поднятый до того в воздух. И снова откуда-то не то сверху, не то снизу ветер начинал набирать разгон и силу...

Обследовали машину: буксировать ее можно было только двумя или тремя тракторами. Начали перетаскивать продукты на трактор.

— Канистру уговорил?!

— А што я, пала, подыхать должен?! Начальник там?

— Там!

— Пусть он про меня в газету пишет... Как я чуть геройски дуба не дал!

— В канистре много осталось?

— А?

— Много тяпнул?!

— Там хватит!— Митька захлебнулся ветром, долго кашлял.— Всем хватит!

Поехали обратно.

Калина красная-а,
Калина вызрела-а!—

запел во все горло Митька; душа его ликовала: не пропал.

Колька терпел-терпел, отдал ему рычаги и занялся канистрой. Отпили немного, смерили проволочкой — сколько осталось. Еще малость отпили.

Доехали, как по горнице босиком прошли, — легко и весело.

Их давно ждали. Всем скопом кинулись перетаскивать продукты в избушку. Зеленую канистру занес сам начальник и поставил под нары. Шумно сделалось в тесной избушке.

Хмельной Митька начал куражиться:

— Начальник, заметку в «Трудовую вахту»: «Исключительный поступок Митьки Босых». Я же мог вполне повернуть назад! Мог? Мог... И мне говорили, что не доедешь. Я их послал вдоль по матушке и поехал. Я же вполне мог дуба дать! И вы бы куковали тут...

— Сколько выпили? — спросил начальник у Кольки.

Колька хмурился: хотел казаться трезвым. Ну, если и выпил, то так — самую малость, для согрева.

— Не знаю, — сказал он. — Расплескалось много.

Начальник заглянул в канистру, взболтнул содержимое.

— Полтора литра. — Достал блокнот, записал. — С получки вычту.

Всем налили по полстакана спирту. Митьке не налили.

— Хватит, — сказал начальник.

Митька взбунтовался, полез к начальнику:

— Так? Да? Я же чуть не погиб, пала!..

Начальник выпил свою порцию, скривил большой рот, закусил хлебом.

— Большеротик! — горько орал Митька — Я же привез, а ты...

— Спокойно, Босых. Заметку напишу, спирту не дам. Ты свое выпил. А то будешь не Босых, а — Косых.

Огромный Митька стал наступать на начальника.

— Да я же мог весь выпить!..

Начальник оттолкнул его. Митька снова попер на него с кулаками... Начальник, невысокий, жидкий с виду мужичок, привстал, не размахиваясь, ткнул Митьке куда-то в живот. Митька скорчился и сел на нары. С трудом продыхнул и пожаловался:

— Под ложечку... Ты что?.. Налей хоть грамм сто?

Все посмотрели на начальника.

— Нет,— сказал тот.— Все. Иди ешь.

— Не буду,— заявил Митька.— Раз ты так — я тоже так: голодовку объявляю.

Засмеялись. Начальник тоже смеялся. Смеялся он редко и как-то по-бабьи звонко.

— Хошь, всем скажу? — спросил вдруг Митька, угрожающе глядя на начальника.— Хошь?

— Говори,— спокойно сказал тот.

— Нет, сказать?

— Говори.

— А-а... То-то.

— Что «а-а»? Говори.— Начальник внимательно, с усмешкой смотрел на Митьку. Ждал.

Все стихли.

Митька не выдержал взгляда начальника, отвернулся...

— Сижу на нарах, стос мечу! — запел он и полез на нары. Еще раз напоследок попытал судьбу:— Пятьдесят грамм? И — ша! И ни звука. А? Иван Сергеич?..

— Нет.

— Все убито — Бобик сдох. Да ты начальничек, ключик-чайничек!.. — еще пропел Митька и затих, заснул.

— Ну Митька... Откуда что берется! — заговорили лесорубы.

— Посиди там — научишься.

— Да, там научат.

На начальника посматривали с интересом: что такое знал о нем Митька? Начальник как ни в чем не бывало с удовольствием жевал мерзлое сало с хлебом, запивал теплым чаем.

— Нет, я-то ведь тоже чуть дуба не дал! — вспомнил Колька. Он добавил к выпитому дорбгой, и его заметно развезло.— Туда ехал, у меня заглохло. Я с час, наверно, возился... Руки поморозил. А оказывается, выхлоп подлючий снегом забило! Бензину налил, выжег его... А сам чуть не сгорел: во! — Показал прожженный рукав фуфайки.— Плеснул нечаянно, он загорелся...

— Прокладку не пробило? — спросил начальник и опять вдруг засмеялся неожиданно высоким женским смехом.

— Когда ты забудешь про эту прокладку? Ты что, всю жись теперь будешь?!

— Нет,— серьезно сказал начальник.— Иди спать. А мы отдохнем малость и пойдем крышу привяжем. А то ее расколотит всю об лесины. Или унесет совсем.

Колька полез к Митьке на нары.

Лесорубы закурили после сытного обеда.

Начальник достал блокнот, устроился за столом, начал писать заметку: «Самоотверженный поступок шофера Дмитрия Босых и тракториста Николая Егорова». Написал так, подумал, зачеркнул. Написал иначе: «Лесорубы спасены!» Опять зачеркнул. Написал: «Тов. редактор! У лесорубов на 7 участке еще до бурана кончились все продукты. Им грозила крупная неприятность. И только благодаря умелым действиям шофера Д. Босых и тракториста Н. Егорова продукты на участок были доставлены».

Начальник прочитал, что написал, и остался доволен.

— Иван Сергеевич,— спросил один лесоруб,— если не секрет: что такое хотел сказать Митька?

— Митька?..— Начальник криво улыбнулся.— Мы с ним в одном лагере сидели. Он в моей бригаде был.

— Так вы что.. тоже?..

— Двенадцать лет. А Митька теперь шантажирует.— Начальник снова не сдержался и — в третий раз за этот день — закатился звонким своим, искренним смехом. Отсмеялся и сказал убежденно: — Но он ни за что, ни под какой пыткой не сказал бы. Это он спяну решил малость пошантажировать. Он отличный парень.

— А за что, Иван Сергеевич?

— Сидел-то? Сто шестнадцать пополам. Ну пошли, братцы, найдем крышу-то...

Начальник оделся, взял веревку и первый вышел из избушки в крутой, яростный ад.

Буран снова набирал силу. Он, кажется, зарядил на неделю — февральский.

Вянет, пропадает

— Идет! — крикнул Славка.

— Чего орешь-то? — сердито сказала мать. — Не можешь никак по-тише-то?.. Отойди отудова, не торчи.

Славка отошел от окна.

— Играть, что ли? — спросил он.

— Играй. Какую-нибудь... поновей.

— Какую?

— Ну, какую недавно учили.

— Я ее не одолел еще. Давай «Вянет, пропадает»?

— Играй.

— Помоги снять.

Мать сняла со шкафа гяжелый баян, поставила Славке на колени. Славка заиграл «Вянет, пропадает».

Вошел дядя Володя, большой, носатый, отряхнул о колено фуражку и тогда только сказал:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, Владимир Николаич,— приветливо откликнулась мать.

Славка перестал было играть, чтоб поздороваться, но вспомнил материн наказ — играть без передыху,— кивнул дяде Володе и продолжал играть.

— Дождь, Владимир Николаич?

— Сеет. Пора уж ему и сеять.— Дядя Володя говорил как-то очень аккуратно, обстоятельно, точно кубики складывал. Положит кубик, по-

смотрит, подумает — переставит.— Пора... Сегодня у нас... что? Двадцать седьмое? Через три дня — октябрь месяц.

— Да,— вздохнула мать.

Славку удивляло, что мать, обычно такая крикливая, острая на язык, с дядей Володей во всем тихо соглашалась. Вообще становилась какая-то сама не своя: краснела, суетилась, все хотела, например, чтоб дядя Володя выпил «последнюю» рюмку перцовки, а дядя Володя говорил, что «последнюю-то как раз и не надо пить — она-то и губит людей».

— Все играешь, Славка? — спросил дядя Володя.

— Играет! — встряла мать.— Приходит из школы и начинает — надоел уж... В ушах звенит.

Это была несусветная ложь; Славка изумлялся про себя.

— Хорошее дело,— сказал дядя Володя.— В жизни пригодится. Вот пойдешь в армию: все будет строевой шаг отрабатывать, а ты в красном уголке на баяне тренироваться. Очень хорошее дело. Не всем только дается...

— Я говорила с ихним учителем-то: шибко, говорит, способный.

«Когда говорила? Что с ней?»

— Талант, говорит.

— Надо, надо. Молодец, Славка.

— Садитесь, Владимир Николаич.

Дядя Володя ополоснул руки, тщательно вытер их полотенцем, сел к столу.

— С талантом люди крепко живут.

— Дал бы уж господи...

— И учиться, конечно, надо — само собой.

— Вот учиться-то...— Мать строго посмотрела на Славку.— Лень-матушка! Вперед нас, видно, родилась. Чего уж только не делаю! Сама иной раз с им сяду: «Учи! Тебе надо-то, не мне». Ну!.. В одно ухо влетело — в другое вылетело. Был бы мужчина в доме... Нас-то они много слушают!

— Отец-то не заходит, Славка?

— А чего ему тут делать? — отвечала мать.— Алименты свои платит — и довольный. А тут рости, как знаешь...

— Алименты — это удовольствие ниже среднего,— заметил дядя Володя.— Двадцать пять?

— Двадцать пять. А зарабатывает-то не шибко... И те пропивает.

— Стараться надо, Славка. Матери одной трудно.

— Понимал бы он...

— Ты пришел из школы, сразу раз — за уроки. Уроки подготовил — поиграл на баяне. На баяне поиграл — пошел погулял.

Мать вздохнула.

Славка играл «Вянет, пропадает».

Дядя Володя выпил перцовки.

— Стремиться надо, Славка.

— Уж и то говорю ему: «Стремись, Славка»...

— Говорить мало,— заметил дядя Володя и налил еще рюмочку перцовки.

— Как же воспитывать-то?— спросила мать.

Дядя Володя опрокинул рюмочку.

— Ху-у... Все, пропустили по поводу воскресенья, и будет.— Дядя Володя закурил.— Я ведь пил, крепко пил...

— Вы уж рассказывали. Счастливый человек — бросили... Взяли себя в руки.

— Бывало, утром на работу идти, а от тебя как от циклона — на версту разит. Зайдешь, бывало, в парикмахерскую — не бриться, ничего, — откроешь рот: он побрызгает, тогда уж идешь. Мучился. Хочешь на счетах три положить, кладешь пять.

— Гляди-ко!

— В голове — дымовая завеса, — обстоятельно рассказывал дядя Володя. — А у меня еще стол напротив окна стоял, в одиннадцать часов солнце начинает в лицо бить — пот градом!.. И мысли комичные возникают. В ведомости, допустим: «Такому-то на руки семьсот рублей». По-старому. А ты думаешь: «Это ж сколько пол-литр выйдет?» Х-хе...

— Гляди-ко, до чего можно дойти!

— Дальше идет. У меня приятель был: тот по ночам все шанец искал.

— Какой шанец?

— Шанс. Он его называл — шанец. Один раз искал, искал — показалось, кто-то с улицы зовет, шагнул с балкона — и все, не вернулся.

— Разбился?!

— Ну, с девятого этажа! Он же не голубь мира.

— Сердечный... — вздохнула мать.

Дядя Володя посмотрел на Славку...

— Отдохни, Славка. Давай в шахматы сыграем. Заполним вакуум, как говорит наш главный бухгалтер. Тоже пить бросил и не знает, куда деваться. Не знаю, говорит, чем вакуум заполнить.

Славка посмотрел на мать. Та улыбнулась.

— Ну, отдохни, сынок.

Славка с великим удовольствием вылез из-под баяна... Мать опять взгромодила его на шкаф, накрыла салфеткой.

Дядя Володя расставлял на доске фигуры.

— В шахматы тоже учишь, Славка. Попадешь в какую-нибудь компанию: кто за бутылку, кто разные фигли-мигли, а ты раз — за шахматы: «Желаете?» К тебе сразу другое отношение. У тебя по литературе как?

— По родной речи? Трояк.

— Плохо. Литературу надо зубок знать. Вот я хожу пешкой и говорю: «Е-2, Е-4, как сказал гросмстер». А ты не знаешь, где это написано. Надо знать. Ну, давай.

Славка пошел пешкой.

— А зачем говорят-то: «Е-2, Е-4»? — спросила мать, наблюдая за игрой.

— А шутят, — пояснил дядя Володя. — Шутят так. А люди уже понимают: «Этого голый рукой не возьмешь». У нас в типографии все шутят. Ходи, Славка.

Славка опять пошел пешкой.

— У нас дядя Иван тоже шутит, — сказал он. — Нас вывели на физкультуру, а он говорит: «Вот вам лопаты — тренируйтесь». — Славка засмеялся.

— Кто это?

— Он завхозом у нас.

— А-а.. Этим шутникам лишь бы на троих сообразить, — недовольно заметил дядя Володя.

Мать и Славка промолчали.

— Не перевариваю этих соображал, — продолжал дядя Володя. — Живут — небо копят.

— А вот пили-то, — поинтересовалась мать, — жена-то как же?

— Жена-то?.. — Дядя Володя задумался над доской: Славка неожиданно сделал каверзный ход. — Реагировала-то?

— Да.

— Отрицательно, как еще. Из-за этого и разошлись, можно сказать. Вот так, Славка!— Дядя Володя вышел из трудного положения и был доволен.— Из-за этого и горшок об горшок у нас получился.

— Как это?— не понял Славка.

— Горшок об горшок-то?— Дядя Володя снисходительно улыбнулся.— Горшок об горшок — и кто дальше.

Мать засмеялась.

— Еще рюмочку, Владимир Николаич?

— Нет,— твердо сказал дядя Володя.— Зачем? Мне и так хорошо. Выпил для настроения — и будет. Раньше не отказался бы... Ох, пил!

— Не думаете сходиться-то?— спросила мать.

— Нет,— твердо сказал дядя Володя.— Дело принципа: я первый на мировую не пойду.

Славка опять сделал удачный ход.

— Ну, Славка!..— изумился дядя Володя.

Мать незаметно дернула Славку за штанину. Славка протестующе дрыгнул ногой: он тоже вошел в азарт.

— Так, Славка...— Дядя Володя думал, сморщившись.— Так... А мы вот так!

Теперь Славка задумался.

— Детей-то проведуете?— расспрашивала мать.

— Проведу.— Дядя Володя закурил.— Дети есть дети. Я детей люблю.

— Жалеет сейчас небось?

— Жена-то? Тайно, конечно, жалеет. У меня без вычетов на руки выходит сто двадцать. И все целенькие. Площадь — тридцать восемь метров, обстановка... Сервант недавно купил за девяносто шесть рублей — любо глядеть. Домой приходишь — сердце радуется. Включишь телевизор, постановку какую-нибудь посмотришь... Хочу еще софу купить.

— Ходите,— сказал Славка.

Дядя Володя долго смотрел на фигуры, нахмурился, потрогал в задумчивости свой большой, слегка заалевший нос.

— Так, Славка... Ты так? А мы — так! Шахович. Софы есть чешские... Раздвижные — превосходные. Отпускные получу — обязательно возьму. И шкуру медвежью закажу...

— Сколько же шкура-то станет?

— Шкура? Рублей двадцать пять. У меня племянник часто в командировку на восток ездит, закажу ему, привезет.

— А волчья хуже?— спросил Славка.

— Волчья небось твердая,— сказала мать.

— Волчья вообще не идет для этого дела. Из волчьих дохи шьют. Мат, Славка.

Дождик перестал; за окном прояснилось. Воздух стал чистый и синый. Только далеко на горизонте громоздились темные тучи. Кое-где в домах зажглись огни.

Все грое некоторое время смотрели в окно, слушали глухие звуки улицы. Просторно и грустно было за окном.

— Завтра хороший день будет,— сказал дядя Володя.— Вон, где солнышко село, небо зеленоватое — значит, хороший день будет.

— Зима скоро,— вздохнула мать.

— Это уж как положено. У вас батареи не затопили еще?

— Нет. Пора бы уж.

— С пятнадцатого затопят. Ну, пошел. Пойду включу телевизор, постановку какую-нибудь посмотрю.

Мать смотрела на дядю Володю с таким выражением, как будто ждала, что он вот-вот возьмет и скажет что-то не про телевизор, не про софу, не про медвежью шкуру — что-то другое.

Дядя Володя надел фуражку, остановился у порога...

— Ну, до свиданья.

— До свиданья..

— Славка, а кубинский марш не умеешь?

— Нет,— сказал Славка.— Не проходили еще.

— Научись, сильная вещь. На вечера будут приглашать... Ну, до свиданья.

— До свиданья.

Дядя Володя вышел. Через две минуты он шел под окнами — высокий, сутулый, с большим носом. Шел и серьезно смотрел вперед.

— Чего ходит? — с досадой сказала мать, глядя в окно.

— Тоже ж один кукует,— сказал Славка.

Мать вздохнула и пошла готовить ужин.

— Чего ходить тогда?— еще раз сказала она и сердито чиркнула спичкой по коробку.— Нечего и ходить тогда.



ЛЮБВИЩИСТИКА

А. БИРМАН

★

ТАЛАНТ ЭКОНОМИСТА

... в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и в воздержании от мяса.

А. П. Чехов.

ОТ ЧЕГО ОТСТАЕТ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА?

Вот уже много лет об отставании нашей экономической науки говорится как об аксиоме. Кое для кого из экономистов это стало чем-то вроде прикрытия от конкретной критики: отстаем, чего ж от нас требовать?

Любопытно отметить, что термин «отставание», кроме науки экономической, в тех же масштабах применяется у нас еще, пожалуй, лишь к педагогике. Об остальных ветвях человеческого познания так говорить почему-то не принято. Медицина как наука существует тысячелетия. Только в СССР работает более трех тысяч кафедр в медицинских вузах. Между тем не существует радикальных способов излечения не только рака, но и насморка. Несмотря на устойчивый интерес со стороны многих лекторов, астрономы все еще не могут сказать, существует ли жизнь на Марсе. Геологи и сейсмологи не предсказали землетрясения в Ташкенте и, по совести, ничего внятного на этот счет не говорят и сейчас. Число примеров легко умножить. Но никто не говорит об отставании медицины, астрономии, геологии. Говорят о нерешенных задачах.

В чем же тут дело? Думается, в том, что предмет и проблемы экономики кажутся широким кругам слишком легкими, общедоступными, и если они все еще не решены, то это может быть объяснено только отставанием.

Но так ли проста область экономики? Математики, пришедшие на помощь экономистам, признают, что формулы и вычислительные машины, вполне пригодные для решения технических и подчас даже биологических задач, пасуют перед «орешками», встречающимися в экономике. И это уже на первых порах, когда исследованию подвергаются, в сущности, лишь первые, самые простые взаимосвязи и взаимозависимости.

Советской экономической науке нет еще и пятидесяти лет. За это время она разработала основы и методику планового ведения народного хозяйства на всех уровнях — от гигантской страны в целом до цеха и участка.

Та самая система хозяйственного расчета, которую мы в настоящее время справедливо критикуем и — на твердой базе решений мартовского и сентябрьского Пленумов Центрального Комитета партии — существенно улучшаем, была неизвестна человечеству еще сорок пять лет назад; она была впервые открыта в Советском Союзе, на ее основе построен социализм в нашей стране, ее опыт использован в других социалистических странах, а во многих и во вставших на путь самостоятельного развития несоциалистических государствах Азии, Африки и Америки.

Советская экономическая наука немало сделала для марксистского, научно-объективного анализа современного капитализма, для творческого освоения теоретического

наследия прошлого. Наконец на основе обобщения богатой практики социалистического строительства настойчиво вскрываются и формулируются законы, которые управляют развитием социалистической экономики. А ведь выявление законов — о том свидетельствует история всех наук — дело исключительно сложное и не скорое.

На совещании экономистов предприятий, перешедших на новые методы планирования и стимулирования, был задан вопрос: какую роль сыграла экономическая наука в подготовке хозяйственной реформы? Б. М. Сухаревский ответил, что, к сожалению, никакой. Все, мол, сделали практические работники. Но ведь и план ГОЭЛРО, и денежная реформа 1922—1924 годов, и пятилетние планы, и нынешняя хозяйственная реформа — все это одновременно этапы и хозяйственной практики, и роста советской экономической науки.

Нет сомнения в том, что объективный анализ фронта отечественных наук накануне пятидесятилетия Октября покажет, что советская экономическая наука за прошедшие полвека развивалась не только не медленнее других наук, но — как это ни покажется парадоксальным — во многом быстрее их. Мало в какой области человечество за этот отрезок времени продвинулось так далеко, как в области познания своих экономических отношений на принципиально новой, впервые в истории возникшей основе.

От чего же в самом деле отстает экономическая наука? От настоячивых требований жизни.

Развитие производительных сил в СССР и других социалистических странах создало огромные возможности быстрого роста производства и резкого повышения уровня жизни. Это ощущается всеми, буквально носится в воздухе. Всеми ощущается также, что мы в повседневной работе, в текущей хозяйственной деятельности реализуем далеко не все, что можно бы реализовать. Причиной тому было несовершенство экономических форм и методов хозяйственного руководства, планирования и стимулирования. Отсюда настоячивые и справедливые требования к экономической науке — быстрее дать необходимые рекомендации. Отсюда и обоснованность критики. У каждой науки были — и будут — подобные периоды в ее развитии. Достаточно вспомнить «кризис современной физики», о котором писал В. И. Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме».

Правильное определение сущности отставания экономической науки в СССР важно по многим причинам. Одно дело, если в основе его — сложные и неизвестные явления и процессы, подлежащие всестороннему изучению. И совсем другое, если перед нами, в общем-то, заурядные задачи, которые не решают то ли из-за расхлябанности, то ли из-за бесталанности исполнителей.

Не секрет, что подобное, второе, представление достаточно широко распространено не только среди молодежи, поступающей в вузы, но также среди хозяйственников и руководителей высшей школы. Только этим можно объяснить, что в подавляющем большинстве хозяйственных органов и предприятий экономической работой руководят не экономисты. А из всех высших учебных заведений в стране четырехлетний срок обучения установлен лишь для вузов экономических и библиотечных.

Правильное определение нынешнего состояния экономической науки должно привести к строительству экономических вузов и лабораторий, появлению новых журналов и изданий, созыву съездов и конференций экономистов, уравниванию экономистов во всех отношениях с инженерами, агрономами и другими категориями специалистов. Это и будет практический путь ускорения прогресса экономической науки в СССР.

СФЕРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Существует ли своя особая сфера деятельности у экономиста? Это вопрос далеко не праздный. Немало людей искренне убеждено в том, что самостоятельными делами занимаются инженеры, агрономы, а дело экономиста — лишь «обсчитать», что получится...

Между тем истинная сфера деятельности экономиста необычайно широка и разнообразна: от Госплана СССР до совхоза, от машиностроительного завода до отдела

по организации концертов в Госфилармонии. Сфера эта соприкасается со всеми сферами нашей жизни. Можно сказать, что так в любой специальности. Но здесь имеются важные отличия. Инженеру, работающему над конструкцией аппарата для сахароварения, мало дела до забот свекловодческих колхозов и совхозов. Врачи, обслуживающего продавцов в ГУМе, также (по долгу службы) вряд ли занимают проблемы доходов покупателей. Но экономисты сахарной промышленности обязательно учитывают экономику сельского хозяйства, а экономисты торговли — динамику денежных доходов населения (и не только в целом, но и отдельно городского и сельского) по различным группам доходности, районам страны и т. д.

Иначе говоря, широта эрудиции и кругозора для экономиста не только желательна, но столь же необходима, как, скажем, наличие музыкального слуха для желающего поступить в консерваторию.

Полезно, может быть, привести несколько цифр, характеризующих экономику СССР. В 1965 году в народном хозяйстве было занято 76,9 миллиона рабочих и служащих и 18,9 миллиона колхозников и колхозниц. Функционирует около пятидесяти тысяч крупных и средних промышленных предприятий, двести тысяч строек, около двенадцати тысяч совхозов и почти тридцать семь тысяч колхозов. Более восьмисот тысяч торговых организаций и предприятий, а также многие тысячи снабженческих организаций занимаются снабжением предприятий и сбытом их продукции. Перевозки и связи обслуживаются более чем сотней тысяч транспортных предприятий и органов связи. По денежным документам проходят через учреждения Государственного банка сотни миллиардов рублей в год.

Все эти потоки — производство, перевозки, продажа, потребление, миграция населения и подготовка специалистов, обороты денежных средств, международные связи — объединяются в едином государственном плане, приводятся в определенное соответствие и соотношение. И создание такого плана — работа экономическая.

Научная и практическая деятельность в области экономики, как и подготовка студентов и аспирантов, страдает оттого, что не определено точно, каким же должен быть настоящий экономист. И дело не в том, что нет на этот счет «Положения» или инструкции — они невозможны и не нужны. Речь идет о неопределенности по существу, которая приводит к печальным последствиям на практике. Ограничимся одним примером.

В учебном плане любого экономического факультета математические дисциплины занимают примерно вдвое больший удельный вес, чем специальные. Точно так же наибольший отсев на вступительных экзаменах происходит из-за недостаточных оценок по математике. Между тем многие экономисты (в их числе автор этих строк) убеждены, что самые квалифицированные, талантливые экономисты вырастают из юношей и девушек, имеющих склонность к гуманитарным наукам. Математика — мощное оружие в руках экономиста, это бесспорно. Но самый мощный телескоп не заменит астронома, умеющего сопоставить и оценить разумом итоги своих наблюдений.

Гуманитарии нужны экономическим вузам потому, что их кругозор шире, они лучше знают историю страны, ее экономическую географию, их общеобразовательный ценз выше. И я позволю себе предположить, что человек, читающий на память Блока и Есенина, не запроектирует предприятия на берегу Байкала и не допустит уничтожения лесов в водоохранной зоне. Конечно, в дальнейшем нужно будет дифференцировать и гуманитариев: у одних склонность к филологии, у других к юридическим наукам и т. д.

Определяя сферу экономической деятельности, научной и практической, следует помнить, что В. И. Ленин говорил о политике как о концентрированной экономике.

Конечно, построение коммунизма — задача не только экономическая, и мы должны попытаться из большего числа элементов коммунистического строительства выделить именно те, которые могут быть отнесены к экономике. В таком отпочковании неизбежны условности, так как важнейший фактор развития общества — труд человека — многогранен, выделить, что в нем относится к экономике, что к социологии, этике и т. д., — трудно.

Процесс производства независимо от отрасли народного хозяйства есть одновременно овладение силами и богатствами природы и осуществление определенных взаи-

моотношений между людьми, овладевающими этими силами и богатствами. Сами действия, связанные с использованием сил и богатств природы, с некоторой условностью можно отнести к области техники (а в сельском хозяйстве и к агрономии). И занимаются такими делами люди, имеющие технические (агрономические) специальности.

Где здесь место экономики?

Думается, что она решает две задачи. Первая — дать измеритель эффективности техники на каждом отдельном участке (конструкции машины, урожайности сельскохозяйственной культуры, организации производства в цехе, на предприятии, в отрасли), исходя из позиций всего народного хозяйства страны.

В узком смысле этого слова эффективность каждой новой конструкции или действующих механизмов (сортов культур, пород скота и т. д.) дает инженер (агроном). Он скажет, что при таких-то условиях, при такой-то затрате производительность доменных возрастает на столько-то тонн чугуна в сутки. Но осуществить ли затраты в черной металлургии или использовать эти средства, к примеру, для развития производства пластических масс — это уже проблема экономическая. Она не может быть решена непосредственно ни из законов технологии доменного процесса, ни из технологии изготовления пластмасс.

Более того, даже в пределах одной отрасли одними только техническими расчетами нельзя решить многие проблемы, допустим проблему размещения предприятий. Сам по себе крупный приборостроительный завод производительнее мелкого. А с учетом необходимости использовать труд населения небольших городов и ряда других обстоятельств оказывается подчас значительно более выгодным рассредоточить изготовление многих видов продукции.

Вторая задача, решаемая экономикой в сфере производства, состоит, на наш взгляд, в том, чтобы открыть (изобрести?) систему ведения хозяйства, систему рычагов, стимулов, показателей, побуждающих каждого трудящегося, все предприятия и отрасли стремиться к непрерывному и ускоренному повышению эффективности техники.

В сфере производства соотношение между техникой и экономикой таково. Экономика оценивает эффективность техники, определяет распределение ресурсов для развития тех или иных отраслей техники и тем самым в большой мере предпринимает темпы дальнейшего развития самой техники, отдельных ее отраслей¹. При этом, однако, сама эффективность во многом определяется техническими успехами, развитием технических наук. Может быть, в целях наглядности экономике позволительно отвести в сфере производства то место и ту роль, которые в организме человека имеет нервная система с ее центром — головным мозгом?

Произведенный продукт распределяется; распределение это осуществляется, как известно, в двух формах — натуральной и стоимостной.

В натуре любая продукция, допустим нефтепродукты, распределяется между потребителями.

Каков должен быть экономический механизм распределения общественного продукта? Снабжать или торговать? Сейчас этот вопрос решен в пользу постепенного, но неуклонного перехода к оптовой торговле массовыми средствами производства, то есть их отпуска без предварительных — за полгода — заявок, фондов и т. д. Но еще три года тому назад сама постановка такого вопроса казалась многим экономистам крамольной. В учебниках утверждалось, что фондирование и вся система административного регулирования распределения средств производства — отличительная черта и преимущество социалистической экономики. Между тем огромное число хозяйственников всех рангов называет такую систему материально-технического снабжения одной из главных помех полному использованию внутренних ресурсов хозяйства. Следовательно, спор не схоластический, а жизненно важный.

Но распределение имеет еще один аспект — стоимостный. Распределяются не толь-

¹ Здесь мы оставляем в стороне оборонные и другие внеэкономические факторы

ко нефтепродукты в натуре, но и их стоимость. Часть этой стоимости пойдет на возмещение расхода сырья, ремонт оборудования и на другие производственные издержки. Часть образует доходы рабочих и служащих, произведших и реализующих нефтепродукты. Какая-то часть должна пойти на покрытие общегосударственных расходов (по обороне страны, управлению, на социально-культурные и другие цели).

Сложность распределения и перераспределения национального дохода главным образом не техническая, разумеется: много таблиц, строк и колонок. Дело в том, что способы, формы и методы этого распределения должны не только состоять в изъятии у одних и предоставлении другим, но обязаны одновременно стимулировать рост производительности труда, экономии в использовании материальных ресурсов, повышение качества продукции, внедрение новой техники — словом, составлять механизм, позволяющий экономике решать задачи, которые перед ней ставит политика. При этом следует иметь в виду, что местные интересы отдельных участников хозяйственного процесса не всегда совпадают, а нередко и противоположны: транспорту выгодно возить на большие расстояния, поставщику удобнее отгрузить сразу партию материала, равную, допустим, трехмесячной потребности, и т. д.

Огромно значение экономики в сфере обмена: изучение спроса, цены, порядок образования и финансирования запасов, стимулирование роста товарности хозяйств, поощрение лучшего обслуживания потребителей. Эти скупы перечисленные вопросы — каждый из них — в действительности составляют огромную и сложную сферу человеческой деятельности.

Уровень организации обмена самым непосредственным образом влияет на потребление — заключительную стадию процесса воспроизводства. И не только в том смысле, что определяет объем и структуру потребления, но и затраты труда, связанные с потреблением. В этой области в последнее время происходят отрядные перемены.

Еще несколько лет тому назад учитывались лишь издержки производства и обращения: затраты на получение продукции, ее доставку и на отпуск потребителям. Шла борьба за снижение себестоимости продукции, за экономию на издержках обращения. При этом совершенно не учитывались и держки потребления: затраты времени и труда на покупку продуктов и приготовление пищи, на пошивку платья и т. д. Так как покупают в нерабочее время, то оно считалось как бы бросовым.

Чтобы не дать повода для кривотолков, сделаем небольшое отступление. Известно, что экономическая обстановка в течение многих лет была такова, что очереди за многими товарами были неизбежны. Неразумно было держать трех продавцов там, где и одному делать нечего. Но в данной статье речь идет о другом, о принципиальной постановке вопроса. Пока нет возможности распределять продукты по потребности, тем не менее такая задача давно сформулирована, и это имело огромное значение. Между тем, повторяем, об экономии свободного времени в экономической науке речи не было; было лишь стремление как можно больше снизить издержки обращения и как можно больше повысить долю*груда, занятого непосредственно в сфере производства. Лишь совсем недавно в Новосибирском академгородке занялись проблемой свободного времени. Выяснилось, что сокращение рабочего дня само по себе еще вовсе не означает увеличения свободного времени, и еще неизвестно, что труднее: стоять у станка или томиться в очереди за продуктами?

За последние годы многое сделано для изжития примитивного утилитаризма. Понятие «издержки потребления» завоевало право гражданства. Предстоит количественно определить величину этих издержек: насколько сокращается брак, повышается производительность труда, удлиняется период работоспособности по мере улучшения работы автобусов, магазинов, парикмахерских, ремонтных и других мастерских¹.

Анализ проблем потребления и быта показал, что далеко не всегда пробелы в данной области вызывались объективными причинами. В очень многих случаях доста-

¹ Разумеется, не только в этом смысле улучшения обслуживания. Однако мы ведем речь лишь об экономической стороне дела.

точно приложить минимум усилий, чтобы преодолеть «проблему» починки электробритвы или пошивки костюма. Имеется рабочая сила, под рукой местные строительные материалы, несложно изготовить немудреное оборудование, банк дает ссуды на эти цели. Не хватало лишь (если говорить об экономическом аспекте) понимания значения и знания цены свободного времени.

Между тем Маркс, как известно, цель развития человечества усматривал в том, чтобы как можно меньше времени надо было уделять добыванию хлеба насущного и как можно больше оставалось его для духовного развития. Именно это он считал переходом человечества из царства необходимости в царство свободы.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ

Охарактеризовав коротко сферу экономической деятельности, перейдем к рассмотрению инструментария, которым пользуются экономисты. Это поможет нам в дальнейшем сформулировать требования, предъявляемые к экономисту, и выразить, в чем же состоит или должен состоять талант экономиста.

Если говорить о советском экономисте или экономисте любой другой социалистической страны, то на первое место, думается, надо поставить п л а н и р о в а н и е.

Справедливо было замечено одним талантливим писателем, что мы разучились удивляться. Но говорить о планировании без удивления и восхищения невозможно.

Тысячи лет люди вели хозяйство кто как мог. При крайней слабости взаимных связей большой беды в этом не было, хотя уже первые социалисты-утописты мечтали о согласованности и плане. С конца первой четверти прошлого века начались судороги экономики, разразились кризисы — сигнал о том, что возросшие производительные силы уже попросту спотыкаются о стихию. Но лишь после победы Октября народнохозяйственное планирование стало явью.

Здесь нет необходимости излагать историю, но полезно обратить внимание на реакцию, вызванную разработкой планов. Известно, что за рубежом СССР она была враждебной или иронической со стороны широких кругов. Разумеется, такая позиция возникла прежде всего из антикоммунистической позиции. Но только ли? Можно ли считать Уэллса «антикоммунистом», «агентом монополий» или просто обывателем? А ведь он так и не смог понять сущности и значения планирования: сперва счел наши планы утопией, а потом начал заверять, что и при капитализме планирование возможно. Вернее предположить, что даже многие прогрессивные люди, в том числе экономисты, оказались просто не подготовленными к восприятию и пониманию того принципиально нового этапа развития человеческой деятельности, которая началась с плана ГОЭЛРО.

В наше время, казалось бы, нет нужды доказывать необходимость и значение плана. Но тем более заслуживает тщательного внимания некоторый, если так можно выразиться, плановый нигилизм, наблюдаемый сейчас у ряда экономистов.

В течение последнего года я беседовал со многими экономистами Югославии, Польши, Чехословакии, ГДР и, разумеется, с советскими экономистами. Некоторые из них считают необходимым пересмотреть устоявшиеся представления о роли и значении плана. Именно роль и значение, а не методику или организацию плановой работы, против чего вряд ли можно возражать.

План или рынок? — так можно сформулировать вопрос, занимающий многих и многих экономистов, при этом немалая их часть решительно заменяет план рынком. Кое-где считается даже ретроградством любое сомнение в целесообразности подобной замены.

Не затрагивая проблемы в целом, возьмем только те ее стороны, которые относятся к теме данной статьи. Послушаем различные точки зрения и попытаемся в них разобраться.

По мнению некоторых экономистов, плановое развитие экономики состоит в том, что центральный планирующий орган страны, опираясь на достигнутый уровень производства, устанавливает темп роста на предстоящий период (год, пятилетку). Разра-

ботанная программа распределяется по отраслям и предприятиям. Необходимые для работы материалы, оборудование заранее заказываются потребителями и выделяются им в виде конкретных, адресно указанных фондов, не подлежащих перераспределению. Точно так же регламентируются издержки производства и обращения, капитальные вложения и другие виды деятельности.

Указанная система, продолжая ее критики, делает экономику крайне негибкой. Технический прогресс внедряется с трудом, структура общественного продукта меняется медленно. Недостаток прав у руководителей предприятий и запланированное распределение всех резервов ограничивают возможность материального стимулирования инициативы. Отсюда снижение фондоотдачи, замедление темпов роста народного хозяйства.

Что предлагается взамен?

Рынок. Разумеется, социалистический. Ничего не устанавливается сверху, так как производственная программа определяется самим характером предприятия: автомобильный завод ботинки изготовлять не будет. Потребители заявляют о своих потребностях, объявляют конкурсы; изготовители соревнуются, предлагая наилучшее качество или более низкую цену, более краткий срок и т. д. Прибыль частично идет в доход государства, частично на расширение производственных мощностей, остальное распределяется среди трудящихся. Новое строительство ведется преимущественно за счет банковского кредита; государство не отпускает безвозвратно средств на капитальные вложения, а направляет их на увеличение ресурсов банков.

Разумеется, позиция «рыночников» изложена схематично; при внимательном рассмотрении в ней можно увидеть широкую палитру оттенков — от полной обособленности отдельных предприятий друг от друга до признания отраслевого управления в виде министерств и главков. Но нас интересует не организационная сторона, а отношение к планированию как экономическому рычагу.

Нетрудно заметить, что критика централизованного планирования родилась в ответ на рост и усиление административных методов его организации и осуществления. Очень многое в такой критике представляется нам правильным, а многое — заслуживающим внимания. Беда в том, что критики, как это часто случается, вместе с водой вытескивают младенца. А он очень и очень пригодится, особенно когда подрастет.

Нельзя отождествлять недостатки в планировании с самим планированием. План ГОЭЛРО ничего и никого не стеснял (кроме стихии, разумеется). По методам его разработки и содержанию он был грандиозной комплексной стратегической программой, выполнение которой не только не уменьшало возможности для проявления инициативы, но, напротив, создавало для такой инициативы основу и стимул. Вместо разобщенности и разброда создавалась целеустремленность. Раздробленность отдельных хозяйствующих коллективов, которая более соответствовала производительным силам XVIII века, чем XX, получила наконец адекватную этим производительным силам общественную форму их проявления.

Может ли рынок заменить план?

Рассмотрим конкретнее состав обращающейся продукции. Ее следует прежде всего разделить на продукцию сельского хозяйства и промышленности.

При всем влиянии естественно-климатических факторов, объем производства продукции растениеводства и животноводства по стране в целом поддается плановому прогнозу. Почему нельзя применительно к плановым проектировкам заранее заключить договоры с колхозами и совхозами, подготовить тару, транспорт, производственные мощности для переработки сельскохозяйственной продукции?

Неразумно и вредно предписывать из Москвы, Киева или Алма-Аты, что где сеять и какой где держать скот. Но почему на основе расчетов самих колхозов и совхозов нельзя заранее составить план сельского хозяйства по району, области, республике, стране в целом? В чем такой план стесняет инициативу колхозов и совхозов? И нужно ли из крайности административной ударяться в крайность децентрализации?

Если взять промышленную продукцию, то ее следует разделить на средства производства и предметы потребления. В свою очередь средства производства бывают индивидуально определяемые и массовые. Блуминг или горный комбайн могут изго-

товляться лишь по индивидуальному заказу, и такой заказ нужно дать задслого, за год-два минимум. Для нас безразлично, получит ли Новокраматорский завод заказ на блюминг в результате конкурса или по письму министерства.

Итак, портфель заказов на индивидуально определяемые средства производства, скажем, на 1969 год известен уже в конце 1967 года. Почему нельзя включить его в централизованный план? В чем здесь противоречие рынку?

Массовые средства производства изготавливаются производителями на основе спроса, определяемого разными способами: прямыми заказами, применительно к динамике роста производства (метизы запчасти для ремонта и т. д.) и др. Они продаются в порядке обычной оптовой советской торговли. Но объем производства, как и объем оптовой торговли, раз они определены самими промышленными и торговыми предприятиями, может без ущерба для их инициативы быть включен в централизованный план.

Не обедняется ли этим значение централизованного планирования? Не должно ли оно активно воздействовать на формирование программы? Должно, разумеется, но, думается, не в порядке административной записи, а экономически, о чем речь пойдет чуть далее.

Предметы потребления тоже неоднородны. Продукты питания, предметы санитарии и гигиены, канцелярские и многие другие товары не знают особых влияний моды. Объем спроса легко определяется статистическими методами, без опроса каждого из нас, будет ли он и в будущем году чистить зубы и носить башмаки. А это ведь и создает надежную основу для планирования работы пищевой и ряда отраслей легкой промышленности. Наиболее «неустойчивы» товары более длительного пользования: одежда, обувь, культтовары, мебель. Здесь влияние моды наибольшее. В этой области и следует предельно ограничить плановые показатели, предоставив широкий плацдарм для маневра.

Что же оказывается? Нет объективных оснований для отказа от централизованного планирования. Нынешняя хозяйственная реформа позволяет устранить все то, что мешало подлинному планированию, и привести его организацию и методику в соответствие с потребностями нашего времени. Рынок ведь не в том, чтобы покупатели и продавцы толклись, допустим, в здании биржи и заключали сделки, ударяя по рукам. И не в том, чтобы узнавать о потребностях и возможностях из рекламных проспектов. Рынок — это глубокое знание потребностей хозяйства и оперативное приспособление к изменению этих потребностей. Эти изменения относительно устойчивы хотя бы в пределах одного года (если говорить о преобладающей массе товаров), и годовой план вполне может их предусмотреть. Может быть, взаимоотношения между планом и рынком подобны отношениям между конструктором и технологом: первый решает, что делать, а второй — как, каким образом. Административный догматизм принес нам немало вреда. Не меньше может его быть от догматизма «рыночного», если вовремя не раскритиковать его!

Вторым по важности экономическим инструментом являются нормы, нормативы. Строго говоря, план основан на нормативах, но их значение куда шире, чем только быть расчетной основой плана. Норма есть конкретно выраженное требование народного хозяйства к тому или иному элементу производства, учитывающее оптимально возможные условия работы. Не случайно во всех докладах А. Н. Косыгина о хозяйственной реформе и пятилетке подчеркивается необходимость развить и укрепить «нормативное хозяйство».

Здесь нет нужды начинать на пустом месте. За годы советской власти накоплен огромный опыт нормирования труда, использования материалов и оборудования, образования запасов и др. Но работа предстоит колоссальная — все нормы должны соответствовать современным условиям. Они должны быть в какой-то мере едиными, чтобы можно было сравнивать работу разных предприятий, и в то же время дифференцированными — применительно к конкретным условиям работы. Нормативы основываются на реальных обстоятельствах и фактах, но они не просто фотографируют сегодняшний день, а несут в себе мобилизующее, прогрессивное начало. Указанные и другие диалектические противоречия легко перечислять, но очень трудно практически воплотить, да еще в стране, раскинувшейся от Тихого океана до Черного моря.

Самое сложное в разработке конкретных норм, думается, лежит опять-таки в том, что хотя нормы устанавливаются на данном, конкретном предприятии, но отражать они должны народнохозяйственный счет. Вот один пример. Тракторному заводу в Челябинске выгодно из Магнитогорска получать металл небольшими партиями, это ускорит оборот его средств. Но у Магнитогорского комбината десять тысяч покупателей, и ему выгоднее прокатывать крупные партии: снижаются издержки, растет прибыль. И железнодорожникам расчет возить эшелонами, да потяжелее. Вот и надо сопоставить: убытки от «пролеживания» металла, прибыль от укрупнения партии материалов и доходы транспорта. Не исключено, что электронная машина подскажет вообще другого поставщика.

Из всех норм, которые предстоит уточнить и разработать, самые сложные, на наш взгляд, это нормы оплаты труда. Как обосновывается то, что часовая ставка рабочего первого разряда в машиностроении составляет 0,42 рубля, а не 0,25 или не 1,50? Специалисты по труду в большом долгу перед экономикой. От волюнтаризма в нормировании оплаты шел волюнтаризм в распределении национального дохода на потребление и накопление. В речи А. Н. Косыгина на первой сессии Верховного Совета СССР седьмого созыва отмечалась необходимость уточнить эти пропорции.

Некоторые экономисты призывают вообще отказаться от нормирования, так как нормы, дескать, уменьшают права предприятий и сковывают их маневроспособность. В частности, предлагается отказаться от нормирования оборотных средств.

Легко заметить, что здесь опять-таки смешиваются экономический и организационный аспекты. Разумеется, нет нужды утверждать сверху предприятию размер отдельных элементов оборотных средств, да и вообще незачем утверждать норматив в качестве обязательного показателя. Но само-то предприятие для себя должно на научной основе определить потребность в средствах? Разве правила уличного движения необходимы лишь потому, что существует ОРУД?..

Чрезвычайно важным и, вероятно, самым сложным и тонким экономическим инструментом являются цены. Вот уже тридцать лет, как идет речь о несовершенстве цен. В последнее время дискуссия о принципах ценообразования достигла особой остроты. Широкий круг читателей-неспециалистов никак понять не может: почему не договорятся, почему не упорядочат цены?

Можно сказать, что позиция в вопросах ценообразования — лакмусовая бумажка для характеристики экономиста в целом. Поэтому на данном вопросе задержимся чуть больше.

Исторически цена возникла как орудие измерения стоимости товара, то есть общественно необходимых затрат на его производство и реализацию. Цена — денежное выражение стоимости. В условиях капиталистического хозяйства, особенно на монополистической стадии капитализма, адекватность цены и стоимости, конечно, подвергается большим колебаниям, но тем не менее в самой общей форме приведенное определение остается верным.

В дореволюционной России цены колебались вокруг стоимости товаров, и цены 1926/27 года, близкие к уровню 1913 года, также, в общем, выражали совокупную стоимость товаров. Однако с начала индустриализации страны, а затем в годы первой пятилетки произошли серьезные изменения.

Чтобы их понять, необходимо иметь в виду следующее объективное противоречие, присущее социалистической экономике.

Так как процесс социалистического воспроизводства совершается в форме товарно-денежных отношений, то должно соблюдаться основное требование — эквивалентность обмена. Если производитель реализует товар стоимостью в тысячу рублей, то и выручить он должен тысячу рублей. Данное требование не следует понимать примитивно, но как закон товарного обмена оно обязательно.

С другой стороны, государство для выполнения присущих ему функций должно создавать централизованные фонды денежных ресурсов, то есть иметь доходы и получать их, разумеется, безвозмездно, иначе они не были бы его доходами. Следовательно, в отношениях социалистического государства с предприятиями и населением принцип эквивалентности должен быть нарушен. Необходимость одновременно соблюдать и на-

рушать эквивалентность в экономических отношениях образует объективное противоречие нашей экономики.

Как оно разрешалось на протяжении истекших лет?

Мобилизация в доход государственного бюджета части ресурсов сельского хозяйства происходила главным образом путем изъятия продукции в натуральной форме: продовольственная разверстка, продовольственный налог, обязательные поставки, натуральная оплата работ, выполненных МТС, гарцевый сбор и другое. Исторический опыт убедил в крайнем несовершенстве подобного механизма образования доходов государственного бюджета.

Дело в том, что изымать можно лишь часть прибавочного продукта, иначе затормозится развитие отрасли. Но все зерна пшеницы и все кипы хлопка в натуре одинаковы: и те, что выражают стоимость материальных затрат, подлежащих восстановлению, и те, в которых воплощены необходимый продукт и прибавочный. Конечно, когда в колхозе сдавали все зерно, включая семена, то ясно, что был перебор. Но какая часть урожая или прироста стада может быть изъята без ущерба для развития хозяйства? На этот вопрос натуральная форма продукта не отвечает. Известно, что на очень высоких надоях молока колхозы терпели убытки, так как сверх определенного уровня затраты были больше стоимости продукта. Можно получить по двадцать центнеров с гектара и иметь при этом меньше прибыли, чем при пятнадцати. Голько выразив затраты и выручку в экономических обособованных ценах, можно оптимальным образом распределить общественный продукт. Этим еще раз подчеркивается значение ценообразования.

Но с ценами произошло следующее. В то время как ресурсы сельского хозяйства привлекались на общегосударственные цели преимущественно в натуральной форме, ресурсы других отраслей, особенно легкой и пищевой промышленности, привлекались главным образом через повышение цен. Цены, скажем, 1932 года были намного выше, чем 1926/27-го. Одновременно росла и заработная плата, особенно в тяжелой промышленности, и, следовательно, себестоимость продукции этой отрасли. Но цены на уголь, металл, машины, строительные материалы, минеральные удобрения и другие изделия тяжелой промышленности до 1936 года вообще не повышались, затем были повышены в 1936 и 1949 годах, но в недостаточной мере. И сегодня основная масса продукции тяжелой промышленности реализуется по ценам ниже стоимости. По опубликованным расчетам¹ для 1959 года недобор прибыли и налог с оборота по этой причине составили 17,5—26 миллиардов рублей. Соответственно меньшими были и ассигнования на капитальные вложения и прирост запасов.

Для нас из всей этой истории нужен лишь ее вывод, а именно: цены в настоящее время в СССР существенно отклоняются от уровня общественно необходимых затрат на производство и реализацию. Этот вывод никем не оспаривается. Затанне по сближению цен и уровня затрат сформулировано в решениях последних Пленумов ЦК КПСС и XXIII съезда партии.

Однако, когда речь заходит о практической реализации этих решений, экономисты не находят общего языка. Одни утверждают, что значительное отклонение цен от уровня общественно необходимых издержек искажает все соотношения в народном хозяйстве, не позволяет сказать, что такое хорошо и что такое плохо, затрудняет международное разделение труда в странах СЭВ. Если машина ценой в пять тысяч рублей приводит к экономии фонда заработной платы на сумму шесть тысяч рублей, то ее применение представляется экономически выгодным. Но если к этой цене добавить дотацию, полученную шахтами Донбасса, многими леспромпхозами и металлургическими заводами, то мнение может измениться. Эти экономисты считают, что в стране должны быть цены единого уровня — рубль должен содержать в себе одну и то же количество труда и в угольной и в парфюмерной промышленности. Только при этом будет мера для выявления эффективности. Если же в одном метре сто сантиметров, а в другом — шестьдесят восемь или сантиметры разной протяженности, то ничего хорошего ожидать не приходится.

¹ См. В. Д. Белкин. Цены единого уровня и экономические измерения на их основе. Экономиздат. М. 1963.

Другие экономисты отрицают такой подход к ценам в условиях социализма. Признавая цену денежным выражением стоимости, они полагают, что цены должны быть использованы и для решения многих других задач: стимулирования или сдерживания развития отдельных производств, рационального размещения производительных сил, перераспределения части доходов населения и др. При таком подходе неизбежен во многих случаях существенный отрыв цены от уровня затрат. Возникающие от этого затруднения данная группа экономистов предлагает решать каждый раз конкретно, применительно к затруднениям и преимущественно административными мерами.

Кардинальное решение вопроса затрудняется двумя обстоятельствами, которые никак не могут быть сброшены со счетов. Во-первых, исторически сложились и более тридцати лет существуют определенные соотношения между ценами, и нелегко в один присест сломать сложившуюся систему. Во-вторых, в реальной жизни проблема куда сложнее, чем это изложено в статье. К примеру, мы говорим о взаимоотношениях между потребителями и производителями. Но среди самих производителей очень много различий. Себестоимость одной тонны руды колеблется в разных районах страны в амплитуде 1:5, каменного угля 1:9, газа 1:50 и т. д. Цена для производителя должна исходить из уровня затрат на производство, цена для потребителя — из содержания металла в руде. Но между содержанием металла и себестоимостью добычи руды нет прямой зависимости, а во многих случаях и вовсе никакой зависимости. От дополнительной надежности приборов выигрывает потребитель, а расходы несет поставщик и т. д. и т. д.

Еще раз полезно напомнить, что все эти проблемы приходится решать в масштабе народного хозяйства, насчитывающего более миллиона хозяйственных предприятий и организаций.

По решению сентябрьского (1965 года) Пленума ЦК КПСС сейчас завершается работа по подготовке новых оптовых цен на продукцию тяжелой и легкой промышленности. Можно предполагать, что методология, положенная в основу их разработки, и сами проекты цен до их утверждения станут объектом обсуждения хозяйственников и научной общественности.

Из сказанного ранее вытекает, что ни натуральные формы изъятия, ни цены не могут в сколько-нибудь значительных размерах применяться для образования доходов государственного бюджета. Остается еще одна совокупность экономических рычагов, именуемая финансами: налоги, сборы, отчисления, займы, страхование и др.

Особенность финансовых способов мобилизации ресурсов состоит в том, что она (мобилизация) производится после того, как прибавочный продукт создан и реализован. Это позволяет в самом процессе хозяйствования полностью соблюдать принцип эквивалентности. Предприятия реализуют продукцию по экономически обоснованным ценам, движение и воспроизводство общественного продукта полностью и правильно характеризуется оборотом денежных средств. Видны действительные затраты, их результат и эффективность. Но вот данный цикл производства (и реализации) закончен. Причитающаяся часть доходов предприятий и работников передается государственному бюджету.

Насколько правильно становятся все экономические отношения, видно из расчета, приведенного в цитированной выше книге В. Д. Белкина. По бухгалтерским данным за 1959 год прибыль и налог с оборота составили 55,2 миллиарда рублей, из которых 30 миллиардов рублей, или почти 60 процентов, дали легкая и пищевая промышленность, а тяжелая промышленность — 12,6 миллиарда рублей. Если же этот год посчитать, допустим, по ценам, равным стоимости, то общая сумма денежных накоплений возрастет до 81,2 миллиарда рублей, но на долю легкой и пищевой промышленности приходится лишь 6,1 миллиарда рублей, или 7,5 процента, а на долю тяжелой промышленности — 28,2 миллиарда рублей, или 30,5 процента.

Любой человек, как бы далек он ни был от экономики, согласится, что не может того быть, чтобы тяжелая промышленность СССР, где сосредоточено около восьмидесяти процентов всех производственных основ фондов и цвет рабочего класса, дала прибавочного продукта в два с половиной раза меньше, чем легкая и пищевая промышленность. Но так выглядят отношения в реальной действительности из-за неправильных цен.

Достоинство финансовых методов мобилизации ресурсов состоит еще в том, что одновременно осуществляется контроль рублем за работой предприятий, что приводит к росту накоплений. Наряду с выгодой для государства достигается и непосредственная выгода для трудящихся (займы, государственное страхование, вклады). Имеется возможность дифференцировать размер изъятия средств в зависимости от состава семей, возраста работающих и т. д. Высокая мобильность и исключительная гибкость финансовых методов определяют их место в общем экономическом механизме. Не случайно проведение хрэйственной реформы резко усилило значение финансов в народном хозяйстве.

К сожалению, в практике работы финансовых органов острие финансовых инструментов нередко направлялось не туда, куда требовали интересы народного хозяйства. Здесь имеется в виду не только завышение ставок сельскохозяйственного налога до 1953 года, что причинило огромный ущерб сельскому хозяйству, но и более поздние действия, сужавшие и выхолащивавшие хозяйственный расчет и материальное стимулирование на предприятиях. Фискальный подход к предприятиям, ведомственное противопоставление интересов государственного бюджета интересам предприятий продолжают оставаться бедой многих работников финансовых органов. От этого теряют все: бюджет, предприятия, трудящиеся. Поэтому исключительно актуально звучат слова А. Н. Косыгина на первой сессии Верховного Совета СССР седьмого созыва: «В связи с проведением экономической реформы, расширением хозяйственной самостоятельности предприятий должен быть изменен характер работы банков и некоторых органов финансовой системы. Финансовые и кредитные органы должны не только осуществлять финансовый контроль, но и активно воздействовать на улучшение коммерческой деятельности промышленных и торговых предприятий. На первый план выдвигается задача наиболее целесообразного направления банковских ресурсов и использования кредита для развития прогрессивных производств, предприятий сферы бытового обслуживания, для ускорения оборачиваемости средств и повышения доходности предприятий».

ПРОДУКЦИЯ ЭКОНОМИСТА

Врач лечит. Геолог ищет и находит. Конструктор создает. В чем выражена продукция, производимая экономистами?

Слово «продукция» мы не заключили в кавычки, так как глубоко убеждены в том, что страна получает от работы экономистов большой и реальный эффект. Проблема в том, как его выделить и измерить. Продукция, как известно, создается лишь производительным трудом. Профессии педагогов и врачей, возможно, самые почетные и нужные, но продукции они не создают, их труд относится к непродуцирующей сфере.

А экономист? Думается, что здесь правомерна полная аналогия с оценкой работы и места инженеров, занятых на предприятиях и в научно-исследовательских институтах. Наука становится, стала непосредственно производительной силой. В том числе и экономическая наука.

Но трудности остаются. Надо выделить эффект работы экономистов из общего итога, получаемого в результате развития экономики. Скажем, плановое развитие народного хозяйства СССР не может полностью относиться к заслуге экономистов, это одна из отличительных черт социалистической экономики, одно из решающих ее преимуществ перед капиталистической системой.

Что же безусловно должно быть занесено в актив экономиста?

Видимо, три обстоятельства.

Первое — открытие и формулирование законов и возможностей социалистической системы хозяйства.

Второе — разработка механизма, позволяющего в максимальной степени использовать объективные возможности нашего общественного строя.

Третье — практическая реализация этих возможностей, степень использования преимуществ социалистической экономики.

В течение всего периода существования народного хозяйства СССР коэффициент электрификации технологических процессов в промышленности у нас по сравнению с США относительно выше, чем соотношение производства электроэнергии. Из каждого рубля оборотных средств в СССР более шестидесяти пяти копеек занято в сфере производства и лишь около тридцати пяти копеек — в сфере обращения; в США соотношение иное — 20 : 80. Доля накопления в национальном доходе СССР выше, чем в капиталистических странах. В этих и многих других фактах выражена продукция экономиста — повышение эффективности общественного производства.

Там, где производится продукция, к сожалению, встречается и брак. Не обходится без него и работа экономистов.

Вследствие плохого планирования и материального обеспечения строительства многие шахты, к примеру, строятся не четыре-пять лет, как то предусмотрено нормативами Госстроя, а восемь — двенадцать лет, по этой причине ежегодно недополучаются миллионы тонн угля. Из-за отсутствия синхронности в расширении производственных мощностей у потребителей и производителей иной раз годами простаивают цехи и предприятия. Тысячи вагонов возят нередко продукцию взад-вперед из-за нерациональных связей. Неправильные цены искажают ассортимент вырабатываемых изделий. Нередки случаи, когда рабочий зарабатывает больше инженера. Число «огрехов» в работе экономистов легко увеличить.

Но там, где есть брак, должна быть и борьба с браком. Почему бы ЦСУ или Академии наук СССР не проанализировать годовой план по какому-либо министерству или союзной республике и сказать: вот потери, которые понесла страна из-за того, что такие-то экономисты использовали бывшие в их распоряжении ресурсы не наилучшим образом? Почему бы не поступить подобным же образом министерству по отношению к предприятиям, а директору завода — к цехам?

Директор совхоза отвечает за каждую телку, за каждую баранью голову. Начальник цеха понесет суровое наказание за бракованные детали. Шофер идет под суд, если даже сшиб человека непредумышленно. Почему же нет спроса с экономиста, если по его вине понесены потери? И почему среди лауреатов в ряду других профессий нет экономистов? Почему ни с кого не спрашивают за то, что годами те или иные предложения экономистов не осуществляются?

Очевидно, что обезличенность результата труда экономистов и связанная с нею безответственность обходятся народному хозяйству очень дорого. Новый подход к управлению народным хозяйством, по-видимому, скажется и в данной области.

* * *

Следует подчеркнуть, что сфера действия экономической науки и практики и экономические рычаги обрисованы в самых общих чертах. За пределами статьи остались проблемы размещения, специализации и кооперирования и многие, многие другие. Ничего не сказано о новом, вносимом в экономику применении математики и электронных вычислительных машин, социологических исследований. Дать подробную характеристику экономике под силу многотомной энциклопедии. Наша задача была неизмеримо более скромная: подготовить плацдарм для характеристики тех качеств, которые, представляется, мы вправе ожидать у талантливого советского экономиста: партийности, научного подхода к проблемам комплексности, принципиальности, предприимчивости. С полным основанием можно утверждать, что такие черты должны быть присущи не только экономисту; однако мы их анализируем применительно к данной профессии. С не меньшим основанием можно сказать, что партийность включает в себя все за ней перечисленное; мы в данном случае условно выделяем эту черту для более детального ее исследования.

ПАРТИЙНОСТЬ

Термин этот безгранично широк. Где его экономический аспект? Вероятно, его следует искать в том же ленинском определении соотношения политики и экономики, которое приводилось выше. Из него следует, что концентрированная экономика состав-

ляет основу политики. Следовательно, каждый элемент экономики, каждая ее молекула содержит в себе атомы политики. Значит, нет и не может быть аполитичной экономики. Любой вариант плана, даже на уровне цеха, любая цифра бухгалтерского отчета политична, работает на политику партии или против нее. Когда же речь идет о крупных экономических явлениях, то они прямо и непосредственно входят в политику. Ленин называл план ГОЭЛРО второй программой партии.

Ярким примером коммунистической партийности является хозяйственная реформа, проводимая в нашей стране на основе экономической политики, разработанной мартовским и сентябрьским (1965 года) Пленумами ЦК КПСС и XXIII съездом партии. Определив задачи коммунистического строительства на современном этапе, партия осуществляет новый подход в управлении народным хозяйством. Весь дух реформы, вся ее тенденция состоит в том, чтобы привести практику хозяйствования в максимально возможной степени в полное соответствие с требованиями экономических законов социализма и дать тем самым неизмеримо большую, чем до сих пор, возможность привести в движение резервы и преимущества плановой социалистической экономики.

Руководствуясь принципом партийности, составители пятилетних планов и Центральный Комитет партии, утверждавший проекты этих планов, обеспечивали преимущественное развитие тяжелой промышленности, без которой социализм погиб бы, несмотря на все трудности, вызываемые подобным курсом экономической политики, несмотря на все наскоки извне и внутри партии на этот курс. При любой нехватке ресурсов ведущие отрасли получали необходимое для их быстрого развития.

Партийность в экономике находила свое выражение в целеустремленном движении к независимости народного хозяйства от капиталистического рынка — и страна, ввозившая до 1914 года серпы и каменный уголь, через двадцать лет (из которых треть заняли войны) добилась такой независимости.

Партийность требовала — и обеспечивала — постепенную ликвидацию капиталистических элементов в экономике, закрытие всех источников, щелей и каналов, которые питали воспроизводство капиталистических элементов. Уже к 1937 году доля социалистического сектора составляла: в промышленной продукции — 99,8 процента, в сельском хозяйстве — 98,5 процента, в основных производственных фондах страны — 99 процентов.

Коммунистическая партийность, органическая черта которой — пролетарский интернационализм, раскрывалась в преимущественно высоких темпах роста экономики республик Средней Азии, Закавказья, Казахстана и других ранее отсталых районов страны, в широкой помощи ставшим на путь строительства социализма странам Европы, Азии, Америки, а также бывшим колониям и другим зависимым странам. Нередко приходилось делиться самым дефицитным, самым последним.

Партийность в экономике включает в себя безграничную веру в силы и способности трудящихся масс. Вера в народ носила и носит не мистический характер, а определяется сознанием того, что экономическая программа партии выражает коренные интересы трудящихся и потому ей обеспечена безусловная поддержка народа. Поэтому забота о благе народа органически входит в экономические планы СССР, во всю экономическую политику КПСС и советского правительства.

Каждое явление становится выпуклее, осязаемее на фоне его альтернативы. Что является противоположностью партийности в экономике? Думается, прежде всего ведомственный подход, местничество, делечество.

Может быть, полезно начать с мелочей. Когда весной 1965 года ряд машиностроительных предприятий был передан из ведения совнархозов в состав отраслевых комитетов, некоторые директора заводов в Новосибирске тут же выселили из общежитий проживавших там «чужих» рабочих, а из детских садов — «чужих» детей...

Куда более разорительным является стремление иметь «свои» — и только для своего ведомства — инструментальные цехи, предприятия по производству тары, ремонтные заводы, карьеры, автомобильные хозяйства, базы и склады. С сожалением приходится наблюдать, как в ряде мест растаскиваются на части (или превращаются в узковедомственные) предприятия, созданные для обслуживания нужд целого района, области. А тяжба между железнодорожниками, речниками, моряками и автомобил-

ными хозяйствами? А карликовые научно-исследовательские институты, не имеющие кадров и оборудования, но зато «свои»?

Было бы легким делом объяснить ведомственность ограниченностью тех или иных хозяйственников. Очевидно, что причины глубже, и одна из них — слабая разработка экономической наукой проблемы высшей рентабельности социального производства.

В нашей стране нет частной собственности, экономика развивается целенаправленно, по плану. Это дает нам неоспоримые преимущества, и эти преимущества, думается, состоят не только в том, что мы экономнее маневрируем ресурсами, добиваемся более высоких темпов, но и в том, что мы имеем возможность оценивать каждый свой шаг с общехозяйственной вышки. В СССР нет технической и коммерческой тайны. Госплан и ЦСУ знают все. Поэтому каждую проектировку, каждый новый заказ, каждый рубль, направляемый в капитальное строительство, должны оцениваться не только тем, какая будет прибыль на данном участке, но какова максимально возможная эффективность для народного хозяйства в целом. Испрашивая ассигнования на новое строительство или проведение эксперимента, располагает ли хозяйственник данными о сроках окупаемости вложений в родственных отраслях, производящих взаимозаменяемую продукцию? Очень редко, чтобы не сказать никогда. Приучен ли он считать не только со своей, а и с народнохозяйственной «колокольни»? К сожалению, нет. Следовательно, мы сами себя обедняем, обкрадываем. Мы не используем полностью исключительную, принципиальную особенность нашего народного хозяйства, состоящую в том, что в СССР один хозяин — народ. Иначе говоря, мы измеряем (в лучшем случае) рентабельностью предприятия, а не высшей рентабельностью хозяйства в целом.

Понятию «высшая форма рентабельности» не повезло.

В конце двадцатых годов оно было выдвинуто в борьбе с теми, кто возражал против форсированного создания совхозов как предприятий якобы нерентабельных. Было сказано, что к понятию рентабельности нельзя подходить торгашески, с точки зрения сегодняшнего дня, а надо видеть перспективу, результат для всего народного хозяйства. Бесспорно, что такая позиция была совершенно правильной. Но в дальнейшем все переменялось. Термин «высшая рентабельность» стал вывеской для оправдания убыточной работы конкретных предприятий и целых отраслей, находившихся в обычных, нормальных условиях; ширмой, за которой удобно было укрываться, нерадивым хозяйственникам и беспринципным экономистам: незачем заботиться о прибыльности каждого завода и совхоза — у нас же рентабельно хозяйство в целом.

Восстановление принципов хозяйственного расчета покончило с этой демагогией, но снова — в который раз — младенец был выплеснут из ванны вместе с водой. Термин «высшая рентабельность» у экономистов оказался в опале, а вышка для анализа и сопоставлений — усеченной. Это обстоятельство немало помогло и помогает сохранению ведомственного подхода к экономическим проблемам. Впрочем, не только ведомственности, но и местничества, которое есть ведь не что иное, как «горизонтальный» вариант ведомственности.

Было бы долго рассматривать все конкретные формы проявления местничества. Ограничимся двумя, самыми дорогостоящими: распылением капитальных вложений и противопоставлением интересов предприятий интересам всего народного хозяйства.

Первое постановление, направленное против распыления капитальных вложений, вышло более тридцати лет назад. С тех пор эта проблема не сходит со страниц экономической печати. Но «отдача» незначительна: поныне в каждом крае, области существует куда больше строительных площадок, чем может быть бесперебойно снабжено рабочей силой, механизмами и материалами. В чем причины этого живучего бедствия? Не последняя из них та, что убытки, которые несет общество, никем не подсчитываются и ни с кого не взыскиваются.

А если бы так: подсчитать в точной сумме убыток, нанесенный стране тем, что в Кемеровской области, к примеру, некоторые стройки возводятся дольше, чем положено по существующим нормам, и удержать эту сумму из лимитов на строительство, намеченных для области на следующий год? Тогда областные организации, вместо того чтобы поддерживать необеспеченные заявки отраслевых министерств, станут приди-

чиво проверять реальность включаемых в титульный список объектов. И это будет хорошим подспорьем Госплану, на который обрушивается напор заявок. Вероятно, могут быть предложены и лучшие рецепты. Главное состоит в том, чтобы найти эффективное экономическое средство и покончить с распылением ресурсов в строительстве. Тридцатилетний срок показал полное бессилие одних лишь административных мер и ограничений в этом деле.

Что касается столкновения интересов предприятия и народного хозяйства, то мы касались этого вопроса в предыдущих статьях¹, но с другой стороны: выясняли идущие сверху причины, которые приводят к указанной коллизии. Здесь же уместно подойти с позиции предприятия.

Но прежде всего существуют ли различные интересы у предприятия и в целом у народного хозяйства? Многие экономисты долго отрицали это различие, клеймили руководителей предприятий по любому поводу и добились лишь того, что загнали болезнь вглубь. Мы думаем, что возможно противоречие между интересами предприятия и народного хозяйства в целом. Цель одна, разумеется, а конкретные интересы могут в каком-то случае не совпасть. Почему? Да потому, что в условиях существования товарно-денежных отношений предприятие в известной мере обособлено. Ему выделен уставный фонд, оно отвечает за его сохранность; оно обязано платить за фонды и хочет получить прибыль. Вот оно и отстаивает свои интересы.

В такой позиции нет ничего предосудительного. Плохо тогда, когда защита позиции превращается в ее противопоставление народному хозяйству. Применяют в строительстве железобетон и тогда, когда это нецелесообразно. Но он дороже кирпича и помогает выполнить план (в рублях); дробят предприятия, чтобы их количество стало больше, и тогда трест перейдет в высшую категорию; отказываются производить продукцию на сторону, хотя производственные мощности недогружены; применяют менее стойкие материалы, чтобы снизить у себя издержки, не задумываясь об ущербе, который получит потребитель, и т. д.

Разумеется, изживать такие явления нужно экономически, то есть соответствующими показателями в строительстве, в штатных делах и т. п. Но независимо от этого подобное противопоставление противоречит партийности в экономике, а это и есть тема, нас интересующая. В том-то и принципиальное отличие хозяйственного расчета от капиталистической погони за прибылью, что хозрасчет исходит из наличия общественной собственности на средства производства, из единства социалистической экономики. Поэтому возможные противоречия между интересами частными и общими должны решаться оптимально и открыто, закрепляться соответствующими нормативами, ценами и так далее, а не путем стихийного противоборства. Подход к любой задаче с позиций общегосударственных должен стать рефлексом советского экономиста.

Большим и трудно изживаемым недостатком является делячество, которое часто и охотно маскируется под деловитость и даже пытается прикрываться ссылками на В. И. Ленина.

Часто цитируются ленинские слова: «Дельный экономист, вместо пустяковых тезисов, засядет за изучение фактов, цифр, данных, проанализирует наш собственный практический опыт и скажет: ошибка там-то, исправлять ее надо так-то. Дельный администратор, на основании подобного изучения, предложит или сам проведет перемещение лиц, изменение отчетности, перестройку аппарата и т. п.»².

В целом к этому исключительной важности указанию мы вернемся дальше. Здесь же посмотрим на него под углом зрения деловитости как требования к экономисту. Могут ли приведенные слова хоть в какой-то мере послужить оправданию делячества? Ни в малейшей! Во-первых, Ленин возражает не против любых тезисов, а против пустяковых. Во-вторых, речь идет о том, что в продовольственном и топливных планах были допущены ошибки и исправлять эти ошибки надо не писанием пустяковых тезисов, а анализом опыта. В-третьих, речь идет именно о деловитости, а не о делячестве.

¹ См. «Новый мир» № 12 за 1965 г. и № 5 за 1966 г.

² Об этой цитате, кстати, полезно подумать тем, кто отрицает правомерность особой науки об управлении.

В чем различие между этими двумя понятиями?

Думается, в масштабе перспективы. Где-то у Макаренко я читал, что какова мечта человека, таков и сам человек: один мечтает о благе народа, другой — о своем будущем, а третий — о ближайшем обеде...

Для экономиста-деляги характерен браконьерский подход к народному хозяйству, к природе, к людям. Сегодняшний пятак ему милее завтрашнего рубля. Упреки, которые ему делают, он называет «философией», считая это слово бранным. Вероятно, есть много причин, порождающих делячество, но две из них просятся на бумагу.

Экономическую работу выполняют в основном люди, не имеющие специального образования. Даже в Свердловске один дипломированный экономист приходится на шесть заводов. Неподготовленному человеку трудно охватить широкую совокупность явлений в большой перспективе, вот он и берет то, что поближе и попроще. И немощь свою возводит в теорию. Это причина первая.

* Вторая, думается, кроется в недостатках преподавания общественных наук в экономических вузах. О чем спорили шестьдесят пять лет тому назад «Рабочая мысль» и «Рабочее дело», в чем выражался кризис естествознания в начале века и каков основной экономический закон рабовладельческой формации — об этом говорят на лекциях и семинарах. А о политических, философских и экономических корнях делячества — никогда. Как и вообще об этических, политических и других требованиях, которые предъявляются экономисту. Считается, что лишь студенты-медики должны давать клятву о добросовестном и ответственном отношении к делу. Как будто жизнь и здоровье людей зависит меньше от экономики, чем от медицины.

Посмотрим на деляческий подход к людям, трудящимся. При размещении предприятий порой не думают о людях, которые будут на них работать. В результате множество ткачих уезжает из текстильных районов — невозможно создать семью. В районах Востока преобладают молодые рабочие, рождаемость высока, а количество мест в детских садах и яслях на тысячу жителей обычное; приходится уезжать, так как некому смотреть за ребенком. Из-за тяжелых условий труда рыбаки не должны быть в море непрерывно более четырех месяцев, но, чтобы лучше использовать суда, их держат там зачастую по шесть — восемь — десять месяцев. Результат? Большая текучесть кадров. Экономят на бензине; и многие шоферы автобусов и такси, работающие в ночную смену, не могут добраться после работы домой.

Во всех этих примерах чувствуется примитивный меркантилизм экономиста. Он сегодня сэкономил, а после — хоть потоп.

А деляческий подход к природным богатствам? Жигулевские горы пытались перерабатывать в гравий — ближе к стройке, экономия на транспорте. Воды Байкала хотят использовать при выработке корда: не надо очищать, вода и так чистая.

На мягкие земли Кировской и Вологодской областей пускают огромные мощные тракторы, пригодные для Казахстана: уменьшение числа типов тракторов снижает их себестоимость.

Воспитание экономистов в духе партийности — самая сложная из всех задач по повышению уровня экономической работы, перестройке ее применительно к потребностям хозяйственной реформы. Использованию математики можно обучить в год-два, новые показатели — и даже цены — требуют не большего срока. А вот добиться того, чтобы в условиях широкой самостоятельности каждый хозяйственник, каждый экономист ежедневно и ежечасно подходил к делу с меркой коммунистической партийности — здесь требуется огромная работа партийных, советских и общественных организаций. Думается, что общественным и конкретным экономическим наукам также следует активизироваться в этой области.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД

Марксизм-ленинизм — подлинная наука, и требование научности в экономической работе органически входит в понятие партийности. Человечеству неизвестен более добросовестный, педантичный и неумолимый редактор, чем был Маркс, готовя к печати первый том «Капитала».

Что имеется в виду, когда идет речь о научной строгости, о научной добросовестности в экономике? Что имел в виду Маркс, говоря, что в этой отрасли познания не могут быть использованы химические реактивы и микроскопы?

Вероятно, прежде всего следует назвать объективный анализ действительности. Дельный экономист, по словам Ленина, засядет за изучение фактов, цифр, данных, проанализирует практический опыт. Правда, какова бы она ни была,— основа экономики. Не дать увлечь себя маниловщиной, не принимать жслаемое за действительное — вот что важно.

Конечно, установить факты и правильно их проанализировать — дело очень тонкое и сложное. Экономическое явление не поместить ни в колбу, ни под линзу. При всем их неоспоримом значении, экономические эксперименты в отличие от биологических, химических и других дают не так много. В экономике все время сказываются результаты огромного количества явлений, непрерывно меняющихся. Разумеется, большинство экономических процессов в СССР протекает на плановой основе. Но одновременное выполнение планов миллионом предприятий и организаций не может не содержать в себе отклонений в разные стороны, а совокупность этих отклонений создает иной раз неожиданные ситуации. К тому же не все поддается планированию: международные отношения, открытие природных богатств, стихийные бедствия и др.

В многообразной жизни, указывал Ленин, можно подобрать факты и фактики в поддержку любой концепции. Трудность в том и состоит, чтобы не свести реальную действительность к сумме примеров. Здесь неопределима роль статистики. Научный уровень работы экономиста в невероятно большой степени определяется суммой знаний, информации, которую он может почерпнуть из статистических данных.

Но с анализа экономика лишь начинается. Факты для ученого, говорил академик И. П. Павлов, это как воздух для птицы, на который она опирается в полете. Но летает она при помощи крыльев. А крылья для экономиста — это знание законов общественного развития, понимание перспективы движения производительных сил. И здесь мы снова вспомним план ГОЭЛРО.

В исключительно трудных условиях 1920 года Центральный Комитет партии, Ленин пошли не по пути мелких починок, заплат, а наметили план строительства социализма, опирающийся на самую прогрессивную форму энергетики — электричество. И в дальнейшем советская экономика проектировалась на перспективные, прогрессивные направления развития производительных сил, продолжая строго придерживаться ленинского курса на прогрессивное в науке и технике. Только поэтому в СССР раньше, чем где-либо, появились «катюши», космические корабли, атомный ледокол.

Учет требований экономических законов социализма воплощается в хозяйственной реформе: в усилении внимания к кооперативной форме собственности, повышении уровня хозяйственного расчета и материальной заинтересованности. Постепенном переходе к оптовой торговле средствами производства. Партия своевременно одернула тех, кто пытался заменить заработную плату общественными фондами потребления, смазать различие между двумя формами социалистической собственности.

Непременным элементом научного подхода в экономике является предвидение процессов и явлений, которые возникнут в будущем. Руководить — это значит предвидеть! Это правильное положение, возможно, более всего подходит к экономической деятельности, где будущее не вытекает однозначно из прошлого и настоящего.

Противоположностью научной объективности в экономике является волюнтаризм, причинивший немалый ущерб народному хозяйству СССР.

В экономике волюнтаризм проявлялся в игнорировании реальных возможностей и подмене их безответственным оптимизмом. Результатом было невыполнение тех или иных экономических задач и возникновение диспропорций.

В чем истоки волюнтаризма? Нельзя же объяснить его только особенностями характера или темперамента того или иного лица. Нельзя его сводить лишь к некомпетентности или безответственности, хотя они питают волюнтаризм.

Объективная возможность волюнтаризма заложена в самой системе, в самом процессе планирования. Не нужно бояться этих слов. Маркс и Энгельс писали,

что возможность религиозных воззрений объективно заложена в самом процессе научной абстракции. Когда вместо реальных яблока, груши, вишни мы создаем категорию «плод», то сотворяем нечто такое, чего в реальном мире нет. То же самое при планировании. Госплан располагает общественным продуктом определенного объема. Как он будет распределен, сколько металла пойдет на ремонт оборудования и сколько на выпуск холодильников — это зависит в немалой мере от людей, работающих в Госплане, в том числе от соотношения сил между отдельными управлениями Госплана. Здесь нет объективной меры, которая автоматически гарантировала бы необходимое соответствие. Если прибор, рассчитанный на сто двадцать семь вольт, включить в двухсотдвадцативольтовую сеть, то он выйдет из строя тут же. Если же годами не давать материалов на ремонт жилого фонда, то последствия станут очевидными не сразу.

Отсюда ощущение «экономической невесомости», испытываемое многими плановиками, а от него рукой подать до «чего хочу, то и ворочу». В некоторых социалистических странах существует термин «административное предприятие». Это значит, предприятие было построено не потому, что оно экономически необходимо, а потому, что по разным причинам этого хотели те или иные работники.

О возможности волюнтаризма, вытекающей из самого характера процесса планирования, хорошо сказано у Канта: «С о с т а в л я т ь п л а н ы — дело легкое и тщеславное, посредством которого даешь себе вид творческого гения, требуя того, чего сам не можешь исполнить, порицая то, чего не умеешь исправить, и предлагая то, чего сам не знаешь, где найти...»¹. Но плановая социалистическая экономика имеет и мощное противоядие против волюнтаризма. Им является демократизм, органически присущий социалистическому строю, науке. Широкое обсуждение проектов, представительные научные конференции и совещания, дискуссии, конкурсы и многие другие формы привлечения широкой общественности к экономической деятельности являются радикальным средством от волюнтаризма. К сожалению, в данной области возврат к ленинским нормам происходит крайне медленно. Госплан и другие экономические органы никак не отделяются от келейности. Разработка документов по переходу на новые формы управления народным хозяйством, проектов оптовых цен и других важных мер, к сожалению, все еще чрезмерно «засекречена».

Научный подход к экономическим проблемам никак не совмещается и с шаблонном, чиновничьим догматизмом, которые в масштабах такой огромной страны, как СССР, особенно вредны. Общеизвестно, какой ущерб был нанесен торопливой отменой многих льгот в некоторых районах страны, нежеланием учесть конкретные условия работ (при упорядочении заработной платы) и другими подобными актами. Особенно много шаблона в трудовых и финансовых нормах и нормативах, в практике кредитования. Без преувеличения можно сказать, что для научно-исследовательских учреждений, например, где регламентация менее всего возможна, шаблон — враг номер один. Но и другие отрасли народного хозяйства страдают не менее.

Ограничимся двумя анекдотическими примерами.

Первый касается геологии. Программу для геологоразведочных организаций, как и для строителей, утверждают в денежном выражении, в рублях. Допустим, что в действительности для получения необходимого результата пришлось пробурить не сто запланированных скважин, а всего тридцать пять и потратить лишь часть ассигнованных денег. План в таких случаях считался сорванным... И были партии, где бурили зря, «для плана».

Пример второй: совхозы и колхозы, экономно расходовавшие горючее, до недавнего времени платили штраф «за невыборку фондов».

Шаблон крепко въелся во многих работников, и истребить его нелегко. Он облегчает работу, не нужно думать, вникать. И только одно средство помогает — критика, гласность. Новый подход к управлению народным хозяйством, предоставление широких прав предприятиям поможет нам выкорчевать шаблон, к чему так страстно призывал в своих послеоктябрьских работах В. И. Ленин.

¹ И. Кант. Пролегомены Соцэкгиз М 1937 стр. 14.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

В данной статье уже несколько раз говорилось о необходимости подходить комплексно к проблемам экономики, так как они подчас взаимозаменяемы, переплетены, взаимозависимы. Мы вновь возвращаемся к этому вопросу, так как он очень злободневен. Трудно назвать еще профессию, где бы так приходилось воистину объять необъятное. К тому же время не стоит на месте: то, что давало положительный эффект, допустим, в 1955 году, может стать тормозом десять лет спустя. Все это выясняется при комплексном решении вопросов. Например, определяя наиболее выгодную этажность зданий, возводимых в городах, учитывали лишь издержки на строительство. Оказалось, что экономичнее всего пятиэтажные дома. Но стоило добавить затраты на городские сооружения — и вывод изменился коренным образом. Зачастую комплексными решениями пренебрегают строители гидростанций, не желающие учитывать издержки общества в связи с сокращением фонда пахотных земель и лесов. Плохо учитывают интересы сельского хозяйства и лесозаготовители. В погоне за более легким выполнением плана они нередко уничтожают водоохранные зоны, вызывают эрозию почв. Жизнь настоятельно требует постоянного усиления комплексности во всех возможных направлениях. Крупные открытия происходят на стыке наук: проникновение химии в технику открывает все новые свойства материалов; совершенствование разделения труда позволяет многие работы делать объединенными усилиями областей, союзных республик, социалистических государств. Нам думается, что узким местом является отставание в области разработок *теории комплексности*. Не общих рассуждений «про значение и пользу», а теории, могущей быть руководством к действию.

ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ

Слово это в нашей действительности не в чести. Его часто отождествляют с незаконными махинациями, блатом. И напрасно. Ленин не раз требовал воспитывать в коммунистах эту важную черту деловых людей. В эпоху мирного соревнования с капитализмом предприимчивость нужна коммунистам не менее, чем военные навыки и способности в годы войны. Особенно это относится к экономистам — в сфере экономики объективно больше возможностей для маневра. Чтобы их использовать для блага народа, и требуется живинка в деле, предприимчивость.

Можно бы привести сотни и тысячи ярких фактов на протяжении всех десятилетий жизни Советского государства, когда находчивость, изобретательность экономистов (в содружестве с рабочими, инженерами и другими) позволили «из ничего» делать продукцию, обеспечивать фронт и тыл, строить. Одно лишь перебазирующее сотен крупнейших заводов в тыл и организация их работы в короткий срок осени 1941 — лета 1942 годов дает материал для интереснейших книг и статей, которые, верим, будут написаны. А восстановление разрушенных районов? А стройки семилетки?

Хорошие примеры предприимчивости дают морской и воздушный флот СССР. Они активно и успешно борются «за место под солнцем».

В то же время только вялостью, неинициативностью, инертностью экономистов можно объяснить завоз в иные области и республики за тысячи километров простейших товаров домашнего обихода или гибель фруктов, которые могут и должны быть переработаны на месте.

Вопиющим примером недостатка предприимчивости является положение с туризмом в СССР. В Италии, Югославии, Франции и многих других странах счет туристам ведется на миллионы. Но ни в одной из этих стран нет такой совокупности красот, как водная магистраль Москва — Пермь, Закарпатье, районы Подмосковья и Закавказья и многие-многие другие. Туризм дает рынок для сельского хозяйства и народных промыслов, способствует преобразованию дорог, строительству гостиниц, транспорта и связи. Что, кроме предприимчивости, нужно для развития туризма? Денежные средства могут быть собраны путем выпуска туристских сертификатов (как это делал в конце двадцатых годов Автодор), строительные материалы для легких зданий имеют

всюду. Почему нельзя найти нигде путеводителей, справочников, открыток, сувениров? Какие фонды и лимиты из центра нужны для этого?

В условиях капитализма ежедневно и ежечасно идет «естественный отбор» деловых людей. Те консультанты, которые дают плохие рекомендации, изгоняются из фирм. Те предприниматели, которые туго маневрируют, вылетают в трубу. Некоторые советские экономисты считают, что и у нас необходима «труба», что без нее хозрасчет будет формальным. Мы не разделяем такого мнения: в экономике, как и в педагогике, поощрением можно достичь большего, чем наказанием.

Однако нельзя отрицать, что отсутствие риска понести материальный ущерб, так как средства производства обобществлены, способствует беспечности и флегматизму многих экономистов. К этому объективному основанию добавляются многочисленные административные рогатки и препоны. Известно ведь, что даже передача в подарок музею частной коллекции или библиотеки сопровождается для дарующего такими формальностями, которые далеко не каждому под силу преодолеть.

Предприимчивость следует воспитывать в людях, обучать ей так же, как анализу, обобщению, но, разумеется, другими методами. Вероятно, пример должны подать «школы деловых людей», созданные в виде особых факультетов в некоторых вузах страны. Пока, правда, эти факультеты являются обычными курсами повышения квалификации. Но постепенно они станут на ноги, и можно надеяться, что обучение предприимчивости займет подобающее место.

ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ

Широкое хождение имеет такой обывательский анекдот. На вопрос, сколько будет пятью пять, экономист отвечает: «А сколько вам надо?»

Разумеется, анекдоты — не исходная база для исследования. Но ведь не придуман он относительно врачей, агрономов или инженеров. Дыма без огня чаще всего не бывает.

Речь идет именно о принципиальности, а не о честности. Когда приписывают к отчету продукцию, фактически не изготовленную; когда зря передают продукцию с одного завода на другой, чтобы увеличился «вал»; когда применяют неправильные нормы и расценки, незаконно выдают и берут премии и так далее, то это мошенничество. Мы же говорим о принципиальности, а следовательно, и о беспринципности.

Следует сказать, что профессия экономиста допускает соблазн поступиться принципом, чтобы не спорить с начальством. Дело в том, что результат беспринципности виден далеко не сразу, а то и вовсе тонет в море действий и противодействий, причин и следствий. «Зачем мне сегодня, в 1966 году, спорить с начальством относительно проектировки на 1970 год, — рассуждает иной незадачливый экономист. — Лучше мне уступить, а через пять лет вряд ли кто с меня спросит».

До недавнего времени Госплан вместе с проектом годового плана представлял список постановлений, которые не могут быть в плане учтены из-за отсутствия ресурсов. Между тем ни одно постановление не выходило без визы Госплана. Значит, люди, визировавшие нереальное постановление, вводили в заблуждение правительство...

Еще два примера. В семилетнем плане была принята совершенно правильная установка на повышение удельного веса нефти и газа в топливном балансе страны. Нашлись экономисты, внесшие «вклад» в решение этой проблемы тем, что свернули строительство новых угольных шахт, резко сократили материальное поощрение шахтеров. Видимо, такие же экономисты, чтобы показать успехи в применении железобетона в строительстве, закрыли почти восемь тысяч кирпичных заводов из двенадцати тысяч заводов страны.

Немалый вред приносят работники, скрывающие действительное положение вещей путем неправильного подбора данных, односторонним освещением фактов, тем, что говорят не только правду и не всю правду. Некоторые из них оправдывают такие действия чуть ли не патриотизмом, нежеланием выставлять напоказ недостатки. Хочется повторить приведенные в одной из статей И. Эренбурга слова Монтескье: «Нужно

быть правдивым во всем, даже в том, что касается родины. Каждый гражданин обязан умереть за свою родину, но никого нельзя обязать лгать во имя родины». В данном случае ложь или полуправда еще более омерзительны потому, что они вызваны не обязательством, а карьеризмом или трусостью.

История советской экономики полна примеров высокой принципиальности экономистов. Она проявлялась в первые годы Советского государства, когда закладывались основы народного хозяйства, и в последующем — при составлении и исполнении пятилетних планов, в монографиях и учебниках, в пропаганде особенностей и преимуществ социалистической экономики. Ни атаки буржуазных спецов внутри и вне страны, ни лесть и заигрывание, ни «объективные» и «разумные» советы, ни провокации не сбили и не сбывают советских экономистов с марксистско-ленинских позиций.

Мы хотим, однако, закончить этот раздел статьи не таким масштабным рассмотрением проблемы, а более простым, житейским примером. Мы расскажем историю, происшедшую осенью 1942 года, и на ней покажем место подвигу и принципиальности в экономике.

Дело происходило осенью 1942 года, когда подход немцев к Сталинграду создал огромные трудности в снабжении мазутом предприятий страны. В это время, когда каждая цистерна была на вес золота, местные организации одного важного центра военной промышленности сообщили, что у них обнаружены значительные запасы торфа и что через три — шесть месяцев они переведут электростанции и котельные военных предприятий на торф. Велика была радость по этому поводу, но на всякий случай уполномоченному Госплана СССР по данной области было поручено проверить представленный материал.

От уполномоченного поступил доклад, полностью отрицающий возможность сколько-нибудь значительного использования торфа в ближайшие несколько лет. Автор доклада был вызван для устного сообщения. Он подвергся резкому допросу, выслушал град обвинений и оскорблений, заседание длилось весь вечер и всю ночь, но уполномоченный твердо стоял на своем: идея использования торфа — авантюра. Переоборудование котельных грозит остановкой военных заводов. Дело закончилось тем, что его попросту выгнали из кабинета. «Я уйду, разумеется, — ответил уполномоченный, — но заводы на торфе работать не будут». Настойчивость уполномоченного побудила еще раз проверить его выводы. Они полностью подтвердились.

* * *

Талант потому и талант, что сверх того, на что он условно расчленяется, остается еще что-то, чему трудно придумать рубрику. Как назвать это «что-то»: озарением, сверхинтуицией? Оно известно в любой сфере человеческой деятельности. Мы хотим показать его на двух событиях в области экономики.

Первое — переход к нэпу в 1921 году. В стране, где были почти полностью ликвидированы товарно-денежные отношения (во всяком случае официально), при абсолютном господстве централизованного административного управления экономикой разглядеть единственно возможный выход в переходе к хозрасчету, допущении торговли, в том числе частной, концессий, частного предпринимательства, сформулировать суть такой политики, отстоять ее и провести в жизнь — для подобного нет названия, кроме гениальности.

Второе — неизмеримо меньшее по значимости, но поражающее по замыслу и его осуществлению: денежная реформа 1922—1924 годов. Из океана денежных знаков, ценность которых падает непрерывно, показались островки-червонцы. Тоже напечатанные на бумаге, с тем же государственным гербом. Но с неколебимым курсом: один червонец равен десяти золотым рублям. И платили царской золотой десяткой за червонец, а одно время даже доплачивали по двадцать — пятьдесят копеек сверх номинала...

Загадочны и таинственны, а потому привлекательны пути в физику и химию, биологию и астрономию. Но не менее сложны и неизведанны перспективы экономической науки. И только недалекие люди полагают, что дело экономистов нехитрое: считают что-то на счетах.

ЛЮДИ

Великое будущее экономической науки и практики требует большого числа людей, специально отобранных и хорошо обученных. В этой области явное неблагополучие. А исток неблагополучия — в пренебрежении к экономике со стороны значительной части молодежи.

По данным обследования, проведенного Новосибирским государственным университетом, при выборе профессий следовали «дорогой отцов» 54 процента детей «техников». 32 процента «естественников» и лишь 27 процентов «гуманитариев». В составе последней группы нет ни одного юноши... При оценке (по десятибалльной системе) выпускниками школ степени привлекательности экономики последняя получила лишь 5,28 очка, в том числе у юношей — 4,30. Этот балл — самый низкий из всех наук.

Удивляться нечему. Популярных экономических журналов у нас нет, в общих журналах экономические очерки — редкие и не всегда умные гости. Начала экономики в школах не обучают, летних сборов и олимпиад не проводят. Научно-популярных фильмов по проблемам экономики не снимают. В серии «Жизнь замечательных людей» нет книг о Кржижановском, Межлауке, Квиринге, Вознесенском. По своей специфике экономические вузы на всевозможных смотрах и «днях открытых дверей» выглядят бледно по сравнению с техническими: нет двигающихся моделей, не мигают лампочки. У молодежи составляет впечатление, что дело это не увлекательное, не стоящее.

Такое впечатление подтверждается вроде бы и тем, что работают же на тысячах должностей экономистов люди без специального образования. И ничего, справляются. Зачем же идти в вузы?

В нынешнем году был большой наплыв на экономические факультеты. На отделение экономической кибернетики Московского института имени Плеханова было подано четырнадцать заявлений на одно место. Это приятный факт, но его значение не следует переоценивать. Далеко не каждый из поступавших знает, что такое экономика, и хочет стать экономистом. Многих привлекает математика.

Будущее экономики требует, чтобы была разработана в общегосударственном масштабе комплексная программа отбора и подготовки экономистов и обучения экономике всех других специалистов, занятых в сфере хозяйствования. Надо разъяснить миллионам людей (и убедить их), что экономика — это не просто игра в цифры, а важная область человеческой деятельности, от которой во многом зависит победа коммунизма. Станки и котлы, турбины и линии электропередач, минеральные удобрения и полимеры — это не просто технические открытия и изобретения, а оружие раскрепощения человечества от власти сил природы. В этом смысл слов А. П. Чехова, взятых в качестве эпиграфа к данной статье.



В МИРЕ НАУКИ

Академик Л. А. АРЦИМОВИЧ

★

ФИЗИК НАШЕГО ВРЕМЕНИ

(Заметки о науке и ее месте в обществе)

Быстрое изменение всех сторон жизни человеческого общества приучило нас пользоваться историческими параллелями и противопоставлениями для того, чтобы выделять и оттенять черты сегодняшнего дня на фоне сравнительно недалекого прошлого.

...Штыковая атака пехоты на окопы, опутанные колючей проволокой, и взрыв мегатонной термоядерной бомбы; дрожащие, нечеткие кадры незатейливых кинокомедий с участием давно забытого Макса Линдера и жизнь, такая, как она есть, без прикрас, в современном итальянском кинофильме; изба чалдона в глухой тайге и панорама гигантской электростанции на одной из великих рек Сибири...

Такие сравнения обладают, по-видимому, одним существенным недостатком: они набили оскомину, превратившись в стандартный публицистический прием. Слишком много дидактики приходится в наше время на каждого взрослого (не говоря уже о маленьких), а сравнение прошлого и настоящего — это один из главных дидактических элементов. И все же трудно обойтись без сравнительного анализа, когда размышляешь о таком значительном направлении человеческой деятельности, каким является дальше всего продвинутая область науки — современная физика. Он позволяет продемонстрировать, как одна из безобидных форм любознательности превратилась в кладезь ослепительных чудес и в инструмент, самый опасный для нас и для будущих поколений, как изменилась в связи с этим роль науки в жизни общества, какую трансформацию претерпели методы и формы научных исследований, как вместо небольшой группы ученых по призванию появилась профессиональная армия научных работников и возникла сложная проблема организации науки в масштабах больших государств.

Сдвинемся поэтому во времени на небольшое расстояние назад и остановимся на рубеже, где девятнадцатый век смыкается с двадцатым. Такой выбор исторического фона становится естественным, если посмотреть, как развивалась физическая наука. График, с помощью которого можно было бы изобразить процесс развития физики в зависимости от времени, по форме должен быть очень похож на взлетную траекторию современного скоростного самолета. Сравнительно длинный разбег, плавный отрыв от земли и — почти немедленно вслед за этим — переход к крутому подъему со все ускоряющимся набором высоты.

Для физики рубеж двух столетий отличает тот короткий интервал времени, когда все круто пошло вверх. Это конец взлетной дорожки и преддверие новой эры, в начале которой атом из абстрактного образа, рожденного фантазией древних философов, превращается в реальный объект физического исследования, чтобы затем выйти на арену военной и политической истории. Атмосферу этого переходного периода, от которого нас отделяет всего несколько десятилетий,

трудно почувствовать на каком-либо одном примере. Представление о нем начинает складываться, когда мы перелистываем монографии и учебники физики, изданные в то время, знакомимся с самодельными приборами Рентгена, Дж. Дж. Томсона и Резерфорда, рассматриваем старинные фотографии физиков, собравшихся на очередном Сольвеевском конгрессе или уединившихся в своей тесной лаборатории, и читаем те немногие строчки петиции, которыми широкая пресса откликнулась на страницах популярных иллюстрированных журналов на поразительные научные открытия.

Интересующиеся историей развития научных идей прежде всего обратят внимание на глубокий разрыв между физикой университетских учебников той эпохи и физикой, рождавшейся на глазах ее современников. Взглянем на учебник и бегло просмотрим его. Перед нами несколько томов в твердых, тяжелых переплетах, заключающие в себе энциклопедию избранных физических знаний. Эти тома полны величием незбылемых заповедей природы, отраженных в торжественных формулировках законов ньютоновской механики, в первом и втором начале термодинамики, в уравнениях электростатики и магнетизма, в классических опытах по интерференции и дифракции света. Все это так фундаментально, так давно отстоялось и выглядит таким законченным. Ветер новых идей и новых открытий почти не коснулся этих страниц.

А атомы и электроны? Они, вероятно, все же существуют, но достоверность рассуждений и теорий в этой новой области так невелика. Поэтому они еще не могут претендовать на равное место с твердо установленными физическими законами. В крайнем случае им можно уделить в учебнике некоторое место, но лучше дать его мелким шрифтом.

В какой-то степени этот налет консерватизма — неизбежный недостаток любого учебника.

Побуждаемый необходимостью представить науку в виде стабильного комплекса сведений, автор учебника соответственно выбирает материал, отбрасывая то, что ему кажется недостаточно хорошо проверенным, проблематичным и избыточным. В результате он невольно добивается того, что у читателя, приступающего к изучению новой области, создается впечатление о ее законченности. В основном как будто бы все уже сделано и теперь остается главным образом детализировка. Поэтому учебник может иногда ослабить волю читателя к самостоятельному мышлению, демонстрируя ему науку как собрание хорошо охраняемых памятников прошлого, а не как дорогу в окутанное туманом будущее. Существует также чисто психологическая причина консерватизма учебников. Они обычно пишутся людьми старшего поколения для начинающей молодежи, в то время как среднее поколение своими исследованиями меняет лицо науки, расширяя или ломая сложившиеся ранее представления. Контраст между научным мировоззрением двух следующих друг за другом поколений становится особенно резким тогда, когда начинается переломный период в развитии науки. Рассматриваемая нами эпоха служит для этого хорошим примером.

В конце XIX века было в основных чертах завершено построение тех разделов физики, в которых главная роль принадлежит законам, выведенным путем широкого обобщения данных опыта. Здесь еще не было настоящей необходимости искать под поверхностью фактов скрытую игру атомных или молекулярных механизмов.

К таким разделам принадлежит ньютоновская механика, геометрическая и волновая оптика, учение об электрическом и магнитном поле и — с некоторой оговоркой — термодинамика (общая теория тепловых процессов).

Построение этого феноменологического фундамента, на котором зиждется физика обычных, макроскопических явлений, — великое завоевание двух прошлых веков. Оно было начато еще Галилеем и Ньютоном и закончено Максвеллом и Гиббсом. Математическая стройность теории, базирующейся на простых исходных положениях, проверенных точнейшими измерениями, в соединении с нагляд-

ностью представлений и образов придавала физике конца XIX века ту гармоничность, которая легко вызывает иллюзию законченности.

Некоторые из выдающихся физиков рассматриваемой эпохи высказывались в том духе, что важнейшие рубежи в физике уже пройдены и общие основы научного мировоззрения твердо установлены. Такие мнения нельзя просто отбрасывать как проявление индивидуальной близорукости (легко быть дальнзорким постфактум) или как результат вредного влияния модных философских идей. В действительности они были естественным продуктом определенного периода в развитии науки и психологически были в какой-то степени оправданы.

Вместе с тем в это же самое время в лабораториях Рентгена, Кюри, Дж. Дж. Томсона и Резерфорда быстро накапливались новые экспериментальные факты, которые подготовили революцию в физической науке. Это были первые шаги новой физики, исследующей явления микромира.

Одновременно со вторжением эксперимента в нетронутую глубину атомных процессов появились явные признаки грядущего радикального пересмотра той научной идеологии, основы которой казались незыблемыми и почти самоочевидными на протяжении всей истории человеческой мысли. Пересмотру подлежали прежде всего фундаментальные абсолюты классики: абсолютное пространство, абсолютное время, абсолютная причинность и абсолютное тождество пространственно-временного описания процессов для макромира и микромира.

В 1900 году Планк предложил квантовую теорию теплового излучения, основным элементом которой было предположение о дискретном характере поглощения и испускания световой энергии. Это предположение было совершенно чуждо классическим представлениям о непрерывности физических процессов.

В 1903 году Резерфорд и Содди выдвинули идею о самопроизвольном распаде радиоактивных атомов, при котором индивидуальная судьба каждого атома регулируется законами случайности.

В 1905 году Эйнштейн создал специальную теорию относительности. Это был сокрушительный удар по аксиомам классической физики: были разрушены представления об абсолютном времени. Возникла новая смелая концепция пространства и времени, вначале встреченная большинством современников крайне скептически и завоевавшая всеобщее признание только через долгие годы.

Итак, нашим непосредственным предшественником был физик 1900 года. Постараемся представить себе то, что его окружало, и ту атмосферу, в которой ему приходилось вести свои исследования. Каково было бы первое впечатление, если бы мы приоткрыли двери его лаборатории?

Тесное, непригодное для демонстраций помещение — нечто аналогичное препараторской, где в наше время готовятся демонстрации по физике для студентов периферийного педагогического или медицинского вуза. Небольшой шкаф с наиболее ценными приборами и запасом необходимых для эксперимента мелочей: разрозненных деталей оптики, проволоки, металлической фольги, кварца и кварцевых нитей, ртути, замазок, резины, реостатов, катушек и самодельной аппаратуры. В лаборатории господствует система натурального хозяйства. Детали экспериментальных установок и специальные измерительные приборы изготавливаются на месте. Поэтому мы находим здесь токарный станок — один из наиболее ценных элементов оборудования, набор слесарных инструментов, стеллажи или шкафы, где хранятся химические реактивы, стекло, эбонит и поделочные металлы. Где-нибудь в углу стоят аккумуляторы и гальванические элементы, вносящие свой кислый запах в общий неуютный аромат лаборатории. Мелкие капли ртути, блестящие в щелях деревянного пола, — внешний признак того, что под полом собрались большие ртутные лужи. На грубых, но прочных лабораторных столах размещаются экспериментальные установки, иногда довольно сложные, но всегда сравнительно небольшие и недорогие в изготовлении. Эти самодельные настольные сооружения кажутся очень скромными, если сравнить их, например, с большими телескопами астрономических обсерваторий.

Обычный штат лаборатории — ее глава, его ассистент, два-три молодых человека, делающих свои первые (а часто и последние) шаги в науке, и пожилой preparator — он же механик, электрик, стеклодув, хранитель традиций и наиболее положительная фигура в лабораторном ансамбле.

Занятия физикой, как и другими естественными науками, в те годы не сулили блестящей карьеры, и, может быть, поэтому среди молодежи, начинавшей исследовательскую работу, относительно высокий процент составляли те, для кого движущим импульсом служил неподдельный интерес к науке. Для многих, однако, кратковременное пребывание в лаборатории было лишь необходимой ступенькой на пути к верному и спокойному будущему преподавателя высшей школы.

В 1900 году всех известных физиков России можно было усадить на одном диване, а сумма средств, расходованных в нашей стране на физические исследования, была во много раз меньше, чем расходы на содержание конюшен дворового ведомства.

В Германии, Англии и Франции, которые в это время были средоточием научной мысли, финансирование физических исследований также отнюдь не отличалось большой щедростью. В этих условиях одним из основных залогов успеха в научной работе было рукодельное мастерство ученого и универсальное знание им всех видов ремесла, применяемых в лабораторной практике. Хороший физик-экспериментатор должен был быть прежде всего мастером золотые руки. Он собственноручно изготовлял наиболее ответственные детали каждой новой экспериментальной установки, собирая их с начала и до конца в своей лаборатории.

Сейчас, когда мы рассматриваем в лабораторных музеях самодельные приборы, с помощью которых были сделаны открытия, положившие начало современной физике, то иногда они кажутся несколько неуклюжими и неаккуратными. И в то же время каждый такой прибор, как правило, был конечным итогом долгого, терпеливого труда, где неудача следовала за неудачей до тех пор, пока упорство и искусство экспериментатора не побеждали затяжную полосу невезения.

Что могло быть наградой за этот упорный труд? Прежде всего ощущение близкого контакта с глубокими явлениями физического мира, возможность наблюдать процессы, которые были непосредственным свидетельством поведения атомных частиц, и наконец те исключительные моменты в жизни исследователя, когда нечто давно жданное или же совершенно неожиданное заставит в первый раз затрепетать стрелки приборов или бросится в глаза на еще не высохшей фотопластинке.

У физиков начала XX века было перед нами одно драгоценное преимущество — осязаемая близость к объекту исследования. Вот они, эти атомные частицы. Вы видите, какие вспышки они дают, ударяясь об экран из сернистого цинка. А здесь, в этой круглой колбе с несколькими отростками и металлическими электродами, вставленными с разных сторон, зеленый блик гуляет по стеклу, когда мы присоединяем электроды к примитивному источнику высокого напряжения — катушке Румкорфа. Сейчас, когда вечерами миллионы людей смотрят на экраны телевизоров, происхождение такого блика понятно даже школьникам средних классов. А в конце прошлого века из таких наблюдений зарождались представления о микроструктуре вещества.

У поколения поздних золотоискателей, то есть у физиков второго послевоенного периода, естественно, появляется зависть к людям, на долю которых досталась вся свежесть первого знакомства с электронами, квантами света и быстрыми атомными частицами.

Зато у них не было такого завидного положения в обществе, как у нас, за ними не гонялись представители радиовещания и телевидения и их высказывания не печатались в газетах на видном месте. Самая замечательная работа, выполненная ими, вызывала живой интерес только в очень узком кругу специалистов. Это было время, когда никто не баловал тщеславие ученого и его вознагражде-

нием было только удовлетворение результатами собственной работы. Физики в этом отношении не выделялись среди представителей других разделов естествознания. В конце XIX и в начале XX века не было причины ставить физическую науку на особое место, хотя Резерфорд и говорил, что все науки можно разделить на две группы, а именно — на физику и коллекционирование марок.

Широким слоям общества было почти ничего не известно, да и не очень интересно было знать о том, что делается за стенами научных лабораторий. Только в тех исключительных случаях, когда необычность нового физического явления была прямо в глаза, как это имело место при открытии рентгеновских лучей, любопытство широкой публики могло быть возбуждено до высокого уровня. Но здесь действовал чисто зрелищный эффект — удивление от неожиданного.

Читателям газет и толстых журналов были гораздо ближе представители гуманитарных наук — историки и археологи, философы и филологи. Связанные непосредственно с социальными проблемами своего времени и миром искусства, они, естественно, могли казаться эталоном мудрости и хранителями завоеваний мировой культуры. Если можно было искать ключи для решения важных вопросов о границах познания, о смысле жизни, о путях и целях прогресса, то только в жилетных карманах ученых гуманитарных специальностей. Их связывали узы дружбы с выдающимися писателями, популярными артистами, композиторами и художниками. Вы могли встретиться с ними в политических салонах или на художественных выставках для избранных. На современном языке можно сказать, что они были носителями информации, которая наиболее высоко ценилась интеллигентной прослойкой общества того времени.

Представители естественных наук могли рассчитывать на глубокий авторитет и широкое признание лишь в тех случаях, когда их работы по своему значению выходили за рамки специальных дисциплин или же разрушали веками державшиеся догмы. Что касается последнего, то за всю историю науки до начала XX века это произошло только дважды — при появлении теории Коперника и учения Дарвина.

Между прочим, нетрудно заметить, что у гуманитарных наук есть перед естественными науками очевидное преимущество с точки зрения любого специалиста. Оно состоит в разной степени доступности соответствующей научной информации. В одном случае эта информация может быть передана языком, понятным каждому, а в другом она закодирована посредством очень сложного шифра и может пробить дорогу к широкому читателю только с помощью популяризации. А ведь известно, что популяризация — это, как правило, все-таки суррогат знания, иллюзия прикосновения к науке.

Попытаемся несколько обобщить наши представления об основных чертах всего того, что относится к сфере естественных наук и в особенности к физике в рассматриваемую эпоху.

Наука наших предшественников была произвольным и необязательным продуктом свободной творческой деятельности очень небольшой группы любителей. Традиционно наука была связана с университетами, но для университетского персонала она играла скорее роль приятного отвлечения от педагогической работы, чем основного занятия. Научные исследования, взятые сами по себе, в это время еще не принадлежали к категории оплачиваемого интеллигентного труда. Профессия научного работника отсутствовала в той многочисленной группе профессий, в которую входили различные виды деятельности работников интеллигентного труда. Проще говоря — наука не была службой. Научных учреждений государственного подчинения почти не существовало (за исключением небольшого числа астрономических обсерваторий, издавна считавшихся необходимым элементом престижа для каждого развитого государства). Такое положение вещей было естественным в то время, когда научные исследования не оказывали непосредственного и немедленного воздействия на технику, экономику и политику. Промежуток времени между появлением новой научной идеи и моментом, когда

она начинала приносить ощутимые практические плоды, обычно был настолько велик, что влияние науки на всеми видимый прогресс техники трудно было уловить. До конца прошлого века такое влияние можно было вообще отрицать¹, так как не наука вела за собой технику, а скорее техника подталкивала науку. В общем же, они развивались по параллельным и практически независимым путям. Паровая машина Уатта и паровоз Стеффенсона успешно работали еще задолго до того, как Карно сделал первый шаг в разработке принципов термодинамики. Когда Эдисон построил в Нью-Йорке первую электростанцию, то теория электромагнитных явлений уже существовала. Однако великий изобретатель ни в какой степени не руководствовался выводами науки. Ему были неизвестны даже законы Ома и Кирхгофа — азбука теории электрических цепей.

В конце прошлого века корабли науки, идущие по глубокой воде, начали быстро обходить следующие параллельным курсом по мелководью флотилии технических изобретений. Но все же воздействие научных открытий на технику оставалось медленным и слабым. Подавляющему большинству людей того поколения, в жизнь которого впервые вошло радио, осталось неизвестным, что в основе этого достижения техники лежали уравнения, написанные скромным профессором физики за пятьдесят лет до этого.

Эта кажущаяся невесомость результатов делала науку чем-то очень далеким от практических задач повседневной жизни человеческого общества. Она придавала ученым положение, аналогичное положению представителей различных форм искусства, но только без той романтической дымки, которая по традиции окружала последних.

Обратимся теперь для сравнения к нашему времени. За несколько десятилетий положение и роль науки в жизни общества радикально изменились. Состояние научных исследований, их масштаб и темпы развития — это сейчас важнейшие признаки, по которым можно судить о могуществе государства. Наука стала одним из основных элементов национального престижа. Исследования во всех областях естествознания приобрели настолько широкий размах, что в них оказались вовлеченными десятки и сотни тысяч людей. Чрезвычайно сильно возросли расходы на проведение экспериментов, и поэтому научные исследования заняли заметное место в общей сумме национальных расходов каждой большой страны.

Расшифровка строения атома и открытие новых квантовых законов механики микромира подняли физику в первой половине XX века на головокружительную высоту. Ясно обозначилась гегемония физики среди других отраслей естествознания. Природу сил химической связи удалось объяснить только на основе идей, рожденных квантовой механикой. После того как это произошло, химия в идейном отношении должна была подчиниться физике. В астрономии на первый план выдвинулись астрофизические проблемы, естественно входящие в общий широкий строй физической тематики нашего времени.

Все переменялось в физике — и проблематика, и психология мышления, и самый характер исследований.

Изменение в характере исследований было связано прежде всего с тем, что на смену самодельным приборам настоящих масштабов пришли установки такого рода, как современные ускорители заряженных частиц, исследовательские атомные реакторы, спутники и космические корабли для исследования околоземного пространства и планетной системы, плавучие лаборатории акустиков и геофизиков, до краев заполненные сложной аппаратурой, и т. д. Изготовление такой аппаратуры стало делом промышленности и превратилось в самостоятельную отрасль техники — точнее говоря, породило целую группу новых технических областей.

¹ Иллюстрацией могут служить слова Стендаля из «Записок туриста»: «А в машинах, как и в политике, важен только опыт; теория — это лишь мечта».

Возникли специальные конструкторские бюро для проектирования уникального научного оборудования, изготовление которого во многих случаях под силу только крупнейшим промышленным предприятиям. Эта индустриализация науки неизбежно должна была привести к новым методам проведения экспериментальных исследований. Индивидуальная научная работа в наиболее важных разделах физики уступила свое место коллективным научным разработкам. Так, например, в осуществлении одного эксперимента по физике элементарных частиц на большом ускорителе фактически участвует по меньшей мере несколько десятков людей — те, кто планирует эксперимент, управляет работой ускорителя, конструирует, изготавливает, устанавливает и налаживает сложную регистрирующую аппаратуру; те, кто ведет первичную обработку и отбор результатов измерений; те, кто с помощью вычислительных машин получает количественные характеристики исследуемых процессов, и наконец те, кто обсуждает эти результаты, сравнивает их с предсказаниями теории и придает им компактную форму журнальных статей.

В цепочке людей, связанных одним экспериментом, мы находим физиков-теоретиков, физиков-экспериментаторов, лаборантов-наблюдателей и лаборантов-сборщиков, программистов и вычислителей, конструкторов, инженеров-электриков, обслуживающих ускорители, и квалифицированных рабочих и техников разных профессий (электриков, радистов, вакуумщиков, сантехников и т. д.)¹. Естественно, что в условиях, когда ощущается инерция громоздкого оборудования, когда аппаратура готовится к работе месяцами, а иногда и годами, когда успех работы невозможен без строгого согласования всех ее этапов и элементов, отдельный участник исследования поставлен в такие рамки, что ему трудно полностью продемонстрировать свои возможности (научных работников много, а ускоритель один). Рутинный элемент в экспериментальных исследованиях приобретает значительно большую роль, чем это было прежде. Требуется большое число исполнителей, которые, с одной стороны, должны обладать достаточно высокой специальной квалификацией и, с другой стороны, не обязательно должны проявлять большую инициативу. Первому требованию в настоящее время удовлетворяет большинство оканчивающих физические вузы, но не все эти молодые люди согласны мириться с пассивной ролью исполнителей. Впрочем, противоречие интересов между физиками с различным стажем и опытом, работающими на больших установках, пока еще не имеет удручающего характера, и при правильной организации исследований талантливые молодые люди могут найти путь для полного проявления своих способностей. Здесь следует подчеркнуть слово «организация» — оно должно быть написано большими буквами на знамени современной науки.

Непрерывный рост средств, затрачиваемых на физические исследования, и то внимание, которым они окружены, есть прямое следствие громадного значения практических применений современной физики. Нерадостно об этом напоминать, но физика приобрела авторитет прежде всего благодаря тому, что на основе ее открытий было создано самое мощное оружие массового уничтожения. В дальнейшем, однако, оказалось, что физические исследования находят практические приложения исключительной ценности не только в области военной техники. Основные разделы современной физики стали почти неисчерпаемым источником новых идей, революционизирующих главные направления техники — энергетику, электротехнику и радиотехнику, технологию обработки металлов, оптическую технику и т. д.

¹ Положение может вскоре измениться благодаря быстрому прогрессу в автоматизации экспериментов. Непосредственная (прямая) связь экспериментальной установки с вычислительной машиной, обрабатывающей результаты измерений и управляющей процессом по заранее заданной программе позволяет исключить ряд промежуточных звеньев и свести к минимуму численность персонала, непосредственно принимающего участие в эксперименте. В принципе один человек может один раз нажать одну кнопку — и вся информация будет получаться автоматически. Однако объем и сложность подготовительной работы при этом не уменьшаются.

Благодаря этому физика первой среди других научных дисциплин приобрела общегосударственное значение. Один за другим ее разделы перешли в разряд особо опекаемых. Дождь щедрых ассигнований вызвал после второй мировой войны размножение новых исследовательских центров и обеспечил развитие научных разработок по широкому тематическому диапазону. Резкое увеличение масштаба и интенсивности исследований привело к тому, что физика, сохранив за собой главенствующую роль в развитии естественно-научного мировоззрения, вместе с тем превратилась в своеобразную новую отрасль индустрии. Это массовое производство интеллектуальных ценностей — больших и малых научных открытий, новых сведений о свойствах материи, новых методов и новых теорий. Около шестидесяти тысяч статей, заметок и монографий в год — таков валовой объем этого производства, выраженный в формальных единицах.

Конечно, это совсем необычная индустрия. Ее своеобразие состоит в том, что наиболее ценные продукты ее производства нельзя не только запланировать, но даже предвидеть заранее. Такова наука. Неизвестно, на какой из веток ее высокого дерева вырастет золотое яблоко успеха. Даже такой замечательный результат, как освобождение внутриядерной энергии, появился не на главной линии развития ядерной физики. По существу он связан с тем случайным обстоятельством, что в элементарном акте деления при захвате одного нейтрона ядро урана выбрасывает два новых нейтрона и поэтому процесс деления урана может при определенных условиях носить лавинный характер. Это, конечно, не типичный случай. В подавляющем большинстве физических исследований мы имеем дело с более простой ситуацией, когда результатом работы бывает очень небольшой шаг в заранее заданном направлении — расширение или уточнение полученной ранее информации.

При грубой классификации физические проблемы можно разделить на два главных класса: аналитические и синтетические. В проблемах аналитического характера мы ищем принципиальную основу глубоких процессов, происходящих в природе, все время находясь на грани совершенно неизведанного. Такое положение в настоящее время характерно для двух крайних направлений физической науки — физики элементарных частиц и астрофизики, связанных с изучением свойств материи в самых малых и самых грандиозных объемах. Выбор конкретных целей исследования на этих направлениях диктуется внутренней логикой развития науки. Именно здесь мы можем ожидать революционных потрясений основ научной идеологии.

Во всех остальных физических проблемах, которые следует отнести к классу синтетических, ситуация иная. Зная структурные элементы, из которых построена та или иная физическая система (например, кристалл, жидкость, плазма), мы должны до конца расшифровать ее архитектурный план и объяснить механизм процессов, происходящих в системе, на основании общих законов, управляющих взаимодействием отдельных частиц (вывести свойства коллектива из свойств образующих его элементов).

Следует отметить одно характерное свойство проблематики этого класса. Движущим стимулом в разработке большинства относящихся сюда вопросов служит не только и даже не столько логика развития научных идей, сколько перспективы разнообразных практических применений (иногда близкие, но довольно ограниченные по своему значению, а иногда далекие, но очень завлекательные). Этот стимул оказывает сильное влияние на психологию физического мышления и на методы подхода к решению научных проблем. Вместо традиционного для науки вопроса «как это объяснить?» главным вопросом, на который должно дать ответ научное исследование, становится «как это сделать?». А «сделать» нужно новое вещество или новый процесс с заранее намеченными свойствами. На многих направлениях физики грань между наукой и техникой стирается и цепь научных исследований непрерывно переходит в последовательность технологических и конструктивных разработок.

Таким образом, современная физика — это своего рода двуликий Янус. С одной стороны—это наука с горящим взором, которая стремится проникнуть в глубь великих законов материального мира. С другой стороны — это фундамент новой техники, мастерская смелых технических идей, опора обороны и движущая сила непрерывного индустриального прогресса.

Во многих популярных книгах и журналах легко обнаружить стремление показать, что движение физики с каждым годом ускоряется, что на переднем крае ее наступления сплошным потоком следуют друг за другом открытия все возрастающего значения и одна смелая теория открывает дорогу следующей за ней. Казало бы, так и должно быть при коллективном научном творчестве и быстром обмене научной информацией. Каждая новая идея в этих условиях должна мгновенно подхватываться и развиваться дальше, становясь исходной точкой некоторого лавинного процесса. Однако на самом деле все обстоит сложнее. С каждым годом физикам приходится пробиваться через все более глубокие слои все более твердой породы. Все то, что лежало на поверхности, давно открыто, исследовано и понято. Новые закономерности в мире элементарных частиц, относящиеся к дистанциям порядка 10^{-15} см, или же в мире недавно открытых сверхзвездных объектов, отделенных от нас миллиардами световых лет, требуют для своего исследования и осмысливания крайнего напряжения усилий физиков и астрофизиков, непрерывного технического перевооружения лабораторий с переходом к экспериментальным установкам все более грандиозного масштаба и поистине астрономической стоимости. При работе на самом переднем крае науки возможности используемой аппаратуры исчерпываются очень быстро. Поэтому темп продвижения физики на тех ее направлениях, которые имеют наибольшее принципиальное значение, определяется в значительной степени скоростью перестройки технологической базы исследований, а эта скорость зависит от ряда факторов экономического и технологического характера, не связанных с непосредственными целями экспериментов. Для того чтобы соорудить, скажем, ускоритель заряженных частиц на сто — двести миллиардов электрон-вольт (таких пока еще нет), потребуется не менее десяти лет, начиная с того момента, когда вопрос о таком строительстве будет впервые серьезно поставлен. К этому надо добавить, что не всякое измерение, выполненное на большой установке, позволяет существенно продвинуться вперед. Как правило, результаты большого значения получаются только в экспериментах типа поисков иголки в стоге сена. Приходится просматривать десятки тысяч снимков, сделанных во время работы большого ускорителя, пытаться найти среди множества зарегистрированных на них «банальных» процессов взаимодействия быстрых частиц новую форму такого взаимодействия, существование или отсутствие которой имеет решающее значение для проверки теоретических идей.

На языке, близком экономисту, можно сказать, что за последние годы в физике происходит непрерывное и чрезвычайно быстрое увеличение себестоимости научных открытий (то есть материальных и интеллектуальных затрат, связанных с каждым из них). Для того чтобы в какой-то степени скомпенсировать влияние этого обстоятельства на темпы движения науки, необходимо быстро увеличивать ассигнования и численность научных работников. Однако нужно иметь в виду, что на самых трудных участках научного фронта успехи непропорциональны затратам и штатам. Если, например, попытаться ускорить создание долгожданной теории элементарных частиц тем, что собрать в одном институте специально для этой цели мощный кулак из сотни физиков-теоретиков, то из этого ничего не последует, кроме повышения уровня акустических помех. Количество здесь не переходит в качество. Точно так же простым увеличением ассигнований обычно нельзя добиться заметного ускорения в решении физических проблем, направленных на большие практические перспективы (например, проблемы энергетического использования так называемых управляемых термоядерных реакций). Научные и научно-технические задачи большой значимости, которые в настоящее время стоят перед нами, в ряде случаев просто еще не созрели для решения.

Развитие науки — это цепная реакция накопления информации. Она может

носить характер нарастающей лавины или же представлять собой процесс, затухающий во времени. Первое имеет место в том случае, если ценность потока новой информации увеличивается с течением времени. В нашу эпоху такие процессы часто идут необычайно быстро и выглядят как образование взрывной волны в условном пространстве научной информации. Исходной точкой взрыва может послужить либо неожиданное обнаружение нового важного явления, либо смелая идея, открывающая новые горизонты для исследования (так было за последние годы при появлении теории сверхпроводимости и при установлении факта несохранения так называемой четности в одном из видов взаимодействия элементарных частиц). Однако возможен и противоположный случай, когда запас ценной информации нарастает все медленнее и стремится к насыщению. Естественное в целом в настоящее время, так же как и в течение предыдущих четырехсот лет, развивается по первой схеме. Но в отдельных его областях могут наступать периоды, когда принципиальные вопросы оказываются выясненными и внимание направляется на детализацию общей картины, которая уже не подлежит существенному пересмотру и должна время от времени подвергаться только легкому косметическому ремонту. Это означает, что данная область переходит в категорию таких, которые принято называть классическими. Чисто научные подвиги экстраординарного масштаба и революционного характера в ее пределах становятся трудновыполнимыми. Так произошло, например, еще в начале XIX века с ньютоновской механикой. Почти через сто лет появилась новая механика теории относительности, а вскоре после этого — квантовая механика микромира. Но эти два великих завоевания физической науки ничего не изменили в содержании классической механики Ньютона — Лагранжа — Гамильтона. Они лишь ограничили сферу ее применимости. Не исключено, что такое ограничение когда-нибудь появится еще с какой-либо доселе неизвестной стороны, и это будет отзвуком еще одной революции в физике. Сейчас в аналогичном положении приближающегося насыщения находятся многие области физики (электроника, спектроскопия, некоторые разделы физики твердого тела и т. д.). От самой опасной болезни, которая называется «кризисом жанра»¹, их до сих пор спасают только все возрастающие по разнообразию и практической ценности технические применения. По-видимому, раньше или позже переход в состояние классики должен стать уделом большинства областей, из которых состоит современная физика.

Поток научной информации с течением времени будет становиться все более широким и все более плотным благодаря разветвлению направлений исследования и детализации их задач. Но при этом скорость потока в среднем будет уменьшаться и конструктивный элемент станет все больше преобладать над аналитическим. Для наших ближайших потомков физика не должна превращаться в коллекцию застывших идей и давно установленных фактов. Для них она станет мастерской волшебных палочек, с помощью которых техника будет искать и находить пути удовлетворения увеличивающихся потребностей и запросов человеческого общества.

Обратимся опять к главному действующему лицу — научному работнику. Жизнь и научная деятельность физика в наше время складывается совсем не так, как у его предшественников. После очень длительной первоначальной подготовки (одиннадцать лет школы, пять-шесть лет в вузе и один-два года тренировки на лаборантских должностях) молодой человек наконец становится в какой-то степени равноправным участником научной работы. Перед ним открывается возможность проявить свои склонности и максимально использовать полученный им громадный (и более чем наполовину излишний) запас знаний. Однако период интенсивной научной работы, когда все время поглощено подготовкой к эксперименту, его выполнением и анализом полученных результатов, как правило, непродолжителен, в

¹ Она состоит в исчерпании плодотворной научной тематики. В научных институтах, пораженных этой болезнью, «кони сытые бьют копытами», а директора не спят ночи, размышляя о том, куда же направить неиспользуемую энергию большого коллектива.

особенности для тех, кто не обижен талантами. Способный и энергичный физик уже через несколько лет после начала научной работы выталкивается наверх по ступенькам организационной лестницы и становится руководителем отдельной группы или лаборатории. При этом у него быстро возрастает объем чисто организаторской деятельности, которая распадается на множество мелких операций административного характера, необходимых для того, чтобы обеспечить нормальные условия проведения научной работы. С каждым годом доля времени, приходящегося на такие функции, увеличивается, а возможности непосредственного участия в экспериментальной работе все более ограничиваются. Так происходит самоотстранение физика-экспериментатора от эксперимента.

Достигнув ранга заведующего лабораторией, научный работник часто становится жертвой еще одного распространенного недуга. Он начинает проявлять склонности, близкие к тем, которые господствовали в древности среди мелкопоместных феодалов. Борьба за материальные ресурсы, за увеличение штата лаборатории, ревнивая охрана научного престижа своего небольшого клана — таковы труды и заботы, которые наравне с непосредственным выполнением научной работы заполняют жизнь физика на этой административной ступени. Тенденция к переключению на административную деятельность с возрастом становится все сильнее. Это понятно и чисто психологически. Человеку, далеко зашедшему в годах, заниматься наукой становится все труднее и труднее, а экзаменов на организационную деятельность ни с кого не спрашивают и этот род работы кажется не в пример легче¹.

Здесь мне слышится голос критика:

— Нельзя в таких серых красках рисовать тех, кому мы обязаны поразительными успехами науки нашего времени. Нельзя говорить о них только как об исполнителях рутинных служебных обязанностей. Разве наука оскудела талантами? Разве нет больше великих физиков, озаряющих светом своего гения туманные дали грядущего?

С такими упреками соглашаться не обязательно. Автор может свободно выбирать точку зрения и краски для изображения многочисленной армии физиков шестидесятых годов XX века — ведь он сам имеет честь принадлежать к ней. Вопрос о гениях наших дней заслуживает того, чтобы на нем остановиться. Благодаря генетической устойчивости человеческого рода распределение людей по уровню интеллектуальных способностей существенно не изменяется на протяжении многих тысячелетий. Поэтому следует ожидать, что физики, работающие сейчас в лучших научных институтах мира, не уступают по яркости талантов своим далеким предшественникам. Другими словами, люди со способностями того же порядка, что и у величайших ученых XVII и XVIII веков, известных нам с детских лет по школьным учебникам, должны встречаться среди наших коллег по крайней мере с той же относительной частотой, как двести — триста лет назад. Армия научных работников физической специальности выросла за эти сотни лет по крайней мере на три порядка величины. Следовательно, в мировой науке трудятся сейчас сотни, а может быть, даже тысячи физиков, не уступающих по своим способностям Галилею и Ньютону. Среди них согласно закону больших чисел должно быть немалое количество потенциальных сверхгениев «надньютонковского» и «надэйнштейновского» класса.

Однако для того, чтобы потенциальный гений мог превратиться в сверкающую звезду на небосклоне науки и обрести мраморное бессмертие классика, необходимы благоприятные условия, зависящие прежде всего от состояния той научной области, в которой он работает.

Самое важное для гения — это вовремя родиться. Лучше всего, если удастся выбрать для этого такой момент, чтобы ко времени расцвета творческих сил он

¹ Хотя в действительности прирожденные организаторы, способные успешно руководить работой большого коллектива, встречаются не чаще, чем талантливые ученые, а объединение обоих талантов — редкое исключение.

смог встретить избранную им отрасль науки в пору ее утренней свежести или же в период, когда в ней зреют зародыши революционных перемен. Если же основные опорные позиции в данной области уже завоеваны и самые богатые источники информации исчерпаны, то ученому экстра-класса не удастся проявить здесь в полной мере свои способности — не хватает свободного пространства (или, как у нас принято говорить, «фронта работ»). Нехватка свободного пространства усиливается благодаря изобилию физиков, работающих сейчас в каждой узкой области. Достаточно одному из них наткнуться на что-нибудь новое и сказать «а...», как, прежде чем он успеет спокойно поразмыслить, со всех сторон сбегится целая толпа физиков и раскопает все до конца.

О таланте ученого можно судить только по его трудам, а между результатами этих трудов и уровнем таланта нет постоянного коэффициента пропорциональности. Мы часто забываем это и поэтому недооцениваем таланты своих современников. Мастерство альпиниста оценивается по трудности восхождения. Точно так же мерой таланта физика должна служить в первую очередь степень трудности тех задач, которые ему удалось решить, а эффект от воздействия его работ на общий прогресс науки является вторичным признаком, включающим значительный элемент случайности. Поэтому приведенная выше оценка числа физиков, принадлежащих к «ньютоновскому» классу, не противоречит их кажущейся незаметности. Просто у нас нет подходящего прибора для измерения индивидуальных способностей ученых и экзаменационной комиссии, присваивающей почетное звание гения по априорным показаниям. Наконец следует отметить, что на общем ярком фоне блеск отдельных светил трудно различить, вследствие чего в наше время требования, предъявляемые к великим людям, очень завышены. В этом особенность современного периода так называемой массовой культуры, которая проявляется не только в науке, но также в литературе и искусстве. Говорить о десятках современных Данте, Шекспиров и Бахов кажется почти святотатством, хотя мы читаем их стихи, смотрим их драмы и слушаем их музыкальные произведения.

И еще несколько очень коротко выраженных мыслей относительно общих проблем организации науки — и только в порядке их постановки.

В наше время научная работа по физике, да и по другим быстро развивающимся естественным наукам, очевидно, не может идти самотеком за счет одного лишь энтузиазма самих исследователей, так как энтузиазм не способен заменить необходимый приток материальных средств. Без мощной поддержки со стороны государства физика, астрономия, биология просто не могут развиваться. Шуточное определение, согласно которому «наука есть лучший современный способ удовлетворения любопытства отдельных лиц за счет государства», в известной мере правильно. Наше социалистическое государство дает нам огромные средства для сооружения новых экспериментальных установок: оно строит первоклассные лаборатории и институты, готовит к научной работе десятки тысяч молодых людей в вузах, поручает конструкторским бюро и промышленным предприятиям проектировать и изготовлять оборудование и аппаратуру для научно-исследовательских работ.

Наука находится на ладони государства и согревается теплом этой ладони. Конечно, это не благотворительность, а результат ясного понимания значения науки в великую эпоху соревнования противоположных социальных систем. При этом государство не может позволить себе играть роль доброго богатого дядюшки, покорно вынимающего из кармана миллион за миллионом по первой просьбе ученых. Вместе с тем скупость в финансировании действительно важных научных исследований может привести к нарушению жизненных интересов государства.

Для того чтобы направлять развитие естествознания в русло общих интересов страны, необходима определенная политика по отношению к науке. Это означает, что к множеству нерешенных организационных проблем, так сильно осложняющих жизнь современного общества, прибавилась еще одна проблема. Научные исследования нуждаются в организации и руководстве. Не надо пугаться этих

слов — сами по себе они еще не означают, что липкая лента бюрократизма опутывает науку, лишая ученых свободы творческих замыслов.

Поставим несколько простых вопросов.

Каков должен быть уровень материальных затрат государства на науку? Должен ли это быть один процент от общего бюджета или пять процентов? Как эти средства должны распределяться между отдельными областями научных исследований? Какие отрасли промышленности, производящие научную аппаратуру, следует развивать в первую очередь и как планировать масштаб этого производства? Сколько научных работников различных специальностей реально понадобится стране в ближайшие годы и как в связи с этим планировать прием в вузы?

Можно подойти также совсем с другой стороны и спросить: в каких разделах современной науки мы должны во что бы то ни стало и самой дорогой ценой бороться за первенство и почему это первенство нам так необходимо сейчас или в самое ближайшее время? Должны ли мы с одинаковой затратой сил вести наступление на всем широчайшем фронте современного естествознания — от исследования далеких галактик до биохимии микроорганизмов, — или же следует ограничиться несколькими направлениями, на которых должны быть сосредоточены главные усилия? Ведь в наше время информация о каждом новом научном результате, где бы он ни был получен, распространяется очень быстро. Поэтому, может быть, во многих областях естествознания достаточно вести работу в скромных тонах, не гоняясь за первым местом в чемпионате, если это очень дорого стоит. На каком же уровне следует тогда вести такие разработки?

Кто-то должен отвечать на эти вопросы, и не только отвечать, но и решать их. В этом и состоит прежде всего руководство наукой со стороны государства. При этом, конечно, не нужно вмешиваться в самый процесс научной работы. Это столь же бессмысленно, как руководить футболистом во время игры, держа его за ногу.

В рамках этих замечок было бы нецелесообразно обсуждать конкретные методы, с помощью которых должна строиться политика государства по отношению к науке. Эта политика должна быть основана на учете многих факторов. Среди них не только такие очевидные элементы, как непосредственная практическая ценность научных результатов, материальные затраты на экспериментальные разработки, международное научное соревнование и связанная с ним проблема престижа, но также напор новых идей и противостоящая ему инерция однажды взятого курса исследований, нетерпение молодежи и консерватизм старших поколений научных работников. Мы ограничимся здесь только несколькими частными замечаниями для того, чтобы показать некоторые обстоятельства, влияющие на выработку научной политики по отношению к главным направлениям современной физики.

Отметим прежде всего одно обстоятельство, осложняющее решение организационных проблем. Дело в том, что нет достаточно убедительных критериев для определения как абсолютной, так и относительной ценности научных результатов, а также критериев для сравнения значимости разных направлений исследования. Субъективизм во всех оценках такого рода совершенно неизбежен и трудноустраним. Он питается личной заинтересованностью десятков тысяч научных работников узких специальностей, каждый из которых считает, что его тематика заслуживает особого внимания. Поэтому при обсуждении вопросов планирования физических исследований на самых высоких научных аренопах аргументация в лучшем случае основывается на инстинктивных представлениях о том, что важно и что не очень важно. Очень часто при этом на сцену выступает идея интернационального научного соревнования, при использовании которой все сводится к сравнению уровней «у них» и «у нас».

Делегация ученых великой державы А, возвращаясь после поездки в великую державу Б, докладывает:

— По богатству идей, глубине понимания научных проблем и квалификации научных кадров мы не только не уступаем нашим зарубежным коллегам, но даже стоим впереди них. Однако там не пожалели денег, и они смогли построить новую замечательную установку X, и если мы немедленно не начнем строить уже давнѐ

задуманную нами установку У, то почти сразу же окажемся в жалком и отчаянном положении.

Вслед за этим делегация державы В возвращается из державы А и декларирует:

— Мы, конечно, в идейном отношении гораздо выше их, но нельзя ждать ни одного часа более. Они уже приступают к строительству установки У, и если мы прозеваем, то через несколько лет нам стыдно будет показаться на любой научной конференции. Поэтому надо немедленно строить установку Z, которая во столько же раз мощнее установки У, во сколько последняя превосходит нашу старую машину Х.

И так далее...

Такой механизм взаимного подхлестывания обычно работает довольно эффективно — к общему удовлетворению заинтересованных сторон. Бывает, правда, что при этом сооружаются большие установки, которые к моменту ввода в строй оказываются бесполезными памятниками незрелых идей, но, в общем, наука идет вперед.

Сейчас уже накопился большой опыт в международном соревновании по основным направлениям физической науки и выяснилось, при каких условиях можно рассчитывать на почетную долю в мировом производстве первоклассной научной информации. Главная заповедь в этом деле — не идти вслеп за сильными соперниками по выбранному ими пути. На узкой дороге трудно обойти машину, идущую впереди. Нужно самим выбирать свой собственный путь — только так можно добиться успеха.

Для талантливых людей на нетронутых землях науки открывается сразу много разных путей. Как дороги в горных ущельях, они идут не по прямой; далеко вперед не видно, и новое может вдруг показаться с самой неожиданной стороны. Если вы идете вслед за кем-нибудь пусть даже почти по пятам, то радость первых открытий вам не удастся испытать, она будет уделом тех, кто хоть немного, но впереди.

Так, к сожалению, сложилась у нас история послевоенных исследований по физике элементарных частиц. Несмотря на очень большую концентрацию сил и средств, мы, действуя по принципу гонки за лидером и все время немного опаздывая, до сих пор не смогли собрать хороший урожай научных результатов. Напротив, в физике твердого тела и в особенности в новых направлениях радиофизики советская наука может гордиться блестящими открытиями — благодаря богатому притоку оригинальных идей.

Естественно, что при беспокойных тенденциях международного соревнования легко может образоваться сильная диспропорция в развитии различных отраслей науки. В частности, те из них, которые на какой-то недавней стадии сыграли значительную роль в практическом решении важных государственных задач и поэтому приобрели право первородства, продолжают по инерции пользоваться привилегиями и тогда, когда возможности практических применений исчерпываются. Напротив, такие области науки, как, например, астрофизика, не менее далекая от запросов техники, чем симфоническая музыка, оказывается в невыгодном положении. Несомненно, что иррациональные факторы оказывают некоторое давление на научную политику, а следовательно, в какой-то степени влияют и на общий ход развития научных дисциплин. Однако главные опоры научной политики все же расположены гораздо глубже. Общественное мнение больших коллективов научных работников статистически нивелирует крайние точки зрения и помогает поддерживать более или менее правильное соотношение между значимостью научных идей и усилиями, которые должны затрачиваться на их разработку.

В конце концов в научной политике наша опора — это просто здравый смысл и интуиция, то есть те главные качества, благодаря которым человечество существует и развивается.



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

БОРИС ПАСТЕРНАК

★

ЛЮДИ И ПОЛОЖЕНИЯ

Автобиографический очерк

Автобиографический очерк «Люди и положения» написан весной 1956 года как предисловие к сборнику стихов, готовившемуся в Гослитиздате. Позднее автор заново отредактировал очерк; дал ему нынешнее название и полностью переписал заключение.

В автобиографическом очерке автор фиксирует лишь события первой половины своей жизни. О замысле, которому подчинено изложение, он написал: «Я шел из центра теснейшего жизненного круга, намеренно себя им ограничив. Написанного тут достаточно, чтобы дать понятие о том, как в моем отдельном случае жизнь переходила в художественное претворение, как оно рождалось из судьбы и опыта» (Рукопись. Архив Б. Пастернака).

Таким образом, сам Б. Пастернак сознательно сузил свою задачу. В его очерке рядом с достоверными картинами времени есть и противоречивые, субъективные впечатления. Читатель далеко не всегда разделит его оценку литературных деятелей. Но страницы автобиографического очерка сохраняют ценность искреннего рассказа большого художника о себе и своем творчестве.

Текст публикации подготовлен Евгением Борисовичем Пастернаком.

Младенчество

1

В «Охранной грамоте», опыте автобиографии, написанном в двадцатых годах, я разобрал обстоятельства жизни, меня сложившие. К сожалению, книга испорчена ненужною манерностью, общим грехом тех лет. В настоящем очерке я не избежну некоторого пересказа ее, хотя постараюсь не повторяться.

2

Я родился в Москве 29 января 1890 года по старому стилю в доме Лыжина против Духовной семинарии в Оружейном переулке. Необъяснимым образом что-то запомнилось из осенних прогулок с кормилицей до семинарскому парку. Размокшие дорожки под кучами опавших листьев, пруды, насыпанные горки и крашенные рогатки семинарии, игры и побойща гогочущих семинаристов на больших переменах.

Прямо напротив ворот семинарии стоял каменный двухэтажный дом с двором для извозчиков и нашу квартиру над воротами, в арке их сводчатого перекрытия.

3

Ощущения младенчества складывались из элементов испуга и восторга. Сказочностью красок они восходили к двум центральным образам, надо всем господствовавшим и все объединявшим. К образу медвежьих чучел в экипажных заведениях Каретного ряда и к образу добряка-великана, сутулого, косматого, глухо басившего книгоиздателя П. П. Кончаловского, к его семье, и к рисункам карандашом, пером и тушью Серова, Врубеля, отца и братьев Васнецовых, висевшим в комнатах его квартиры.

Околоток был самый подозрительный — Тверские-Ямские, Труба, переулки Цветного. То и дело оттаскивали за руку. Чего-то не надо было знать, что-то не следовало слышать. Но няни и мамки не терпели одиночества, и тогда пестрое общество окружало нас. И в полдень учили конных жандармов на открытом плацу Знаменских казарм.

Из этого общения с нищими и странницами, по соседству с миром отверженных и их историй и истерик на близких бульварах, я преждевременно рано на всю жизнь вынес пугающую до замирания жалость к женщине и еще более нестерпимую жалость к родителям, которые умрут раньше меня и ради избавления которых от мук ада я должен совершить что-то неслыханно светлое, небывалое.

4

Когда мне было три года, переехали на казенную квартиру при доме Училища живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой против почтамта. Квартира помещалась во флигеле внутри двора, вне главного здания.

Главное здание, старинное и красивое, было во многих отношениях замечательно. Пожар двенадцатого года пощадил его. Веком раньше, при Екатерине, дом давал тайное убежище масонской ложе. Боковое закругление на углу Мясницкой и Юшкова переулка заключало полукруглый балкон с колоннами. Вместительная площадка балкона нишею входила в стену и сообщалась с актовым залом Училища. С балкона было видно насквозь продолжение Мясницкой, убегавшей вдаль к вокзалам.

С этого балкона население дома наблюдало в 1894 году церемониал перенесения праха императора Александра Третьего, а затем, спустя два года, отдельные сцены коронационных торжеств при воцарении Николая Второго.

Стояли учащиеся, преподаватели. Мать держала меня на руках в толпе у перил балкона. Под ногами у нее расступалась пропасть. На дне пропасти, посыпанная песком, пустая улица замирала в ожидании. Суетились военные, отдавая во всеуслышание громкие приказания, не достигавшие, однако, слуха зрителей наверху, на балконе, точно тишина затаившего дыхание городского люда, оттесненного шпалерами солдат с мостовой к краям тротуаров, поглощала звуки без остатка, как песок воду. Зазвонили уныло, протяжно. Издалека катящаяся и дальше прокатывающаяся волна колыхнулась морем рук к головам, Москва снимала шапки, крестилась. Под отовсюду поднявшийся погребальный перезвон показалась голова нескончаемого шествия, войска, духовенство, лошади в черных пополах с султанами, немислимой пышности катафалк, герольды в невиданных костюмах иного века. И процессия шла и шла, и фасады домов были затянута целыми полосами крепа и обиты черным, и потупленно висели траурные флаги.

Дух помпы был неотделим от Училища. Оно состояло в ведении Министерства императорского двора. Великий князь Сергей Александрович

вич был его попечителем, посещал его акты и выставки. Великий князь был худ и долговяз. Прикрывая шапками альбомы, отец и Серов рисовали карикатуры на него на вечерах у Голицыных и Якунчиковых, где он присутствовал.

5

Во дворе, против калитки в небольшой сад с очень старыми деревьями, среди надворных построек, служб и сараев возвышался флигель. В подвале внизу отпускали горячие завтраки учащимся. На лестнице стоял вечный чад пирожков на сале и жареных котлет. На следующей площадке была дверь в нашу квартиру. Этажом выше жил письмоводитель Училища.

Вот что я прочел пятьдесят лет спустя, совсем недавно, в позднейшее советское время в книге Н. С. Родионова «Москва в жизни и творчестве Л. Н. Толстого» на странице 125-й, под 1894-м годом:

«23 ноября Толстой с дочерьми ездил к художнику Л. О. Пастернаку в дом Училища живописи, ваяния и зодчества, где Пастернак был директором, на концерт, в котором принимали участие жена Пастернака и профессора Консерватории скрипач И. В. Гржимали и виолончелист А. А. Брандуков».

Тут все верно, кроме небольшой ошибки. Директором Училища был князь Львов, а не отец.

Записанную Родионовым ночь я прекрасно помню. Посреди нее я проснулся от сладкой щемящей муки, в такой мере ранее не испытанной. Я закричал и заплакал от тоски и страха. Но музыка заглушала мои слезы, и только когда разбудившую меня часть трио доиграли до конца, меня слышали. Занавеска, за которой я лежал и которая разделяла комнату надвое, раздвинулась. Показалась мать, склонилась надо мной и быстро меня успокоила. Наверное, меня вынесли к гостям, или, может быть, сквозь раму открытой двери я увидел гостиную. Она полна была табачного дыма. Мигали ресницами свечи, точно он ел им глаза. Они ярко освещали красное лакированное дерево скрипки и виолончели. Чернел рояль. Чернели сюртуки мужчин. Дамы до плеч высывались из платьев, как именинные цветы, из цветочных корзин. С кольцами дыма сливались седины двух или трех стариков. Одного я потом хорошо знал и часто видел. Это был художник Н. Н. Ге. Образ другого, как у большинства, прошел через всю мою жизнь, в особенности потому, что отец иллюстрировал его, ездил к нему, почитал его и что его духом проникнут был весь наш дом. Это был Лев Николаевич.

Отчего же я плакал так и так памятно мне мое страдание? К звуку фортепиано в доме я привык, на нем артистически играла моя мать. Голос рояля казался мне неотъемлемой принадлежностью самой музыки. Тембры струнных, особенно в камерном соединении, были мне непривычны и встревожили, как действительные, в форточку снаружи донесшиеся зовы на помощь и вести о несчастье.

То была, кажется, зима двух кончин, смерти Антона Рубинштейна и Чайковского. Вероятно, играли знаменитое трио последнего.

Эта ночь межевою вехой пролегла между беспамятностью младенчества и моим дальнейшим детством. С нее пришла в действие моя память и заработало сознание, отныне без больших перерывов и провалов, как у взрослого.

6

Весной в залах Училища открывались выставки передвижников. Выставку привозили зимой из Петербурга. Картины в ящиках ставили в сараи, которые линией тянулись за нашим домом, против наших окон

Перед пасхой ящики выносили во двор и распаковывали под открытым небом перед дверьми сараев. Служащие Училища вскрывали ящики, отвинчивали картины в тяжелых рамах от ящичных низов и крышек и по двое на руках пронесли через двор на выставку. Примостясь на подоконниках, мы жадно за ними следили. Так прошли перед нашими глазами знаменитейшие полотна Репина, Мясоедова, Маковского, Сурикова и Поленова, добрая половина картинных запасов нынешних галерей и государственных хранилищ.

Близкие отцу художники и он сам выставлялись у передвижников только вначале и недолго. Скоро Серов, Левитан, Коровин, Врубель, Иванов, отец и другие составили более молодое объединение, «Союз русских художников».

В конце девяностых годов в Москву приехал всю жизнь проведший в Италии скульптор Павел Трубецкий. Ему предоставили новую мастерскую с верхним светом, пристроив ее снаружи к стене нашего дома и захватив пристройкою окно нашей кухни. Прежде окно смотрело во двор, а теперь стало выходить в скульптурную мастерскую Трубецкого. Из кухни мы наблюдали его лепку и работу его формовщика Робекки, а также его модели, от позировавших ему маленьких детей и балерин до парных карет и казаков верхами, свободно въезжавших в широкие двери высокой мастерской.

Из той же кухни производилась отправка в Петербург замечательных отцовских иллюстраций к толстовскому «Воскресению». Роман по мере окончательной отделки глава за главой печатался в журнале «Нива» у петербургского издателя Маркса. Работа была лихорадочная. Я помню отцову спешку. Номера журнала выходили регулярно без опоздания. Надо было успеть к сроку каждого.

Толстой задерживал корректуры и в них все переделывал. Возникла опасность, что рисунки к начальному тексту разойдутся с его последующими изменениями. Но отец делал зарисовки там же, откуда писатель черпал свои наблюдения, в суде, пересыльной тюрьме, в деревне, на железной дороге. От опасности отступлений спасал запас живых подробностей, общность реалистического смысла.

Рисунки, ввиду спешности, отправляли с оказией. К делу привлечена была кондукторская бригада курьерских поездов Николаевской железной дороги. Детское воображение поражал вид кондуктора в форменной железнодорожной шинели, стоявшего в ожидании на пороге кухни, как на перроне у вагонной дверцы отправляемого поезда.

На плите варился столярный клей. Рисунки второпях протирали, сушили фиксативом, наклеивали на картон, заворачивали, завязывали. Готовые пакеты запечатывали сургучом и сдавали кондуктору.

Скрябин

1

Два первые десятилетия моей жизни сильно отличаются одно от другого. В девяностых годах Москва еще сохраняла свой старый облик живописного до сказочности захолустья с легендарными чертами третьего Рима или былинного стольного града и всем великолепием своих знаменитых сорока сороков. Были в силе старые обычаи. Осенью в Юшковом переулке, куда выходил двор Училища, во дворе церкви Фрола и Лавра, считавшихся покровителями коневодства, производилось освящение лошадей, и ими, вместе с приводившими их на освящение кучерами и коню-

хами, наводнялся весь переулок до ворот Училища, как в конную ярмарку.

С наступлением нового века на моей детской памяти мановением волшебного жезла все преобразилось. Москву охватило деловое неистовство первых мировых столиц. Бурно стали строить высокие доходные дома на предпринимательских началах быстрой прибыли. На всех улицах к небу поднялись незаметно выросшие кирпичные гиганты. Вместе с ними, обгоняя Петербург, Москва дала начало новому русскому искусству,— искусству большого города, молодому, современному, свежему.

2

Горячка девятисотых годов отразилась и на Училище. Казенных ассигнований не хватало на его содержание. Поручили дельцам изыскание денежных средств для пополнения бюджета. Решено было возводить на земле Училища многоэтажные жилые корпуса для сдачи квартир внаем, а посередине владения, на месте прежнего сада, выстроить стеклянные выставочные помещения для сдачи в аренду. В конце девяностых годов стали сносить дворовые флигеля и сараи, на месте выкорчеванного сада вырыли глубокие котлованы. Котлованы наполнились водою, в них, как в прудах, плавали утонувшие крысы, с земли в них прыгали и ныряли лягушки. Наш флигель тоже предназначен был на слом.

Зимой нам оборудовали новую квартиру из двух или трех классных комнат и аудиторий в главном здании. Мы в нее перебрались в 1901 году. Так как квартиру перекраивали из помещений, из которых одно было круглое, а другое еще более прихотливой формы, то в новом жилище, в котором мы прожили десять лет, были чулан и ванна с площадью в виде полумесяца, овальная кухня и столовая со входящим в нее полукруглым выемом. За дверью всегда слышался заглушенный гул училищных мастерских и коридоров, а из крайней, пограничной комнаты можно было слушать лекции по устройству отопления профессора Чаплыгина в архитектурном классе.

Предшествующие годы, еще на старой квартире, со мной занимались дошкольным обучением то мать, то какой-нибудь приглашенный частный преподаватель. Одно время меня готовили в Петропавловскую гимназию, и я проходил все предметы начальной программы по-немецки.

Из этих наставников, которых я вспоминаю с благодарностью, назову первую свою учительницу, Екатерину Ивановну Боратынскую, детскую писательницу и переводчицу литературы для юношества с английского. Она обучала меня грамоте, начаткам арифметики и французскому с самых азов, с того, как сидеть на стуле и держать ручку с пером в руке. Меня водили к ней на урок в занимаемый ею номер меблированных комнат. В номере было темно. Он снизу доверху был набит книгами. В нем пахло чистотой, строгостью, кипяченым молоком и жженым кофе. За окном, покрытым кружевной вязаной занавеской, шел, напоминая петли вязанья, грязноватый, серо-кремовый снег. Он отвлекал меня, и я отвечал Екатерине Ивановне, разговаривавшей со мной по-французски, невпопад. По окончании урока Екатерина Ивановна вытирала перо изнанкой кофты и, дождавшись, когда за мной зайдут, отпускала меня.

В 1901 году я поступил во второй класс Московской пятой гимназии, оставшейся классической после реформы Ванновского и сверх введенного в курс естествознания и других новых предметов сохранившей в программе древнегреческий.

3

Весной 1903 года отец снял дачу в Оболенском близ Малоярославца по Брянской, ныне — Киевской железной дороге. Дачным соседом нашим оказался Скрябин. Мы и Скрябины тогда еще не были знакомы домами.

Дачи стояли на бугре вдоль лесной опушки в отдалении друг от друга. На дачу приехали, как водится, рано утром. Солнце дробилось в лесной листве, низко свешивавшейся над домом. Расшивали и пороли рогожные тюки. Из них тащили спальные принадлежности, запасы провизии, вынимали сковороды, ведра. Я убежал в лес.

Боже и господа сил, чем он в то утро был полон! Его по всем направлениям пронизывало солнце, лесная движущаяся тень то так, то сяк все время поправляла на нем шапку, на его подымающихся и опускающихся ветвях птицы заливались тем всегда неожиданным чириканьем, к которому никогда нельзя привыкнуть, которое поначалу порывисто громко и потом постепенно затихает и которое горячей и частой своей настойчивостью похоже на деревья вдаль уходящей чащи. И совершенно так же, как чередовались в лесу свет и тень и перелетали с ветки на ветку и пели птицы, носились и раскатывались по нему куски и отрывки Третьей симфонии или Божественной поэмы, которую в фортепианном выражении сочиняли на соседней даче.

Боже, что это была за музыка! Симфония непрерывно рушилась и обваливалась, как город под артиллерийским огнем, и вся строилась и росла из обломков и разрушений. Ее всю переполняло содержание, до безумия разработанное и новое, как нов был жизнью и свежестью дышавший лес, одетый в то утро, не правда ли, весенней листвой 1903-го, а не 1803 года. И как не было в этом лесу ни одного листика из гофрированной бумаги или крашеной жести, так не было в симфонии ничего ложно глубокого, риторически почтенного, «как у Бетховена», «как у Глинки», «как у Ивана Ивановича», «как у княгини Марьи Алексевны», но трагическая сила сочиняемого торжественно показывала язык всему одряхлело признанному и величественно тупому и была смела до сумасшествия, до мальчишества, шаловливо стихийная и свободная, как падший ангел.

Предполагалось, что сочинявший такую музыку человек понимает, кто он такой, и после работы бывает просветленно ясен и отдохновенно спокоен, как бог, в день седьмой почивший от дел своих. Таким он и оказался.

Он часто гулял с отцом по Варшавскому шоссе, прорезавшему местность. Иногда я сопровождал их. Скрябин любил, разбежавшись, продолжать бег как бы силою инерции вприпрыжку, как скользит по воде пущенный рикошетом камень, точно немногого недоставало, и он отделился бы от земли и поплыл бы по воздуху. Он вообще воспитывал в себе разные виды одухотворенной легкости и неотягощенного движения на грани полета. К явлениям этого рода надо отнести его чарующее изящество, светскость, с какой он избегал в обществе серьезности и старался казаться пустым и поверхностным. Тем поразительнее были его парадоксы на прогулках в Оболенском.

Он спорил с отцом о жизни, об искусстве, о добре и зле, нападал на Толстого, проповедовал сверхчеловека, аморализм, ницшеанство. В одном они были согласны, во взглядах на сущность и задачи мастерства. Во всем остальном расходились.

Мне было двенадцать лет. Половины их споров я не понимал. Но Скрябин покорял меня свежестью своего духа. Я любил его до безумия. Не вникая в суть его мнений, я был на его стороне. Скоро он на шесть лет уехал в Швейцарию.

В ту осень возвращение наше в город было задержано несчастным случаем со мной. Отец задумал картину «В ночное». На ней изображались девушки из села Бочарова, на закате верхом во весь опор гнавшие табун в болотистые луга под нашим холмом. Увязавшись однажды за ними, я на прыжке через широкий ручей свалился с разомчавшейся лошади и сломал себе ногу, сросшуюся с укорочением, что освобождало меня впоследствии от военной службы при всех призывах.

Я уже и раньше, до лета в Оболенском, немного брэнчал на рояле и с грехом пополам подбирал что-то свое. Теперь, под влиянием обожения, которое я питал к Скрябину, тяга к импровизациям и сочинительству разгорелась у меня до страсти. С этой осени я шесть следующих лет, все гимназические годы, отдал основательному изучению теории композиции, сперва под наблюдением тогдашнего теоретика музыки и критики, благороднейшего Ю. Д. Энгеля, а потом под руководством профессора Р. М. Глиэра.

Никто не сомневался в моей будущности. Судьба моя была решена, путь правильно избран. Меня прочили в музыканты, мне всё прощали ради музыки, все виды неблагоприятного свинства по отношению к старшим, которым я в подметки не годился, упрямство, непослушание, небрежности и странности поведения. Даже в гимназии, когда на уроках греческого или математики меня накрывали за решением задач по фуге и контрапункту в разложенной на парте нотной тетради и, спрошенный с места, я стоял как пень и не знал, что ответить, товарищи всем классом выгораживали меня, и учителя мне все спускали. И несмотря на это я оставил музыку.

Я ее оставил, когда был вправе ликовать, и все кругом меня поздравляли. Бог и кумир мой вернулся из Швейцарии с «Экстазом» и своими последними произведениями. Москва праздновала его победы и возвращение. В разгаре его торжеств я осмелился явиться к нему и сыграл ему свои сочинения. Прием превзошел мои ожидания. Скрябин выслушал, поддержал, окрылил, благословил меня.

Но никто не знал о тайной беде моей и, скажи я о ней, никто бы мне не поверил. При успешно подвинувшемся сочинительстве я был беспомощен в отношении практическом. Я едва играл на рояле и даже ноты разбирал недостаточно бегло, почти по складам. Этот разрыв между ничем не облегченной новой музыкальной мыслью и ее отставшей технической опорой превращал подарок природы, который мог бы служить источником радости, в предмет постоянной муки, которой я в конце концов не вынес.

Как возможно было такое несоответствие? В основе его лежало нечто недолжное, взывавшее к отплате, непозволительная отороческая заносчивость, нигилистическое пренебрежение недоучки ко всему казавшемуся наживным и достижимым. Я презирал все нетворческое, ремесленное, имея дерзость думать, что в этих вещах разбираюсь. В настоящей жизни, полагал я, все должно быть чудом, предназначением свыше, ничего умышленного, намеренного, никакого своеволия.

Это была обратная сторона скрябинского влияния, в остальном ставшего для меня решающим. Его эгоцентризм был уместен и оправдан только в его случае. Семена его воззрений, по-детски превратно понятых, упали на благодарную почву.

Я и без того с малых лет был склонен к мистике и суеверию и охвачен тьмой к провиденциальному. Чуть ли не с Родионовской ночи я верил в существование высшего героического мира, которому надо служить восхищенно, хотя он приносит страдания. Сколько раз в шесть, семь, восемь лет я был близок к самоубийству.

Я подозревал вокруг себя всевозможные тайны и обманы. Не было бессмыслицы, в которую бы я не поверил. То на заре жизни, когда только и мыслимы такие нелепости, может быть, по воспоминаниям о первых сарафанчиках, в которые меня наряжали еще раньше, мне мерещилось, что когда-то в прежние времена я был девочкой и что эту более обаятельную и прелестную сущность надо вернуть, перетягиваясь поясом до обморока. То я воображал, что я не сын своих родителей, а найденный и усыновленный ими приемыш.

В моих несчастиях с музыкой также были виноваты не прямые, мнимые причины, гадания на случайностях, ожидание знаков и указаний свыше. У меня не было абсолютного слуха, способности угадывать высоту любой произвольно взятой ноты, умения, мне в моей работе совершенно ненужного. Отсутствие этого свойства печалило и унижало меня, в нем я видел доказательство того, что моя музыка негодна судьбе и небу. Под таким множеством ударов я поникал душой, у меня опускались руки.

Музыку, любимый мир шестилетних трудов, надежд и тревог я вырвал вон из себя, как расстаются с самым драгоценным. Некоторое время привычка к фортепианному фантазированию оставалась у меня в виде постепенно пропадающего навыка. Но потом я решил проводить свое воздержание круче, перестал прикасаться к роялю, не ходил на концерты, избегал встреч с музыкантами.

4

Скрябинские рассуждения о сверхчеловеке были исконной русской тягой к чрезвычайности. Действительно, не только музыке надо быть сверхмузыкой, чтобы что-то значить, но и все на свете должно превосходить себя, чтобы быть собою. Человек, деятельность человека должны заключать элемент бесконечности, придающий явлению определенность, характер.

Ввиду моей нынешней отсталости от музыки и моих отмерших и совершенно истлевших связей с ней, Скрябиным моих воспоминаний, Скрябиным, которым я жил и питался, как хлебом насушным, остался Скрябин среднего периода, приблизительно от третьей сонаты до пятой.

Гармонические зарницы Прометея и его последних произведений кажутся мне только свидетельствами его гения, а не повседневную пищу для души, а в этих свидетельствах я не нуждаюсь, потому что поверил ему без доказательства.

Люди рано умиравшие, Андрей Белый. Хлебников и некоторые другие, перед смертью углублялись в поиски новых средств выражения, в мечту о новом языке, нашаривали, нащупывали его слоги, его гласные и согласные.

Я никогда не понимал этих розысков. По-моему, самые поразительные открытия производились, когда переполнявшее художника содержание не давало ему времени задуматься и второпях он говорил свое новое слово на старом языке, не разобрав, стар он или нов.

Так на старом Моцартовско-Фильдовском языке Шопен сказал столько ошеломляюще нового в музыке, что оно стало вторым ее началом.

Так Скрябин почти средствами предшественников обновил ощущение музыки до основания в самом начале своего поприща. Уже в этюдах восьмого опуса или в прелюдиях одиннадцатого все современно, все полно внутренними, доступными музыке соответствиями с миром внешним, окружающим, с тем, как жили тогда, думали, чувствовали, путешествовали, одевались.

Мелодии этих произведений вступают так, как тотчас же начинают течь у вас слезы, от уголков глаз по щекам к уголкам рта. Мелодии, смешиваясь со слезами, текут прямо по вашему нерву к сердцу, и вы плачете не оттого, что вам печально, а оттого, что путь к вам вовнутрь угадан так верно и пронизательно.

Вдруг в течение мелодии врывается ответ или возражение ей в другом, более высоком и женском голосе и другом, более простом и разговорном тоне. Нечаянное препирательство, мгновенно улаживаемое несогласье. И нота потрясающей естественности вносится в произведение, той естественности, которую в творчестве все решается.

Вещами общеизвестными, ходовыми истинами полно искусство. Хотя пользование ими всем открыто, общеизвестные правила долго ждут и не находят применения. Общеизвестной истине должно выпасте редкое, раз в сто лет улыбающееся счастье, и тогда она находит приложение. Таким счастьем был Скрябин. Как Достоевский не романист только и как Блок не только поэт, так Скрябин не только композитор, но повод для вечных поздравлений, олицетворенное торжество и праздник русской культуры.

Девятисотые годы

1

В ответ на выступления студенчества после манифеста 17 октября буйствовавший охотнорядский сброд громил высшие учебные заведения, университет, Техническое училище. Училищу живописи тоже грозило нападение. На площадках парадной лестницы по распоряжению директора были заготовлены кучи булыжника и ввинчены шланги в пожарные краны для встречи погромщиков.

В Училище заворачивали демонстранты из мимо идущих уличных шествий, устраивали митинги в актовом зале, завладевали помещениями, выходили на балкон, произносили сверху речи оставшимся на улице. Студенты Училища входили в боевые организации, в здании ночью дежурила своя дружина.

В бумагах отца остались наброски: в агитаторшу, говорившую с балкона, снизу стреляют налетевшие на толпу драгуны. Ее ранят, она продолжает говорить, хватаясь за колонну, чтобы не упасть.

В конце 1905 года в Москву, охваченную всеобщей забастовкой, приехал Горький. Стояли морозные ночи. Москва, погруженная во мрак, освещалась кострами. По ней, повизгивая, летали шальные пули и бешено носились конные казачьи патрули по бесшумному, пешеходами не топтанному, девственному снегу. ¹

Отец виделся с Горьким по делам журналов политической сатиры, «Бича», «Жупела» и других, куда тот его приглашал.

Вероятно, тогда или позже, после годичного пребывания с родителями в Берлине, я увидел первые в моей жизни строки Блока. Я не помню, что это было такое, «Вербочки» или из «Детского», посвященного Олениной д'Альгейм, или что-нибудь революционное, городское, но свое впечатление помню так отчетливо, что могу его восстановить и берусь описать.

2

Что такое литература в ходовом, распространеннейшем смысле слова? Это мир красноречия, общих мест, закругленных фраз и почтенных имен, в молодости наблюдавших жизнь, а по достижении известности перешедших к абстракциям, перепевам, рассудительности. И когда

в этом царстве установившейся и только поэтому незамечаемой неестественности кто-нибудь откроет рот не из склонности к изящной словесности, а потому, что он что-то знает и хочет сказать, это производит впечатление переворота, точно распахиваются двери и в них проникает шум идущей снаружи жизни, точно не человек сообщает о том, что делается в городе, а сам город устами человека заявляет о себе. Так было и с Блоком. Таково было его одинокое, по-детски не испорченное слово, такова сила его действия.

Бумага содержала некоторую новость. Казалось, что новость сама без спроса расположилась на печатном листе, а стихотворения никто не писал и не сочинял. Казалось, страницу покрывают не стихи о ветре и лужах, фонарях и звездах, но фонари и лужи сами гонят по поверхности журнала свою ветреную рябь, сами оставили в нем свои сырые, могуче воздействующие следы.

3

С Блоком прошли и провели свою молодость я и часть моих сверстников, о которых речь будет ниже. У Блока было все, что создает великого поэта.— огонь, нежность, проникновение, свой образ мира, свой дар особого, все претворяющего прикосновения, своя сдержанная, скрадывающаяся, вобравшаяся в себя судьба. Из этих качеств и еще многих других остановлюсь на одной стороне, может быть наложившей на меня наибольший отпечаток и потому кажущейся мне преимущественной, на блоковской стремительности, на его блуждающей пристальности, на беглости его наблюдений.

Свет в окошке шатался
В полумраке — один —
У подъезда шептался
С темнотой арлекин.

.

По улицам метель метет,
Свивается, шатается,
Мне кто-то руку подает
И кто-то улыбается.

.

Там кто-то машет, дразнит светом.
Так зимней ночью на крыльцо
Тень чья-то глянет силуэтом
И быстро скроется лицо.

.

Прилагательные без существительных, сказуемые без подлежащих, пряжки, взбудораженность, юрко мелькающие фигурки, отрывистость — как подходил этот стиль к духу времени, таившемуся, сокровенному, подпольному, едва вышедшему из подвалов, объяснявшемуся языком заговорщиков, главным лицом которого был город, главным событием — улица.

Эти черты проникают существо Блока, Блока основного и преобладающего, Блока второго тома алконовостовского издания, Блока «Страшного мира», «Последнего дня», «Обмана», «Повести», «Легенды», «Митинга», «Незнакомки», стихов: «В туманах, над сверканьем рос», «В кабаках, в переулках, в извивах», «Девушка пела в церковном хоре».

Черты действительности как током воздуха занесены вихрем блоковской впечатлительности в его книги. Даже самое далекое, что могло бы показаться мистикой, что можно бы назвать «божественным». Это тоже не метафизические фантазии, а рассыпанные по всем его

стихам клочки церковно-бытовой реальности, места из ектеньи, молитвы перед причастием и панихидных псалмов, знакомые наизусть и сто раз слышанные на службах.

Суммарным миром, душой, носителем этой действительности был город Блоковских стихов, главный герой его повести, его биографии.

Этот город, этот Петербург Блока — наиболее реальный из Петербургов, нарисованных художниками новейшего времени. Он до безразличия одинаково существует в жизни и воображении, он полон повседневной прозы, питающей поэзию драматизмом и тревогой, и на улицах его звучит то общеупотребительное будничное просторечие, которое освежает язык поэзии.

В то же время образ этого города составлен из черт, отобранных рукой такую нервною, и подвергся такому одухотворению, что весь превращен в захватывающее явление редчайшего внутреннего мира.

4

Я имел случай и счастье знать многих старших поэтов, живших в Москве, Брюсова, Андрея Белого, Ходасевича, Вячеслава Иванова, Балтрушайтиса. Блоку я впервые представился в его последний наезд в Москву, в коридоре или на лестнице Политехнического музея в вечер его выступления в аудитории музея. Блок был приветлив со мной, сказал, что слышал обо мне с лучшей стороны, жаловался на самочувствие, просил отложить встречу с ним до улучшения его здоровья.

В этот вечер он выступал с чтением своих стихов в трех местах: в Политехническом, в Доме печати и в Обществе Данте Алигьери, где собрались самые ревностные его поклонники и где он читал свои «Итальянские стихи».

На вечере в Политехническом был Маяковский. В середине вечера он сказал мне, что в Доме печати Блоку под видом критической неподкупности готовят бенефис, разнос и кошачий концерт. Он предложил вдвоем отправиться туда, чтобы предотвратить задуманную низость.

Мы ушли с блоковского чтения, но пошли пешком, а Блока повезли на второе выступление в машине, и пока мы добрались до Никитского бульвара, где помещался Дом печати, вечер кончился и Блок уехал в Общество любителей итальянской словесности. Скандал, которого опасались, успел тем временем произойти, Блоку после чтения в Доме печати наговорили кучу чудовищностей, не постеснявшись в лицо упрекнуть его в том, что он отжил и внутренне мертв, с чем он спокойно соглашался. Это говорилось за несколько месяцев до его действительной кончины.

5

В те годы наших первых дерзаний только два человека, Асеев и Цветаева, владели зрелым, совершенно сложившимся поэтическим слогом. Хваления самобытности других, в том числе и моя, происходила от полной беспомощности и связанности, которые не мешали нам, однако, писать, печататься и переводить. Среди удручающе неумелых писаний моих того времени самые страшные — переведенная мною пьеса Бен Джонсона «Алхимик» и поэма «Тайны» Гёте в моем переводе. Есть отзыв Блока об этом переводе среди других его рецензий, написанных для издательства «Всемирная литература» и помещенных в последнем томе его собрания. Пренебрежительный, уничтожающий отзыв, в оценке своей заслуженный, справедливый. Однако от забежавших вперед подробностей пора вернуться к покинутому нами изложению, остановившемуся у нас на годах давно прошедших, девяностых.

6

Гимназистом третьего или четвертого класса я по бесплатному билету, представленному дядею, начальником петербургской товарной станции Николаевской железной дороги, один ездил в Петербург на рождественские каникулы. Целые дни я бродил по улицам бессмертного города, точно ногами и глазами пожирая какую-то гениальную каменную книгу, а по вечерам пропадал в театре Комиссаржевской. Я был отравлен новейшей литературой, бредил Андреем Белым, Гамсуном, Пшибышевским.

Еще большее, настоящее представление о путешествии получил я от поездки всей семьи в 1906 году в Берлин. Я в первый раз попал тогда за границу.

Все необычно, все по-другому. Как будто не живешь, а видишь сон или участвуешь в выдуманном, ни для кого не обязательном театральном представлении. Никого не знаешь, никто тебе не указ. Длинный ряд распаивающихся и захлопывающихся дверец, вдоль всей стены вагона, по отдельной дверце в каждое купе. Четыре рельсовых пути по кольцевой эстакаде, высящейся над улицами, каналами, скаковыми конюшнями и задними дворами исполинского города. Нагоняющие, обгоняющие друг друга, идущие рядом и расходящиеся поезда. Двоящиеся, скрещивающиеся, пересекающие друг друга огни улиц под мостами, огни вторых и третьих этажей на уровне свайных путей, иллюминированные разноцветными огоньками автоматические машины в вокзальных буфетах, выбрасывающие сигары, лакомства, засахаренный миндаль. Скоро я привык к Берлину, слонялся по его бесчисленным улицам и беспредельному парку, говорил по-немецки, подделываясь под берлинский выговор, дышал смесью паровозного дыма, светильного газа и пивного чада, слушал Вагнера.

Берлин был полон русскими. Композитор Ребиков играл знакомым свою «Елку» и делил музыку на три периода: на музыку животную до Бетховена, музыку человеческую в следующем периоде и музыку будущего после себя.

Был в Берлине и Горький. Отец рисовал его. Андреевой не понравилось, что на рисунке скулы выступили, получились угловатыми. Она сказала: «Вы его не поняли. Он — готический». Так тогда выражались.

7

Наверное после этого путешествия, по возвращении в Москву, в жизнь мою вошел другой великий лирик века, тогда едва известный, а теперь всем миром признанный немецкий поэт Райнер Мария Рильке.

В 1900 году он ездил в Ясную Поляну к Толстому, был знаком и переписывался с отцом и одно лето прогостил под Клином в Завидове у крестьянского поэта Дрожжина.

В эти далекие годы он дарил отцу свои ранние сборники с теплыми надписями. Две такие книги с большим запозданием попались мне в руки в одну из описываемых зим и ошеломили меня тем же, чем поразили первые виденные стихотворения Блока: настоятельностью сказанного, безусловностью, нешуточностью, прямым назначением речи.

8

У нас Рильке совсем не знают. Немногочисленные попытки передать его по-русски неудачны. Переводчики не виноваты. Они привыкли воспроизводить смысл, а не тон сказанного, а тут все дело в тоне.

В 1913 году в Москве был Верхарн. Отец рисовал его. Иногда он обращался ко мне с просьбой занять портретируемого, чтобы у модели не застывало и не мертвело лицо. Так однажды я развлекал историка В. О. Ключевского. Так пришлось мне занимать Верхарна. С понятным восхищением я говорил ему о нем самом и потом робко спросил его, слышал ли он когда-нибудь о Рильке. Я не предполагал, что Верхарн его знает. Позировавший преобразился. Отцу лучшего и не надо было. Одно это имя оживило модель больше всех моих разговоров. «Это лучший поэт Европы,— сказал Верхарн,— и мой любимый названный брат».

У Блока проза остается источником, откуда вышло стихотворение. Он ее не вводит в строй своих средств выражения. Для Рильке живописующие и психологические приемы современных романистов (Толстого, Флобера, Пруста, скандинавов) неотделимы от языка и стиля его поэзии.

Однако, сколько бы я ни разбирал и ни описывал его особенностей, я не дам о нем понятия, пока не приведу из него примеров, которые я нарочно перевел для этой главы с целью такого ознакомления.

9

ЗА КНИГОЙ

Я зачитался. Я читал давно.
С тех пор как дождь пошел хлестать в окно.
Весь с головою в чтение уйдя,
Не слышал я дождя.
Я вглядывался в строки, как в морщины
Задумчивости, и часы подряд
Стояло время или шло назад.
Как вдруг я вижу, краскою карминной
В них набрано: закат, закат, закат.
Как нитки ожерелья строки рвутся
И буквы катятся куда хотят.
Я знаю, солнце, покидая сад,
Должно еще раз было оглянуться
Из-за охваченных зарей оград.
А вот как будто ночь по всем приметам.
Деревья жмутся по краям дорог,
И люди собираются в кружок
И тихо рассуждают, каждый слог
Дороже золота цена при этом.
И если я от книги подыму
Глаза и за окно уставлюсь взглядом,
Как будет близко все, как станет рядом,
Сродни и впору сердцу моему.
Но надо глубже вжиться в полутьму
И глаз приоровить к ночным громадам,
И я увижу, что земле мала
Околица, она переросла
Себя и стала больше небосвода,
И крайняя звезда в конце села
Как свет в последнем домике прихода

СОЗЕРЦАНИЕ

Деревья складками коры
Мне говорят об ураганах,
И я их сообщений странных
Не в силах слышать средь нежданных
Невзгод, в скитаньях постоянных,
Один, без друга и сестры.

Сквозь рощу рвется непогода,
Сквозь изгороди и дома,
И вновь без возраста природа,

И дни и вещи обихода,
И даль пространств, как стих псалма.

Как мелки с жизнью наши споры,
Как крупно то, что против нас.
Когда б мы поддались напору
Стихии, ищущей простора.
Мы выросли бы во сто раз.

Все, что мы побеждаем — малость,
Нас унижает наш успех
Необычайность, небывалость
Зовет борцов совсем не гех.

Так ангел ветхого завета
Нашел соперника под стать.
Как арфу он сжимал атлета,
Которого любая жила
Струною ангелу служила,
Чтоб схваткой гимн на нем сыграть.

Кого тот ангел победил.
Тот правым, не грядясь собою,
Выходит из такого боя
В сознаныи и расцвете сил.
Не станет он искать побед.
Он ждет, чтоб высшее начало
Его все чаще побеждало,
Чтобы расти ему в ответ.

10

Приблизительно с 1907 года стали расти как грибы издательства, часто давали концерты новой музыки, одна за другою открывались выставки картин «Мира искусства», «Золотого руна», «Бубнового валета», «Ослиного хвоста», «Голубой розы». Вместе с русскими именами Сомова, Сапунова, Судейкина, Крымова, Ларионова, Гончаровой мелькали французские имена Боннара и Вьюара. На выставках «Золотого руна» в затененных занавесями залах, где пахло землей, как в теплицах, от наставленных кругом горшков с гиацинтами, можно было видеть присланные на выставку работы Матисса и Родена. Молодежь примыкала к этим направлениям.

На территории одного из новых домов Разгуляя во дворе сохранялось старое деревянное жильё домовладельца генерала. В мезонине сын хозяина, поэт и художник Юлиан Павлович Анисимов, собирал молодых людей своего толка. У него были слабые легкие. Зимы он проводил за границей. Знакомые собирались у него в хорошую погоду весной и осенью. Читали, музицировали, рисовали, рассуждали, закусывали и пили чай с ромом. Здесь я познакомился со множеством народа.

Хозяин, талантливейшее существо и человек большого вкуса, начитанный и образованный, говоривший на нескольких иностранных языках свободно, как по-русски, сам воплощал собою поэзию в той степени, которая составляет очарование любительства и при которой трудно быть еще вдобавок творчески сильною личностью, характером, из которого вырабатывается мастер. У нас были сходные интересы, общие любимцы. Он мне очень нравился.

Здесь бывал ныне умерший Сергей Николаевич Дурылин, тогда писавший под псевдонимом Сергей Раевский. Это он переманил меня из музыки в литературу, по доброте своей сумев найти что-то достойное внимания в моих первых опытах. Он жил бедно, держа мать и тетку уроками, и своей восторженной прямою и неистовою убежденностью напоминал образ Белинского, как его рисуют предания.

Здесь университетский мой товарищ К. Г. Локс, которого я знал раньше, впервые показал мне стихотворение Иннокентия Анненского, по признакам родства, которое он установил между моими писаниями и блужданиями и замечательным поэтом, мне тогда еще неизвестным.

У кружка было свое название. Его окрестили Сердардой, именем, значения которого никто не знал. Это слово будто бы слышал член кружка, поэт и бас Аркадий Гурьев однажды на Волге. Он его слышал в ночной суматохе двух сошедшихся у пристани пароходов, когда один пришвартовывают к другому и публика с нового парохода проходит с багажом на пристань через внутренность ранее причаленного, смешиваясь с его пассажирами и вещами.

Гурьев был из Саратова. Он обладал могучим и мягким голосом и артистически передавал драматические и вокальные тонкости того, что он пел. Как все самородки, он одинаково поражал непрерывным скороморшничаньем и задатками глубокой подлинности, проглядывавшими сквозь его ломанье. Незаурядные стихи его предвосхищали будущую необузданную искренность Маяковского и живо передающиеся читателю отчетливые образы Есенина. Это был готовый артист, оперный и драматический, в исконной актерской своей сути, неоднократно изображенной Островским.

У него была лобастая, круглая как луковица, голова с едва заметным носом и признаками будущей лысины во весь череп, от лба до затылка. Весь он был движение, выразительность. Он не жестикулировал, не размахивал руками, но верх туловища, когда он стоя рассуждал или декламировал, ходил, играл, говорил у него. Он склонял голову, откидывался назад корпусом и ноги ставил врозь, как бы застегнутый в плясовой с притопыванием. Он немного зашибал и в запое начинал верить в свои выдумки. К концу своих номеров он делал вид, что пятка пристала у него к полу и ее не оторвать, и уверял, будто черт ловит его за ногу.

В Сердарде бывали поэты, художники, Б. Б. Красин, положивший на музыку блоковские «Вербочки», будущий сотоварищ ранних моих дебютов Сергей Бобров, появлению которого на Разгуляе предшествовали слухи, будто это новонародившийся русский Рембо, издатель «Муссагета» А. М. Кожебаткин, наезжавший в Москву издатель «Аполлона» Сергей Маковский.

Сам я вступил в Сердарду на старых правах музыканта, импровизациями на фортепиано изображая каждого входящего в начале вечера, пока собирались.

Быстро проходила короткая весенняя ночь. В раскрытое окошко веяло утренним холодом. Его дыхание подымало полы занавесей, шевелило пламя догоравших свечей, шелестело лежавшими на столе листами бумаги. И все зевали, гости, хозяин, пустые дали, серое небо, комнаты, лестницы. Мы расходились, обгоняя по широким и удлинвшимся от безлюдья улицам громыхающие бочки нескончаемого ассенизационного обоза. «Кентавры»,— говорил кто-нибудь на языке времени.

Вокруг издательства «Муссагет» образовалось нечто вроде академии. Андрей Белый, Степун, Рачинский, Борис Садовской, Эмилий Метнер, Шенрок, Петровский, Эллис, Нилендер занимались с сочувственной молодежью вопросами ритмики, историей немецкой романтики, русской лирикой, эстетикой Гёте и Рихарда Вагнера, Бодлером и французскими символистами, древнегреческой досократовской философией.

Душой всех этих начинаний был Андрей Белый, неотразимый авто-

ритет этого круга тех дней, первостепенный поэт и еще более поразительный автор «Симфоний» в прозе и романов «Серебряный голубь» и «Петербург», совершивших переворот в дореволюционных вкусах современников и от которых пошла первая советская проза.

Андрей Белый обладал всеми признаками гениальности, не введенной в русло житейскими помехами, семьей, непониманием близких, разгулявшейся вхолостую и из силы производительной превратившейся в бесплодную и разрушительную силу. Этот изъян излишнего одухотворения не ронял его, а вызывал участие и прибавлял страдальческую черту к его обаянию.

Он вел курс практического изучения русского классического ямба и методом статистического подсчета разбирал вместе со слушателями его ритмические фигуры и разновидности. Я не посещал работ кружка, потому что, как и сейчас, всегда считал, что музыка слова — явление совсем не акустическое и состоит не в благозвучии гласных и согласных, отдельно взятых, а в соотношении значения речи и ее звучания.

Иногда молодежь при «Мусагете» собиралась не в конторе издательства, а в других местах. Таким сборным местом была мастерская скульптора Крахта на Пресне.

В мастерской был жилой верх в виде неогороженных, свешивавшихся над ней полатей, а внизу, задрапированные плющом и другой декоративной зеленью, белели слепки с античных обломков, гипсовые маски и собственные работы хозяина.

Однажды поздней осенью я читал в мастерской доклад под названием «Символизм и бессмертие». Часть общества сидела внизу, часть слушала сверху, разлегшись на полу антресолей и выставив за их край головы.

Доклад основывался на соображении о субъективности наших восприятий, на том, что ощущаемым нами звукам и краскам в природе соответствует нечто иное, объективное колебание звуковых и световых волн. В докладе проводилась мысль, что эта субъективность не является свойством отдельного человека, но есть качество родовое, сверхличное, что это субъективность человеческого мира, человеческого рода. Я предполагал в докладе, что от каждой умирающей личности остается доля этой неумирающей, родовой субъективности, которая содержалась в человеке при жизни и которою он участвовал в истории человеческого существования. Главною целью доклада было выставить допущение, что, может быть, этот предельно субъективный и всечеловеческий угол или выдел души есть извечный круг действия и главное содержание искусства. Что, кроме того, хотя художник, конечно, смертен, как все, счастье существования, которое он испытал, бессмертно и в некотором приближении к личной и кровной форме его первоначальных ощущений может быть испытано другими спустя века после него по его произведениям.

Доклад назывался «Символизм и бессмертие» потому, что в нем утверждалась символическая, условная сущность всякого искусства в том самом общем смысле, как можно говорить о символике алгебры.

Доклад произвел впечатление. О нем говорили. Я с него вернулся поздно. Дома я узнал, что задержанный болезнью в пути после ухода из Ясной Поляны Толстой скончался на станции Астапово и что отец вызван туда телеграммой. Мы быстро собрались и отправились на Павелецкий вокзал к ночному поезду¹.

¹ Смерть Л. Н. Толстого (7 ноября 1910 года) и чтение доклада (февраль 1913 года) ошибочно отнесены в очерке к одному и тому же времени. (Здесь и далее примечания Е. Пастернака.)

Тогда выезд за город был заметнее, чем теперь, сельская местность больше отличалась от городской, чем в настоящее время. С утра окно вагона наполнила и уже весь день не оставляла ровная, едва оживляемая редкими селениями ширь паров и озимей, тысячеверстная ширь России пахотной, деревенской, которая кормила небольшую городскую Россию и на нее работала. Землю уже посеребрили первые морозы, и необлетевшее золото берез обрамляло ее по межам, и это серебро морозов и золото берез скромным украшением лежало на ней, как листочки накладного золота и серебряной фольги на ее святой и смиренной старине.

Вспаханная и отдыхающая земля мелькала в окнах вагона и не знала, что где-то рядом, совсем неподалеку, умер ее последний богатырь, который по родовитости мог быть ее царем, а по искушенности ума, избалованного всеми тонкостями мира, баловнем всем баловникам и барином всем барам и который, однако, из любви к ней и совестливости перед ней ходил за сохой и одевался и подпоясывался по мужицки.

Наверное стало известно, что покойника будут рисовать, а потом приехавший с Меркуровым формовщик будет снимать с головы маску, и прощавшихся удалили из комнаты. Когда мы вошли, она была пуста. Из дальнего угла навстречу отцу быстро шагнула заплаканная Софья Андреевна и, схватив его за руки, судорожно и прерывисто промолвила сквозь слезы: «Ах, Леонид Осипович, что я перенесла! Вы ведь знаете, как я его любила!» И она стала рассказывать, как она пыталась покончить с собой, когда Толстой ушел, и топилась и как ее едва живую вытащили из пруда.

В комнате лежала гора, вроде Эльбруса, и она была его большой отдельной скалой. Комнату занимала грозовая туча в полнеба, и она была ее отдельной молнией. И она не знала, что обладает правом скалы и молнии безмолвствовать и подавлять загадочностью поведения и не вступать в тяжбу с тем, что было самым нетолстовским на свете,— с толстовцами, и не принимать карликового боя с этой стороны.

А она оправдывалась и призывала отца в свидетели того, что преданностью и идейным пониманием превосходит соперников и уберегла бы покойного лучше, чем они. Боже,— думал я,— до чего можно довести человека и более того: жену Толстого.

Странно, в самом деле. Современный человек, отрицающий дуэль как устаревший предрассудок, пишет огромное сочинение на тему о дуэли и смерти Пушкина. Бедный Пушкин! Ему следовало жениться на Щеголеве и позднейшем пушкиноведении, и все было бы в порядке. Он дожил бы до наших дней, присочинил бы несколько продолжений к Онегину и написал пять «Полтав» вместо одной. А мне всегда казалось, что я перестал бы понимать Пушкина, если бы допустил, что он нуждался в нашем понимании больше, чем в Наталии Николаевне.

Но в углу лежала не гора, а маленький сморщенный старичок, один из сочиненных Толстым старичков, которых десятки он описал и рассыпал по своим страницам. Место было кругом уютяно невысокими елочками. Садившееся солнце четырьмя наклонными снопами света пересекало комнату и крестило угол с телом крупной тенью оконных крестовин и мелкими детскими крестиками вычертившихся елочек.

Станционный поселок Астапово представлял в тот день нестройно шумевший табор мировой журналистики. Бойко торговал буфет на вокзале, официанты сбивались с ног, не поспевая за требованиями и бегом разнося поджаристые бифштексы с кровью. Рекою лилось пиво.

На вокзале были Толстые Илья и Андрей Львовичи. Сергей Львович прибыл в поезде, пришедшем за прахом Толстого для перевоза его в Ясную Поляну.

С пением «Вечной памяти» студенты и молодежь перенесли гроб с телом по станционному дворику и саду на перрон к поданному поезду и поставили в товарный вагон. Толпа на платформе обнажила головы, и под возобновившееся пение поезд тихо отошел в тульском направлении.

Было как-то естественно, что Толстой упокоился, успокоился у дороги, как странник, близ проездных путей тогдашней России, по которым продолжали пролетать и круговращаться его герои и героини и смотрели в вагонные окна на ничтожную мимолежащую станцию, не зная, что глаза, которые всю жизнь на них смотрели и обняли их взором и увековечили, навсегда на ней закрылись.

15

Если взять по одному качеству от каждого писателя, например, назвать страстность Лермонтова, многосодержательность Тютчева, поэтичность Чехова, ослепительность Гоголя, силу воображения Достоевского,— что сказать о Толстом, ограничив определение одной чертою?

Главным качеством этого моралиста, уравниателя, проповедника законности, которая охватывала бы всех без послаблений и изъятий, была ни на кого не похожая, парадоксальности достигавшая оригинальность.

Он всю жизнь, во всякое время обладал способностью видеть явления в оторванной скончателности отдельного мгновения, в исчерпывающем выпуклом очерке, как глядим мы только в редких случаях, в детстве, или на гребне всеобновляющего счастья, или в торжестве большой душевной победы.

Для того чтобы так видеть, глаз наш должна направлять страсть. Она-то именно и озаряет своей вспышкой предмет, усиливая его видимость.

Такую страсть, страсть творческого созерцания, Толстой постоянно носил в себе. Это в ее именно свете он видел все в первоначальной свежести, по-новому и как бы впервые. Подлинность виденного им так расходится с нашими привычками, что может показаться нам странной. Но Толстой не искал этой странности, не преследовал ее в качестве цели, а тем более не сообщал ее своим произведениям в виде писательского приема.

Перед первой мировой войною

1

Половину 1912 года, весну и лето, я пробыл за границей. Время наших учебных каникул приходится на Западе на летний семестр. Этот семестр я провел в старинном университете города Марбурга.

В этом университете Ломоносов слушал математика и философа Христиана Вольфа. За полтора столетия до него здесь проездом из-за границы, перед возвращением на родину и смертью на костре в Риме, читал очерк своей новой астрономии Джордано Бруно.

Марбург — маленький средневековый городок. Тогда он насчитывал 29 тысяч жителей. Половину составляли студенты. Он живописно

лепится по горе, из которой добыт камень, пошедший на постройку его домов и церквей, замка и университета, и утопает в густых садах, темных как ночь.

У меня остались крохи от средств, отложенных на жизнь и учение в Германии. На этот неизрасходованный остаток я съездил в Италию. Я видел Венецию, кирпично-розовую и аквамаринно-зеленую, как прозрачные камушки, выбрасываемые морем на берег, и посетил Флоренцию, темную, тесную, стройную, — живое извлечение из дантовских терцин. На осмотр Рима у меня не хватило денег.

В следующем году я окончил Московский университет. Мне в этом помог Мансуров, оставленный при университете молодой историк. Он снабдил меня целым собранием подготовительных пособий, по которым сам он сдавал государственный экзамен в предшествующем году. Профессорская библиотека с избытком превышала экзаменационные требования и, кроме общих руководств, содержала подробные справочники по классическим древностям и отдельные монографии по разным вопросам. Я насилу увез это богатство на извозчике.

Мансуров был родней и другом молодого Трубецкого и Дмитрия Самарина. Я их знал по Пятой гимназии, где они ежегодно сдавали экзамены экстернами, обучаясь дома.

Старшие Трубецкие, отец и дядя студента Николая, были — один профессором энциклопедии права, другой ректором университета и известным философом. Оба отличались крупной корпуленцией и, слонами в сюртуках без талий взгромоздясь на кафедру, тоном упрашивания глуховатыми, аристократически-картавыми, клянчащими голосами читали свои замечательные курсы.

Сходной породы были молодые люди, неразлучною тройкой заглядывавшие в университет, рослые даровитые юноши со сросшимися бровями и громкими голосами и именами.

В этом кругу была в почете Марбургская философская школа. Трубецкой писал о ней и посылал туда наиболее одаренных учеников совершенствоваться. Побывавший там до меня Дмитрий Самарин был в городке своим человеком и патриотом Марбурга. Я туда отправился по его совету.

Дмитрий Самарин был из знаменитой славянофильской семьи, в бывшем имении которой теперь раскинулся городок писателей в Переделкине и Переделкинский детский туберкулезный санаторий. Философия, диалектика, знание Гегеля были у него в крови, были наследственными. Он разбрасывался, был рассеян и наверное не вполне нормален. Благодаря странным выходкам, которыми он поражал, когда на него находило, он был тяжел и в общежитии невыносим. Нельзя винить родных, не уживавшихся с ним и с которыми он вечно ссорился.

В начале нэпа он очень опростившимся и всепонимающим прибыл в Москву из Сибири, по которой его долго носила Гражданская война. Он опух от голода и был с пути во вшах. Измученные лишениями близкие окружили его заботами. Но было уже поздно. Вскоре он заболел тифом и умер, когда эпидемия пошла на убыль.

Я не знаю, что случилось с Мансуровым, а знаменитый филолог Николай Трубецкой прославился на весь мир и недавно умер в Вене.

Лето после государственных экзаменов я провел у родителей на даче в Молодях близ станции Столбовой по Московско-Курской железной дороге.

В доме по преданию казаки нашей отступавшей армии отстрели-

вались от наседавших передовых частей Наполеона. В глубине парка, сливавшегося с кладбищем, зарастали и приходили в ветхость их могилы.

Внутри дома были узкие, по сравнению с их высотой, комнаты, высокие окна. Настольная керосиновая лампа разбрасывала гигантских размеров тени по углам темно-бордовых стен и потолку.

Под парком вилась небольшая речка, вся в крутых водорослях. Над одним из омутов полуоборвалась и продолжала расти в опрокинутом виде большая старая береза.

Зеленая путаница ее ветвей представляла висевшую над водою воздушную беседку. В их крепком переплетении можно было расположиться сидя или полулежа. Здесь обосновал я свой рабочий угол. Я читал Тютчева и впервые в жизни писал стихи не в виде редкого исключения, а часто и постоянно, как занимаются живописью или пишут музыку.

В гуще этого дерева я в течение двух или трех летних месяцев написал стихотворения своей первой книги.

Книга называлась до глупости притязательно «Близнец в тучах», из подражания космологическим мудреностям, которыми отличались книжные заглавия символистов и названия их издательств.

Писать эти стихи, перемарывать и восстанавливать зачеркнутое было глубокой потребностью и доставляло ни с чем не сравнимое, до слез доводящее удовольствие.

Я старался избегать романтического наигрыша, посторонней интересности. Мне не требовалось громыхать их с эстрады, чтобы от них шарахались люди умственного труда, негодуя. «Какое падение! Какое варварство!» Мне не надо было, чтобы от их скромного изящества мерли мухи и дамы-профессорши после их чтения в кругу шести или семи почитателей говорили: «Позвольте пожать вашу честную руку». Я не добивался отчетливой ритмики, плясовой или песенной, от действия которой почти без участия слов сами собой начинают двигаться ноги и руки. Я ничего не выражал, не отражал, не отображал, не изображал.

Впоследствии, ради ненужных сближений меня с Маяковским, находили у меня зататки ораторские и интонационные. Это неправильно. Их у меня не больше, чем у всякого говорящего.

Совсем напротив, моя постоянная забота обращена была на содержание, моей постоянной мечтой было, чтобы само стихотворение нечто содержало, чтобы оно содержало новую мысль или новую картину. Чтобы всеми своими особенностями оно было вгравировано внутрь книги и говорило с ее страниц всем своим молчанием и всеми красками своей черной бескрасочной печати.

Например, я писал стихотворение «Венеция» или стихотворение «Вокзал». Город на воде стоял предо мной, и круги и восьмерки его отражений плыли и множились, разбухая, как сухарь в чаю. Или вдали в конце путей и перронов возвышался, весь в облаках и дымах, железнодорожный прощальный горизонт, за которым скрывались поезда и который заключал целую историю отношений, встречи и проводы и события до них и после них.

Мне ничего не надо было от себя, от читателей, от теории искусства. Мне нужно было, чтобы одно стихотворение содержало город Венецию, а в другом заключался Брестский, ныне Белорусско-Балтийский, вокзал. Строки «Бывало, раздвинется запад в маневрах ненастий и шпал» из названного «Вокзала» нравились Боброву. У нас было в сообществе с Асеевым и несколькими другими начинающими небольшое содружеское издательство на началах складчины. Знавший типографское дело по службе в «Русском архиве» Бобров сам печатался с нами

и выпускал нас. Он издал «Близнеца» с дружеским предисловием Асеева.

Мария Ивановна Балтрушайтис, жена поэта, говорила: «Вы когда-нибудь пожалеете о выпуске незрелой книжки». Она была права. Я часто жалел о том.

3

Жарким летом 1914 года, с засухой и полным затмением солнца, я жил на даче у Балтрушайтисов в большом имении на Оке близ города Алексина. Я занимался предметами с их сыном и переводил для возникшего тогда Камерного театра, которого Балтрушайтис был литературным руководителем, немецкую комедию Клейста «Разбитый кувшин».

В имении было много лиц из художественного мира, поэт Вячеслав Иванов, художник Ульянов, жена писателя Муратова. Неподдалеку в Тарусе Бальмонт для того же театра переводил «Сакунталу» Калидасы.

В июле я ездил в Москву на комиссию призываться и получил белый билет, чистую отставку, по укорочению сломанной в детстве ноги, с чем и вернулся на Оку к Балтрушайтисам.

Вскоре после этого выдался такой вечер. По Оке долго в пелене тумана, стлавшегося по речным камышам, плыла и приближалась снизу какая-то полковая музыка, польки и марши. Потом из-за мыса выплыл небольшой буксирный пароходик с тремя баржами. Наверное с парохода увидели имение на горе и решили причалить. Пароход повернул через реку наперерез и подвел баржи к нашему берегу. На них оказались солдаты, многочисленная гренадерская воинская часть. Они высадились и развели костры под горою. Офицеров пригласили наверх ужинать и ночевать. Утром они отвалили. Это была одна из частных заблаговременно проводившейся мобилизации. Началась война.

4

Тогда я в два срока с перерывами около года прослужил домашним учителем в семье богатого коммерсанта Морица Филиппа, гувернером их сына Вальтера, славного и привязчивого мальчика.

Летом во время московских противонемецких беспорядков в числе крупнейших фирм Эйнема, Ферейна и других громили также Филиппа, контору и жилой особняк.

Разрушение производили по плану, с ведома полиции. Имущества служащих не трогали, только хозяйское. В творившемся хаосе мне сохранили белье, гардероб и другие вещи, но мои книги и рукописи попали в общую кашу и были уничтожены.

Потом у меня много пропадало при более мирных обстоятельствах. Я не люблю своего стиля до 1940 года, отрицаю половину Маяковского, не все мне нравится у Есенина. Мне чужд общий тогдашний распад форм, оскудение мысли, засоренный и неровный слог. Я не тужу об исчезновении работ порочных и несовершенных. Но и совсем с другой точки зрения меня никогда не огорчали пропажи.

Терять в жизни более необходимо, чем приобретать. Зерно не даст всхода, если не умрет. Надо жить не уставая, смотреть вперед и питаться живыми запасами, которые совместно с памятью вырабатывает забвение.

В разное время у меня по разным причинам затерялись: текст доклада «Символизм и бессмертие». Статьи футуристического периода. Сказка для детей в прозе. Две поэмы. Тетрадь стихов, промежуточная между сборником «Поверх барьеров» и «Сестрой моей. Жизнь». Черновик романа в нескольких, листового формата, тетрадах, которого отделанное начало было напечатано в виде повести «Детство Люверс».

Перевод целой трагедии Суинберна из его драматической трилогии о Марии Стюарт¹.

Из разоренного и наполовину сожженного дома Филиппы перебрались в наемную квартиру. Тут тоже имелась для меня отдельная комната. Я хорошо помню. Лучи садившегося осеннего солнца бороздили комнату и книгу, которую я перелистывал. Вечер в двух видах заключался в ней. Один легким порозовением лежал на ее страницах. Другой составлял содержание и душу стихов, напечатанных в ней. Я завидовал автору, сумевшему такими простыми средствами удержать частицы действительности, в нее занесенные. Это была одна из первых книг Ахматовой, вероятно, «Подорожник»².

5

В те же годы, между службою у Филиппов, я ездил на Урал и в Прикамье. Одну зиму я прожил во Всеволодо-Вильве на севере Пермской губернии в месте, некогда посещенном Чеховым и Левитаном по свидетельству А. Н. Тихонова, изобразившего эти места в своих воспоминаниях. Другую перезимовал в Тихих горах на Каме, на химических заводах Ушковых.

В конторе заводов я вел некоторое время военный стол и освобождал целые волости военнообязанных, прикрепленных к заводам и работавших на оборону.

Зимой заводы сообщались с внешним миром допотопным способом. Почту возили из Казани, расположенной в двухстах пятидесяти верстах, как во времена «Капитанской дочки», на тройках. Я один раз проделал этот зимний путь.

Когда в марте 1917 года на заводах узнали о разразившейся в Петербурге революции, я поехал в Москву.

На Ижевском заводе я должен был найти и захватить ранее командированного туда инженера и замечательного человека Збарского, поступить в его распоряжение и следовать с ним дальше.

Из Тихих гор гнали в кибитке, крытом возке на полозьях, вечер, ночь напролет и часть следующего дня. Замотанный в три азяма и утопая в сене, я грузным кулем перекачивался на дне саней, лишенный свободы движений. Я дремал, клевал носом, засыпал и просыпался, и закрывал и открывал глаза.

Я видел лесную дорогу, звезды морозной ночи. Высокие сугробы горой горбили узкую проезжую стезжку. Часто возок крышею наезжал на нижние ветки нависших пихт, осыпал с них иней и с шорохом проволакивался по ним, таща их на себе. Белизна снежной пелены отражала мерцание звезд и освещала путь. Светящийся снежный покров пугал в глубине, внутри чащи, как вставленная в лес горящая свеча.

Три лошади, запряженные гусем, одна другой в затылок, мчали возок, то одна, то другая сбиваясь в сторону и выходя из ряда. Ямщик поминутно выравнивал их и, когда кибитка клонилась набок, соскакивал с нее, бежал рядом и плечом подпирал ее, чтобы она не упала.

¹ Из упомянутого списка затерянных работ удалось найти две статьи футуристического периода. Они сохранились в архиве С. П. Боброва. Это рецензии на книги В. Маяковского «Простое как мычание» и Н. Асеева «Оксана». Там же сохранились наброски к «Поэме о ближнем» (Б. П а с т е р н а к. Стихотворения и поэмы. «Советский писатель». 1965, стр. 523—528). Тезисы доклада «Символизм и бессмертие» хранятся в ЦГАЛИ, ф. 2085, Р. М. Глиэр, № 1, ед. хр. 1143, л. 8. Трагедия Ал. Суинберна «Шателляр» пропала в типографии, что стало известно из анкеты 1919 года, хранящейся в рукописном фонде ИМЛИ.

² «Подорожник» вышел только в 1921 году. По-видимому, это «Четки», появившиеся в 1913 году.

Я опять засыпал, теряя представление о протекшем той порою времени, и вдруг пробуждался от толчка и прекратившегося движения. Ямской стан в лесу, совершенно как в сказках о разбойниках. Огонек в избе. Шумит самовар, и тикают часы. Пока довезший кибитку ямщик разоблачается, отходит от мороза и негромко, по-ночному, во внимание к спящим, может быть, за перегородкой, разговаривает с собирающей ему поесть становихой, новый утирает усы и губы, застегивает армяк и выходит на мороз закладывать свежую тройку.

И опять гон всюю, свист полозьев и дремота и сон. А потом, на другой день,— неведомая даль в фабричных трубах, бескрайняя снежная пустыня большой замерзшей реки и какая-то железная дорога.

6

Бобров незаслуженно тепло относился ко мне. Он неусыпно следил за моей футуристической чистотой и берег меня от вредных влияний. Под таковыми он разумел сочувствие старших. Едва он замечал признаки их внимания, как из страха, чтобы их ласка не ввергла меня в академизм, любыми способами торопился разрушить наметившуюся связь. Я не переставал со всеми ссориться по его милости.

Мне были по душе супруги Анисимовы, Юлиан и его жена Вера Станевич. Невольным образом мне пришлось участвовать в разрыве Боброва с ними.

Мне сделал трогательную надпись на подаренной книге Вячеслав Иванов. Бобров в кругу Брюсова высмеял надпись в таком духе, точно я сам дал толчок зубоскальству. Вячеслав Иванов перестал со мною кланяться.

Журнал «Современник» поместил мой перевод комедии Клейста «Разбитый кувшин». Работа была незрелая, неинтересная. Мне следовало в ноги поклониться журналу за ее помещение. Кроме того, еще больше надлежало мне поблагодарить редакцию за то, что чья-то неведомая рука прошлась по рукописи к ее вящей красе и пользе.

Но чувство правды, скромность, признательность не были в цене среди молодежи левых художественных направлений и считались признаками сентиментальности и кисляйства. Принято было задирать нос, ходить гоголем и нахальничать, и, как это мне ни претило, я против воли тянулся за всеми, чтобы не упасть во мнении товарищей.

Что-то случилось с корректурой комедии. Она опоздала и содержала посторонние приписки наборной, к тексту не относившиеся.

В оправдание Боброва надо сказать, что сам он о деле не имел ни малейшего представления и в данном случае действительно не ведал, что творил. Он сказал, что так этого безобразия, мазни в корректуре и непрошеной стилистической правки оригинала нельзя оставить и что я должен на это пожаловаться Горькому, негласно причастному, по его сведениям, к ведению журнала. Так я и сделал. Вместо благодарности редакции «Современника» я в глупом письме, полном деланной невежественной фанаберии, жаловался Горькому на то, что со мною были внимательны и оказали мне любезность. Годы прошли, и оказалось, что я жаловался Горькому на Горького. Комедия была помещена по его указанию, и он правил ее своею рукою.

Наконец и знакомство мое с Маяковским началось с полемической встречи двух враждовавших между собой футуристических групп, из которых к одной принадлежал он, а к другой я. По мысли устроителей должна была произойти некоторая потасовка, но ссоре помешало с пер-вых слов обнаружившееся взаимопонимание нас обоих.

7

Я не буду описывать моих отношений с Маяковским. Между нами никогда не было короткости. Его признание преувеличивают. Его точку зрения на мои вещи искажают.

Он не любил «Девятьсот пятого года» и «Лейтенанта Шмидта» и писание их считал ошибкой. Ему нравились две книги «Поверх барьеров» и «Сестра моя, жизнь».

Я не буду приводить истории наших встреч и расхождений. Я постараюсь дать, насколько могу, общую характеристику Маяковского и его значения. Разумеется, то и другое будет субъективно окрашено и пристрастно¹.

8

Начнем с главного. Мы не имеем понятия о сердечном терзании, предшествующем самоубийству. Под физической пыткой на дыбе ежеминутно теряют сознание, муки истязания так велики, что сами невыносимостью своей близят конец. Но человек, подвергнутый палаческой расправе, еще не уничтожен, впадая в беспамятство от боли, он присутствует при своем конце, его прошлое принадлежит ему, его воспоминания при нем и, если он захочет, может воспользоваться ими, перед смертью они могут помочь ему.

Приходя к мысли о самоубийстве, ставят крест на себе, отворачиваются от прошлого, объявляют себя банкротами, а свои воспоминания недействительными. Эти воспоминания уже не могут дотянуться до человека, спасти и поддержать его. Непрерывность внутреннего существования нарушена, личность кончилась. Может быть, в заключение убивают себя не из верности принятому решению, а из нестерпимости этой тоски, неведомо кому принадлежащей, этого страдания в отсутствие страдающего, этого пустого, не заполненного продолжающейся жизнью ожидания.

Мне кажется, Маяковский застрелился из гордости, оттого что он осудил что-то в себе или около себя; с чем не могло мириться его самолюбие. Есенин повесился, толком не вдумавшись в последствия и в глубине души полагая, — как знать, может быть, это еще не конец и, неровен час, бабушка еще надвое гадала. Марина Цветаева всю жизнь заслонялась от повседневности работой, и когда ей показалось, что это непопозволенная роскошь и ради сына она должна временно пожертвовать увлекательной страстью и взглянуть кругом трезво, она увидела хаос, не пропущенный сквозь творчество, неподвижный, непривычный, косный, и в испуге отшатнулась и, не зная куда деться от ужаса, впо-

¹ О Маяковском Пастернак писал много раз. Его оценка творчества поэта была сложной и менялась во времени. Рецензия на сборник Маяковского «Простое как мычание» начиналась словами: «Какая радость, что существует и не выдуман Маяковский» («Литературная Россия», № 13, 1965).

Их отношениям — точнее, отношению Пастернака к Маяковскому — посвящена третья часть «Охранной грамоты» (Издательство писателей в Ленинграде, 1931, стр. 90—128), написанная летом 1930 года под непосредственным впечатлением смерти Маяковского.

«Я его боготворил. Я олицетворял в нем свой духовный горизонт», — писал Пастернак в «Охранной грамоте». Однако там же Пастернак пишет и о том, что творчество Маяковского, начиная со «150 000 000» и до вступления в поэму «Во весь голос», ему чуждо и непонятно.

О субъективности и пристрастности своих взглядов Пастернак позже писал в письме к Н. Вачнадзе: «Да, действительно я давно-давно уже чего-то недооценил и не понял и в позднем Маяковском, и во многом другом» (письмо к Н. Г. Вачнадзе 31 декабря 1949 года. «Вопросы литературы», № 1, 1966, стр. 184).

пыхах спряталась в смерть, сунула голову в петлю, как под подушку. Мне кажется, Паоло Яшвили уже ничего не понимал (. . .) и ночью глядел на спящую дочь и воображал, что больше не достоин глядеть на нее, и утром пошел к товарищам, и дробью из двух стволов разнес себе череп. И мне кажется, что Фадеев с той виноватой улыбкой, которую он сумел пронести сквозь все хитросплетения политики, в последнюю минуту перед выстрелом мог проститься с собой с такими, что ли, словами: «Ну вот, все кончено. Прощай, Саша».

Но все они мучились неопишимо, мучились в той степени, когда чувство тоски уже является душевной болезнью. И помимо их таланта и светлой памяти участливо склонимся также перед их страданием.

9

Итак, летом 1914 года в кофейне на Арбате должна была произойти сшибка двух литературных групп. С нашей стороны были я и Бобров. С их стороны предполагались Третьяков и Шершеневич. Но они привели с собой Маяковского¹.

Оказалось, вид молодого человека, сверх ожидания, был мне знаком по коридорам Пятой гимназии, где он учился двумя классами ниже, и по кулуарам симфонических, где он мне попадался на глаза в антрактах.

Несколько раньше один будущий слепой его приверженец показал мне какую-то из первинок Маяковского в печати. Тогда этот человек не только не понимал своего будущего бога, но и эту печатную новинку юказал мне со смехом и возмущением, как заведомо бездарную бессмыслицу. А мне стихи понравились до чрезвычайности. Это были те первые ярчайшие его опыты, которые потом вошли в сборник «Простое как мычание».

Теперь, в кофейне, их автор понравился мне не меньше. Передо мной сидел красивый, мрачного вида юноша с басом протодиакона и кулаком боксера, неистощимо, убийственно остроумный, нечто среднее между мифическим героем Александра Грина и испанским тореадором.

Сразу угадывалось, что если он и красив, и остроумен, и талантлив, и, может быть, архиталантлив, — это не главное в нем, а главное — железная внутренняя выдержка, какие-то заветы или устои благородства, чувство долга, по которому он не позволял себе быть другим, менее красивым, менее остроумным, менее талантливым.

И мне сразу его решительность и взлохмаченная грива, которую он ерошил всей пятерней, напомнили сводный образ молодого террориста-подпольщика из Достоевского, из его младших провинциальных персонажей.

Провинция не всегда отставала от столиц во вред себе. Иногда в период упадка главных центров глухие углы спасала задержавшаяся в них благодетельная старина. Так в царство танго и скетинг-рингов Маяковский вывез из глухого закавказского лесничества, где он родился, убеждение, в захолустье еще незыблемое, что просвещение в России может быть только революционным.

Природные внешние данные молодой человек чудесно дополнял художественным беспорядком, который он напускал на себя, грубоватой и небрежной громоздкостью души и фигуры и бунтарскими чертами богемы, в которые он с таким вкусом драпировался и играл.

¹ Здесь, по-видимому, ошибочно назван Третьяков. Описывая эту встречу в «Охранной грамоте», Пастернак называет третьим К. Большакова, что соответствует действительности.

10

Я очень любил раннюю лирику Маяковского. На фоне тогдашнего паясничания ее серьезность, тяжелая, грозная, жалующаяся, была так необычна. Это была поэзия мастерски вылепленная, горделивая, демоническая и в то же время безмерно обреченная, гибнущая, почти зовущая на помощь.

Время! Хоть ты, хромой богомаз,
лик намалой мой в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!

Время послушалось и сделало, о чем он просил. Лик его вписан в божницу века. Но чем надо было обладать, чтобы это увидеть и угадать! Или он говорит:

Вам ли понять, почему я, спокойный,
насмешек грозою
душу на блюде несу
к обеду идущих лет...

Нельзя отделаться от литургических параллелей. «Да молчит всякая плоть человека и да стоит со страхом и трепетом, ничтоже земное в себе да помышляет. Царь бо царствующих и господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным».

В отличие от классиков, которым был важен смысл гимнов и молитв, от Пушкина, в «Отцах пустынных» пересказавшего Ефрема Сирина, и от Алексея Толстого, перекладывавшего погребальные самогласны Дамаскина стихами, Блоку, Маяковскому и Есенину куски церковных распевов и чтений дороги в их буквальности, как отрывки живого быта, наряду с улицей, домом и любыми словами разговорной речи.

Эти залежи древнего творчества подсказывали Маяковскому пародическое построение его поэм. У него множество аналогий с каноническими представлениями, скрытых и подчеркнутых. Они призывали к огромности, требовали сильных рук и воспитывали смелость поэта.

Очень хорошо, что Маяковский и Есенин не обошли того, что знали и помнили с детства, что они подняли эти привычные пласты, воспользовались заключенной в них красотой и не оставили ее под спудом.

11

Когда я узнал Маяковского короче, у нас с ним обнаружили непредвиденные технические совпадения, сходное построение образов, сходство рифмовки. Я любил красоту и удачу его движений. Мне лучшего не требовалось. Чтобы не повторять его и не казаться его подражателем, я стал подавлять в себе задатки, с ним перекликавшиеся, героический тон, который в моем случае был бы фальшив, и стремление к эффектам. Это сузило мою манеру и ее очистило.

У Маяковского были соседи. Он был в поэзии не одинок, он не был в пустыне. На эстраде до революции соперником его был Игорь Северянин, на арене народной революции и в сердцах людей — Сергей Есенин.

Северянин повелевал концертными залами и делал, по цеховой терминологии артистов сцены, полные сборы с аншлагами. Он распевал свои стихи на два-три популярных мотива из французских опер, и это не выпадало в пошлость и не оскорбляло слуха.

Его неразвитость, безвкусица и пошлые словоновшества в соединении с его завидно чистой, свободно лившейся поэтической дикцией создали особый странный жанр, представляющий, под покровом банальности, запоздалый приход тургеневщины в поэзию.

Со времени Кольцова земля русская не производила ничего более коренного, естественного, уместного и родового, чем Сергей Есенин, подарив его времени с бесподобной свободой и не отяжелив подарка стопудовой народнической старательностью. Вместе с тем Есенин был живым, бьющимся комком той артистичности, которую вслед за Пушкиным мы зовем высшим моцартовским началом, моцартовской стихией.

Есенин к жизни своей отнесся, как к сказке. Он Иван-царевичем на сером волке перелетел океан и как жар-птицу поймал за хвост Айседору Дункан. Он и стихи свои писал сказочными способами, то как из карт раскладывая пасьянсы из слов, то записывая их кровью сердца. Самое драгоценное в нем — образ родной природы, лесной, среднерусской, рязанской, переданной с ошеломляющей свежестью, как она давалась ему в детстве. По сравнению с Есениным дар Маяковского тяжелее и грубее, но зато, может быть, глубже и обширнее. Место есенинской природы у него занимает лабиринт нынешнего большого города, где заблудилась и нравственно запуталась одинокая современная душа, драматические положения которой, страстные и нечеловеческие, он рисует.

12

Как я уже сказал, нашу близость преувеличивали. Однажды во время обострения наших разногласий, у Асеева, где мы с ним объяснялись, он с обычным мрачным юмором так определил наше несходство. «Ну что же. Мы действительно разные. Вы любите молнию в небе, а я — в электрическом утюге».

Я не понимал его пропагандистского усердия, внедрения себя и товарищей силою в общественном сознании, компанейства, артельщины, подчинения голосу злободневности.

Еще непостижимее мне был журнал «Леф», во главе которого он стоял, состав участников и система идей, которые в нем защищались. Единственным последовательным и честным в этом кружке отрицателей был Сергей Третьяков, доведивший свое отрицание до естественного вывода. Вместе с Платоном Третьяков полагал, что искусству нет места в молодом социалистическом государстве или, во всяком случае, в момент его зарождения. А то, испорченное поправками, сообразными времени, нетворческое, ремесленное полуискусство, которое процветало в Лефе, не стоило затрачиваемых забот и трудов, и им легко было пожертвовать.

За вычетом предсмертного и бессмертного документа «Во весь голос» позднейший Маяковский, начиная с «Мистерии-буфф», недоступен мне. До меня не доходят эти неуклюже зарифмованные прописи, эта изощренная бессодержательность, эти общие места и избитые истины, изложенные так искусственно, запутанно и неостроумно. Это, на мой взгляд, Маяковский никакой, несуществующий. И удивительно, что никакой Маяковский стал считаться революционным.

Но по ошибке нас считали друзьями, и, например, Есенин в период недовольства имажинизмом просил меня помирить и свести его с Маяковским, полагая, что я наиболее подхожу для этой цели.

Хотя с Маяковским мы были на вы, а с Есениным на ты, мои встречи с последним были еще реже. Их можно пересчитать по пальцам, и они всегда кончались неистовствами. То, обливаясь слезами, мы клялись друг другу в верности, то завязывали драки до крови, и нас силою разнимали и растаскивали посторонние.

13

В последние годы жизни Маяковского, когда не стало поэзии ничьей, ни его собственной, ни кого бы то ни было другого, когда повесился Есенин (...), в эти годы Асеев, отличный товарищ, умный, талантливый, внутренне свободный и ничем не ослепленный, был ему близким по направлению другом и главной опорой.

Я же окончательно отошел от него. Я порвал с Маяковским вот по какому поводу. Несмотря на мои заявления о выходе из состава сотрудников «Лефа» и о непринадлежности к их кругу, мое имя продолжали печатать в списке участников. Я написал Маяковскому резкое письмо, которое должно было взорвать его¹.

Еще раньше, в годы, когда я еще находился под обаянием его огня, внутренней силы и его огромных творческих прав и возможностей, а он платил мне ответной теплотой, я сделал ему надпись на «Сестре моей, жизни» с такими среди прочих строками:

Вы заняты нашим балансом,
Трагедией ВСНХ,
Вы, певший Летучим голландцем
Над краем любого стиха!
Я знаю, ваш путь неподделен,
Но как вас могло занести
Под своды таких богаделен
На искреннем вашем пути?

14

Были две знаменитых фразы о времени. Что жить стало лучше, жить стало веселее и что Маяковский был и остался лучшим и талантливейшим поэтом эпохи. За вторую фразу я личным письмом благодарил автора этих слов, потому что они избавляли меня от раздувания моего значения, которому я стал подвергаться в середине тридцатых годов, к поре Съезда писателей. Я люблю свою жизнь и доволен ей. Я не нуждаюсь в ее дополнительной позолоте. Жизни вне тайны и незаметности, жизни в зеркальном блеске выставочной витрины я не мыслю.

Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он неповинен.

Три тени

1

В июле 1917 года меня по совету Брюсова разыскал Эренбург. Тогда я узнал этого умного писателя, человека противоположного мне склада, деятельного, незамкнутого.

Тогда начался большой приток возвращающихся из-за границы политических эмигрантов, людей, застигнутых на чужбине войной и там

¹ Обстоятельства разрыва Пастернака с «Лефом» изложены в его письме к В. П. Полонскому («Новый мир», № 10, 1964, стр. 195—196):

«Я ухожу, и на этот раз окончательно, из Лефа. Вероятно, я оформлю это в виде письма к В. В. [Маяковскому]. Вы знаете, как я его люблю и продолжаю ценить — метафизическим авансом».

Выдержка из упомянутого письма к Маяковскому кончается словами: «Честь и слава Вам, как поэту, что глупость лефовских теоретических положений показана именно на Вас, как на краеугольном, как на очевиднейшем по величине явлении, как на аксиоме. Метод доказательства Полонского разделяю, приветствую и поддерживаю. Существование Лефа, как и раньше, считаю логической загадкой. Ключом к ней перестаю интересоваться».

интернированных, и других. Приехал из Швейцарии Андрей Белый. Приехал Эренбург.

Эренбург расхваливал мне Цветаеву, показывал ее стихи. На одном сборном вечере в начале революции я присутствовал на ее чтении в числе других выступавших. В одну из зим военного коммунизма я заходил к ней с каким-то поручением, говорил незначительности, выслушивал пустяки в ответ. Цветаева не доходила до меня.

Слух у меня тогда был испорчен выкрутасами и ломкою всего приличного, царившими кругом. Все нормально сказанное отскакивало от меня. Я забывал, что слова сами по себе могут что-то заключать и значить, помимо побрякушек, которыми их увешали.

Именно гармония цветаевских стихов, ясность их смысла, наличие одних достоинств и отсутствие недостатков служили мне препятствием, мешали понять, в чем их суть. Я во всем искал не сущности, а посторонней остроты.

Я долго недооценивал Цветаеву, как по-разному недооценил многих — Багрицкого, Хлебникова, Мандельштама, Гумилева.

Я уже сказал, что среди молодежи, не умевшей изъясняться осмысленно, возводившей косноязычие в добродетель и оригинальной по неволе, только двое, Асеев и Цветаева, выражались по-человечески и писали классическим языком и стилем.

И вдруг оба отказались от своего умения. Асеева прельстил пример Хлебникова. С Цветаевой произошли собственные внутренние перемены. Но победить меня успела еще прежняя, преемственная Цветаева, до перерождения.

2

В нее надо было вчитаться. Когда я это сделал, я ахнул от открывшейся мне бездны чистоты и силы. Ничего подобного нигде кругом не существовало. Сокращу рассуждения. Не возьму греха на душу, если скажу. За вычетом Анненского и Блока и с некоторыми ограничениями Андрея Белого, ранняя Цветаева была тем самым, чем хотели быть и не могли все остальные символисты, вместе взятые. Там, где их словесность бессильно барахталась в мире надуманных схем и безжизненных архаизмов, Цветаева легко носилась над трудностями настоящего творчества, справляясь с его задачами играючи, с несравненным техническим блеском.

Весной 1922 года, когда она была уже за границей, я в Москве купил маленькую книжечку ее «Верст». Меня сразу покорило лирическое могущество цветаевской формы, кровно пережитой, не слабогрудой, круто сжатой и сгущенной, не запыхивающейся на отдельных строчках, охватывающей без обрыва ритма целые последовательности строк развитием своих периодов.

Какая-то близость скрывалась за этими особенностями, быть может, общность испытанных влияний или одинаковость побудителей в формировании характера, сходная роль семьи и музыки, однородность отправных точек, целей и предпочтений.

Я написал Цветаевой в Прагу письмо, полное восторгов и удивления по поводу того, что я так долго прозевывал ее и так поздно узнал. Она ответила мне. Между нами завязалась переписка, особенно учатившаяся в середине двадцатых годов, когда появилось ее «Ремесло» и в Москве стали известны в списках ее крупные по размаху и мысли, яркие, необычные по новизне «Поэма конца», «Поэма горы» и «Крысолов». Мы подружались.

Летом 1935 года я сам не свой и на грани душевного заболевания от почти годовой бессонницы попал в Париж на антифашистский кон-

гресс. Там я познакомился с сыном, дочерью и мужем Цветаевой и как брата полюбил этого обаятельного, тонкого и стойкого человека.

Члены семьи Цветаевой настаивали на ее возвращении в Россию. Частью в них говорила тоска по родине и симпатии к коммунизму и Советскому Союзу, частью же соображения, что Цветаевой не житье в Париже и она там пропадает в пустоте без отклика читателей.

Цветаева спрашивала, что я думаю по этому поводу. У меня на этот счет не было определенного мнения. Я не знал, что ей посоветовать, и слишком боялся, что ей и ее замечательному семейству будет у нас трудно и беспокойно. Общая трагедия семьи неизмеримо превзошла мои опасения.

3

В начале этого вступительного очерка, на страницах, относящихся к детству, я давал реальные картины и сцены и описывал живые происшествия, а с середины перешел к обобщениям и стал ограничивать изложение беглыми характеристиками. Это пришлось сделать в интересах сжатости.

Если бы я стал рассказывать случай за случаем и положение за положением историю объединявших меня с Цветаевой стремлений и интересов, я далеко вышел бы из поставленных себе границ. Я должен был бы посвятить этому целую книгу, так много пережито было тогда совместного, менявшегося, радостного и трагического, всегда неожиданного и всегда, от раза к разу, обоюдно расширявшего кругозор.

Но и здесь и в оставшихся главах я воздержусь от личного и частного и ограничусь существенным и общим.

Цветаева была женщиной с деятельной мужскою душой, решительной, воинствующей, неукротимой. В жизни и творчестве она стремительна, жадно и почти хищно рвалась к окончательности и определенности, в преследовании которых ушла далеко и опередила всех.

Кроме небольшого известного, она написала большое количество неизвестных у нас вещей, огромные, бурные произведения, одни в стиле русских народных сказок, другие на мотивы общеизвестных исторических преданий и мифов.

Их опубликование будет большим торжеством и открытием для родной поэзии и сразу в один прием обогатит ее этим запоздалым и единовременным даром.

Я думаю, самый большой пересмотр и самое большое признание ожидают Цветаеву.

Мы были друзьями. У меня хранилось около ста писем от нее в ответ на мои. Несмотря на место, которое, как я раньше сказал, занимали в моей жизни потери и пропажи, нельзя было вообразить, каким бы образом могли когда-нибудь пропасть эти бережно хранимые драгоценные письма. Их погубила излишняя тщательность их хранения.

В годы войны и моих наездов к семье в эвакуацию одна сотрудница музея имени Скрябина, большая почитательница Цветаевой и большой мой друг, предложила мне взять на сохранение эти письма вместе с письмами моих родителей и несколькими письмами Горького и Роллана. Все перечисленное она положила в сейф музея, а с письмами Цветаевой не расставалась, не выпуская их из рук и не доверяя прочности стенок несгораемого шкафа.

Она жила круглый год за городом и каждый вечер возила эти письма в ручном чемоданчике к себе на ночлег и привозила по утрам в город на службу. Однажды зимой она в крайнем утомлении возвращалась к себе домой на дачу. На полдороге от станции она в лесу спохватилась, что оставила чемоданчик с письмами в вагоне электрички. Так уехали и пропали письма Цветаевой.

4

На протяжении десятилетий, протекших с напечатания «Охранной грамоты», я много раз думал, что если бы пришлось переиздать ее, я приписал бы к ней главу о Кавказе и двух грузинских поэтах. Время шло, и надобности в других дополнениях не представлялось. Единственным пробелом оставалась эта недостающая глава. Сейчас я напишу ее¹.

Около 1930 года зимой в Москве посетил меня вместе со своею женою Паоло Яшвили, блестящий светский человек, образованный, занимательный собеседник, европеец, красавец.

Вскоре в двух семьях, моей и другой дружественной, произошли перевороты, осложнения и перемены, душевно тяжелые для участников. Некоторое время мне и моей спутнице, впоследствии ставшей моей второй женою, негде было преклонить голову. Яшвили предложил нам пристанище у себя в Тифлисе.

Тогда Кавказ, Грузия, отдельные ее люди, ее народная жизнь явились для меня совершенным откровением. Все было ново, все удивляло. В глубине всех уличных пролетов Тифлиса нависавшие темные каменные громады. Вынесенная из дворов на улицу жизнь беднейшего населения, более смелая, менее прячущаяся, чем на севере, яркая, откровенная. Полная мистики и мессианизма символика народных преданий, располагающая к жизни воображением и, как в католической Польше, делающая каждого поэтом. Высокая культура передовой части общества, умственная жизнь, в такой степени в те годы уже редкая. Благоустроенные уголки Тифлиса, напоминавшие Петербург, гнутые в виде корзин и лир оконные решетки бельэтажей, красивые закоулки. Преследующая по пятам и везде наступающая дробь бубна, отбивающего ритм лезгинки. Козлиное блеяние волынки и каких-то других инструментов. Наступление южного городского вечера, полного звезд и запахов из садов, кондитерских и кофеен.

5

Паоло Яшвили — замечательный поэт послесимволистического времени. Его поэзия строится на точных данных и свидетельствах ощущения. Она сродни новейшей европейской прозе Белого, Гамсуна и Пруста и, как эта проза, свежа неожиданными и меткими наблюдениями. Это предельно творческая поэзия. Она не загромождена плотно напиханнами в нее эффектами. В ней много простору и воздуху. Она движется и дышит.

Первая мировая война застала Яшвили в Париже студентом Сорбонны. Он кружным путем возвращался к себе на родину. На глухой норвежской станции Яшвили зазевался и не заметил, как ушел его поезд. Молодая норвежская чета, сельские хозяева, из глубины края на санях приехавшие на станцию за почтой, видели ротозейство жгучего южанина и его последствия. Они пожалели Яшвили и, неизвестно как объяснившись с ним, увезли к себе на ферму до следующего поезда, ожидавшегося только на другие сутки.

Яшвили чудно рассказывал. Он был прирожденный рассказчик при-

¹ О своем намерении написать новую главу о Грузин в дополнение к «Охранной грамоте» Пастернак писал вскоре после издания книги. «Этот город [Тифлис] со всеми, кого я в нем видел, и со всем тем, за чем из него ездил и что в него привозил, будет для меня тем же, чем были Шопен, Скрябин, Марбург, Венеция и Рильке,— одной из глав Охранной грамоты, делящейся для меня всю жизнь... одной из этих глав и, в выполнении,— ближайшей по счету. Я говорю «будет», потому что я писатель, и все это надо превратить в дело и всему найти выраженья; я говорю «будет», потому что всем этим он уже для меня стал» (письмо к Паоло Яшвили 30 июля 1932 года. «Вопросы литературы», № 1, 1966, стр. 173).

ключений. С ним вечно происходили неожиданности в духе художественных новелл. Случайности так и льнули к нему, он имел на них дар, легкую руку.

Одаренность сквозила из него. Огнем души светились его глаза, огнем страстей были опалены его губы. Жаром испытанного было обожжено и вычернено его лицо, так что он казался старше своих лет, человеком потрепанным, пожившим.

В день нашего приезда он собрал своих друзей, членов группы, вожаком которой он состоял. Я не помню, кто пришел тогда. Наверное, присутствовал его сосед по дому, перворазрядный и неподдельный лирик Николай Надирадзе. И были Тициан Табидзе с женой.

6

Как сейчас вижу эту комнату. Да и как бы я ее забыл? Я тогда же, в тот же вечер, не ведая, какие ужасы ее ждут, осторожно, чтобы она не разбилась, опустил ее на дно души, вместе со всем тем страшным, что потом в ней и близ нее произошло.

Зачем посланы были мне эти два человека? Как назвать наши отношения? Оба стали составною частью моего личного мира. Я ни одного не предпочитал другому, так они были нераздельны, так дополняли друг друга. Судьба обоих вместе с судьбой Цветаевой должна была стать самым большим моим горем.

7

Если Яшвили весь был во внешнем центробежном проявлении, Тициан Табидзе был устремлен внутрь и каждую своей строкой, и каждым шагом в глубину своей богатой, полной догадок и предчувствий души.

Главное в его поэзии — чувство неисчерпанности лирической потенции, стоящее за каждым его стихотворением, перевес несказанного и того, что он еще скажет, над сказанным. Это присутствие незатронутых душевных запасов создает фон и второй план его стихов и придает им то особое настроение, которым они пронизаны и которое составляет их главную и горькую прелесть. Души в его стихах столько же, сколько ее было в нем самом, души сложной, затаенной, целиком направленной к добру и способной к ясновидению и самопожертвованию.

Когда я думаю о Яшвили, городские положения приходят в голову, комнаты, споры, общественные выступления, искрометное красноречие Яшвили на ночных многолюдных пирушках.

Мысль о Табидзе наводит на стихию природы, в воображении встают сельские местности, приволье цветущей равнины, волны моря.

Плывут облака, и в один ряд с ними в отдалении строятся горы. И с ними сливается плотная и приземистая фигура улыбающегося поэта. У него немного подрагивающая походка. Он трясется всем телом, когда смеется. Вот он поднялся, стал боком к столу и постучал ножом о бокал, чтобы произнести речь. От привычки поднимать одно плечо выше другого он кажется немного кособоким.

Стоит дом в Коджорах на углу дорожного поворота. Дорога подымается вдоль его фасада, а потом, обогнув дом, идет мимо его задней стены. Всех идущих и едущих по дороге видно из дома дважды.

Это разгар времени, когда, по остроумному замечанию Белого, торжество материализма упразднило на свете материю. Нечего есть, не во что одеваться. Кругом ничего осязаемого, одни идеи. Если мы не погибаем, это заслуга тифлисских друзей-чудотворцев, которые все время что-то достают и привозят и неизвестно подо что снабжают нас дежными ссудами от издательств.

Мы в сборе, делимся новостями, ужинаем, что-нибудь друг другу читаем. Веянье прохлады, точно пальчиками, быстро перебирает серебристою листвою тополя, белобархатною с изнанки. Воздух перегорелней одуряющими ароматами юга. И как передок любой повозки на шкворне, ночь в высоте медленно поворачивает весь кузов своей звездной колымаги. А по дороге идут и едут арбы и машины, и каждого видно из дома дважды.

Или мы на Военно-Грузинской дороге, или в Боржоме, или в Абастумане. Или после поездок красот, приключений и возлияний мы кто с чем, а я с подбитым от падения глазом в Бакурианах, в гостях у Леонидзе, самобытнейшего поэта, больше всех связанного с тайнами языка, на котором он пишет, и потому меньше всех поддающегося переводу.

Ночное пиршество на траве в лесу, красавица хозяйка, две маленьких очаровательных дочки. На другой день неожиданный приход мествире, бродячего народного импровизатора с волынкой и величание экспромтом всего стола подряд, гостя за гостем с подобающим каждому текстом и умением ухватиться за любой подвернувшийся повод для тоста, за мой подбитый глаз, например.

Или мы на море в Кобулетах, дожди и штормы, и в одной гостинице с нами Симон Чиковани, будущий мастер яркого живописного образа, тогда еще совсем юный. И над линией всех гор и горизонтов голова идущего рядом со мною улыбающегося поэта, и светлые признаки его непомерного дара, и тень грусти и судьбы на его улыбке и лице. И если я еще раз прощусь с ним теперь на этих страницах, пусть будет это в его лице прощанием со всеми остальными воспоминаниями.

Заключение

Здесь кончается мой биографический очерк.

Продолжать его дальше было бы непомерно трудно.

Соблюдая последовательность, дальше пришлось бы говорить о годах, обстоятельствах, людях и судьбах, охваченных рамою революции. О мире ранее неведомых целей и стремлений, задач и подвигов, новой сдержанности, новой строгости и новых испытаний, которые ставил этот мир человеческой личности, чести и гордости, грудолобию и выносливости человека.

Вот он отступил в даль воспоминаний, этот единственный и подобия не имеющий мир, и высится на горизонте, как горы, видимые с поля, или как дымящийся в ночном зареве далекий, большой город.

Писать о нем надо так, чтобы замирало сердце и подымались дыбом волосы. Писать о нем затверженно и привычно, писать не ошеломляюще, писать бледнее, чем изображали Петербург Гоголь и Достоевский, — не только бессмысленно и бесцельно, писать так — низко и бессовестно.

Мы далеки еще от этого идеала.

Ноябрь. 1957.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ЦЕЙТЛИН

★

ЗАМЕТКИ О СТИЛЕ ЛЕНИНА-ПУБЛИЦИСТА

Советский литературовед, ныне покойный профессор А. Г. Цейтлин в течение ряда лет занимался изучением литературного стиля Ленина-публициста. В 1934 году вышла из печати его книга «Литературные цитаты Ленина», рецензировавшаяся в рукописи Н. К. Крупской и получившая положительную оценку нашей печати.

Предлагаемые вниманию читателей главы являются частью большой монографии Цейтлина «Стиль Ленина-публициста», которая, надо надеяться, вскоре будет издана полностью.

Основное занятие до 1917 года: литератор.

Из анкеты, заполненной Лениным на X съезде РКП(б).

1. ЯЗЫК И СЛОВАРЬ ЛЕНИНА

1

Наша эпоха характеризуется все более увеличивающимся вниманием к теоретическому наследству Владимира Ильича Ленина. Политика и экономика, искусствоведение и философия, национальное строительство и литературная критика — для всех этих областей наук мы находим у Ленина или разработанную систему воззрений, или фрагменты, служащие для исследователей путеводными вехами.

Среди всех этих проблем, поставленных на очередь сегодняшнего дня, есть одна, которой посвящена эта работа и к которой мы хотели бы привлечь внимание читателей. Тема о Ленине, величайшем мастере политического слова, замечательном ораторе и публицисте, не может, конечно, соперничать по своему значению с темами о Ленине — политике или экономисте. Но, уступая другим в степени очередности и актуальности, исследование стиля Ленина представляет собою одну из важных и почетных задач современной марксистско-ленинской науки.

Когда марксисты говорят о стиле, они никогда не сводят его до уровня внешних формальных особенностей письма, а придают

этому понятию широкое и полновесное значение. Стиль — это, конечно, не сумма стилистических приемов, как стремились нас уверить формалисты; стиль — это система словесно-образных средств, в которых сквозь призму идеологии художника отражена действительность. Стиль писателя органически включает в себя все стороны художественной структуры. Образы, приемы сюжета, ассортимент тем, языковые средства, архитектоника — все это синтезируется в поэтическом стиле.

Когда Белинский в 1847 году пишет в Зальцбрунне свое письмо Гоголю — один из величайших шедевров русской революционной публицистики, — он, конечно, разбивает наголову автора «Выбранных мест из переписки с друзьями» огромной силой своих аргументов, последовательностью своей логики, верностью своих политических оценок. Но было бы глубочайшей ошибкой считать, что во всем этом споре «форма» письма Белинского остается нейтральной. Ни бичующий сарказм негодующего демократа, ни его глубокая грусть, когда он вспоминает о прежнем Гоголе, авторе «Ревизора» и «Мертвых душ», ни его сосредоточенная ненависть к царскому самодержавно-крепостническому режиму не остаются без влияния

из «форму». Если бы это было не так, аргументам Белинского недоставало бы остроты, как недостает ее самой верной и глубокой, но плохо выраженной мысли. Способ выражения идейных положений в публицистике играет исключительную роль.

Язык Ленина представляет собою одно из величайших достижений искусства политической речи. Как у любого публициста, характерная для Ленина манера говорить и писать определялась политической направленностью его идей. Слово Ленина никогда не было для него самоцелью, никогда не занимало нейтральной позиции по отношению к его идеям. Оно всегда выражало собою его «дело», делом вызывалось к жизни, борьбе за дело служило. Это не только не снижает почетной роли ленинского слова в его политической деятельности, но, наоборот, придает этому слову необычайно значительную функцию, подымает его на исключительную высоту. Почему это происходит — понятно каждому. Слово, возвещающее дело, слово, формулирующее задачи дела, слово, служащее делу, всегда приобретает значительность тем большую, чем значительнее то дело, которому оно сопутствует. Слово Ленина неизменно служило его делу, делу освобождения грядущих всего мира, и эта политическая функция придавала, придает и будет придавать его публицистическому и ораторскому наследству всемирно-исторический резонанс.

Замечательно то чрезвычайное внимание, которое Ленин уделял слову публициста, и его исключительная требовательность к нему. Некоторые мемуаристы считают, что Владимир Ильич свободен от каких-либо забот о форме своей речи... «Автор, — написал о нем, например, П. Н. Лепешинский, — ни на один момент не останавливает своего внимания на форме, в которую выливается его мысль, никогда не любит своей «красивой фразой» и никогда не приходит в замешательство от той или иной неправильности оборота; он не обращает внимания на такие пустяки»¹. Это мнение абсолютно не подтверждается фактами; более того, оно им решительно противоречит. Обращаясь к публицистической практике Ленина, мы находим в ней неизменное внимание к слову и исключительно ясную систему требований.

Отметим здесь прежде всего острое внимание Ленина к слову противника, к различ-

ным «неграмотностям» его языка. Ленин хорошо разбирался в длинных речах своих врагов, и, когда один из московских фабрикантов, председатель Общества заводчиков и фабрикантов московского промышленного района, говорил в 1913 году о «могуществе корпорации», о необходимости «укрепления престижа этого могущества», Владимир Ильич иронически заметил: «Речь, как видите, не очень грамотная, похожая на речь какого-нибудь военного писаря, но зато полная амбиции» (23, 195—196)¹. «Это — не язык революционной партии, — пишет он в статье «Замечания на второй проект программы Плеханова», — а язык «Русских Ведомостей». Это — не термин социалистической проповеди, а термин статистического сборника» (6, 220). Или позднее, в полемике против новоискрывцев: «Это не язык политических деятелей, это — язык каких-то архивных заседателей!» (11, 28).

Ленин умел остро чувствовать слово, улавливая мельчайшие оттенки его значений и резко критикуя то, что служило целям оппортунизма. «Некоторые из них, — говорил Ленин о меньшевиках, — тяготеют к замене в программе слова «конфискация» словом «отчуждение», *вполне последовательно* выражая этим следующий шаг оппортунизма...» (15, 197).

Ряд брошенных на лету, но любопытных замечаний свидетельствует как о чуткости Ленина к вопросам семантики, так и о его политической настороженности и непримиримости. Одни термины кажутся ему «политическими», другие — «сенатскими», третьи — свойственными языку «заскоружлого русского стряпчего». Нередко Ленин дает сжатые, но чрезвычайно выразительные характеристики стиля вражеской речи: «...Отзовистские рассуждения, чуточку разведенные... водичей иезуитских оговорок, добавлений, умалчиваний, смягчений, запугиваний и проч.» (19, 86). Встретив в одной из статей противника выражение «окончательная ликвидация всего сословно-монархического режима», Владимир Ильич дает поистине замечательный анализ политического смысла, скрытого в этой, казалось бы, с первого взгляда ничем не выдающейся фразе. «На русском языке, — пишет он, — окончательная ликвидация монархического строя называется

¹ «Великий журналист нашей эпохи». «Журналист», 1925, № 2.

¹ Все цитаты из произведений В. И. Ленина даются по Полному собранию сочинений, издание пятое; в скобках указаны том и страницы.

ся учреждением демократической республики. Но нашему доброму Мартынову и его поклонникам такое выражение кажется слишком простым и ясным. Они непременно хотят «углубить» и сказать «поумнее». Получаются смешные потуги на глубокомыслие, с одной стороны. А с другой стороны, вместо лозунга получается описание; вместо бодрого призыва идти вперед получается какой-то меланхолический взгляд назад. Перед нами точно не живые люди, которые вот теперь же, сейчас хотят бороться за республику, а какие-то одеревеневшие мумии, которые *sub specie aeternitatis*¹ рассматривают вопрос с точки зрения *plus-quamperfectum*² (11, 29). Грамматический анализ здесь явно служит целям политического разоблачения врага. В этом разоблачении весь Ленин, умеющий распознавать политические тенденции представителя вражеской публицистики по одному неосторожно брошенному тем слову: «Элементы революции в России еще, к сожалению *или к счастью*, не созрели», — говорил г. Струве, и эти слова «к счастью» выдают его с головой» (7, 40). Отмечая, что язык кадетского публициста запутан так, как клубок ниток, с которым давно играл котенок, Ленин распутывает этот клубок, показывая тот политический оппортунизм кадетской публицистики, который заставил ее представителей прибегать к запутанным выражениям, скрывающим от широких масс правду.

Но Ленин выступает не только как разоблачитель вражеского языка — в его произведениях мы найдем немало требований к публицистическому слову большевистской речи. Если мы обратимся к его статьям, письмам, к фрагментам его планов и тезисов, мы найдем в них немало свидетельств того, что Владимиру Ильичу были чрезвычайно близки вопросы стиля большевистской речи. Прекрасно сознавая значение слова, он требует от публициста «человеческого языка», свободного от ненужной иностранщины. «Нето слово», — неоднократно пишет он на полях книги Бухарина. Замечания Ленина на комиссионный проект программы партии (апрель 1902 года) говорят о его величайшей требовательности. Требовательность эта никогда не переходила у него в какую-либо нарочитую грамматическую придирчивость, всегда диктуясь открыто политическими соображениями «...обрывок указания на кон-

центрацию вставлен за несколько параграфов *раньше* общего, сводного, цельного параграфа, посвященного концентрации специально. Это верх нелогичности и способно только затруднить понимание нашей программы широкими массами» (34, 360). Это замечание, сделанное Владимиром Ильичем по мелкому вопросу композиционного расположения параграфов партийной программы, имеет, конечно, гораздо более широкий смысл: Ленин деятельно боролся за устранение всего, что могло бы «затруднить понимание... широкими массами» всей большевистской литературы.

Среди замечаний, говорящих о политической неприемлемости того или иного слова, мы находим у Владимира Ильича и чисто лингвистические замечания. Любопытна, например, его реплика, направленная против народников. «Почему, говоря о будущем, Маркс употребляет настоящее время? — с победоносным видом спрашивает наш философ. Об этом вы можете справиться в каждой грамматике, достопочтенный критик: вам скажут, что настоящее употребляется вместо будущего, когда это будущее представляется неизбежным и несомненным» (1, 175). Замечательный пример лингвистического соображения, направленного на защиту экономического тезиса! Слово для Ленина здесь, как и всюду, играет практическую роль, и в спорах, которые он ведет из-за слов, всегда отражается различие воззрений. Тем больше внимания Ленин обращает на буквальный грамматический смысл фраз, тем больше останавливается он на изменениях значений слов, происходящих от изменения политических условий (см., например, анализ изменения значения слова «забастовщик» в докладе о революции 1905 года — 30, 316).

Похоже ли все это на «невнимание к форме»? Конечно, ни в малой степени не похоже. Ленин остро чувствует слово, потому что неизменно расценивает его как выражение тех или иных идей. По этой линии идут и заботы Ленина о композиционной стройности его речей и статей, и демократический состав его словаря, и глубокое разнообразие форм иронии, сарказма, пафоса... Все это служит делу Ленина, и через анализ всех этих моментов стиля мы глубже, целостнее можем понять это дело, если только подойдем к стилю Владимира Ильича под углом зрения его неизменно служебной и этой своей служебностью почетной роли.

¹ С точки зрения вечности (лат.).

² Давно прошедшего (лат.).

2

Организуящим, движущим началом ленинского стиля являлась его воинствующая партийность. Владимир Ильич никогда не становился на путь беспристрастного, академического, объективистского исследования, творящего в тиши научного кабинета на потребу «чистой», стоящей вне политической борьбы науке. Талант публициста полностью отдан был Лениным на ожесточенную борьбу с теми политическими течениями, которые противостояли большевикам в течение этого тридцатилетия, на борьбу с теми мелкобуржуазными уклонами, которые возникли в недрах партии, питаемая всей расстановкой классовых сил в стране.

Владимир Ильич характеризовал явления, всегда противопоставляя свой анализ анализам, которые делались его противниками.

Эта полемичность стиля насыщает собою все жанры Ленина-публициста. Она с отчетливостью выступает уже в ранних памфлетах Ленина против народников, она звучит в его прокламациях и популярных брошюрах, написанных для рабочих и для передовых крестьян, она насыщает собою политические фельетоны, как зарубежные, напечатанные в «Искре», «Вперед», «Пролетарии», так и опубликованные в легальной рабочей прессе 1910-х годов. Эта полемичность находит себе широчайшее выражение даже в тех жанрах ленинской публицистики, которые искони считались от нее свободными, — в экономическом исследовании, построенном на использовании огромного статистического материала, в исследовании философском. Полемическая направленность отражается на всех сторонах структуры ленинской публицистики. Обилие «крепких», резких выражений в его словаре, подавляющее большинство образов, которые Ленин употребляет, сила его иронии и сарказма — все это было вызвано к жизни полемичностью, все это оправдывалось и служило цели разоблачения врага. Эта неразрывная сплетенность элементов полемики со всем процессом доказательства и изложения является характерной особенностью всей марксистской публицистики. Полемическая острота стиля типична для всей публицистической деятельности Маркса и Энгельса. У Ленина эта характерная особенность революционно-марксистской публицистики выразилась особенно широко, что обуславливалось многообразием его политической практики и особенно острой необходимостью планомерной борь-

бы с господствовавшими в ту пору и враждебными пролетариату течениями.

Из этой полемической направленности выстает у Ленина эмоциональность, исключительная страстность его стилиевой манеры. Борясь с глубоко вредными влияниями буржуазно-дворянской и мелкобуржуазной публицистики, Ленин обрушивался на нее со всей мощью своего полемического искусства, со всей язвительностью своей иронии, со всей бичующей силой своего сарказма, со всей сгущенностью своего презрения. Эмоциональность эта насыщает собою все без исключения жанры ленинской публицистики: она проникает и в его агитационно-пропагандистские работы, и в его научные исследования, с особой силой звучит в его полемических статьях, в его сжатых, но предельно наполненных обличительным содержанием фельетонах. Эмоциональная насыщенность публицистической манеры Ленина обуславливалась личной страстностью его темперамента: вместе с тем она отражала в себе несравненно более общие и значительные особенности — политическую непримиримость большевистского вождя.

Сила Ленина-полемиста не только в том, что он разоблачает врага, но и в том, что это разоблачение органически сосуществует с доказательством Лениным тех или иных теоретических положений. Эмоции Ленина никогда не играли для него самодовлеющей роли, никогда не преграждали путь к анализу; страстность полемики никогда не мешала величайшей методичности доказательства. Ленин относился к слову с чрезвычайной заботливостью, подчеркивая, что всякая неточность в этой области неминуемо воспрепятствует правильной характеристике того или иного исторического факта, неизбежно исказит конфигурацию сил в стране и тем самым затруднит деятельность большевиков. Борьба за точность словоупотребления продиктована была глубокой и органической потребностью выработать такой язык, который был бы надежным орудием революционного большевистского анализа. Отсюда постоянные заботы Ленина о точности терминологии, отсюда и неизменная борьба его с ложными абстракциями. Отсюда у Ленина и его беспощадная борьба с фразерством мелкобуржуазной публицистики, которая, как мы увидим, была борьбой за точность и деловитость языка, целиком поставленного на службу большевистскому делу.

3

С заботой о точности стиля соприкасалась забота об его уплотненности. Ленин проделал поистине титаническую работу переоценки наследства в самых разнообразных областях экономики, политики и культуры. Огромное содержание созданных им экономических, политических и философских идей предстояло донести до малоквалифицированного и не имеющего времени для теоретической работы, занятого революционной практикой читателя. К этому присоединились и внешние условия: целый ряд статей приходилось печатать, где только это удавалось, на печатание не хватало средств и т. д. По совершенно правильному замечанию Н. А. Семашко, краткость являлась лучшим отпечатком той нелегальной школы, в которой воспитывался ленинский талант. «Его статьи, — говорил Семашко, — носят на себе отпечаток лучших сторон нелегальной школы, когда надо было экономить не только каждую строчку, но и каждое слово, когда нужно было уметь в самой краткой форме выразить все нужные мысли»¹. Уплотненность изложения становилась в этих условиях повелительной необходимостью.

Требование писать сжато предъяснялось Владимиром Ильичем ко всем видам публицистического слова. Когда А. В. Луначарский взялся за полемическую статью против Кострова, Ленин порекомендовал написать ее «так ясно, точно, сжато, что прочли бы и те, к кому обращается Костров» (47. 58). Как заслугу одной из глав книги Каутского об аграрном вопросе Ленин отмечал то, что глава эта дает замечательно точный, сжатый и ясный очерк аграрной революции. Особенно были велики заботы Ленина о конденсированности изложения тогда, когда ему пришлось работать над партийной программой. Сохранившиеся замечания Владимира Ильича на проект программы во весь рост рисуют эту борьбу за максимальную уплотненность языка, за предельный лаконизм речи: «Подчеркнутые мною слова излишни... только ослабляют совершенно достаточное и рельефное выражение мысли...» (6. 215), «Первая часть § 6-ого много выиграла бы от сокращения» (6, 245), «Излишнее повторение... опять повторение!!»

(там же), «...советую выкинуть, как излишние слова» (6, 241), «Длинные и нежелательная *тягучесть* изложения» (6, 244), «§ 12 — конец. Надо бы попытаться сократить. Было бы zelo полезно похудеть этому параграфу» (6, 250), «...Зависимость «более или менее полная, более или менее явная, более или менее тяжелая...» — это, по-моему, излишние и *ослабляющие* смысл слова. Выражение первоначального проекта: «слуги и данники» — сильнее и рельефнее» (6, 223).

Эту заботу о предельной сжатости и уплотненности политического языка Ленин неизменно проявлял и в послеоктябрьские годы. В статье «О характере наших газет» Владимир Ильич недаром гребовал от деловой речи быть краткой, как телеграмма. «Говорить об этом надо, каждый новый факт в этой области отмечать надо, но не статьи писать, не рассуждения повторять, а в нескольких строках, «в телеграфном стиле» клеймить новые проявления старой, уже известной, уже оцененной политики».

Эта черта ленинского стиля в сильнейшей мере способствовала тому, что один из наиболее вдумчивых мемуаристов назвал «особым навыком и умением прямо и без всяких околичностей подходить к сути любого вопроса. Именно эта особенность обуславливала исключительную простоту и, так сказать, *прозрачность* его литературного языка. И, вероятно, трудно найти другого писателя, который в такой степени строго следовал бы советам Некрасова: «Мысли просторно — словам тесно»¹.

Всмотримся в любую работу Ленина: нас поразит в ней предельная сжатость изложения, исключительная уплотненность его. Ленинские фельетоны, дающие исчерпывающий анализ той или иной политической ситуации, занимают в собрании его сочинений всего две-три странички. В небольшой по размеру книге «Развитие капитализма в России» освещены все главнейшие процессы русской экономики восьмидесятих—девяностых годов. Ленинская брошюра об империализме не только дает исчерпывающую марксистскую интерпретацию всем буржуазным источникам этого рода, но и безошибочно предсказывает тенденцию будущего, намечая перспективы мировой экономики и политики.

¹ Г. М. Кржижановский. «В тюрьме и ссылке», статья в сборнике «О Ленине». Воспоминания, кн. IV. Госиздат. М. 1925, стр. 17.

¹ Н. А. Семашко. Воспоминания о Ленине. Партиздат. М. 1933, стр. 16.

Критерием сжатости ленинского наследства служит не столько малый объем его работ, сколько их огромное содержание. Ленин не пишет кратко, хотя, например, форма «тезисов» у него чрезвычайно распространена. Но в это не очень малое, казалось бы, количество страниц вмещено такое огромное количество материала, такое обилие фактов и выводов из этих фактов, что изложение приобретает предельную уплотненность. Эта конденсированность изложения нередко приводит к тому, что ленинские работы подчас читать нелегко: их приходится конспектировать, шаг за шагом осваивая ту или иную ленинскую мысль. Трудности проистекают здесь не оттого, что изложение неясно, а оттого, что оно исключительно богато, что наряду с главными дорогами в произведениях существует масса боковых, расходящихся в разные стороны тропинок. В относительно сжатой форме здесь заключено такое содержание теории и практики, которое по своему богатству не имеет себе в мировой публицистике никаких аналогий.

При такой уплотненности изложения Ленину приходилось, понятно, особенно заботливо относиться к композиции своих сочинений. Плохая архитектоника, неудачное размещение материала могли крайне затруднить восприятие статьи читателями. О том, что Владимир Ильич неизменно учитывал эту опасность, с неоспоримостью свидетельствует исключительное внимание, отдаваемое им этой стороне своего стиля. Факты «творческой истории» единодушно свидетельствуют о том, что Владимир Ильич упорно готовился к своим статьям, что их написанию предшествовала упорная работа. Этот труд был многолетним и непрерывным. Он отражен и в подборе материала, и в исправлении уже готовых исследований. О том, с какой тщательностью прорабатывалась Лениным каждая клеточка будущего текста, свидетельствуют планы и конспекты, в таком изобилии опубликованные ныне на страницах Ленинских сборников. Они воочию обнаруживают, как глубоко занимала Владимира Ильича проблема правильной и целесообразной композиции фельетона, популярной брошюры или экономического исследования. Готовясь к написанию того или иного произведения, Ленин иногда по нескольку раз перерабатывал его в конспекте.

Публицистике Ленина уже в процессе ее подготовки в свет присуща была глубокая

плановость. И в решении написать ту или иную работу, и в многолетнем подборе материалов для нее, и в методической переработке конспектов перед написанием статьи, и в ее последующей переработке одинаково рельефно отражается эта плановость величайшего теоретика большевиков, для которого его публицистика была частью его политического дела и к которой он поэтому относился с величайшей требовательностью. Какой бы из жанров ленинского публицистического наследства мы ни взяли, нам всюду бросится в глаза стройность изложения, в основу которого неизменно ложится четко продуманный план. Нужно сказать, впрочем, что эта плановость не подчеркивается теми или иными переходами: Ленин предпочитает сохранить план в качестве основного костяка всей работы, но он не любит обнаруживать его контуры, предпочитая, чтобы этот костяк оделся живой плотью фактов и анализа. Нас очень часто охватывает впечатление импровизации, нам кажется, что та или иная статья или фельетон написаны Лениным единым духом, без какого-то особого обдумывания вопроса о размещении материала. Что это не так, что импровизация никогда не была основным методом ленинской композиции, блестяще свидетельствуют черновые материалы его конспектов. Плановость изложения обусловлена плановостью мышления, и именно поэтому она так облегчает собою уяснение ленинских положений. Эта плановость совсем не являлась только композиционной чертой, точно так же как точность в словопотреблении не являлась особенностью одной только его лексики. В плановости ленинских публицистических жанров отразилась одна из важнейших черт политической деятельности Ленина, развертывавшего методическую и тщательно подготовленную борьбу за торжество большевистского дела.

4

В своей публицистике Владимиру Ильичу постоянно приходилось считаться с противоречием между огромной сложностью материала и идей и чрезвычайной трудностью его для того широкого читателя, на которого ориентировался Владимир Ильич. Из этого противоречия он нашел выход, и этот выход для нас в высокой мере поучителен. Ленин решительно отказывается от геллертерского языка, незнакомого широким мас-

сам и рассчитанного на небольшой круг «посвященных» интеллигентов,— пользоваться этим языком значило бы закрыть для массы доступ к его идейным положениям. Но, ополчаясь против гелертерства и беспощадно высмеивая его, Владимир Ильич никогда не опускался до «популярщины», как это представляют себе, к сожалению, некоторые исследователи. Популярность языка никогда не была для него целью, оставаясь, однако, чрезвычайно важным средством изложения. Язык Ленина должен был довести до сознания читателя огромное содержание его публицистики, не упрощая и не вульгаризируя это содержание. Отсюда особая простота ленинского языка, которую нужно было бы назвать «сложной простотой», ибо, обращаясь к читателю, Ленин одновременно стремился поднять его, повысить его идейный уровень, его квалификацию. Никогда не жертвуя содержанием, Владимир Ильич постоянно стремился к максимальной демократизации своей речи. Не размываясь на мелочи и не упрощая проблему, он стремился, однако, писать так, чтобы это было понятно широчайшим массам. Признание Ленина в одном из ранних писем его к П. Б. Аксельроду («Я ничего не желал бы так, как писать для рабочих») исключительно характерно для всего стиля Ленина. Постоянная ориентация на массы сквозит во всех его жанрах. В области доказательства эта установка на массы выражается, например, в простоте и актуальности лозунгов, в конкретности анализа, в практической заостренности выводов. В области полемики эта установка на массовость выражалась, например, в постоянном подпользовании теми аргументами, которые были особенно близки широкому рабочему и крестьянскому читателю, и т. д.

Требование быть популярным неизменно выставлялось Лениным и строго соблюдалось им в собственной публицистической практике. Еще в брошюре «О стачках» он популяризовал законы продажи рабочей силы и присвоения прибавочной стоимости. «Надо назвать прямее. Непопулярно» (6, 202),— замечал он по адресу плехановского проекта партийной программы. В «Что делать?» Ленин говорил о необходимости «сделать попытку возможно более популярного, поясняемого самыми многочисленными и конкретными примерами, систематического объяснения» со всеми «экономистами» по всем коренным пунктам наших разногла-

сий» (6, 4). В письме к Ганецкому он говорил о необходимости излагать свои мысли перед рабочими и крестьянами: «...очень популярно, очень ясно, без ученых слов...» (49, 422), а в статье «Социал-демократия и избирательные соглашения», написанной в эпоху предвыборной кампании во II Думу, Ленин решительно заявил: «...с.д. должны уметь говорить просто и ясно, доступным массе языком, отбросив решительно прочь тяжелую артиллерию мудреных терминов, иностранных слов, заученных, готовых, но непонятных еще массе, незнакомых ей лозунгов, определений, заключений» (14, 92).

Борясь за популярность, Ленин не снижал ее до того, что можно было бы назвать популярщиной. «Манифест в этой своей части только популяризирует нашу резолюцию. Популяризация — вещь полезная, бесспорно. Но, если мы хотим добиваться ясности мысли рабочего класса, если мы придаем значение систематической, упорной пропаганде, то надо точно и полно устанавливать те принципы, которые должны быть популяризуемы» (27, 38—39). Настаивая на популярности, Ленин никогда не ставил ее на первый план. «Мне кажется, здесь слишком много «агитации», т. е. «в угоду популярности» в программу вставлено то, чему в ней не место. В газетных статьях, в речах, популярных брошюрах «агитация» необходима, но программа партии должна отличаться экономической точностью и не давать лишнего» (34, 367). Протест Ленина становился особенно резким, когда ему приходилось иметь дело с нарочитой популярщиной, с попыткой разговаривать с рабочим на специальном «сюсюкающем языке», подделываясь под его якобы «снижающий» уровень.

Не обратив внимания на демократизм ленинского словаря, мы не поймем важнейших процессов языка Владимира Ильича — освоения им множества иностранных слов, широкого внедрения в его язык разговорной речи, использования им новой функции архаизмов и, наконец, как это ни парадоксально с первого взгляда, умеренного пользования диалектизмами: держа на своем рабочем столе в качестве настольной книги словарь Даля, Владимир Ильич тем не менее прекрасно понимал, что нарочитое употребление местных слов и выражений не только не будет способствовать восприятию его массами, но, наоборот, закроет им путь к ряду его идей.

Этой же установкой на массового читате-

ля в значительной своей части обусловлена и ленинская образность. Он черпал ее из внутренних средств языка — метафоры, сравнения, меткие эпитеты у Владимира Ильича чрезвычайно часты. Он охотно пользовался образами устно-поэтической речи, и на страницах фельетонов и исследований Ленина мы часто находим, например, пословицу и поговорку. Он в изобилии вводил в свой язык образы, сформированные многовековой культурой мировой публицистики, — изречения, афоризмы, крылатые слова. Ленин чрезвычайно часто использовал наконец образы художественной литературы то в качестве беглых аллюзий, то в форме широко развернутых и точно переданных цитат. Эти образные средства ленинского языка в большой степени способствовали его усвоению широкими массами.

Таковы отдельные черты ленинского стиля. Стержнем, придававшим им единую устремленность, была, как мы уже говорили, его воинствующая большевистская партийность. Она была ведущим началом стиля, она спаяла воедино его составные компоненты, она придавала этим стилевым особенностям внутреннее единство. Воинствующая партийность делала ленинские произведения полемичными, она заряжала их многообразнейшими эмоциями. Интересам большевистской партийности служили точность, уплотненность и плановость ленинского анализа и изложения — надежное средство довести до сознания читателей все необъясненное содержание ленинских идей. Большевистской партийностью, ориентирующейся на массы трудящихся, вызваны и такие чисто языковые особенности ленинского публицистического стиля, как простота его лексики, как яркость его образов. Это ведущее начало большевистской партийности пронизывает, таким образом, весь его публицистический стиль.

5

Но стиль Владимира Ильича неоднороден. Ленину свойственно чрезвычайно многообразие жанров, которые представляли собою различные формы этого стиля, вызываясь к жизни различными потребностями его политической практики. Фельетон служил выполнению одних задач по сравнению с популярной брошюрой, а полемическая статья дореволюционной поры, конечно, не была аналогична по стилю последним ленинским статьям 1920—1922 годов. Это

многообразие жанров также было обусловлено ленинской партийностью — оно вызывалось к жизни широтой задач, стоявших перед вождем большевиков на протяжении всей его тридцатилетней публицистической деятельности.

Одним из ярчайших показателей того изменения, которое претерпел стиль Ленина, является отношение Владимира Ильича к возможностям эзопова языка. Под этим термином, ведущим свое начало от Щедрина, скрывается одно из любопытнейших явлений стиля русской революционной публицистики. В условиях жесточайшего правительственного гнета, когда цензура неослабно следила за каждым шагом публициста, «как черный медведь», становясь на его дороге, последнему приходилось облекать свои «крамольные» мысли в легальную форму эзопова языка. Этим революционные публицисты преследовали одновременно две цели: довести свои взгляды до широкого читателя, обычно легко улавливающего реальный смысл высказываний публициста, и скрыть сущность высказываемого от цензуры. Дававший возможность убить сразу двух зайцев, эзопов язык делался привычным оружием русской революционной публицистики, начиная от ее предтечи Белинского и кончая революционными народниками и марксистами. Возможности этого легального оружия высоко ценились Лениным: в статье «Пацифизм буржуазный и пацифизм социалистический» он отмечал в качестве одной из заслуг Добролюбова и Чернышевского т.д., что они даже в условиях «...крепостной России... умели говорить правду то молчанием о манифесте 19 февраля 1861 г., то высмеиванием и шельмованием тогдашних либералов...» (30, 251).

Владимиру Ильичу приходилось пользоваться эзоповой речью во всех своих легальных выступлениях дооктябрьской поры, особенно часто обращаясь к ее помощи в научных исследованиях и статьях, в рабочих газетах после 1905 года. Эзопов язык у Ленина имел свою, десятилетиями выработанную технику. Одним из ее наиболее обычных приемов был перифраз. В девяностых годах нельзя было, например, упомянуть термина «марксизм», его приходилось заменять термином «реализм». Самое имя Маркса заменялось туманным выражением «новый исследователь». После разгрома революционного движения 1905—1906 годов цензура не пропускала, например, выраже-

ния «революционный пролетариат», и Ленину приходилось говорить о «передовой демократии». Чем сильней развстрывалась реакция, тем труднее было Ленину вести в легальной форме полемику. Владимир Ильич намекнул на это в одном из своих фельетонов 1913 года против меньшевистской газеты «Луч», в ряде статей выступавшей против массовых стачек: «Разумеется, мы не можем здесь возражать «Лучу» так, как он этого заслуживает» (22, 353).

Но особенно сильно необходимость эзоповой речи сказалась в области научных исследований. В годы войны Ленин написал работу «Империализм, как высшая стадия капитализма», в которой он по необходимости широко употреблял формы эзоповой речи, — без этого работа не получила бы легального существования. В позднейшем примечании, написанном уже после революции, Ленин чрезвычайно ярко охарактеризовал трудности, возникавшие на этом пути перед исследователем. «Брошюра, — отмечал он, — писана для царской цензуры. Поэтому я не только был вынужден строжайше ограничить себя исключительно теоретическим — экономическим в особенности — анализом, но и формулировать необходимые немногочисленные замечания относительно политики с громаднейшей осторожностью, намеками, тем эзоповским — проклятым эзоповским — языком, к которому царизм заставлял прибегать всех революционеров, когда они брали в руки перо для «легального» произведения» (27, 301). В этом своем предисловии Ленин раскрыл всю внутреннюю механику эзоповой речи, основанной на намеренных недомолвках, на сознательном изменении и постановке примеров. «Тяжело перечитывать теперь, в дни свободы, эти искаженные мыслью о царской цензуре, сдавленные, сжатые в железные тиски места брошюры. О том, что империализм есть канун социалистической революции, о том, что социал-шовинизм... есть полная измена социализму, полный переход на сторону буржуазии, что этот раскол рабочего движения стоит в связи с объективными условиями империализма и т. п. — мне приходилось говорить «рабьим» языком, и я вынужден отослать читателя, интересующегося вопросом, к выходящему вскоре переизданию моих зарубежных статей 1914—1917 годов. Особенно стоит отметить одно место... чтобы в цензурной форме пояснить читателю, как бесстыдно лгут капиталисты и перешедшие на

их сторону социал-шовинисты (с коими так непоследовательно борется Каутский) по вопросу об аннексиях, как бесстыдно они *прикрывают* аннексии *своих* капиталистов, я вынужден был взять пример... Японии! Внимательный читатель легко подставит вместо Японии — Россию, а вместо Кореи — Финляндию, Польшу...» (27, 301—302). Эти замечательные строки ленинского предисловия ярко рисуют те трудности, которые до революции приходилось преодолевать большевистскому публицисту. Как ни безошибочен был расчет на внимательного читателя, умеющего понять сказанное эзоповым языком, этот последний все же чрезвычайно тяготил Ленина. Лишь в очень редких случаях ему удавалось высвободиться от него в своих легальных выступлениях — таковы были его статьи 1905 года, когда цензура сделалась гораздо более облегченной. Но лишь Октябрь нанес эзоповой речи решительный и окончательный удар, лишь Октябрь предоставил Ленину широчайшую возможность контакта с массовым читателем. Речь Ленина в послеоктябрьские годы освобождается от всяких наносных влияний вынужденной легальности, на которую приходилось идти ранее в интересах революционной агитации и пропаганды. Это, конечно, не изменило речь Ленина коренным образом, ибо легальные статьи и до Октября играли в его публицистике явно подчиненную роль.

Но это, бесспорно, изменило самый стиль ленинского изложения, освободив его публицистику от какой-либо необходимости говорить иносказательно, аллегорически.

Завоевание пролетариатом политической власти определило собой новый и значительный поворот в движении публицистического стиля Ленина.

Стиль Ленина не был одним и тем же на протяжении его тридцатилетней истории. Если мы сравним между собой ранние рецензии Владимира Ильича с более поздними его работами, нам легко бросится в глаза «снижение» стиля, «упрощение» его. Владимир Ильич освобождается от ряда влияний излишней книжности или академичности. Его полемика становится более острой, живой, его язык становится более простым и разговорным¹, образы — более яркими и вмес-

¹ Это хорошо показано в книжке Е. М. Рыта в главе «Язык и стиль Ленина в их историческом развитии» («Ленин о языке и языке Ленина». Гослитиздат. М. 1936, стр. 67—73 и след.).

те с тем более демократичными. Ленин в эту пору более чем когда-либо говорит языком, свободным от традиционной орнаментики: он меньше употребляет литературных образов, которые легко могут оказаться непонятными широчайшим массам, читающим статьи Ленина и слушающим его выступления с трибуны. В речи Ленина в эту пору становится неизмеримо меньше иностранных слов или слов иностранного происхождения, и заботы о популярности языка начинают его особенно волновать — вспомним, что именно в эту пору Владимир Ильич пишет свою замечательную статью о засорении газетного языка ненужной «иностранщиной». Ориентация на широчайшие многомиллионные массы, получившие после Октября доступ к ленинскому слову, делает выразительные средства последнего еще более простыми и популярными. Тот же процесс органического «опрошения» проходит в эту пору и ленинский процесс доказательства.

Ленинский стиль непрерывно развивается, движется и видоизменяется. В диалектическом отрицании стиля враждебной ему дворянской, буржуазной и мелкобуржуазной публицистики ленинский стиль проходит сложный путь, изменяясь на каждом новом этапе его революционной большевистской практики. Суммарное недифференцированное изучение стиля Ленина поэтому не только бесплодно, но и вредно: стиль Ленина — живое и сложное единство, внутренние закономерности которого изменяют свою форму в зависимости от конкретных задач, которые стояли на данном этапе перед Владимиром Ильичем. Ленинский стиль сложен в своих формах, но он остается единым и монологичным в существе, во всех своих отличительных особенностях.

II. БОРЬБА С ФРАЗЕРСТВОМ

1

Атакуя публицистику врага, Ленин яростнее всего обрушивался на его «фразерство», на обман трудящихся масс, искусно завуалированный в ней словесной демагогией.

Борьба с фразерством крепостников и либералов, эсеров и меньшевиков — одна из самых характерных и определяющих тенденций ленинского стиля.

Больше, чем с другими видами фразерства, Ленину пришлось бороться с мелкобуржуазным фразерством.

Если у идеологов дворянства и буржуазии фразерство представляло собою классическое средство обмана масс, то у идеологов мелкой буржуазии оно отражало помимо того и их самообман. Именно в таком своем качестве оно встретится нам, например, на страницах народнических журналов. В надеждах народников последней трети прошлого столетия на то, что капиталистическое развитие минует Россию, было, конечно, немало утопизма. Игнорируя факты реальной действительности, эти идеологи закономерно обращались к убаюкивающему слову. Фразерство тем более часто заменяло у народников объективное исследование фактов, действительности, что этот анализ не сулил им ничего утешительного. Фраза вводила их «от неприятной, но несомненной действительности» «в заоблачные выси романтических мечтаний» (3, 48). Приукрашивание действительности «друзьями народа» производилось даже в такой объективной, казалось бы, области, как статистика. Приводимые Н.—оном данные о «замедлении» развития капитализма в восьмидесятых годах нимаго не отвечают действительности. «Но г. Н.—он не останавливается перед прямым извращением фактов в угоду своей романтической теории» (3, 517). Еще в большей степени народническое фразерство отражалось на созданной ими специфической терминологии, приукрашивающей и извращающей эту действительность. «Только на гнилом Западе вещи прямо и называют их именем, а у нас понижение заработка, понижение жизненного уровня трудящихся, задержку введения машин, укрепление всяческой кабалы называют «преимуществом» «народного производства», «соединяющего земледелие с промыслом» (2, 362—363).

Ленин не жалел резких слов для того, чтобы заклеить это фразерство народников, держащееся «на подтасовках, передержках и на потоке фраз, представляющих собою не что иное, как погрешки» (1, 179), на «праздном и бессмысленном», «пышном» фразерстве, на «поддумывании истины». «Петь аллилуия и разливать в гуманно-доброжелательных фразах — вот альфа и омега всей их «науки», всей их политической «деятельности» (1, 264).

Борясь против народников девятых годов, Ленин разоблачал и их наследников — партию «социалистов-революционеров», в деятельности которой проступала та же тенденция приукрасить действительность, за-

вуалировать классовые противоречия в деревне: «...все старые предрассудки народничества, прелюбопытно сохранившиеся под прикрытием увертливых фраз, выползли тотчас же наружу» в деятельности эсеров (6, 394) с их «модной» фразой «революционного синдикализма» (15, 186), с их не достойными революционеров «страшными словами», с их «цветком того «революционно-демократического» красноречия, которое заливают сейчас (в эпоху керенщины.— А. Ц.) Россию... развращает и отупляет народные массы...» (32, 315—316). В эти предоктябрьские месяцы Ленин особенно резко обличал «мелкобуржуазных болтунов из эсеров и «левых» меньшевиков», правительство, которое месяцами продолжает «водить крестьян за нос и надувать их обещаниями и оттяжками» («Уроки революции», 34, 57).

Еще больше сил отдал Ленин на разоблачение того мелкобуржуазного фразерства, которое прикрывалось личиной марксизма, на разоблачение демагогии меньшевистской публицистики. Характеризуя этот вид фразерства, Ленин неизменно подчеркивал обусловленность последнего политическим оппортунизмом меньшевистской партии. «...нас угощают общими местами и фразами о «самодельности», точно нарочно желая *скрыть свои мысли* по выдвинутым жизнью и поставленным партией вопросам!» (15, 189). «Вот образец того, как хорошие слова истрепываются во фразу, прикрывая величайшую неправду, величайший обман и самих тех, кто фразой упивается, и всей партии» (20, 56). «Долой мишурные облачения! Довольно с нас лживых либеральных фраз! Пора размежеваться» (12, 122). «Меньшевистская тактика выступает перед нами как фальсификация марксизма, как прикрытые «марксистскими» словечками антимарксистского содержания» (17, 409). О меньшевистской резолюции: «В лучшем случае, ее вывод — пустая фраза. В худшем — вредная фраза, сбивающая с толку пролетариат, затемняющая азбучные с.-д. истины...» (15, 174). «Мы отвергаем обман народа посредством болтовни о частичных требованиях, посредством *реформизма*» (23, 88). «...посредством пустой и надутой фразы... *обходится* насущный для революционного пролетариата вопрос...» (33, 108).

Особую фазу в разоблачении мелкобуржуазного фразерства представляют ленинские публицистические высказывания 1917

года. Социальный смысл соглашательской демагогии раскрылся в эту пору особенно рельефно, разоблачаясь предательской политической практикой меньшевиков и эсеров. «Капиталисты издеваются над рабочими и над народом, продолжая политику локаутов скрытых и скрывания скандальных прибылей, а Скобелевых, Церетели, Черновых посылая для «успокаивания» рабочих фразами» (32, 392). «Мелкобуржуазные демократы, эти якобы социалисты, заменившие классовую борьбу мечтаниями о соглашении классов...» (33, 25).

На страницах полемических статей Ленина разоблачалось фразерство таких деятелей, как М. Неведомский, который «оказался и чистейшим, законченнейшим воплощением общечеловеческого идеологического начала — начала празднословия» (20, 94)¹, как публицисты «Единства», прикрывавшие свою измену революции XX века «ложными ссылками на революционеров XVIII века» (32, 307), и многих других. Ленин клеймил фразерство и виднейших деятелей меньшевистской партии, ее основных лидеров и идеологов. Таков, например, П. Аксельрод, который «свою защиту социал-шовинизма... прикрывает необыкновенно щедрой фразеологией...» На словах — все, на деле ничто. «Клятва и божба, что мы «интернационалисты» и революционеры, а на деле поддержка социал-шовинистов и оппортунистов всего мира в их борьбе против революционных интернационалистов» (27, 57—58). Таков Мартов, к которому Ленин до раскола относился с известной симпатией и которому «искровское воспитание... не внушило... пренебрежительное отношение к анархической фразе» (8, 229). Ленин зло издевался над «пустыми фразами», которыми он пытается запутать вопрос, над методом рассуждения Мартова, для которого «диалектика классовой борьбы есть книга за семью печатями» («Орган либеральной рабочей политики», 21, 160). В «Принципиальных вопросах избирательной кампании» Мартов аттестовался как «виртуоз по части облачения реформистских рассуждений, теорий, платформ словечками эффективно-марксистского и эффективно-революционного вида!» (21, 84).

¹ Характерно, что эти строки о Неведомском начинаются у Ленина словами «Бум, бум, бум...», подчеркивающими «манеры декламации, собственные либерально-буржуазной публицистике» (20, 94).

Еще более красноречивы резко отрицательные оценки Лениным Троцкого, который уже в начале своей деятельности проявил себя как мастер звонких, но пустых фраз. Ленину внушает отвращение политическая межеумочность Троцкого, «который, как и всегда, ни в чем принципиально не согласен с социал-шовинистами, но во всем практически согласен с ними...» (26, 295). Ему глубоко претит та «рреволюционная фраза» Троцкого, «которая ему ничего не стоит» (21, 254). Цитируя «звонкое» заявление Троцкого о том, что «социал-демократия... свои великие задачи умеет не только в виде формулы начертать на внутренней поверхности черепной коробки...», Ленин иронически замечает: «Красиво пишет Троцкий, не хуже Потресова и Неведомского!» (21, 166). Стиль Троцкого претит ему не меньше, чем его политическая идеология, и недаром в статье «Вопрос о единстве» (1913) Ленин дает замечательную характеристику напыщенной и бессодержательной манеры Троцкого, а в другой статье резко высмеивает его вычурный язык (т. 22 и 26).

2

Особенно широко борьба Ленина с революционной фразой разгорелась в первые месяцы после Октябрьского переворота. Огромный разгул фразерства питался в эту пору теми чрезвычайными трудностями, которые стояли перед Советским правительством как на фронте внешней (вопрос о заключении мира с Германией), так и на фронте внутренней политики. Именно к этой наиболее критической поре существования советской власти относились выступления Ленина против Троцкого и группы «левых коммунистов». Наиболее синтетическим и ярким выражением этой ленинской борьбы с рядящимся в тогу коммунизма фразерством является статья «О революционной фразе» (февраль 1918 года). Уже в начале ее содержится замечательное определение социальных истоков этого нового вида политической болтовни, претендующего на большевистскую ортодоксальность. «Когда я на одном партийном собрании сказал, что революционная фраза о революционной войне может погубить нашу революцию, меня упрекали за резкость полемики. Но бывают моменты, обязывающие поставить вопрос в упор и назвать вещи их настоящим именем,

под угрозой причинения непоправимого зла и партии и революции.

Революционная фраза чаще всего бывает болезнью революционных партий при таких обстоятельствах, когда эти партии прямо или косвенно осуществляют связь, соединение, сплетение пролетарских и мелкобуржуазных элементов и когда ход революционных событий показывает крупные и быстрые изломы. Революционная фраза есть повторение революционных лозунгов без учета объективных обстоятельств, при данном изломе событий, при данном положении вещей, имеющих место. Лозунги превосходные, увлекательные, опьяняющие,— почвы под ними нет,— вот суть революционной фразы» (35, 343). И разбирая далее мнение революционных фразеров по важнейшему вопросу дня — о войне с капиталистической Германией,— Ленин не стесняется в выражениях для того, чтобы заклеймить политическую беспочвенность и вредоносность революционного фразерства, закрывающего себе глаза на действительность: «Кто не хочет себя убаюкивать словами, декламацией, восклицаниями, тот не может не видеть, что «лозунг» революционной войны в феврале 1918 года есть пустейшая фраза, за которой ничего реального, объективного нет» (35, 345).

Он называет фразеров «революционерами чувства» (35, 347), а их утверждения — «фразистой бессмыслицей», «детски смешной», «ребяческой», полной нелепостей, исключительно вредной. «Заболеть в такое время (болезнью революционной фразы.— А. Ц.) — значит riskовать гибелью революции» (35, 353). Эта статья не одинока, ее окружают другие, например «О чесотке», быющие по тому же явлению коммунистического фразерства, столь ярко выраженному в выступлениях левацких ораторов и публицистов. В несколько иной форме эта борьба с фразерством внутри партии продолжалась в последующие годы. Леваки были разгромлены, но революционная фраза продолжала питаться непрактичностью, благодушием и тому подобными качествами, оставшимися большевикам в наследство от традиционного интеллигентского витания в эмпиреях и обломовского патриархализма и лежебокства.

Непримиримое отношение к этому явлению прекрасно характеризуется в кратких, но выразительных записочках к товарищам по работе, разоблачающим «приказы и по-

становления», которые без привлечения умелых исполнителей неизменно превращаются в «грязные бумажки». В письмах к А. Д. Цурюпе Ленин рекомендует: «Главное, по-моему, перенести центр тяжести с писания декретов и приказов (глупим мы тут до идиотства) *на выбор людей и проверку исполнения*. В этом гвоздь» (44, 368—369). Сравним также письмо к И. Смилге, в котором Ленин требовал «изучить дело *серьезно*, не полагаясь на *слишком обычные* у нас хвастливые общие фразы» (34, 265). В большой публицистике эта критика фразерства отражена, например, в статье «Об едином хозяйственном плане». «...Нам опять,—говорил Ленин в конце этой статьи,— в десять раз ценнее хотя бы буржуазный, но знающий дело «специалист науки и техники», чем чванный коммунист, готовый в любую минуту дня и ночи написать «тезисы», выдвинуть «лозунги», преподнести голые абстракции. Побольше знания фактов, поменьше претендующих на коммунистическую принципиальность словопрений» (42, 346—347). Здесь борьба с фразерством отдельных коммунистических публицистов непосредственно служит делу развертывающегося социалистического строительства.

3

Перипетии борьбы Ленина с фразерством чрезвычайно богаты и разносторонни. Владимир Ильич беспощадно клеймил все виды фразы — от эффектной и пышной, изобилующей эфемерными обещаниями «декларации», до насквозь лицемерной и фальшивой фразы, маскирующей политический обман. Ленин неустанно разоблачал праздных мечтателей и сознательных обманщиков — две тесно сплетающиеся друг с другом категории политических фразеров

«Вначале было дело». Во все периоды своей политической деятельности Ленин учил поверять слово делом, смотреть, что скрывается в действительности за велемечивыми обещаниями, делать большевистскую проверку декларациям истекающего словесами противника. Еще в «Что делать?» он призывал «судить о людях не по тому блестящему мундиру, который они сами себе надели, не по той эффектной кличке, которую они сами себе взяли, а по тому, как они поступают и что они на самом деле пропагандируют..» (6, 9). «С большими словами,— указывал он в полемике с новоник-

ровцами,— надо обращаться осмотрительно. Трудности превращения их в большие дела громадны. Но именно поэтому непростительно было бы отделяться от этих трудностей фразой, отмахиваться от серьезных задач маниловскими выдумками, надевать на глаза шоры сладеньких вымыслов о якобы «естественных переходах» к этим трудным задачам» (11, 366). Приоритет «дела» над словом был установлен Лениным решительно и бесповоротно. «А социал-демократ, сбитый с толку «муниципализаторами», не понимает того, что звук слов исчезает, а дело остается» (16, 260), «вместо таковых изменений *в жизни* он нам может преподнести лишь прекраснородные профессорские силлогизмы... На бумаге написать подобную вещь легко, но в жизни русский политический строй ни на йоту не станет от этого «культурным» (20, 407). В статье «Принципиальные вопросы избирательной кампании» он призывает «учитывать... не слова, не обещания, не заверения, а именно *опыт* пережитого четырехлетия» (21, 70). «Это очень хорошие слова,— пишет он ниже.— К сожалению, этим словам не соответствует *дело*» (21, 78). «Только безголовые люди могут сравнить *слова* ликвидаторов с *мотивами* ликвидаторов. Надо сравнить их *слова* с *делами* либеральной буржуазии и с ее объективным положением» (23, 79). «...не боюсь тем, что ты написал на такой-то бумажке конституцию, всеобщее избирательное право, свободу коалиций, равноправие национальностей и т. п., этим *словам* — *грош* цена, а покажи мне твои *дела*...» (22, 331). «Но единоголосное решение недостаточно, поскольку после него не наступает единое действие» (21, 390). Неустанным требованием поставить публицистическое слово на службу революционному делу Ленин наносил фразерству самые беспощадные, под корень подсекающие его удары — лежащий в основе революционной фразы обман масс раскрывался тем самым во всей своей политической вредности. «Войну с целью разорения и ограбления Германии, Австрии, Турции ведет англо-французская плюс русская буржуазия. Ей нужны вербовщики, ей нужно согласие социалистов воевать до победы над Германией, а остальное — пустое и недостоинное фразерство, prostitutionирование великих слов: социализм, интернационализм и пр. На деле — идти за буржуазией и помогать ей грабить чужие страны, а на словах — угрожать массы лицемерным при-

знанием «социализма и Интернационала» — в этом как раз и состоит основной грех оппортунизма, основная причина краха II Интернационала» (26, 177—178). Разоблачая этих предателей народных интересов, Ленин призывал массы трудящихся начать дело революционной перестройки. «Пока эсеровско-меньшевистские предатели народа ворчат, грозят, пишут резолюции, обещают накормить голодных созывом Учредительного собрания, народ *по-большевистски* приступит к решению вопроса о хлебе *восстанием* против помещиков, капиталистов и скупщиков» (34, 400). В этом «Письме к товарищам», написанном Лениным в предоктябрьские дни, со всей силой сказались политическая действенность его борьбы с фразерством, которая была частью всей ленинской борьбы за освобождение трудящихся, за коммунистическое переустройство мира.

4

Борьба с демагогией политического слова, окрасила собою решительно все стороны ленинского публицистического стиля.

В области доказательства она оказалась в ряде ведущих тенденций Ленина-исследователя: в неутомимой борьбе Владимира Ильича со всякого рода абстракциями, открывающими широчайший простор оппортунизму; в неустанном стремлении к конкретности и историзму анализа, который бы пресек возможность вульгарного, механистического анализа; в беспощадном преследовании всяких «рреволюционных» лозунгов, которые не стоят на почве революционного дела; в постоянных заботах о точности и ясности терминов и определений, не оставляющих никаких лазеек фальсификаторам и ревизионистам; в железной логике доказательства, в неустанном растолковывании неопытному и малоискушенному читателю сути вопроса; наконец, в величайшей насыщенности анализа данными исторического процесса. Трезвое и прозаическое слово «факт» недаром является одним из любимейших словечек ленинского лексикона, проходящим через всю его публицистику: Сисмонди «просто отворачивается от этих фактов» (2, 168), «Это невероятно, но это факт» (4, 251), «Это очень неприятно... это внушает страх... но — это факт» (10, 226), «А факты говорят... Вот это — факт» (32, 419), «Это факт. И этот факт вскрывает всю пустоту конституционных иллюзий» (34, 37),

«...Но попытка затемнить факт несколько не меняет самого факта» (45, 142). Словечко «факт» недаром было одним из самых частых у Ленина — им он неизменно разбивал всякие домыслы утопистов и лицемерие оппортунистов. Оно равно направлено своим острием против тех, кто пытался своим фразерством создать себе средство уйти от реальной действительности, и против тех, кто стремился потоками фальшивых слов обмануть народные массы, затормозить их борьбу за освобождение от ига эксплуатации. Еще большую роль борьба с фразерством играла в системе полемических приемов Ленина. Ироническая рекомендация фразерствующего противника, уснащение его плавной речи коварными и губительными ремарками, доведение до абсурда его аргументации, разоблачение его лицемерия, умолчаний, уверток, неопределенных намеков, софизмов, бессодержательных трюизмов, сшибание лбами двух болтунов, не спевшихся друг с другом, предусматривание их возможных возражений, наконец употребление резких слов по адресу фразерствующего — все эти моменты ленинской полемики с противником теснейшим образом связаны с его борьбой против либерального и соглашательского фразерства и только в этой своей функции и могут быть поняты. Здесь же получает свои истоки и целый ряд особенностей ленинского словаря. Таково, например, частое употребление Владимиром Ильичем глаголов «болтать», «кричать», «декламировать» и т. д. «Г. В. В. декламирует по этому поводу о «позорной (sic!) зависимости», «...г. Кривенко просто сболтунул», «...г. Кривенко принимается болтать вздор», «болтовня о патриотизме... о защите культуры» и др. На разоблачение фразерствующего противника стягнута и добрая часть ленинских эпитетов: речь противника квалифицируется как «приторная», «благонамеренная» и «прекраснодушная ложь», ей присущи «сладенькие словечки», «неясные, напыщенные, велеречивые» фразы. Эпитет «велеречивый» довольно част: «...не верьте никаким велеречивым программам, — скажем мы массам, — полагайтесь на свои, массовые, революционные действия против своего правительства и своей буржуазии...» (26, 297), «Как много говорят о контроле! И как в этом многом *мало* содержания. Как обходят суть дела общими фразами, велеречивыми оборотами речи, торжественными «проектами», кото-

рым суждено вечно оставаться проектами» (32, 393). Этой же борьбе с фразерством служит и эпитет «лицемерный», которым Ленин приговораждает противников, скрывающих свои нечистые помыслы.

В области синтаксиса эта борьба с фразерством сказывается, например, в частом употреблении Лениным кавычек, которые сразу берут под обстрел пышные словечки вражеских публицистов. В области эмоций она разворачивается как борьба Владимира Ильича со всякого рода ложным пафосом противника, с «зысоким слогом» его статей. В области образных средств она отражается, например, в целом ряде любимых изречений, сравнений, пословиц Ленина.

Таково, например, изречение «Язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли», которым Ленин разоблачает фразеров. Разоблачению политического фразерства служит наконец у Ленина и огромная доля употреблявшихся им литературных образов. Взятый им из античной мифологии образ Нарцисса клеймит противников Брестского мира — «левых» интеллигентов, с великолепием влюбленного в себя Нарцисса глубокомысленно изрекающих горделивые фразы о войне (36, 288). Из образов западноевропейской литературы разгул фразерства чаще всего клеймится фигурами Дон-Кихота, Тартюфа и особенно Тартарена: избирательная кампания «...превращена Тартаренами нашего ликвидаторства в нечто, обставленное такими велеречивыми словами, словами и словами, что прямо невтерпёж станвится» (21, 73). Из образов устной словесности здесь использованы Иванушка-дурачок — в «Государстве и революции» Ленин говорит, например, о «революционно-демократической фразе» — предназначенной «для одурачения деревенских Иванушек» (33, 47) — и неодушевленный, но достаточно красноречивый образ «молочных рек и кисельных берегов» (15, 179). Этой же цели служит у Ленина и характерно переиначенная цитата лермонтовской «Думы» («Насмешкой горькою обманутого сына над изболтавшимся отцом») (13, 88), и образ болтуна Репетилова. В этой галерее образов, бичующих фразерство, широко представлены персонажи Крылова, начиная от народнической «моськи», лающей на марксистского «слона» (1, 158), и кончая гусями, «которые кичились, что (их предки.— А. Ц.) «Рим спасли» (44, 324). Еще более широко фигурируют

здесь образы Гоголя — Тряпичкин, болтающий «об организации-процессе» (9, 273), Хлестаков, являющийся у Ленина синонимом безудержного хвастовства и вранья, Ноздрев, преподносящий народу «только красноречие, обещания... фразы» (32, 388), и особенно сентиментальный прожектер Манилов, приукрашивающий и извращающий действительность посредством «маниловских фраз». Против фразерства Лениным мобилируются и тургеневские образы: Базаров с его иронической просьбой: «Друг мой, Аркадий Николаевич, не говори красиво!» (9, 186), болтун Ворошилов из «Дыма» (сравнение с ним эсера Чернова особенно часто). Но, может быть, всего шире Ленин здесь использует щедринские образы: продажного адвоката Балалайкина, термин «языкоблудие» (12, 289 и 14, 238) и особенно Иудушку, в котором Ленин подчеркивает, между прочим, его фарисейскую болтливость: «...кадетский Иудушка Головлев... действительно засоряет глаза народу, действительно отупляет умы» (15, 213), «...Каутский повторяет сладецькие иудушкины речи...» (27, 272).

Роль литературных цитат в ленинской борьбе с фразерством, как мы видим, почетна и значительна.

5

О том, что борьба с фразерством была одной из важнейших тенденций ленинской языковой политики, немало писали формалисты в свое время, их мнения на этот счет не лишены интереса: чуткие к вопросам формы, эти исследователи обратили внимание на чрезвычайно характерную линию ленинского стиля — борьбу за гибкое и обновленное слово. Но, правильно отметив эту стилевую тенденцию, формалисты все же обеднили ее. Политическая подоснова ленинской борьбы с фразерством осталась для них непонятой. «Борьба с «революционной фразой» проходит через все статьи и речи Ленина, — писал, например, Б. Эйхенбаум. — Это одна из постоянных тем его иронии или насмешки, а иногда и серьезного обсуждения... Ленина беспокоит не только фразерство, оперирующее пышными словами, но и превращение дорогих для него и насыщенных глубоким содержанием слов в ходячие термины-названия, превращение этих слов в бытовые знаки и связанное с этим

опустошение, обеднение слова»¹. Ю. Тынянову принадлежит сделанная им более десяти лет тому назад попытка сформулировать основные принципы ленинской языковой политики, которые, по его мнению, могут быть сведены к следующим семи пунктам: «1) принципиально осторожному отношению к словарю и заподозреванию самого слова, 2) к вышелушиванию из власти фразы конкретного значения слова, 3) к борьбе против гладких слов-лозунгов с туманным объемом лексического единства и с властью лексического плана, в снятии с них «ореола», 4) к борьбе против слов-терминов с туманным объемом лексического единства, который затемнен и заменен «высокой» лексической окраской, 5) к борьбе против старых, износившихся слов за отмежевание вещи и оживление значения, 6) к борьбе против слов, которые объединяют разные вещи, против нехарактерных слов, 7) к борьбе против «одноцветных» слов...»². Не отрицая некоторого классификационного значения всех этих «пунктов», мы все же полагаем, что борьба с фразерством протекала прежде всего по линии критики тех слов, которые фальсифицировали «дело» партии и рабочего класса, которые отражали в себе «самообман» их авторов или их сознательное лганье против действительности. Не по-

ставить этого во главу угла — значит закрыть себе дорогу к пониманию самого процесса, ограничившись сугубо лингвистическим и академическим описанием его внешних форм

В основе борьбы Ленина с фразерством лежит его требование к языку — быть столь же диалектичным, как диалектично мышление. Слово, как и мышление, должно быть конкретным и историческим. Значения слов должны изменяться вместе с действительностью, анализу которой они служат. «...марксист должен учитывать живую жизнь, точные факты *действительности*, а не продолжать цепляться за теорию вчерашнего дня.. Этот факт не укладывается в старые схемы. Надо уметь приспособить схемы к жизни, а не повторять ставшие бессмысленными слова о «диктатуре пролетариата и крестьянства» *вообще*» (31, 134—135). Это замечание, брошенное Лениным в его «Письмах о тактике» (апрель 1917), ярким светом освещает его борьбу против того словесного фетишизма, который так присущ был различным течениям современной Ленину дворянской, буржуазной и мелкобуржуазной публицистики. Ленинская борьба с фразерством неизменно была борьбой со словом, мешающим революционному делу. Владимир Ильич недаром уделил так много страниц своей публицистики разоблачению лживого фразерства врага — он лишь один раз демонстрировал этим свою величайшую политическую непримиримость, свое непревзойденное искусство диалектического анализа действительности.

¹ Б. М. Эйхенбаум. Основные стилевые тенденции в речи Ленина. «Лев». 1924, № 1, стр. 59—60.

² Ю. Тынянов. Словарь Ленина-полемиста. В кн. «Арханглы и новаторы». «Прибой». Л. 1929, стр. 490—491.



ЖИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Т. Хмельницкая. Автобиографическая проза Каверина.— **Ст. Рассадик.** «Человеческий подход». — **Е. Ландау.** «Правосознание» по-алферовски. — **И. Бернштейн.** Роман о судьбе поколения.

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Каждан. Психология общества. — **В. Шкредов.** Право колхоза и сила привычки. — **Ольга Чайковская.** О профессии адвоката. — **М. Ярошевский.** Портрет академика Павлова.

Литература и искусство

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЗА КАВЕРИНА

В. Каверин. «Здравствуй, брат. Писать очень трудно...» Портреты, письма о литературе, воспоминания. «Советский писатель». М. 1965. 256 стр.

Вениамин Каверин — один из самых высоко профессиональных наших писателей. Он в такой же мере художник, как и исследователь литературного процесса вообще и собственного творчества в частности. Пристрастие к острому сюжету, сложным, запутанным взаимоотношениям героев, повествованию, насыщенному загадками и тайнами, сочетается у Каверина с аналитической склонностью к раскрытию своего творческого метода. Он уверенно распоряжается своим литературным хозяйством, четко определяет наиболее эффективные и послушные ему виды словесного оружия.

Потребность превратить размышления об искусстве и своей работе в самый факт искусства, а свое писательское «я» в непосредственного героя своих вещей толкает Каверина к жанру, казалось бы, противопоказанному сюжетной литературе, — к сложному сплаву раздумий, портретов, путевых заметок, воспоминаний детства и юности — словом, к тому, что можно назвать автобиографической прозой. К ней относятся такие книги Каверина, как сборник «Здравствуй,

брат. Писать очень трудно...», воспоминания юности «Неизвестный друг», вошедшие в собрание сочинений, и путевые очерки «Малиновый звон» («Новый мир», № 3, 1966).

Историчность восприятия мира — приметная особенность автобиографической прозы В. Каверина, как и вообще автобиографической прозы, получившей такое распространение у нас в последние годы.

Этот историзм восприятия вызван необычайной насыщенностью событиями всемирно значительными, проходящими через жизнь современного человека. На долю В. Каверина и его сверстников выпало потрясений больше, чем ранее на жизнь нескольких поколений. Выстраданный опыт заставляет оглядываться назад, осмыслить пережитое, извлечь из прошлого уроки для сегодняшнего дня и для будущего, то есть думать в исторических категориях.

Историчность и осознанный профессионализм, о котором речь шла выше, — черты, внутренне присущие автобиографической прозе Каверина. Самые условия его литературного формирования, атмосфера эпохи,

когда он вступал в литературу, непосредственно творческое общение с Ю. Н. Тыняновым способствовали развитию этих качеств. Абсолютный слух Тынянова на историю высоко оценен Кавериним. Об этом хорошо и убедительно говорится в статье о Тынянове, открывающей сборник «Здравствуй, брат. Писать очень трудно...». «Он (Тынянов.— Т. X.) умел слышать тот шум времени, который доступен лишь деятелю, ясно представляющему себе движение истории, ход и столкновение исторических величин».

Драма времени, раскрытая Тыняновым-художником в такой же мере, как Тыняновым—исследователем пушкинской эпохи, занимает и Каверина. Но Каверин пишет о современности как об истории. Время в нашей жизни движется так быстро, изменяется столь существенно, что счет ведется не веками, а десятилетиями и годами. Собственное недавнее прошлое превращается в историю и требует уже не сиюминутного злободневного изображения, но аналитического исследования. Об этом ощущении современного как исторического очень хорошо пишет Каверин в своем «Очерке работы». Речь идет о создании романа «Исполнение желаний».

«Мне пришлось оценить недавнее прошлое взглядом исторического романиста. Именно исторического, хотя действие романа происходит в конце двадцатых годов, а писался он в середине тридцатых. Огромное расстояние, которое пробежала страна за этот короткий срок, превратило современный материал в исторический, требующий другого, куда более сложного, метода изучения. Не полагаясь на память, я перелистывал газеты и журналы, расспрашивал товарищей по университету, словом, выстраивал (пока еще очень несмелой рукой) исторический фон, декорацию эпохи. Дело немного облегчалось тем, что я был все-таки историком литературы, учившимся у очень строгих и требовательных учителей».

Как только Каверин от своей ранней изобретательной фантастики обратился к действительности, он стал подчеркнута историчен. Спор направлений, историю открытия и атмосферу времени находим мы и в «Исполнении желаний», и частично в «Двух капитанах», и в «Открытой книге», и в последних, несколько слишком проблемно обнаженных и несколько рационали-

стических вещах «Двойной портрет» и «Косой дождь».

Каверин стремится передать в художественной прозе самый процесс познания, если материал романа — наука, или самый процесс творчества, если изображается работа художника и писателя.

Любопытно, как самое характерное для повествования Каверина — сюжетность — организует этот новый материал.

Постановка опыта, процесс открытия, напряженное ожидание результатов рождает новый жанр познавательного детектива. Не тайна убийства и раскрытия преступления, а расшифровка рукописи или применение нового лекарства подхлестывает нетерпеливое читательское «что дальше?». Реальность познания, естественно включенная в роман, повышает и обогащает его увлекательность. Лучшие страницы «Исполнения желаний» — те, в которых Трубачевский находит ключ к зашифрованному тексту десятой главы Онегина. Они полны блеска научных догадок, остроумия, напряженных исканий, азарта, и рядом с ними бледны и традиционны заведомо «уголовные» герои, которые крадут документы из архива умирающего профессора Бауэра, спекулируют, устраивают заговоры. И живет роман не самоцельной интригой, а озарением ищущей мысли, радостью познания и открытия.

Теоретические высказывания Каверина имеют самое прямое отношение к его художественной практике. Это ясно и по выбору проблем, и по отбору литературных портретов. Проблема науки как материала нового романа занимает центральное место в ряде статей («Неоткрытые дороги», «Очерк работы»).

Не случайна также статья о Диккенсе с тончайшими мыслями об искусстве современности и в то же время почти мемуарная, потому что в ней Каверин рассказывает, как влиял на него Диккенс еще в отрочестве. Увлекательность и сюжетная напряженность Диккенса близки Каверину. Более того, даже создавая старомодность, наивность и уязвимость Диккенса с точки зрения современного искусства, Каверин и об этих его недостатках говорит с каким-то личным, оберегающим Диккенса от нападок пристрастием: «Мы давно научились не замечать его торопливых развязок, его сентиментальности, его занимательности

во что бы то ни стало». Сентиментальность Каверину почти не свойственна, но «торопливые развязки» и «занимательность во что бы то ни стало» — это уже разговор не только о Диккенсе, а и о себе.

Особенно знаменательно во многих статьях Каверина частое благодарное возвращение к Тынянову. Тынянов не только старший друг, предопределивший отношение Каверина к литературе — отношение сугубо профессиональное и исследовательское, — не только человек, прививший ему обостренно историческое мышление, но и писатель, полный магически заразной силы. Каверин берет от Тынянова очень многое и по-своему это развивает.

Емкость тыняновской мысли в исторических романах Каверин особенно ценил. Он открывал в этих книгах о людях двадцатых и тридцатых годов прошлого века затаенную острую публицистичность.

Есть писатели, идущие к гражданственности прямо, задумывающие свои вещи как открытый разговор о том, что должно и чего не должно быть в нашей жизни сейчас, сегодня, — писатели обнаженно социальные. Но есть другой путь. Каверин приходит к публицистичности от уважения к делу искусства как духовной форме общения между людьми. Высокий профессионализм — залог гражданского пафоса Каверина. Страстным голосом гражданина говорит он о чести, достоинстве и мужестве художника. Он отстаивает право писателя на смелость, прямоту и самостоятельность мысли, на свободу исканий и риска, на прокладывание новых путей.

Каверина тревожат трагические недоразумения в толковании искусства, безапелляционные приговоры, тормозящие рост и развитие в любой творческой области. В своих путевых очерках «Малиновый звон» Каверин вспоминает о судьбе знаменитой картины Рембрандта «Ночной дозор», навлекшей на художника немилость заказчиков, мечтавших быть центром этого группового портрета: «Одно из самых поразительных явлений человеческого гения было признано неудачей, потому что стрелки, находившиеся в тени, обиделись на Рембрандта, не изобразившего их на первом плане».

Известный исторический факт под пером Каверина своеобразно освещает многие нынешние — или вчерашние — недоразуме-

ния в оценке искусства: «Не напоминают ли вам эти возражения другие, которые, увы, часто приходится слышать! О живописи судят с поразительной категоричностью, недопустимой даже в своем профессиональном деле, которым занимаешься всю жизнь... Стрелки, обиженные тем, что они оказались в тени, по-прежнему судят об искусстве».

Как часто в оценке произведений искусства люди, не понимая чего-то, перекалывают всю вину за это непонимание на художника. Ограниченность собственного восприятия они готовы считать законом. Между тем право на принятие и отталкивание приходит только в процессе постижения, только поняв художника, можно мотивировать свои требования и развить свои возражения. Винить же художника — значит звать к полному омертвлению искусства, к требованиям неподвижности и неизбылемости уже созданного, к повторению. Каверин нигде не формулирует эту мысль с такой категоричностью, но она — очевидный стимул всех его высказываний об искусстве.

В своей автобиографической прозе Каверин думает о судьбах России именно в свете судьбы искусства и всех, это современное искусство создающих. Это главный не только эстетический, но моральный и гражданский пафос Каверина.

Помимо статей, размышлений об искусстве и писательских портретов (кроме Тынянова, здесь Гайдар, Маяковский, Заболоцкий, Булгаков, Шварц, Всеволод Иванов), в сборнике «Здравствуй, брат. Писать очень трудно...» значительное место отведено литературным мемуарам Каверина о начале его творческого пути, о вступлении в круг «серапионовых братьев», о встрече с Горьким, давшим «серапионам» путевку в литературную жизнь, о красочно-скандальных выступлениях имажинистов, о Есенине, Маяковском («Как я не стал поэтом», «Баллада», «Вечер в «Стойле Пегаса» и т. д.).

Двадцатые годы воскрешены здесь с живой, острой наблюдательностью и юмором. Но есть в них одна примечательная особенность, присущая не только этим работам Каверина, а и «Книге воспоминаний» М. Слонимского, «Рассказам по памяти» И. Рахтанова. У всех этих авторов, очень несхожих по манере письма, сквозь юмор,

сквозь трезвую, казалось бы, наблюдательность пробивается — с чуть элегическим вздохом — растроганный лейтмотив: «О моя юность, о моя свежесть!» Это придает живым зарисовкам прошлого некоторую облегченность. Обостренно переосмыслены последние этапы жизни, а юность освещена несколько односторонне восхищенно.

Ласковый юмор в отношении к своему молодому автобиографическому герою окрашивает и многие эпизоды воспоминаний Каверина в повести «Неизвестный друг».

Вот юный Каверин с петушиной уверенностью в победе несет свои ранние стихи в журнал и тщетно ищет на его страницах свои опусы: «Я перелистывал номер за номером и поражался: редакция почему-то печатала стихи, которые были гораздо хуже моих. Под одним стояла подпись Бунина, под другим — Сологуба».

Вот начитавшийся романов гимназист решает повеситься из-за несчастной любви, а любознательный брат Пашка помогает ему затянуть петлю. «С большим интересом он наблюдал, как я прилаживаю веревку к задвижке на русской печке, и, сунув свой острый нос, немного поправил петлю: «Этак еще оборвешься, пожалуй»... Потом Пашка доказывал, что он совершенно точно подсчитал соотношение толщины веревки и веса моего тела и установил, что петля все равно бы не затянулась. То, что она затянулась, не смутило его, потому что кое в чем наврал даже Коперник и ученые сто лет возились, исправляя его ошибки».

Особенно удались главы, в которых судьба героя по-тыняновски повернута и показана в ее трагикомическом неблагополучии, в ее противоречивом несовершенстве. Лучшая из таких глав — «Скрипка Амати», о судьбе отца, полкового музыканта, самодура и неудачника. В жизни у него три опоры: армия — воплощение «порядка», семья и купленная ценою больших лишений скрипка работы известного мастера Амати. Но ломается весь строй жизни, рушатся и опоры, на которых строится мнимое благополучие отца. Царская армия разваливается, распадается семья, а скрипка оказывается

не работы Амати. И отец умирает — кончились иллюзии, больше нечем жить.

Глава «Трус» интересно раскрывает сущность истинной и показной храбрости. Мальчик боится физических опасностей — прыгать с высоты, плавать, оставаться одному в темной комнате. Любопытствующий и склонный к экспериментам брат Пашка заставляет его нырять с головой и ходить по лесенке, перекинутой между двумя крышами. Несмотря на это изуверское воспитание смелости, герой не перестает бояться. Но когда он сталкивается с прямой несправедливостью, когда директор незаслуженно подвергает ostrакизму его товарища, проливший трусом наперекор всему нарушает запрет и заговаривает с наказанным. Храбрость не в физическом фанфаронстве, а в стойкости душевной, в умении поступать независимо от угроз так, как подсказывает твое человеческое чувство. Мораль эта нигде не высказана — она вытекает из самого поворота событий.

В главах воспоминаний Каверин предстает перед нами как великолепный рассказчик, очень выдержанный, точно рассчитывающий эффект: в каждом эпизоде пружина замысла срабатывает безошибочно. Мы часто узнаем и привычную, шеголеватую и детально отработанную стилевую манеру, отстоявшуюся повествовательную интонацию, знакомую по большим романам В. Каверина. И вместе с тем в этих полумемуарных-полутеоретических вещах намечается очень существенная для Каверина новая тенденция — жажда непосредственного контакта, прямого объяснения с читателем.

Проблема поведения художника в искусстве становится главным внутренним сюжетом этих книг-размышлений, книг — откровенных и горячих оценок жизни. Там, где авторский голос прямо прорывается к читателю как к собеседнику и другу, там, где автор задумывается, тревожится, судит, ставит вопросы человеческого общения через искусство, — там Каверин достигает наибольшей напряженности, остроты и полноценной гражданственности.

Т. ХМЕЛЬНИЦКАЯ.

Ленинград.

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОДХОД»

Анатолий Аграновский. Столкновение. Заметки писателя. Политиздат.
М. 1966. 263 стр.

В последние годы многие очеркисты начали вроде бы сбегаться своего жанра, начали всякий раз «тянуть на рассказ», прибегать к услугам беллетристики, стародавних «смешинок» и «лукавинок».

Анатолий Аграновский действует своими средствами, не одалживаясь у иного жанра. Он не имитирует художественную прозу. Никак нельзя сказать, чтобы его манера была сухой, но все же его очерки откровенно «очерковые»: документы, выкладки, цифры, социологические комментарии.

Он может позволить себе это самоограничение. Потому что говорит дело. Потому что знает его. Точнее: узнаёт.

В его очерках почти всегда не только результат, но и процесс узнавания, понимания, процесс, в который вовлечены и мы. Когда он приглашает нас: «Давайте подумаем», — это значит, что он и вправду станет думать при нас, с нашим участием, сомневаясь, пробуя то одно, то другое решение, отвергая, а иногда и осмеивая негодное.

Он умеет выбрать неожиданный, парадоксальный угол зрения. Впрочем, умеет — не то слово. Дело здесь не в рассчитанном умении, и парадоксальность — не прием.

Один из очерков Аграновского начинается с того, что автор выехал с редакционным заданием, с готовой темой «на материал», но едва познакомился с будущим своим героем, как «тема блистательно лопнула».

Парадоксальность очерков Аграновского — это крушение предвзятостей.

В этом очерке речь должна была пойти о том, что нельзя допускать, чтобы кафедрами руководили люди, не имеющие ни степеней, ни званий. А получился очерк о том, что есть ученые, которым недосуг было формально доказать свои заслуги — написать диссертацию, — но которые трижды, четырежды заработали право на присвоение им степеней *Honoris causa*. Как герой очерка Иван Иванович Назаров.

В другой раз Аграновский сразу же огоршил нас, согласившись с начальником цеха, который отговаривал рабочего учиться на инженера. Автор и сам понимает: «Страшновато писать об этом, больно уж

святоотатственно звучит...» Но пишет, ибо начальник прав: парень хотел учиться не потому, что действительно рвался к знаниям, а потому, что рассуждал так: «А что я, хуже других...»

Дело, конечно, не только в этом единичном случае. Да он и не единичный. Аграновский выступает против «общепринятой схемы роста», против представления, что «в люди» выходят только так: «Сегодня ты простой рабочий, завтра — мастер, послезавтра — инженер, начальник цеха, директор...»

Он понимает, что важнее рост «вглубь», рост мастерства. При этом он спорит с общепринятой схемой не только в интересах дела, но и в интересах человека. Ведь красивая схема, сулящая каждому маршальский жезл, по сути равнодушна к человеку. Ясно, что всем директорами не стать. Значит ли это, что тот, кто не стал директором, должен чувствовать себя второсортным, обойденным, униженным?

Это не сентиментальные частности. Такой подход к делу принципиально важен для Аграновского.

Смысл названия своей книги сам он объяснил так: «Мы будем в этой книге изучать столкновения. Между энтузиазмом и равнодушием. Между новаторством и косностью. Между честностью и формализмом. Мы будем изучать столкновения самого разного толка — в области общественной жизни, в области экономики, в области морали».

Автору, конечно, виднее. И все же я называл бы еще одно — с моей точки зрения, главное — столкновение, изучаемое в книге. Оно не заменяет всех перечислений, но объединяет их. Это столкновение человека со всем, что мешает ему быть самим собой.

Сознаю, что формулировка эта может показаться слишком, что ли, расплывчатой, непрофессиональной, а то и, как принято говорить, абстрактно-гуманистической. Речь идет об очерках, посвященных серьезным народнохозяйственным проблемам, имеющих конкретные адреса, оснащенных данными статистики и социологии.

И все-таки я думаю, что «человеческий

подход» есть главная и отличительная черта книги. Он и позволил разрозненным очеркам, собранным под одной обложкой, стать книгой с одной темой и одной страстью. Аграновский отнюдь не профан в социологии, в экономике, но он прежде всего писатель, чья профессия — человековедение.

Вот рассматривается чисто экономическая проблема: замечено, что в штатных расписаниях исчезают «сержанты индустрии» — техники. «На «Трехгорке» в подчинении у инженера находится одна пятая техника, на Чистопольском часовом заводе — одна тринадцатая, а на Московском мясокомбинате — всего-навсего «семь сотых» техника». Как у Маршака: «два землекопа и две трети».

В чем дело?

Разумеется, любитель близких решений поспешит с радостной догадкой: это стираются грани между физическим и умственным трудом. На деле же причина более конкретная и «грубая»: низкая зарплата техника, ниже, чем у квалифицированного рабочего. Рабочий, окончивший техникум, не хочет работать по новой специальности: невыгодно. Но и армия без сержантов — не армия. В поисках выхода завод идет на сознательное и вынужденное очковительство, а в результате «только тридцать восемь процентов инженерных должностей занято в РСФСР людьми с высшим образованием. Почти две трети инженеров в стране... исчезнувшие техники».

Дальше в дело вступает знакомая логика: не было гвоздя — подкова пропала, не было подковы — лошадь захромала. Изменение штатных расписаний рождает дутые заявки на инженеров, а не на техников, и учебные заведения сокращают выпуск «сержантов». Техников не хватает, а на их должности попадают инженеры, которых, во-первых, учили слишком долго и дорого, а во-вторых, учили совсем другому. Происходит растрата образования, и способности людей, занятых не своим делом, остаются нераскрытыми. «Посадите торговать билетами метро академика и члена-корреспондента: который справится лучше?..» — иронизирует писатель.

Как видим, от сугубо хозяйственных забот мы перешли к «человеческой» стороне вопроса: к обезличке, к гибнущим, сгорающим индивидуальностям. Переход тем незаметнее, что одна сторона без другой не

существует. Экономические отношения — тоже человеческие отношения.

Аграновский доказывает (именно доказывает: у него в руках факты и цифры), что в интересах самого общества, причем не в отвлеченно гуманистических, а в самых реальных, хозяйственных, дать человеку возможность найти свое место, раскрыть свои дарования, обрести полноценность.

Правда, время от времени жалеешь, что разговор не продолжен, что возможности автора не использованы до конца. Я бы даже сказал, что не использованы до конца возможности самой книги.

Дело в том, что, сойдясь вместе, очерки обрели новое качество. Родилась книга, жанр которой весьма неточно определен осторожным авторским подзаголовком «Заметки писателя». Это не заметки, невольно предполагающие отрывочность и калейдоскопичность; это книга с единым и оригинальным подходом к проблемам экономики и жизни.

Каждый из очерков по-своему закончен, но книгу — именно такую, какой она вышла, — по-моему, стоило бы дописать. Как именно? Никто, кроме автора, не может этого знать. Но книге не хватает части подытоживающей, обобщающей, которая была бы на уровне блестящего конкретного анализа.

Впрочем, как я уже говорил, единство книги несомненно и сейчас. Потому что это единство мысли, единство решения.

Разговор о поминавшемся нами Иване Ивановиче Назарове — это разговор об особом, тонком подходе к «нетипичному» человеку, о критериях человеческой ценности. Рассказ об Антоне Григорьевиче Кучерове, который многие годы был неудачливым работником районного масштаба, а стал прекрасным директором совхоза, — это размышления о трудном выборе своего места в жизни. Очерк о симпатичном мурманском офицанте Геннадии Рошине — наиболее интересный разговор о человеческом достоинстве, которое бывает трудно сохранять в иных условиях.

Аграновский требователен к человеку, он совсем не склонен прощать ему податливость по отношению к обстоятельствам, но главное, чем он занят, — как раз самими обстоятельствами, объективностью, формирующей характеры.

Говоря о том, что нередко равнодушный обыватель выигрывает по сравнению с тем,

кто первым подставляет плечо под любую тяжесть, говоря о материальных потерях, которые ожидают энтузиастов на избираемых ими путях, писатель не спешит умиляться, а замечает: «Это вообще ложное представление, будто чудак хочет быть чудачком. Таковым его делают обстоятельства».

Он не только уважает чудаков-энтузиастов, но видит и трудную оборотную сторону этого амплу. Видит, что чудак Иван Иванович, жалеющий время на формальности, тем самым отказывается от лишних (впрочем, в его случае как раз очень не лишних) полутора ста рублей. Видит, что инженер Титов из Уфы получает за нежелание уходить от ответственности одни выговоры; что уфимский же директор завода Петров проявил инициативу и за это имеет дополнительные трудности, а тем, кто оказался «поумнее», план, наоборот, снизили («Знаете, есть такой принцип: инициатива наказуема»).

Он уважает Титова и Петрова, но понимает, что их трудности искусственного происхождения. И кстати припомнив сказку Петра Ершова, в которой шла речь о

братьях Даниле, Гавриле и Иване (как определил Аграновский, пользуясь современной терминологией, о захребетнике, обывателе и энтузиасте), спрашивает: «Хорошо ли, что передовой завод оказался в более трудном положении, чем его отстающие собратья? Хорошо ли вообще, что из трех братьев, описанных в «Коньке-Горбунке», самый достойный все еще должен ходить в чудаках?»

Умно и зло споря с теми, кто собственную неспособность наладить дело маскирует лозунгами о необходимости лишений и подвигов, о необходимости жертв, хотя бы и материальных, писатель доказывает моральную и экономическую нелепость этой ориентации на профессионального героя-чудака, вечно готового к самопожертвованию: «Гаврилы и Данилы не переведутся до тех пор, пока мы не научимся полной мерой воздавать Иванам за их святой труд».

Вновь речь идет и о морали и об экономике. Они неразрывны в хорошей книге Анатолия Аграновского. Как и в жизни.

Ст. РАССАДИН.



«ПРАВОСОЗНАНИЕ» ПО-АЛФЕРОВСКИ

М. Ланской. Происшествие. Повесть. «Октябрь», № 8, 1966.

В деревне Алферовке убили человека. Это произошло среди бела дня на глазах у людей. Виновный, однако, не привлечен к ответственности: действует своего рода круговая порука, в которой участвует даже начальник районного уголовного розыска. Приехавший из областного центра следователь Колесников выявляет убийцу, но после разговоров с местными жителями убеждается в правомерности убийства.

Ситуация, что и говорить, своеобразная.

Надо, впрочем, признать, что убитого ничуть не жаль. Этот человек — фамилия его Чубасов — поистине заслужил всеобщую ненависть. По его вине во время войны были казнены фашистами командир партизанского отряда Грибанов и еще несколько честных людей. За это Чубасов отбывал наказание, но, как рассказывает один из героев повести, «он за семь лет ни разу ни в шахте не был, ни на лесоповале... Пристроился прикурком в пищеблок и прожил безбедно. А после амнистии там же, на Севере, при-

смотрел вдвоицу с хозяйством, стал агентом по кожносырью и зажил «полезным членом общества» — хапал где мог».

Надо признать также, что образ Чубасова в известных пределах реалистичен. О присущей ему с молодых лет собственнической жадности, о двойной игре, которую он вел, будучи старостой при оккупантах, о том, как он под влиянием временных наших неудач на фронте окончательно «перекинулся к фашистам» и выдал партизан, — обо всем этом рассказано психологически убедительно. Путь Чубасова к преступлению ясен, и в том, что он заслужил суровое наказание, сомневаться не приходится.

Но остаться до конца верным реализму автор не сумел. Без всякой мотивировки он заставляет Чубасова, который жил припеваючи на Севере, внезапно приехать в Алферовку, где, как он знает, все его ненавидят. (В повести так и сказано: «Мы не знаем, что заставило матерого палача покинуть Север, где он отлично устроился. Кто объяс-

нит, почему тянет убийцу на место совершенного преступления?» Действительно, кто объяснит, если это не под силу автору?) По приезде Чубасов ведет себя вызывающе: он пьянствует на улице и пристает к прохожим в поисках собутыльников «Пьяная морда предателя придвигается вплотную. Он скалит зубы и тычет своим стаканом в лицо...» Словом, негодяй явно напрашивается на то, чтобы его покрепче стукнули. Делает он это не в своих интересах, а в интересах сюжета. То, что в реалистической эстетике называется самодвижением характера, уступает место движению, направляемому извне.

Заданность, искусственность чувствуется особенно сильно в облике положительного героя — Кожарина, который уничтожил Чубасова. Кожарин безупречен от начала и до конца. В детстве он защищал от обидчиков малышей и птиц, зачитывался биографиями великих людей. Будучи матросом... Но лучше процитируем полученную им характеристику: «освоил две специальности на «отлично» и упорно повышал свою техническую квалификацию, а также общеобразовательный и культурный уровень», был авторитетным комсоргом и спас товарища с мотыга с борта во время шторма. Такая биография, конечно, заслуживает уважения, но легкость, с которой автор ее создает, приводит к мысли, что герой этот не живой, из плоти и крови, а сконструированный умозрительно.

После демобилизации Кожарин приезжает погостить на родину спасенного им Семена Шулякова, то есть, конечно же, в Алферовку. Там он женится на сестре Семена Клавдии и остается в колхозе. Остается, чтобы совершить серию блистательных подвигов. Молниеносно он преодолевает многолетнюю волокиту и ускоряет электрификацию колхоза. Усмиряет пьяницу, годами избивавшего жену. Разоблачает жуликов и добивается снятия их сообщника с председательского поста. А что он проделывает в области телевидения, которое колхозу «еще только в будущую семилетку обещали, техника не позволяла!» Это другим техника не позволяла, а наш герой в два счета соорудил телевизор, потом подарил его колхозному клубу и, устанавливая на крыше мачту, укрепил ее «не обычной городской крестовиной, а сложной конструкцией из рамок, соединенных под разными углами».

Можно понять секретаря партбюро колхоза Сударева, когда он говорит: «Нам

Клавдию Шулякову всем колхозом на руках бы носить. Шутка ли — какого парня приворожила! Вы соображаете, что значит для колхоза такой мужик? Я бы его на четыре комбайна не обменял.. У него в каждой руке больше ума, чем у иного в голове. Характер? Дай бог каждому такой характер».

Со столь восторженной оценкой трудно не согласиться, если принять во внимание, что больше никто в колхозе, не исключая и самого Сударева, по-видимому, не способен бороться ни с волокитой, ни с мордобоем, ни с темными махинациями. Что же остается этим беспомощным людям, как не носить на руках Клавдию, сумевшую благодаря замужеству залучить в колхоз такого разрушителя гордих узлов.

Не удивительно, что весь коллектив, не проявивший в свое время достаточной силы воли и единодушия, чтобы ограбить женщину от побоев мужа, того самого, которого с легкостью усмирил Кожарин, обнаруживает теперь поистине железную силу воли и гранитное единодушие, чтобы помешать следователю выполнить свой служебный долг. Те, кто присутствовал при убийстве, отрицают свое присутствие. Кожарину изобретается фальшивое алиби. Его шурины берут вину на себя, благо следователь все равно этому не поверит.

Эта история организованного обмана выступает в освещении беллетриста как некая, если угодно, воспитательная кампания. Объект воспитания — следователь. Он получает уроки народной мудрости и от всей Алферовки в целом, и в частности от Сударева, Шулякова, Кожарина, особенно же от Даева, о котором речь впереди. Кампания достигает цели, и хотя Кожарин в конце концов сам во всем сознается, Колесников уезжает не таким, каким приехал.

Но каким же он приехал? Тут опять обнаруживается разрыв между тем, что мы видим, и тем, что внушает нам автор. Видим мы добросовестного и честного юриста, стремящегося к установлению истины. Внушают же нам, что поиски истины являются ошибкой Колесникова, результатом его молодости и неопытности. В конце повести Колесников, правда, говорит: «На узаконенном праве держится общество. Если им пренебречь, начинается произвол, хаос. У кого кулаки тяжелее, тот и командовать станет». С ним, как ни странно, соглашается Кожарин. Но поведение Кожарина противоречит этой правильной мысли, и весь сюжет пове-

сти сконструирован так, чтобы эту мысль опорочить. Да и сам Колесников, пришедший на прощание получить урок кожаринской мудрости, говорит так лишь по инерции, по существу же он перевоспитан.

Смысл этого перевоспитания состоит якобы в преодолении догматизма. Вель Колесников, по мнению одного его собеседника, всего лишь «носитель гарантированной мудрости и честности», поэтому и старается вести следствие добросовестно. Он догматик, потому что стремится установить истину. Он избавился от догматизма, поняв ненужность установления истины.

Все мы знаем, как пагубен догматизм и как важно сделать все, что в наших силах, чтобы его изжить. Но здесь под догматизмом подразумевается стремление к соблюдению законности. Нет, критиковать догматизм надо не с таких позиций, на каких стоят оппоненты Колесникова.

Чтобы разобраться в том, каковы же эти позиции, надо ознакомиться с главным оппонентом следователя, самым интересным из героев повести — Петром Савельевичем Даевым.

Это местный житель, у которого остановился Колесников. Остановился по совету своего начальника, осведомленного, видимо, об авторском замысле и желавшего содействовать его осуществлению.

Петр Савельевич — человек житейски опытный, культурный и, несомненно, умный. Некоторые его высказывания верны и поначалу внушают к нему симпатию. Хорошо говорит Даев о том, что читать Маркса и Ленина следует не только «по специальности», но и «для себя». Метки и точны его характеристики чиновников, с которыми пришлось ему встречаться: «Взять нашего председателя колхоза... Сеял по телефонным командам,— что приказали и что сроду здесь не родилось. А ведь ему говорили, убеждали. И тюрьма ему не грозила. Все равно тряся, перед телефонной трубкой навтыжку стоял. А если бы его в тридцать седьмой год пересадить? Чего бы такой по команде ни наделал!..»

Сам Даев — бывший председатель трибунала. Есть на его совести, видимо, и несправедливые приговоры. Говорит он об этом глухо, избегая конкретных фактов, но не случайно же у него вырывается однажды: «Я виноват, во многом виноват».

Об одном факте Даев все же рассказывает, и достаточно подробно. Речь идет о

чрезмерно мягком (и, стало быть, тоже несправедливым) приговоре, который он вынес после войны уже известному нам Чубасову. В этом случае Даев находит мужество проанализировать свое тогдашнее поведение: «Грубейшую ошибку я допустил. Не столько юридическую, сколько политическую. Имелись показания одной свидетельницы, невнятные, но были, что Чубасов лично пытал Грибанова. Как нужно было поступить? Задуматься. Выделить его дело для доследования. А задумываться я не привык. Приговор у меня сложился, когда я еще с обвинительным заключением знакомился. Уже тогда я этого изверга помиловал. Из соображений, если хотите знать, юридической эстетики. Дать всем одну меру — некрасиво, вроде бы судья рубил сплеча, не взвесив тяжести вины каждого отдельно. А запишешь одному высшую, другому — лагерь, совсем иначе выглядит, — как будто до тонкости разобрался и объективность проявил». Познавательная ценность этих строк несомненна.

Даев самокритичен. Он горячо предостерегает Колесникова против слепого и невежественного служения делу, таящего в себе «и подлость равнодушия и позор трусости». «Вот когда знания освещают вам все поступки человеческие, когда каждый ваш шаг опирается на идейную убежденность и никакие уговоры или угрозы не заставят вас пойти на сделку со своей совестью,— вот тогда, значит, вы окончательно вышли из того состояния, которое я называю невежеством».

Золотые слова! Но вот что бросается в глаза: многие высказывания Даева, сами по себе правильные и даже мудрые, звучат как-то странно в применении к сложившейся в Алферовке ситуации. Он заклинает Колесникова никогда не идти на сделку с совестью, не поддаваться на уговоры, но это, так сказать, теоретически. А практически он, как и все алферовцы, предлагает следователю именно пойти на сделку с совестью — не считать самосуд преступлением.

Даев не жалеет красноречия. Он мобилизует исторические примеры, подходя к ним неисторически. Вера Засулич, по его словам, тоже вершила самосуд над Треповым. И Даев с пафосом восклицает: «Вы думаете, что ненависть революционеров к царским сатрапам была более правомерна, чем ненависть советских людей к военным преступникам?» Ему как будто невдомек, что царское госу-

дарство не могло бы покарать Трепова, как Советское государство карает военных преступников. В другом месте Даев ссылается на «Общие начала», предлагающие при назначении наказания руководствоваться социалистическим правосознанием. Но ведь это справедливое указание адресовано судьям, а не всякому, кто захотел бы узурпировать права судьи. Не нужно быть юристом, чтобы понимать разницу между правосознанием и беззаконием.

Образ Даева в отличие от других образов повести ярк и выразителен. Тем более досадно, что автор, подметив в жизни такой тип и неплохо описав его, не понял его подлинной сущности. Трудно поверить в искренность даевской самокритики. Вчерашний поборник замаскированного, бюрократического беззакония, сегодня Даев выступает как сторонник беззакония открытого, анархического, демагогически заигрывает с народом, поддерживает проявления отсталости и бескультурия. По существу он отбрасывает всякое уважение к закону и выступает за самосуд. Это Даев называет считаться «с чувствами народа — с его гневом и ненавистью». Образованный юрист, он вы-

дает юридическую необразованность алферовцев за выражение народной мудрости и правосознания.

Как же нам отнестись к происшествию в Алферовке? В данном случае убит действительно преступник. Можно понять колхозников, когда они говорят по поводу случившегося: «Собаке собачья смерть!» Отнюдь не в защиту Чубасова пишутся эти строки, но — в защиту законности. Что было бы, если бы мы стали руководствоваться даевскими идеями? От ошибок не застрахован, понятно, и суд. Но расправа без суда чревата неизмеримо большим числом ошибок, не говоря уже о злоупотреблениях.

Повесть «Происшествие», надо думать, была написана ради благородной идеи справедливости, но чрезмерная приверженность к схеме, неумение глубоко задумываться над жизненными проблемами и человеческими характерами привели автора к обратным результатам. Мысль о допустимости самосуда, выраженная — вольно или невольно — в повести, конечно, ничего общего не имеет с правильно понятым социалистическим правосознанием.

Е. ЛАНДАУ.

Алма-Ата.



РОМАН О СУДЬБЕ ПОКОЛЕНИЯ

Ян Отченашек. Хромой Орфей. Роман. Перевод с чешского Т. Ансель, Н. Аросевой, Д. Горбова. «Иностранная литература», №№ 1—4, 1966.

Когда говорят о героях чешского Сопровитвления, прежде всего вспоминают мужественную книгу Юлиуса Фучика «Репортаж с петлей на шее». Мы знаем из этого потрясающего документа, как трудно было в условиях фашистского террора организовать сопротивление врагу, каких страшных, немощных усилий стоил подпольщикам буквально каждый шаг. А ведь это были люди, прошедшие школу подпольной борьбы еще в условиях буржуазной республики, закаленные, дисциплинированные коммунисты. Еще труднее было найти свою дорогу в борьбе тем бесчисленным юношам и девушкам, которые задыхались от отвращения и ненависти к оккупантам, но не знали, что делать. О судьбе этой молодежи и рассказывает роман Яна Отченашека «Хромой Орфей».

Один из юных героев романа — Гонза с горечью думает: «И влипли мы во все это.

желторотые юнцы, ткнулись носом и мыкаемся в этом бедламе, кто-то гонит нас взащей, развеяло нас ветром по заводам протектората, по всем уголкам рейха. Что делать? Ждать! Вот после... Как это понять? Где это «после»? И в чем? В книгах, которые случай приведет в твои руки? Не знаю. В себе? Сомневаюсь».

Поколение интеллигенции, воспитанное на примирительных, абстрактно-гуманистических взглядах Масарика, могло опереться только на кодекс порядочности для личного употребления и смутные обрывки разных направлений индивидуалистической философии. Надо ли говорить, что они в большинстве своем оказались куда менее подготовленными для борьбы, чем, скажем, наши молодогвардейцы.

Но что же все-таки делать, когда опротивело вечное ожидание, когда мучает мысль, что где-то там другие завосвывают свобо-

ду, которую тебе преподнесут готовой? И вот пятеро юношей, недавно кончивших гимназию и попавших по тотальной мобилизации на один и тот же военный завод, решают с голыми руками выйти на бой против фашистских властей с их веркшюцами и охранниками, с их гестапо и целой сворой добровольных шпионов. Впрочем, не совсем с голыми руками — в их руки попадает пистолет, запряганный арестованным участником «настоящего» Сопротивления. И над этим промасленным куском металла, острожно выложенным на стол, все пятеро произносят клятву быть верными их боевому союзу, запив эту торжественную клятву глотком молока из одной бутылки. Своей организации они дают поэтическое имя «Орфей».

Все они по-разному представляют себе жизнь и свое участие в борьбе. Для Гонзы, склонного к мучительному самоанализу, готового сомневаться во всем, это путь к самоутверждению, к обретению необходимых ему твердых духовных ценностей. Он вступает на этот путь, полный сомнений и колебаний.

Зато Милан, сразу же занявший положение признанного вождя, не склонен ни в чем сомневаться: он слишком уверен в истинности ультрарадикальных лозунгов, усвоенных им из случайно попавших в его руки псевдомарксистских брошюр. И эта уверенность действует на товарищей, хотя они и посмеиваются над его манерой произносить слово «революция» с раскатистым «р».

Особенно заворочен его красноречием толстый трусоватый Бацилла, который мечтает доказать товарищам, что он не «буржуйский сынок», как величает его Милан. Впрочем, на практике отчаянный радикализм Милана отступает перед спокойным, неброским мужеством простого рабочего паренька Войты и непримиримой решительностью Павла. Павел пришел в роман из повести Отченашека «Ромео, Джульетта и тьма» (несколько лет назад она вышла на русском языке), которая явилась своего рода подготовительным этюдом к будущей книге. Он принес с собой воспоминание о своей первой любви к Эстер, девушке с желтой звездой на платье, которую он пытался спрятать от преследований и которая сама ушла из безопасного убежища, поняв, чем грозит ее присутствие любимому и его близким.

Все пятеро друзей мечтают о решительных действиях, но никто из них не представляет себе ясно, что же можно и нужно делать. И каждому хоть на короткий миг приходит в голову мысль: а может быть, действительно не стоит думать о борьбе, если почти невозможно найти какую-нибудь щель в безупречно организованном аппарате подавления, если всякие действия дадут ничтожно малый эффект, не соизмеримый с принесенными жертвами?

Но Отченашека интересует не только то, насколько успешна может быть их борьба, но и то, в какой мере сознают эти молодые люди свою моральную и гражданскую ответственность. Павел говорит, что коллаборационист — «всякий, кто работает для них или с ними. Прямо или косвенно. Добровольно или из-под палки, как мы. Все равно. Всякий, кто пальцем не шевельнет, видя, как они тут расположились. Всякий, кто свыкся... И не только это. Всякий, кто читает их газеты и слушает их радио. Кто в состоянии смеяться, ходить в кино или на футбол, пока они тут; кто в состоянии дышать одним воздухом с ними и ничего против них не предпринимать». Юношеский максимализм? Может быть. Но Павел и его товарищи не хотят успокаивать себя тем, что они ни на кого не донесли, ни к кому не прислуживались, не участвовали в творящихся кругом преступлениях. Для них речь идет также и о том, чтобы спасти себя от внутренних потерь, которые могут быть больше, чем самый страшный урон в живой силе и имуществе. Они хотят освободиться от унижительного наследия, которое многие понесут потом как незримый горб, хотят избежать омертвления человеческой личности, грозящего людям, уподобляющимся «кроликам, которые не поднимают головы от своей капусты». Пусть максимализм. Но ведь это немаловажная проблема нашего века — спасти, как говорится, «душу живу».

Но что же они все-таки могли предпринять? Им не удалось нащупать связь с какой-нибудь более организованной группой Сопротивления. Те, кто вел серьезную подпольную работу на заводе, простые рабочие, деловитые и отнюдь не патетичные, такие, как Мелихар, недолюбливали «гимназистиков» и опасались их неосторожной болтовни. На счету «Орфея» не оказалось особо героических деяний, хотя Гонза проявил немалое мужество во время допроса, а

Войта, уже после того, как группа фактически распалась, совершил отчаянно смелый поступок — улетел прямо с заводского аэродрома на только что спущенном с конвейера самолете. Но как бы то ни было, «Орфею» как группе нечем было особенно похвастаться. И ее члены пережили мучительное разочарование и неудовлетворенность. У Гонзы это выражается в потере веры, Павел трагически гибнет, пытаюсь один без всякой подготовки взорвать немецкий эшелон. В изображении этих исканий, неудач, колебаний Отченашек проявил много проникновенного понимания и гуманности.

Но все-таки даже наивные прокламации «Орфея», даже дилетантски организованные акты саботажа были вкладом в общее дело. И «Орфей», как бы неуклюже он ни хромал, был бесконечно важен для каждого из них, важен хотя бы тем, что позволил им вздохнуть полной грудью в зараженной робостью атмосфере, тем, что он помог им сбросить с себя унижительное ощущение «тотально мобилизованного барана». Может быть, самое сильное в романе Отченашека то, что он показал борьбу, сопротивление не только как долг, но и как моральную потребность человека, условие нравственного здоровья.

В этом смысле важен образ приятеля Гонзы Душана. Полный отвращения к благоразумным, хлопотливым «Полониям», которые отлично устраивают свои делишки при протекторате и, запасшись для будущего солидным алиби, многословно и патетично распространяются о страданиях родного народа, он в то же время не верит и в целесообразность сопротивления. В будущем ему не видится ничего, кроме той же кровавой каши. Пытаясь сохранить неприкосновенной свою внутреннюю свободу, гордый своим иллюзорным правом выбора, Душан избирает небытие. В его самоубийстве — этом отчаянном жесте — есть своя логика, и это расплата за индивидуализм, доведенный до абсурда.

Отченашек стремится показать «воспитание чувств» своих героев во всей полноте, и каждый из них рядом с перипетиями, связанными с «Орфеем», переживает любовную драму. Войта, сын прислуги в богатом доме, с детства влюблен в дочь хозяйки, избалованную барышню Алену. Его чувство цинично используют милостивая пани и ее балованная дочка для того, чтобы спасти Алену от тотальной мобилизации с помощью

фиктивного брака. Только после свадьбы он узнает о той унижительной роли, которая была ему предназначена, и все же не может освободиться от своего чувства к Алене. В этом конфликте есть своя психологическая и социальная убедительность, и раскрыт он, несмотря на некоторую аффектированность образа Алены, достоверно.

В меньшей степени это можно сказать о той драме, которую переживает Гонза. Девушка, в которую он влюблен, таинственная и недоступная Бланка, прозванная на заводе Маркизой, оказывается, стала любовницей высокопоставленного гестаповца, который обещал ей спасти жизнь ее арестованного брата, подпольщика Зденека. Не говоря уже о том, что сама ситуация отдает мелодрамой, автору понадобился слишком уж скрупулезный анализ для того, чтобы раскрыть состояние Бланки, которая, любя Гонзу и ненавидя обладающего внешним лоском фашистского зверя, все же какой-то частью своего женского существа участвует в умело разыгранной любовной игре.

Не просто складывается и личная жизнь Павла. Думается, есть некая переусложненность в его отношениях с Моникой, девушкой, обреченной неизлечимой болезнью на скорую смерть, жадно пытающейся урвать что-то у жизни, но неспособной заставить Павла забыть его первую любовь — Эстер, образ которой стоит между ними. Надо сказать, что Павел, вообще-то изображенный весьма достоверно в своей целостности и юношеской непреклонности, теряет всю свою естественность, переступив порог обтянутого желтым шелком будуара Моника. И читатель с сожалением вспоминает ту поэтичность и удивительный лаконизм, с которым Отченашек изобразил в повести «Ромео, Джульетта и тьма» любовь своих героев, разлученных фашистской тьмой. В печальной истории современных Ромео и Джульетты Отченашеку удалось воплотить многое существенное из истории своего поколения, хотя там он не стремился к полноте в изображении обстоятельств и конфликтов.

Отченашек силен там, где речь идет о нюансах чувства, особенно чувства развивающегося, так же как и там, где он подробно и обстоятельно изображает самую атмосферу протектората: утренние поезда, переполненные невыспавшимися, продрогшими тотальниками, когда вагоны «дышат негостеприимством и неприязнью к людям».

рано пустеющие пражские улицы, как бы ошестинившиеся, прислушивающиеся к шагам оккупантов, ночные сходки с нескончаемыми дискуссиями. Отченашек умело ведет диалог. Он хорошо передает и напряженные, полные мучительного скепсиса размышления Гонзы, и сочную грубоватую речь Мелихара, и книжные разглагольствования Милана.

Слабости романа ощутимы там, где дело касается общей его композиции, развития действия, соотношения частей. Для столь густо «населенного» романа вообще чрезвычайно важен принцип, по которому герои сводятся воедино. В романе же Отченашека связь героев скорее внешняя. То есть их, конечно, объединяет участие в «Орфее», но основные конфликты не связаны с этим узлом сюжета. Хотя герои много спорят, их споры никак не проецируются в действие, и эпизоды, посвященные то одному, то другому персонажу, следуют друг за другом без внутренней необходимости, что создает ощущение нагроможденности.

Я отнюдь не хочу отождествлять Отченашека с авторами невыносимо раздутых

информационно-описательных книг: в его романе есть единство художественной цели, не говоря уже о множестве достоверно раскрытых образов и впечатляющих сцен. Но отголоски неэкономного построения (которое, кстати, господствовало в чешской литературе во многих неудачных «производственных романах») все же дают себя знать. Поэтому сокращения, сделанные при публикации романа в журнале «Иностранная литература» (которые обычно таят в себе опасность), в данном случае оказались уместными и не исказили облика романа.

Надо сказать, что перевод романа Отченашека — дело не простое из-за экспрессивно лирического, богатого метафорами стиля автора, иногда, впрочем, стоящего на грани аффектации. При переводе очень важно не перейти эту границу. Группе высококвалифицированных переводчиков это удалось. Они донесли до советского читателя интересное произведение современной чешской прозы.

И. БЕРНШТЕЙН.



Политика и наука

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕСТВА

Б. Ф. Поршнева. Социальная психология и история. «Наука». М. 1966. 213 стр.

Науки, как и книги, имеют свою, иногда весьма удивительную судьбу. Совсем еще недавно — в 1957 году — анонимный автор статьи «Социальная психология» в Большой Советской Энциклопедии рекомендовал эту дисциплину такими недобрими словами: «Социальная психология подменяет исторический анализ общественных явлений их психологическим объяснением, ложно трактует роль психологических факторов в общественной жизни». Но не прошло и десяти лет — и вот появилась книга Б. Ф. Поршнева, которая популяризирует успехи социальной психологии как науки.

Поршнева начинает с того, что изучение психологии масс, общественной психологии было одной из важных задач при подготовке пролетарской революции (глава 1: «Ленинская наука революции и социальная психология») Он показывает далее, что всякая исторически сложившаяся группа людей,

всякий человеческий коллектив осмысляет свою общность в противопоставлении «нас» другим коллективам, «им» (глава 2: «Мы и они»). Он утверждает, что масса — это не просто сумма личностей, индивидов, но и определенная структура, и ее коллективная психология подчинена особым закономерностям (глава 3: «Общность и индивид»). Он затрагивает вопрос об особенностях психологии на древнейшем этапе истории человеческого общества (глава 4: «Социальная психология и генетическая психология») и прослеживает те возможности, которые социальная психология дает для понимания истории человечества и даже — так полагает Поршнева — для того, чтобы заглянуть в будущее (глава 5: «Всемирная история и социальная психология»).

Заглянуть в будущее! Это всегда манило людей — не меньше, пожалуй, чем стремление понять настоящее. Но пусть не посетует

на меня читатель, если я, историк по профессии, оставлю в стороне настоящее и будущее и останюсь только на том, что социальная психология дает для познания прошлого.

Немарксисты осмысливали историю двояко. Во-первых, как результат деятельности индивидов. Во-вторых, как результат действия неких фатальных законов. Первый подход превращал историю в сумму отдельных биографий, по преимуществу биографий великих людей, добрых или дурных, своей волей, энергией и разумом преобразовавших мир или мешавших этому преобразованию. При втором подходе история становилась полем игры некоторой вне человечества сущей силы, фаталистически детерминирующей (предопределяющей) события.

Казалось бы, что может быть более противоположным, чем эти два подхода к истории! В первом случае человек возносится на героическую высоту, во втором, напротив, его превращают в слепое орудие судьбы, в средство осуществления закона. И тем не менее оба эти подхода сближает между собой и роднит одно обстоятельство: убежденность, я бы даже сказал — вера в разумность, рациональность каждого шага истории (я говорю о «разумности» в гегелевском, не в обывательском смысле слова). В одном случае — разумная, сознательная, целенаправленная (пусть даже коварная и своекорыстная) деятельность великих людей, во втором — разумность закономерности. А раз так, то все совершившееся совершалось по необходимости. Детерминирован фашизм. Детерминирована вторая мировая война. У человечества не было выбора...

Через всю книгу Поршнева проходит мысль: наряду с сознательностью существует и оказывает свое воздействие на ход событий то, что он — вслед за В. И. Лениным — называет стихийностью, инстинктом, настроением. Наряду с идеологией как систематизированным комплексом мыслей человека о себе и об обществе существуют «психические состояния», имеющие собственную структуру, свою специфику. Они неоднородны и по происхождению и по функциям. Как и его предшественники, Поршнева выделяет две группы психических состояний: одна из них — «стойкие черты психического склада», традиционные комплексы привычек и обычаев; дру-

гая — подвижные и динамичные «психические сдвиги». Все эти состояния и явления, несомненно, принадлежат к духовной деятельности человека, но вместе с тем в них нет очевидной целенаправленности, они осуществляются почти инстинктивно, в силу традиции, они тесно, подчас неразрывно переплетены с действиями, эмоционально окрашены.

Чтобы все это не звучало абстрактно, обратимся к тому небольшому параграфу книги, который называется «Авторитет» и в котором идет речь об отношении масс к «власти» в классовом обществе. «Власть» — понятие совсем не новое. Мы говорим «власть феодалов», «власть помещиков и капиталистов». Мы говорим — и это справедливо, — что власть есть средство угнетения, что она зиждется на насилии, на оружии, на чиновничьем аппарате. Но — и тут начинаются трудности — только ли на оружии, только ли на насилии? Разве не простираются перед властью в искреннем самоуничтожении те, кого она сгибает в бараний рог, разоряет, отдает палачам, уничтожает? Усерднейшие почитатели божественного Августа — это вольноотпущенники, вчерашние рабы, презренное сословие древнего Рима. Средневековые крестьяне, нищие, бесправные, лелеют в сердце образ доброго царя, приобретающий подчас конкретизированные формы — какого-нибудь Фридриха Барбароссы или Андроника Комнина. И не доходит до них, что и Фридрих и Андроник делали все возможное, чтобы укрепить феодальную власть.

Б. Ф. Поршнева рассматривает механизм действия авторитета. Положение носителя власти таит в себе внутреннее противоречие: с одной стороны, он по своему статусу отличен от остальных членов общества, с другой — он в идеале образец для подражания. Его «особость» — могущественное средство самосплочения коллектива, видящего в вожде символ собственной «особости». Вместе с тем общество стихийно подражает авторитету и в силу этого грозит лишить его исключительности, сделать «первым среди равных». «Чтобы предотвратить этот финал, — я цитирую Б. Ф. Поршнева, — в древних обществах особые прослойки или касты приближенных, жрецов, аристократов прилагали специальные усилия, чтобы не допустить имитации правителя простыми членами общности». Созд-

валась особая одежда, особая пища, особый церемониал поведения, а на другой стороне — вера в особые свойства царя (излечивать от проказы, например).

Но вот что парадоксально: этот церемониал «особости» приводил к тому, что авторитет становился рабом социальной группы. «И поистине, — я опять предоставляю слово автору, — те окруженные сложным церемониалом царьки древнейших обществ, которым поклонялись, но личная свобода и воля которых были близки к нулю, настолько их подавлял культ, были не личностями, а манекенами, исполнявшими волю обычая и приближенных». Б. Ф. Поршнев говорит о царьках древнейших обществ, но не то ли самое мы наблюдаем в восточных деспотиях или в христианской Византии?

Как бы то ни было, у проблемы авторитета есть, оказывается, не только социально-политический, но и психологический аспект. Авторитет опирается не только на политический расчет, но и на определенный психический склад, что превращает нередко в защитника власти тех, кто сам страдает от нее.

Признание зависимости идейной жизни от социально-экономической давно уже стало у нас общепринятым, но кто не наблюдал, как попытки непосредственно вывести формы идеологии из конкретных социально-экономических отношений оборачиваются иногда вульгарным социологизмом. Социальная психология способствует если не более углубленному пониманию причинности исторических событий (ее, разумеется, следует искать в материальных условиях жизни общества), то во всяком случае пониманию механизма реализации этой причинности. Случается, что экономические сдвиги первоначально приводят к образованию особого психического климата, особой общественной психологии. Разумеется, отношение «общественная психология — идеология» не односторонне, и идеология в свою очередь способна воздействовать на формирование общественных психических состояний.

Человеческая деятельность далеко не всегда может получить «рациональное» объяснение. В определенных случаях она обусловлена устойчивыми чертами психического склада, традиционными понятиями и представлениями, традиционными действиями и эмоциями. Почему же в таком

случае исторический процесс в целом оставляет впечатление разумности и целесообразности, иными словами — закономерности?

Б. Ф. Поршнев проводит любопытную параллель с наблюдениями, полученными современной физиологией: организм животного ведет непрерывный поиск, весьма и весьма расточительный, прежде чем из множества случайных движений закрепляются те, что отвечают наилучшим образом строгой причинной закономерности. Так и история человеческого общества была не реализацией готового плана, набросанного божеством или заключенного в предсущем законе, но результатом непрерывного (и опять-таки расточительного) поиска, непрерывной разведки. Именно это имеется в виду, когда говорят, что история делается людьми. Но если люди делают историю, а не вступают в нее шепками, уносимыми потоком закономерности, то не значит ли это, что перед ними — пусть в ограниченной степени, пусть в жестких пределах — встает возможность свободного выбора? И степень этой свободы, по-видимому, тем больше, чем выше сознательность, чем развитее идеология общества, чем яснее осознана необходимость.

Буржуазная историческая наука XIX века имела дело прежде всего с индивидами. Человечество представлялось механической суммой индивидов даже тем историкам, которые рассматривали исторический процесс как воплощение предначертанного свыше плана. В таком случае выдающиеся люди объявлялись носителями если не пророческого святого духа, то во всяком случае божественного начала. Они не и с к а л и путей, они н а п е р е д з н а л и эти пути. Провидение воплощало свою волю в великих людях, подлинных творцах истории.

Социальная психология, обратившись к рассмотрению стихийных, инстинктивных, эмоционально окрашенных явлений духовной жизни человечества, сразу же оказалась лицом к лицу с человеческой массой, с коллективом, с так называемой социальной группой. Стихийные действия присущи скорее коллективу, чем индивиду; коллектив — хранитель традиционного психического склада. Индивид рождается не на необитаемом острове, и даже Робинзон шел навстречу Пятнице, имея и унаследованную библию, и унаследованное ружье. В процессе воспитания и общения с окружающими человек по-

лучает ту информацию, которая определяет его дальнейшее поведение; традиционный психический склад составляет важный элемент этой информации. Человека формирует не столько его собственный разум, но и окружающие его общественные психические состояния.

Но мало того, что человек впитывает в себя устои той социальной группы (или тех социальных групп), к которой он принадлежит, — он действует обычно вместе с группой, вместе с коллективом. Социальная психология обнаружила, что поведение массы (толпы) имеет свои психологические особенности, не сводимые к сумме психических особенностей индивидов, составляющих массу. Б. Ф. Поршнев говорит о «взаимном заражении», подчеркивает, что индивидуальные реакции, коль скоро они проявляются в коллективе, «в однородной человеческой среде», приобретают значительно большую силу. Изучаем ли мы крестовые походы или мятежи в средневековом Константинополе, хотим ли мы понять упрямство христианских анахоретов или ажиотаж сулланских проскрипций — мы должны помнить об этой специфике коллективной психологии, о способности разжигать эмоции, накалять страсти во имя самих страстей. Казалось бы, что может быть более непреодолимым, нежели страх смерти, но в условиях «взаимного заражения» ранние христиане перешагивали через физиологический барьер и добровольно искали конца.

Но если бы человеку была свойственна только способность воспринимать психический склад своей социальной группы, мы бы, вероятно, по сей день обитали в пещерах и ели крыс и корни. В природе человеческой психики — нарушать традицию, искать новое и путем расточительных поисков двигаться вперед. Исторический процесс есть не только и не столько сохранение и повторение, сколько творчество и, следовательно, преодоление и нарушение, процесс, в ходе которого создаются психические сдвиги и преобразуется сама общественная психология.

Как же выглядит, по Б. Ф. Поршневу, процесс движения человеческого общества?²

В основе исторического процесса лежат, согласно исследователю, два момента: первичный — рост производительности труда и соответственно освобождение труда и вторичный — преодоление первоначальной «мелкокачественной» структуры человечества и тен-

денция к установлению всеобщей взаимосвязи. История есть процесс прогрессивного развития, исходным моментом которого служит первобытное общество. Для его характеристики Б. Ф. Поршнев находит свои интересные определения. «При первобытно-общинном строе, — говорит он, — было еще хуже, еще несвободнее, чем при рабстве». И снова, несколько ниже: «Еще не было рабства, не было эксплуатации, а уже было фактически подневольное отчуждение продукта».

У нас еще нередко встречаются попытки создать идеализированно-романтические картинки славной первобытности с ее всеобщим равенством и неограниченной свободой. Б. Ф. Поршнев показывает, что равенство состояло в добровольном соблюдении обычаев и табу, свобода — в добровольном рабстве, рабстве не за страх, а за совесть, рабском повторении вчерашнего дня, «тирании» обычая, из которой проистекали «общая апатия и умственный застой».

Создание рабовладельческого общества означало движение вперед не только потому, что оно принесло рост производительных сил и дальнейшее разделение труда, но и потому, что рабство из страха (я бы сказал, осознанное рабство) стало своего рода освобождением от добровольной, органической, «естественной» несвободы.

Социальная психология раскрывает, таким образом, новый аспект проблемы возникновения рабовладельческого строя.

Итак, переход от первобытности к классовому обществу был прогрессивным событием огромной важности. Но можем ли мы согласиться с Б. Ф. Поршневым, который и дальнейшее развитие человечества в рамках классового общества представляет в виде прямой линии? Даже в свете его собственных критериев «мелкокачественная» структура средневекового мира должна показаться отступлением назад в сравнении с «ойкуменическим единством» Римской империи.

Можно говорить о недочетах в книге Б. Ф. Поршнева, можно удивляться, например, тому, что в работе о социальной психологии не нашлось практически места для проблем генезиса и развития религии. Можно упрекнуть автора за преувеличение роли палеоантропов-неандертальцев в формировании общественной психологии человека. Можно сожалеть о некоторой нечеткости терминологии (так, термин «общность»

используется и для обозначения социальной группы, и для обозначения совокупности социально-психических явлений). Но главное сделано. Читатели получили воз-

можность познакомиться с научной дисциплиной, которая для них оказывается, к сожалению, «новой».

А. КАЖДАН.

★

ПРАВО КОЛХОЗА И СИЛА ПРИВЫЧКИ

М. И. Козырь. Имущественные правоотношения колхозов в СССР. «Наука». М. 1966. 375 стр.

В начале 1966 года Совет Министров СССР принял постановление, которым установил, что списание с балансов колхозов непригодных к дальнейшей эксплуатации зданий, сооружений, сельскохозяйственной техники и другого имущества должно производиться по решению общего собрания колхозников. Почему же понадобилось такое постановление? Казалось бы, совершенно очевидно, что колхозу как собственнику принадлежит и право по своему усмотрению распорядиться пришедшими в негодность вещами. И тем не менее это само собою разумеющееся право «узаконивается» постановлением правительства...

В прошлом, особенно в связи с распространением административных методов руководства сельским хозяйством, колхозы практически в своих отношениях с государственными органами все больше утрачивали юридические признаки кооперативных собственников. Некоторыми постановлениями, инструкциями и т. п. права колхозов необоснованно ограничивались. Впрочем, органы сельскохозяйственного управления, предписывая колхозу, как, что и когда делать, меньше всего утруждали себя обоснованием законности своих действий. Люди настолько свыклись с таким отношением к колхозным делам, что теперь без конца надо напоминать: право распоряжения колхозным имуществом принадлежит исключительно колхозу.

Самое серьезное последствие волюнтаризма в управлении сельским хозяйством состоит, пожалуй, в том, что он подрывал у колхозников чувство хозяина. Не удивительно, что правительству в специальном постановлении приходится напоминать, что колхоз вправе «списать» непригодную к употреблению вещь, ни у кого не испрашивая позволения.

Устранение укоренившихся привычек в отношении к имуществу колхозов — дело

не простое. Оно предполагает совершенствование законодательства и строгое соблюдение правовых норм. Большое значение имеет и научная разработка проблем колхозного права, распространение правовых знаний среди широких масс. С этой точки зрения привлекает к себе внимание книга М. И. Козыря «Имущественные правоотношения колхозов в СССР».

«Колхозы,— пишет М. И. Козырь,— самостоятельные собственники принадлежащего им имущества, и никаким государственным и общественным организациям не предоставлено право распоряжаться колхозной собственностью». «Социалистическое государство,— подчеркивает он,— устанавливает и правовой режим колхозного имущества и меры правовой защиты колхозной собственности и т. п., но оно не вправе распоряжаться колхозной собственностью по своему усмотрению». Такое определение открывает путь для теоретически верного подхода к решению насущных проблем хозяйственной и законодательной практики.

Ныне руководство деятельностью колхозов и совхозов осуществляется одними и теми же органами. Очень важно поэтому четко установить ту грань, которая юридически разделяет колхозы и государственные предприятия. М. И. Козырь обоснованно выступает против механического распространения на колхозы форм и методов руководства совхозами. Автор доказывает необходимость применения договора в качестве основной формы имущественных отношений между колхозами и государством.

В юридической науке сложилось такое положение, что различные стороны правовых отношений, участниками которых являются колхозы, изучаются разными отраслями права: колхозным правом, земельным, гражданским, административным. Подобное расчленение неизбежно порождает односторонность в объяснении явлений живой дей-

ствительности. М. И. Козырь задался целью исследовать имущественные отношения колхозов «комплексно», но на этом пути ему удалось сделать лишь первые шаги.

Он, например, исключает из имущественных отношений колхозов землю. Аргумент, в сущности, один: земля, будучи закреплена за колхозами «навечно и бесплатно», не продается, не покупается, не сдается в аренду и т. д. Но ведь вследствие этого она не перестала быть имуществом. От количества и качества земли, находящейся в пользовании колхоза, зависят результаты его хозяйственной деятельности. С другой стороны, государство, предоставляя землю колхозам юридически бесплатно, не отказывается от имущественного интереса. Часть их доходов (земельная рента) изымается в государственный бюджет в виде подоходного налога, а также благодаря разнице в закупочных ценах по зонам. Поэтому «комплексное» исследование имущественных прав колхозов невозможно без изучения поземельных отношений.

Еще более насущным является вопрос о пределах применения административных методов государственного руководства колхозами. М. И. Козырь не обходит этой проблемы, однако оговаривается, что подробное ее рассмотрение выходит за рамки книги. Как же тогда быть с намерением автора дать «комплексное» исследование?

По мнению М. И. Козыря, для колхозов должен быть сохранен принцип обязательности государственных заданий по продаже продуктов сельского хозяйства. Однако этот вывод не получил в его работе достаточного научного обоснования.

Объективно между государственным планированием путем директивных указаний и правом колхозов распоряжаться произведенной продукцией существует противоречие. С одной стороны, интересы развития всего общественного производства требуют вовлечения колхозов в систему единого государственного планирования. С другой стороны, экономическая и юридическая обособленность колхозов предполагает их самостоятельность не только в производстве, но и реализации продуктов. Колхозы в этом отношении существенно отличаются от государственных предприятий. Эти особенности не могут не учитываться.

Плановое воздействие на развитие колхозного производства должно, по-видимому,

все больше основываться на использовании экономических рычагов с тем, чтобы перейти от имеющих еще место административных предписаний к договорным отношениям между колхозами и заготовительными организациями. Такой характер взаимоотношений больше всего отвечал бы юридическим особенностям кооперативно-колхозной собственности.

Выступая против механического перенесения на колхозы методов управления, применяемых в государственном хозяйстве, автор сам нередко оказывается в плену старых представлений. Так, он считает целесообразным «разработать и закрепить в законе научно обоснованные нормативы оборотных средств колхозов» (стр. 185), то есть семян, горючего, запасных частей и т. п. Конечно, такие нормативы нужны. Но неправильно «закреплять» их в законе. Это дело каждого колхоза как юридически самостоятельного собственника. Иной вопрос, что государство может помочь колхозам в определении таких нормативов. Но отнюдь не методами законодательных предписаний. Кроме того, нормативы оборотных средств с развитием производства изменяются, и всякая попытка «закрепить» их извне обречена на неудачу.

Существенное значение для укрепления законности в области взаимоотношений колхозов и государства имеет устранение недостатков в современной законодательной практике. М. И. Козырь справедливо отмечает, что ныне издаваемые нормативные акты не имеют единого правового основания, а в ряде случаев продиктованы ведомственными соображениями. Как и многие другие юристы, он предлагает издать закон о колхозах, который урегулировал бы всю совокупность имущественных отношений.

Большое место в книге отводится вопросу о совершенствовании Устава сельхозартели. Улучшения Устава необходимы. Но в современных условиях, как мне представляется, такие улучшения могут иметь ограниченное значение. В свое время, когда колхозы только-только становились на ноги, когда не было достаточного опыта и подготовленных специалистов, Примерный Устав сельхозартели мог играть большую организующую роль. Теперь иная обстановка. Каждый колхоз при помощи специалистов в состоянии внести в Устав свои соображения применительно к конкретным условиям места и времени. Авторитетное же утверждение

«примерного» устава может способствовать его превращению в шаблонно применяемый всеми обязательный регламент. Иное дело государственный закон, определяющий основные права и обязанности колхозов и дающий им правовые гарантии от всякого

произвола. Укрепление законности — необходимое условие развития колхозного производства в интересах крестьян и всего социалистического общества.

В. ШКРЕДОВ,
доцент.



О ПРОФЕССИИ АДВОКАТА

В. Л. Россельс. Судебные защитительные речи. «Юридическая литература». М. 1966. 116 стр.

Вышла в свет книга В. Л. Россельса, одного из старейших советских адвокатов, — сборник защитительных речей, в свое время произнесенных им в суде. Самые разные уголовные дела легли в основу этой книжки — здесь и тяжкое дело о самоубийстве ребенка, и зловещий оговор. И скорее занимательное, чем мрачное событие, хотя участников его людьми порядочными не назовешь, — подкуп футболиста. И кажущееся совсем пустячным дело о хищении утильной ваты, которая, как выяснилось, была совсем не похищена, а без нужды и толку вывезена со склада пьяным механиком. Однако за каждым делом — судьба, потому что даже утильная вата чуть было не сломала жизнь честного человека. И, может быть, сломала бы, если бы не адвокат

Есть профессии, которым не везет у общественного мнения; иным — заслуженно, иным — нет. Мне кажется, что мало кто так, как адвокат, страдает от темных и нелепых, но тем не менее укоренившихся в обществе предрассудков. Вот как мне пришлось в этом убедиться. Однажды я написала статью, содержащую всего одну несложную мысль: «защитник должен защищать». Представьте мое удивление, когда я получила огромное множество писем, авторы которых с жаром высказывали свои мысли (и какие!) по поводу самого института адвокатуры. «Защитники, конечно, нужны. — писал один читатель, — но только для невиновных, для людей, попавших в беду. Воры, бандиты, взяточники и хулиганы должны оставаться без защиты. Сам натворил, сам и защищайся». Это была наивная форма выражения мысли. А вот она же в ином обличии: «Если вина доказана, то стоять на страже интересов преступника не имеет морального права даже адвокат».

Авторы подобных писем простодушно убеждены, будто вина подсудимого доказана уже в ходе предварительного следствия. Грустно, если эту точку зрения разделяют люди интеллигентные, и совсем уже странно — когда юристы, а ведь бывает и так. Я получила письмо от одного юриста, который доказывал, что ввиду высокого уровня работы наших следственных органов адвокаты в нашем обществе и вообще не нужны — отживающий институт.

Стоит ли доказывать, какое здесь нагромождение ошибок? Да, пожалуй что стоит, потому что все эти ошибки ведут свое начало из общего давнего источника — убеждения, что следственные органы не ошибаются.

Ошибаются, и еще как ошибаются! И почему бы им, собственно, не ошибаться, если следствие ведет, как правило, один человек, а он не господь бог, он простой смертный и потому не застрахован от ошибки. Работает он в меру своего разума и таланта, а работа его очень трудна и сложна. Кстати сказать, некоторая односторонность, по-видимому, вообще в природе человеческого ума, которому трудно бывает отказаться от собственных представлений, от системы доказательств, на которую потрачено немало времени, изобретательности, искусства и которая кажется ее автору столь неопровержимой. Нашему уму всегда нужен оппонент, который выдвинет иную точку зрения, иную систему доказательств, требующую спора или опровержения. Иначе говоря, следовательно необходим адвокат, который поставит под сомнение его работу, — в этом ничего обидного для работника следствия, разумеется, нет. Да тут и не до обид. Каждый несправедливый приговор слишком дорого нам обходится. Между тем вопрос о том, виновен человек или не виновен, решает, ко-

вечно, не следователь, а суд, и притом решает обязательно с помощью адвоката — одной из сторон процесса.

Вот почему тезис «адвокат должен защищать только невиновного» решительно никакого смысла не имеет — суд еще не знает, кто сидит на скамье подсудимых — виновный или невиновный, это покажет процесс. И тезис об отживании в советском обществе института адвокатуры тоже, конечно, чистое недоразумение.

Вообще тут на редкость много недоразумений. Один автор, юрист, понимающий необходимость и важность адвокатуры, пишет, однако, «о столкновении интересов правосудия и подсудимого и неизбежной при этом коллизии между гражданским долгом и профессиональной обязанностью адвоката». Вот еще один камень преткновения. Иным людям кажется, что адвокат, защищая преступника, выступает против интересов общества и государства. Ошибка эта тем более странная, что, как всем известно, законодатель, то есть именно общество и государство поручили адвокату одну-единственную функцию — защищать. Суду нужно, чтобы защитник тщательно собрал и представил ему все, что говорит в пользу подсудимого. Только это. И адвокат вступит в конфликт с обществом и государством именно в том случае, если плохо выполнит свои обязанности защитника.

И наконец: полагают, что адвокат постоянно вступает в конфликт со своей собственной совестью. Как же можно защищать — да еще за деньги! — явного преступника и оставаться порядочным человеком.

Удивительное дело! Никто не упрекнет прокурора, когда он, заперев на замок свою жалость, требует положенного законом наказания, потому что видит в этом свой долг. А вот адвокат, долг которого защищать и только защищать, все время почему-то подвергается нападкам. Да, нелегко порой бывает прокурору требовать суровой кары, нелегко бывает и защитнику защищать. Ведь далеко не всегда встречаются ему (в данном случае — В. Л. Россельсу) такие легкие в этом отношении случаи, как, например, дело Панкина, когда адвокат уверен в совершенной невиновности своего подсудимого, или когда он к нему душевно расположен, как это было в деле Мария Куликовой. Эта честнейшая женщина, по-

павшая в беду потому, что хотела выручить сына, вызывает у нас одно только чистое сочувствие. Но ведь нередко адвокату приходится защищать и совершенного подонка, который ничего, кроме ненависти и отвращения, вызвать не может. Как быть?

«Отказаться!» — слышу я горячие голоса. Но разве это выход? Ведь по закону защитник положен всем (значит, и подонкам). Суд хочет знать, есть ли в подонке хоть что-то положительное, есть ли хоть какие-нибудь обстоятельства, смягчающие его вину. И суд все равно назначит ему адвоката — не того, так другого. Речь идет не о личном отношении адвоката к преступнику и его преступлению, речь идет о выполнении долга юриста перед обществом, которое не может допустить, чтобы был осужден невиновный или чтобы человек понес наказание более тяжелое, чем заслужил.

Если из зала суда слышатся оскорбительные выкрики по адресу адвоката — это чаще всего печальный знак того, как мало мы осведомлены о столь важном конституционном учреждении, как суд.

В постановлении пленума Верховного Суда СССР от 18 марта 1963 года сказано: «Нередко (слышите? — нередко!) обоснованные ходатайства подсудимых и их защитников оставляются без удовлетворения, что по существу лишает подсудимого права на защиту». Неуважительное отношение к адвокатуре со стороны юристов, к сожалению, и в самом деле встречается не так уж редко.

С невежественным и неразумным отношением к адвокатуре каждым словом своим спорит книга В. Л. Россельса. Замечательно умение автора понять человеческий характер и душевную суть столкновения. Группа подростков избил мальчишка, человека, как видно, благородного: когда его избивали в темноте, он успел крикнуть товарищам: «Не подходите», давая им знать об опасности. Адвокату, который защищает зачинщика драки, нужно показать суду, что же здесь произошло. А для этого, естественно, нужно понять самому. Адвокатская речь — отнюдь не дар красноречия, она результат большой работы, требующей опять же не только времени, но и умения разобратся в сути. В. Россельс вторгается в такие детали отношений между ребятами, мимо которых, по-видимому, следствие прошло, не оглянувшись (если бы оно «огля-

нулось», не было бы и самого судебного дела). Между тем отношения ребят друг к другу оказались не только очень серьезными, но и определяющими для этого дела.

Избитый мальчик был отличником, активистом, председателем пионерского совета. Выполняя, как он думал, свой пионерский долг, он всегда ходил с книжечкой, куда неукоснительно вносил всех опоздавших и не выучивших урока. Он был хороший парень, но его лютой ненавистью ненавидели такие же хорошие парни, как он. И подкараулили его, думая, что он идет с доносом. Нет, не эти ребята виноваты в случившемся, говорит адвокат, а те взрослые, что допустили серьезную педагогическую ошибку и позволили мальчику стать маленьким начальником, сделали его врагом в глазах других детей.

Автор прекрасно понимает, как сложна жизнь, какие трудные загадки может порою загадать человеческая душа и как опасно судить, оперируя первым — очевидным и поверхностным — рядом явлений. В своем анализе он никогда не ограничивается внешней слаженностью логических доказательств, он всегда исследует жизненное явление в его психологической глубине.

Покончила с собой пятнадцатилетняя девочка. В оставленной записке она назвала имена людей, толкнувших ее на смерть. Читаешь эту записку — и нет у тебя сомнений, что убийцы изобличены и обязательно должны понести наказание. Нетрудно представить себе обвинительную речь прокурора. Нетрудно также понять, что делалось в душе всех тронх судей.

Но вот защитник начинает свою речь — и вам раскрываются такие пропасти и бездны, каких вы и предположить не могли. Адвокат ведет вас темными путями души несчастной и странной, показывает, что сознание этой девочки было сдвинуто, что она металась между явью и бредом, все более запутываясь и губя других. Анализ сделан мастерски, цепь доказательств прочна и непроверяема. Читаешь и думаешь: великое это дело — профессия адвоката.

Владимиру Львовичу Россельсу, недавно отпраздновавшему свое восьмидесятилетие, я думаю, приятно знать, что в мире живут люди — их не один десяток, — чья жизнь была сохранена благодаря ему. Не всегда жизнь, скажете вы. Ну — доброе имя и свобода. Это и есть жизнь.

Ольга ЧАЙКОВСКАЯ.

★

ПОРТРЕТ АКАДЕМИКА ПАВЛОВА

Л. А. Орбели. Воспоминания. «Наука». М.—Л. 1966. 122 стр.

Более тридцати лет — от студента до академика — Л. А. Орбели работал у И. П. Павлова. Вот почему его воспоминания представляют значительный интерес. В них концентрированно показаны особенности И. П. Павлова как исследователя, мыслителя, руководителя школы — и отодвинуты на задний план пусть экстравагантные, но несущественные черточки его облика, какими бы резкими и бросающимися в глаза они ни были.

И. П. Павлов выступает как страстная натура, захваченная жгучей, всепоглощающей потребностью постичь природу жизнедеятельности, срывать — один за другим — покровы тайны с ее сокровенного механизма. В неуклонном стремлении к постижению истины он совершенно пренебрегал какими бы то ни было авторитетами — в том числе и своим собственным, — если только они расходились с истиной...

Однажды крупнейший физиолог академик Ф. В. Овсянников выступал в Петербургском обществе естествоиспытателей с докладом о влиянии мышечной работы на обмен веществ. Выяснилось, что он изучал это влияние на собаке, привязанной к вращающемуся аппарату. «И вдруг бородатый студент Медико-хирургической академии Иван Павлов выступил и сказал: «Позвольте, а при чем же тут работа? Какую же мышечную работу совершала собака, когда у нее лапы вертелись пассивно?»

Это возражение «произвело ошеломляющее впечатление на докладчика, который сообразил, что сделал величайшую ошибку, и, в сущности, ничего ответить не смог».

Выручить своего коллегу попытался другой очень крупный авторитет, профессор И. Р. Тарханов, заявивший, что замечания студента Павлова имеют мало значения, поскольку и при пассивных движениях

мускулатуры какая-то работа все-таки происходит. Это было очевидной натяжкой, прибегнув к которой уважаемый профессор пожертвовал истиной ради репутации своего коллеги. «Тогда студент Павлов с места заявил, что если таково отношение в Обществе естествоиспытателей к науке, то ему здесь нет места, демонстративно ушел и с тех пор перестал посещать эти заседания Общества».

Если будучи студентом И. П. Павлов резко полемизировал с отступившим от истины академиком, то будучи академиком обсуждал проблему с начинающим студентом, как с соучастником поиска истины. И во всех случаях в роли высшего арбитра выступали свидетельства опыта.

«Помню, на одной из лекций,— пишет Л. А. Орбели,— мне пришлось обратиться с вопросом к Ивану Петровичу. На мой вопрос Иван Петрович ответил:

— Знаете что, я не могу дать ответа, это требует фактической проверки, а так сразу сказать не могу. Если вас это интересует, приходите завтра в мою лабораторию в Институте экспериментальной медицины, мы поставим вместе с вами этот опыт, получим ответ на ваш вопрос и на следующей лекции объявим курсу.

Опять не случайная, а характерная для Ивана Петровича черта. Он прямо отвечает, не прикрывается профессорской завесой, а просто говорит: «Не знаю, надо на этот вопрос получить ответ в опыте», и тут же предлагает студенту, который только-только начинает изучение физиологии, пройти в его лабораторию и самому поставить эксперимент».

Добывание достоверного знания — мучительный и противоречивый процесс. В нем открытия соединяются с заблуждениями, последующий шаг мысли утверждается благодаря отрицанию предшествующего.

Беспощадное отклонение любых, самых привлекательных выводов, если только они оказывались несовместимыми с тем, что открылось изощренному новым опытом взору натуралиста, неизменно отличало стиль павловского думания. «Иногда во время бесед Иван Петрович высказывал определенные соображения, некоторые ученики сейчас же записывали это и на следующей неделе приходили и начинали докладывать, а Иван Петрович:

— Ну, что это, господин, чепуха это все!

— Как же чепуха, вы же это сами говорили?»

— Ну, мне тогда казалось так. Но это же чепуха, ведь факты этому противоречат».

Под научным фактом И. П. Павлов никогда не разумел только внешне наблюдаемое. Ему был чужд подобный подход, защищаемый философией позитивизма. Наблюдаемое становится научным фактом или перестает быть таковым в ходе интеллектуальной работы, проникающей в закономерные связи и отношения вещей.

Давным-давно известным фактом являлась, например, секреция слюнной железы в ответ на внешний непищевой раздражитель — звон посуды, вид пищи и т. д. Но, чтобы прийти к выводу о рефлекторной природе всех реакций, в том числе и тех, которые объяснялись психикой. Павлов должен был преобразовать прежнее понятие о рефлексе, вложить в него новое содержание. Только после этой очистительной и преобразовательной работы мышления слюнная секреция в ответ на звонок, свет и т. д. выступила как факт науки — бесконечное количество раз проверенный и воспроизведенный факт условного рефлекса. Это удивительно гармоничное сочетание точного и тонкого наблюдения с ни на секунду не прекращающимся обсуждением, объяснением, умственным анализом наблюдаемого — еще одна из особенностей павловского мышления, описанная Л. А. Орбели. Она соединялась с потребностью в том, чтобы непрерывно обсуждать предмет исследования с другими. Павлов нуждался в собеседниках как участниках процесса научного познания. Без них — будь то сотрудники, студенты, жена — движение мысли приостанавливалось. Он постоянно мыслил вслух.

«Я не могу молча думать, я непременно должен думать вслух,— говорил он Орбели,— и мне нужен собеседник, чтобы я мог излагать ему свои мысли».

Отсюда павловская манера чтения лекций: «всем слушателям не только разрешалось, но и рекомендовалось перебивать лекцию Ивана Петровича и задавать вопросы, если что-нибудь было непонятно, неясно». Участие в диалоге с восемнадцатидевятнадцатилетними юношами становилось для него средством проникновения в закономерную связь явлений. Эти юноши, подключаясь к процессу размышления, при-

давали ему новую энергию, способствовали открытию неожиданных граней.

Однако на пути материалистических устремлений Павлова имелось немало помех, порожденных уже не ограниченностью знания в данную эпоху, но догматизмом его оппонентов, враждебных материализму. И если изучение пищеварительных желез было областью, довольно далекой от таких догматических веяний, то иначе обстояло с мозгом — телесным органом душевной жизни. Сколько препятствий приходилось встречать Павлову в свободном объективном исследовании этого органа — от слез жены до иронических реплик знаменитого Шеррингтона.

«Вот, пока я работал над вопросами пищеварения, мне помогала Сарра Васильевна (так он называл жену — Серафиму Васильевну), я с ней обсуждал дома все вопросы, она записывала мои мысли, а на следующий день я мог с другими разговаривать, я к этому привык. Но с тех пор как я перешел на условные рефлексy, мне становится все труднее и труднее. потому что каждый раз, как я начну разговаривать, Сарра Васильевна начинает волноваться, она начинает плакать и говорить: «Что ты делаешь, ведь это ведет к материализму, это же настоящий материализм!» Положение такое, что я уже чувствую себя скованным и не могу так свободно думать, как мне нужно».

Свободное, не скованное никакими догмами и запретами общение с объектом и вместе с тем общение коллективное и создало совершенно особую атмосферу, в которой сложилась павловская школа.

Ее исторический очерк еще не написан, а между тем он мог бы быть полезен и для разработки проблемы построения современного научного коллектива.

Какими качествами необходимо обладать руководителю такого коллектива? Какими средствами создавать благоприятный для творчества климат? При каких условиях усилия одного умножают усилия других участников общей работы? Какой стиль отношений между руководителем и руководимыми благоприятствует успеху? Опыт павловской школы содержит немало поучительного и в этом плане. Он свидетельствует прежде всего о том, что связи между членами научной «малой группы» цементируются не внешними, а внутренними силами — напряженной, непрекращающейся работой

мысли, стимулируемой увлеченностью объектом.

Размышляя совместно с другими, И. П. Павлов не подавлял их величием авторитета, не принимал позу оракула, которому одному видится сокровенное. Соприкосновение с ним не только погружало окружающих в гущу напряженной интеллектуальной работы, но и укрепляло веру в ценность собственной личности, ее достоинства и возможности. Все это служило психологической предпосылкой успехов коллективного думания, столь характерного для павловской школы. Примечательно, однако, что многие «работы, несмотря на огромное участие в них самого Ивана Петровича, публиковались только от имени соответствующего работника».

Если же он вел совместную работу, то «всегда энергично подчеркивал заслуги своих соавторов». Он решительно протестовал против оценок, когда «слишком много приписывается мне и слишком мало оставляется на долю моих сотрудников... С полной откровенностью я заявляю, что сам в массе случаев не мог бы сказать, что мое, а что — их; я возбуждаю их, они — меня».

В отношениях Павлова к ученикам возникали, как показывает Орбели, и трения и конфликты. Не всегда учитель был прав, не всегда принимал доводы своих сотрудников. Случались и разрывы. Но в этих случаях, как и во всех других, Иван Петрович склонял колени перед «господином фактом». Горячая убежденность в соединении с неистовым темпераментом оборачивалась иногда неправотой в отношении мнения, отличного от его собственного. И тут уже от его сотрудников требовались соответствующие волевые качества, чтобы отстоять истину. Орбели рассказывает о нескольких случаях, когда ученикам И. П. Павлова приходилось выслушивать несправедливые обвинения в нечистоте проведенных экспериментов лишь потому, что полученные данные расходились с его точкой зрения.

Но какой различной была реакция этих учеников! Врач Федоровский, обидевшись, совсем ушел из лаборатории, тогда как другой сотрудник — В. Болдырев — настойчиво отстаивал свое, доказав в конце концов правильность сделанного вывода. Интересно, однако, поведение Ивана Петровича после того, как проверочный эксперимент убедил его в своей неправоте. Он немедлен-

но написал Федоровскому, что поступил несправедливо, извинился и просил вернуться в лабораторию.

«Сгоряча Иван Петрович мог наговорить много лишнего, но когда видел, что ошибся или поступил несправедливо, сам в этом признавался и не боялся принести извинения более молодому человеку».

В настоящее время оживленно дискутируется вопрос о путях приобщения одаренной молодежи к науке. И здесь немало поучительного можно извлечь из опыта прошлого, из изучения поведения таких ученых, как И. П. Павлов.

«Молодому человеку, попавшему в трудное положение, он раскрывал двери своей квартиры, принимал у себя, утешал и помогал ему получить образование» Орбели вспоминает об одном обычае Павлова. С любимым волнующим вопросом «в любой день, в девять часов вечера, можно быто приходить к Ивану Петровичу даже без приглашения».

Как это не похоже на стньль отношений некоторых современных мужей науки — рангом куда ниже Павлова — к своим младшим собратьям!

Большой интерес представляют приводимые Л. А. Орбели факты о социальной позиции Павлова, о его отношении к жгучим общественным проблемам, вокруг которых шла битва за новую Россию.

Самый непосредственный отзвук находили в павловском сердце боли его родины. Он выступает как патриот, когда в период русско-японской войны «весь погрузился в обсуждение наших успехов и неудач на войне», придя к выводу, что «только рево-

люция может спасти Россию». Он не соглашается на созыв Международного конгресса физиологов в России в двадцатых годах, беспокоясь о том, как бы те условия, в которых мы тогда жили после разрухи, причиненной мировой, а затем гражданской войнами, не произвели на иностранцев плохого впечатления о нашей стране. Он обращает внимание иностранных делегатов XV Международного физиологического конгресса на исключительно благоприятные условия развития науки в стране социализма. Он выступает как интернационалист, когда гневно обрушивается на шовинистов, заявляет о немедленном уходе из Общества русских врачей из-за неэнзбрания в члены этого Общества одного сотрудника по национальному признаку. Он горячо одобряет национальную политику Советского государства. Его близость к прогрессивным силам в дореволюционный период видна и в том, что он заставляет выбросить из лаборатории случайно оказавшийся там номер черносотенной газетки, и в том, что он организует сбор подписей под петицией об изменении существующего строя, давая полиции основание отнести его к организаторам нелегального Союза профессоров, и во многих других случаях.

Множеством запоминающихся штрихов Леон Абгарович Орбели — сам отличавшийся величайшим благородством и святым служением научной истине — воссоздает образ одного из самых могучих характеров в истории науки. Читатель получил хороший портрет академика И. П. Павлова.

Проф. М. ЯРОШЕВСКИЙ,
доктор педагогических наук.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

МАРТИН НИЛЬСЕН. Рапорт из Штутгофа. Перевод с датского. «Прогресс», М. 1966. 231 стр.

Мартин Нильсен был одним из вожаков датских коммунистов, членом Центрального Комитета партии, главным редактором газеты «Ланд ог фольк», депутатом ригсдага. Захваченный гитлеровцами, он в числе других патриотов Дании был заключен в концлагерь Штутгоф. Здесь Нильсен пробыл до своего освобождения советскими войсками. Вернувшись на родину, он написал книгу «Рапорт из Штутгофа», где страстно и правдиво рассказал о годах заключения. В 1962 году Мартин Нильсен умер, но его «рапорт человечеству» продолжает волновать миллионы читателей.

Лагерь Штутгоф, которому, казалось бы, далеко до Освенцима и Маутхаузена, в действительности по числу уничтоженных людей стоял где-то неподалеку от них. Зловещая история «маленького», «обычного», «заурядного» Штутгофа показывает, что истинное число жертв фашизма значительно превышает те данные, которыми располагает человечество.

Подлинный интернационалист, Мартин Нильсен, рассказывая о себе и своих друзьях датчанах, ни на минуту не забывает о той огромной многонациональной человеческой массе, которая окружала маленький островок датских узников. Он с болью в сердце пишет о муках и страданиях русских, поляков, евреев. С любовью и восхищением рассказывает он о мужестве двух русских пареньков-братьев, повешенных гитлеровцами за незначительную провинность. Вот как проникновенно описывает он идущих на казнь польских крестьянок, приговоренных к смерти за связь с партизанами: «Они шли выпрямившись во восток, и их серьезные серые лица были словно вырезаны из дуба. На них было написано невыразимое страдание, и в то же время от них веяло каким-то неземным, я бы даже сказал, священным покоем. Казалось они вообще не видят и не слышат, что происходит вокруг них. Они просто шли, высоко подняв голову. И гордо смотрели вперед, как только умеют смотреть крестьянские женщины Восточной Европы...»

Главы, в которых рассказывается о расправах гитлеровцев с евреями, по силе потрясающих фактов не имеют ничего рав-

ного во всей переводной литературе о фашистских лагерях смерти.

Как и во всех книгах на эту тему, действие в «Рапорте из Штутгофа» развивается хронологически. В сущности, это развернутый дневник, в котором фиксируется все, что происходит с автором со дня оккупации Дании до освобождения его из лагеря. То обстоятельство, что автор — профессиональный литератор, журналист, что он умеет отделить главное от неглавного, основное от неосновного, помогло сделать книгу очень емкой и содержательной.

Ленинград.

Я. Липкович.

★

ПРОТИВ РАСИЗМА. Расизм в странах «свободного мира» и новый этап борьбы против него. «Наука», М. 1966. 348 стр.

«Если бы меня увидели на улице в обществе королевы Англии, то никто бы не усомнился в том, что это — уличная женщина», — рассказывал негр из Вест-Индии, долгое время проживший в Англии, где расизм выражается в дискриминации выходцев из стран Азии, Африки и Латинской Америки — так называемых «цветных». В наиболее откровенной форме расизм проявляется в США: белая работа — белым, черная — черным. Расовая дискриминация проявляется здесь во всех сферах жизни. Что же касается Южно-Африканской Республики и Южной Родезии, то там расизм превращен в государственную идеологию, политическую доктрину.

Позором XX века называют честные люди всей планеты расизм и расовое угнетение. Исследованию исторических, социально-экономических и политических аспектов политики расизма и средств борьбы против него посвящена работа коллектива авторов, подготовленная Институтом этнографии Академии наук СССР. В книге разоблачаются попытки буржуазных антропологов доказать умственное неравенство человеческих рас, разъясняется социальная и историческая природа биологической категории «раса».

В книге рассказывается о растущем правосознании народов, требующих обуздать современных расистов, о борьбе с расовой дискриминацией в ООН. Расизм может быть уничтожен только в таком обществе, где ликвидированы социально-экономические причины его существования, где двигателем общественного благосостояния являются:

братство и равенство народов различных рас, интернационализм. Пример тому — ликвидация расовой дискриминации на Кубе.

Появление сборника «Против расизма» — достойный ответ советских ученых на многочисленные работы реакционных буржуазных авторов, так или иначе защищающих нацистские идеи.

Т. Таиров.

★

ДАВИД ЮМ. Сочинения в двух томах. «Мысль». М. 1966. Том 1. 847 стр. Том 2. 927 стр.

Выходу в свет сочинений Давида Юма предшествовал оживленный обмен мнениями относительно целесообразности подобного издания. Высказывались сомнения по поводу того, нужны ли советскому читателю произведения скептика, предтечи махизма и современного позитивизма. Жизнь показала, что нужны. При ближайшем рассмотрении оказалось, что некоторые стороны творчества английского скептика близки нам.

Существуют две разновидности скептицизма. Одна из них направлена против научного знания и расчищает дорогу вере. Другая выступает против религиозных догм и пролагает путь науке. Скептицизм Юма относится ко второй разновидности. Не случайно Юма ценили французские материалисты. «Юмовский скептицизм, — писал Ф. Энгельс, — еще поныне является формой всякого иррелигиозного философствования в Англии. Мы не можем знать, — рассуждают представители этого мировоззрения, — существует ли какой-нибудь бог, если же какой-либо и существует, то всякое общение с нами для него невозможно, а значит нам нужно строить нашу практику так, как будто никакого бога и не существует».

В двухтомник Юма включена его работа «Естественная история религии», направленная против всех разновидностей религиозной веры. Юм спрашивает, основана ли какая-либо из существующих и существовавших ранее религий на разумных основаниях, и отвечает: «Нет». Имеет ли религия непосредственный источник в человеческой природе, существует ли внутренняя потребность в религиозной вере? Ответ Юма и здесь отрицательный. Происхождение религии Юм связывал с обстоятельствами внешнего порядка: первоначальные религиозные представления «были вызваны не созерцанием творений природы, но заботами о житейских делах, а также теми непрерывными надеждами и страхами, которые побуждают к действию ум человека».

Юмовская критика религии сыграла положительную роль в становлении европейского атеизма. Редактору издания И. С. Нарскому удалось, в частности, установить, что некоторые идеи и факты, содержащиеся в «Естественной истории религии», через произведения французского энциклопедиста Шарля де Бросса стали известны молодому Марксу и, видимо, способствовали формированию его атеистического мировоззрения.

Двухтомник Юма издан в серии «Фило-

софское наследие», которая знакомит читателей с выдающимися произведениями мировой философской мысли. Уже вышли в свет восемнадцать томов — сочинения Канта, Гольбаха, Гоббса, Лаврова и других философов; готовятся к изданию Гегель, Фейербах, Платон, Аристотель, Лейбниц. Это хорошая серия, которую полезно было бы продуманно пополнить публикациями трудов мыслителей и более позднего времени, чье творчество отмечено острой постановкой важнейших теоретических проблем и мучительными поисками их решения

А. Гулыга.

★

БОГУСЛАВ ЛАШТОВИЧКА. В Лондоне во время войны. Воспоминания о борьбе за новую Чехословакию. 1939—1945. Перевод с чешского. «Международные отношения». М. 1966. 254 стр.

После оккупации Чехословакии, к началу второй мировой войны в Англии и во Франции находились тысячи чехословацких эмигрантов. Политическая жизнь чехословацкой эмиграции в годы войны — такова тема интересных воспоминаний Богуслава Лаштовички, видного деятеля чехословацкой коммунистической эмиграции в Англии.

Свои воспоминания он начинает с рассказа о деятельности двух существовавших в первые годы войны центров буржуазной эмиграции. Лондонский центр был представлен эмигрантской группой президента Бенеша, связанной тесными узами с английским правительством; французские правящие круги поддерживали другого деятеля чехословацкой буржуазии — Осуцкого. Чехословацкая эмиграция должна была отчетливо выявить свое отношение к таким основным проблемам, как национально-освободительное движение на родине и перспективы будущего государственного устройства республики. Решение этих проблем вызвало острую борьбу между созданным в Лондоне в 1940 году правительством Бенеша и чехословацкими коммунистами. Описанию этой борьбы посвящена значительная часть книги.

Много внимания уделяет автор советско-чехословацким отношениям в годы войны. Победоносное наступление Советской Армии, рост сопротивления в Чехословакии, активность прогрессивных сил в эмиграции — все эти факторы, как убедительно показано в мемуарах, заставили Бенеша пойти в декабре 1943 года в Москве на подписание советско-чехословацкого Договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве. Очевидец событий, Лаштовичка пишет о переговорах в Москве, в конце марта 1945 года между представителями всех антифашистских партий, выработавшими в ходе дискуссий первую правительственную программу, известную под названием Кошипкой, заложившую фундамент строительства новой, народно-демократической Чехословакии.

Ф. Молок.

А. АЛЕКСЕЕВ. Колумбы росские. Книжное издательство. Магадан. 1966. 182 стр.

«Колумбы росские» — первая книга А. И. Алексеева, в прошлом офицера Тихоокеанского флота, ныне историка-географа, кандидата географических наук. Известны его работы «Н. К. Бошняк и открытие Советской Гавани», «Ученый чукча Николай Дауркин», «Сподвижники Г. И. Невельского» и другие. Книга об Н. Дауркине вышла на русском и чукотском языках и впервые поведала миру о мужественном сыне народа чукчей, путешественнике и картографе.

В новой работе ученого мы находим краткие очерки о знаменитых исследователях и первооткрывателях северо-восточных окраин Азии и Русской Америки: Хабарове, Дежневеве, Шелихове, Баранове, Беринге, Биллингсе, Сарычеве, Загоскине. О них написано немало, однако годы сосредоточенного труда позволили А. И. Алексееву собрать новые факты, внести некоторые новые черты в знакомые нам образы этих выдающихся людей.

Но Колумбы российские многочисленны. Исследователь показывает крупным планом людей, которые веками оставались в тени, хотя имена многих из них и были известны. Становится особенно ясным, что изучение северо-востока азиатского материка и русской Америки — коллективный подвиг многих и многих героев.

За скупыми выдержками из докладов и донесений, составленных деловито и без прикрас, встают живые портреты таких моряков, как Анцыферов и Козыревский, — это они в начале XVIII века добирались с Камчатки до Курильских островов. Старейшина Охотской флотилии В. А. Хметевский произвел первую опись северного побережья Охотского моря. Карта, им составленная, в течение всего XVIII века исправно служила мореходам. Но за картой виден подвиг людей, трудившихся в штормовом море, когда почти не оставалось надежды на спасение, «позже служители от мокроты и заливания валами обессилели и не имели пропитания».

Эти мореплаватели и землепроходцы — люди сложные, обуреваемые страстями, а царская служба порой воспитывала в них характеры мрачные и противоречивые, вроде почти легендарного Е. С. Басова, отдавшего жизнь идее добычи меди на острове Медном и в осуществлении этой идеи не остановившегося перед преступлением. Но в большинстве своем это люди подвига, истинные патриоты.

Работа А. И. Алексеева — не столько популярное сочинение, сколько научный труд. В нем впервые зазвучали в полную силу голоса многих людей, обогативших нас, своих потомков, бесценными сведениями. Несмотря на вынужденную сжатость и некоторую суховатость изложения, насыщенного фактами, эта небольшая книга, раскрывающая одну из славных страниц родной истории, запомнится читателям.

И. Иноземцев.

АЛЕКСАНДР ГОРБОВСКИЙ. Загадки древнейшей истории. Книга гипотез. «Знание». М. 1966. 175 стр.

Кандидат исторических наук Александр Горбовский задался сложной и увлекательной целью: на основе древнейших мифов, на основе прямых и косвенных данных геологии, палеонтологии, океанографии, археологии, антропологии и ряда других наук «раскопать» наидревнейшую историю человечества.

Его книга необычна уже по своей форме. Книга-гипотеза, книга-догадка. Горбовский начинает свою книгу с анализа преданий о сграшной катастрофе, постигшей нашу планету. Ведь именно в результате этой катастрофы погибла легендарная Атлантида.

То, что рассказывает о потопе Библия, не является монополией только христианских текстов. «Небо приблизилось к земле, и в один день все погибло. Даже горы скрылись под водой...» — говорится в древнекитайском «Кодексе Чималпопока». А вот что записали в кодексе «Пополь-Вух» жрецы индейцев киче: «Был устроен великий потоп... Лик земли почернел, и начал падать черный дождь; ливень днем и ливень ночью... Люди бежали в отчаянии...»

По данным древнейших календарей, катастрофа произошла где-то между восьмым и тринадцатым тысячелетиями до нашей эры. Любопытно, что и данные некоторых наук — метеорологии, геологии и антропологии — сообщают о ничем пока не объясненном гигантском климатическом и геологическом сдвиге, происшедшем именно в этот период.

За последнее время появилось немало серьезных монографических и популярных изданий по интереснейшей из «крамольных» проблем. Я имею в виду фундаментальную монографию профессора Н. Ф. Жирова «Атлантида» и одноименную книгу Л. Зайдлера, книгу Р. Уокола «Затонувшие материки и тайны исчезнувших племен», а также массу статей, заметок и рецензий. Н. Ф. Жиров в своей монографии ссылается более чем на семьсот работ на всех языках. Богатая фактами, гипотезами и догадками книга А. Горбовского займет среди них свое место.

В. Марин.

★

И. ЗАЯНЧКОВСКИЙ. Враги наших врагов. «Молодая гвардия». М. 1966. 271 стр.

Секрет притягательной силы этой книги — в подкупающей простоте рассказа о вещах, довольно сложных для популярного изложения. Да и сам замысел книги на первый взгляд почти парадоксален: ее герои — «полезные враги»...

Речь идет о хищных животных, которые помогают человеку в борьбе с мелкими вредителями, наносящими огромный ущерб народному хозяйству. «Враги наших врагов» — бегающие, прыгающие, ползающие, летающие неутомимые охотники, днем и ночью оберегающие поля, леса, сады, а

также элеваторы, склады и другие хранилища от вредных насекомых и грызунов.

По данным Комиссии сельского хозяйства и продовольствия при ООН, эти вредители ежегодно уничтожают тридцать три миллиона тонн зерна, которого хватило бы для пропитания ста пятидесяти миллионов человек. А ведь, кроме насекомых и грызунов, есть еще моллюски, клещи, паразитические черви, а также микробы и вирусы — все они, вместе взятые, отнимают у людей около двадцати процентов урожая.

Автор рассказывает о биологической борьбе с вредителями, в которой союзниками человека выступают млекопитающие и птицы, пресмыкающиеся и земноводные, насекомые и паукообразные. Что греха таить, далеко не всегда мы разбираемся в полезности этих представителей животного мира, особенно из числа тех, которых принято называть хищниками. Так, например, не повезло хорьку — беспощадному охотнику на грызунов. В интересном написанном очерке автор не только «реабilitирует» этого зверька, но и приводит любопытные сведения о его жизни и повадках.

Подобные очерки посвящены также чуткой лисе, ленивому барсуку, уродливой жабе, нерадивой матери — кукушке и другим активным «врагам наших врагов». Так эти герои и героини сказок предстают в новом для нас свете, вызывая признательность за свою полезную деятельность.

Автор книги профессор И. Ф. Заянчковский — разносторонний ученый и, бесспорно, одаренный литератор-популяризатор. Он умеет говорить с читателем ясно, живо, порой с юмором. Обогащая читательскую копилку знаний, он в то же время тактично, не навязчиво прививает любовь к природе. Об этом наглядно свидетельствуют ранее изданная им «Занимательная зоология» и новая книга «Враги наших врагов».

А. Таланов.

★

И. В. ДАВЫДОВСКИЙ. Геронтология. «Медицина». М. 1966. 300 стр.

Средняя продолжительность жизни человека в бронзовом веке, по-видимому, не превышала 18—20 лет, а во времена Римской империи — 23 года. В средние века она поднялась до 35 лет и к XIX веку достигла 44 лет. В наше время эта средняя увеличилась до 68—72 лет во всех странах Европы, а также в США, Канаде. Такую же высокую среднюю мы имеем в СССР. «Постарение» населения, которое констатируют ученые-демографы и о котором много сейчас пишут, выдвигает ряд чрезвычайно острых и важных проблем общегосударственного значения. Поэтому геронтология — наука, изучающая общие вопросы старения, — привлекает сейчас усиленное внимание широкой научной общественности.

Автор рецензируемой книги — крупнейший советский патолог-анатом, академик АМН, лауреат Ленинской премии Ипполит Васильевич Давыдовский — собрал обширней-

ший материал — от Гиппократов до наших дней. Он подробно и с большим знанием дела рассматривает широкий круг вопросов биологии старости, касается клинико-морфологических и физиологических аспектов старения.

И хотя автор с присущей ему скромностью пишет, что книга его «содержит мало оригинального», мы берем на себя смелость опровергнуть это утверждение. Каких бы вопросов ни касался И. В. Давыдовский — специально медицинскими или философско-социологическими, — он всегда высказывает свежие, оригинальные, пусть порой и спорные мысли. С большой силой убедительности он выступает против схемы, догматизма и шаблона. С темпераментом публициста и глубокой аргументацией ратует И. В. Давыдовский за активное творческое долголетие, против нигилистического отношения к мудрости, опыту и знаниям людей старшего поколения. Он считает важнейшим социально-гигиеническим фактором в воспитании здоровой старости трудовую активность, неугасимое воодушевление в труде, волю учить и учиться. В своем преклонном возрасте сохранивший исключительную работоспособность, ясность мысли и чувствование нового, он с полным правом и основанием может утверждать, что «старость не должна быть прозябанием, она — назидательное подведение итогов труда целого поколения, передача трудовой эстафеты новому поколению в порядке активного с ним сотрудничества».

Монографию И. В. Давыдовского с большим интересом и пользой прочитают не только специалисты-медики, но и социологи, экономисты, философы и просто широкий круг образованных читателей.

О. Димин.

★

ЛЕВ СЛАВИН. Рассказы. «Советская Россия». М. 1966. 112 стр.

Небольшая книжка Льва Славина «Рассказы» явилась как бы дополнением к ранее вышедшей книге «Портреты и записки». В обеих книгах однородные мотивы и порой одни и те же герои. В рассказе «Поездка в Цербст» мы встречаем знакомого по другим вешам Славина его фронтового спутника капитана Савельева. Великий любитель коллекционировать необыкновенные факты и происшествия войны попадает вместе с автором, тогда фронтовым журналистом, в провинциальный бранденбургский городок Цербст, известный тем, что в нем родилась Екатерина II.

«Меняю всех императриц... на шайку с горячей водой», — сказал Савельев.

Среди трудностей фронтовых скитаний кто не мечтал о бане! И вот в общем удачливые поиски бани с ведром горячей воды приводят фронтовиков к открытию необычайному. Оказывается, руины, оставшиеся после воздушной бомбардировки, это на самом деле вовсе не руины дворца, в котором якобы родилась принцесса Ангальт-Цербстская, будущая русская императрица.

Она вообще была в этом городе всего несколько дней. А дворец, туристы, мемориальные доски и тому подобное — обман! Вернее, коммерция.

В творчестве Льва Славина всегда замечалась склонность к гротеску, он умеет в острогротесковой форме выразить серьезные мысли о событиях или фактах, взятых в основу сюжета. Это все есть и в рассказе «Поездка в Цербст». Но в целом он скорее забавен, чем драматичен. Фигуры героев рассказа — старого профессора, а ныне баншика, который лезет из кожи вон, чтобы угодить победителям, неудачливого пьяницы-коменданта — выглядят слишком девильными на фоне, воистину зловещем.

Заключительный раздел сборника «Варшавские перекрестки», на мой взгляд, наиболее интересный, живой и литературно значительный, несмотря на то, что самый большой этюд этого раздела занимает всего семь страничек. Это мастерский рассказ о польском Студенческом Театре Сатириков в Муранове, на территории бывшего варшавского гетто. Комедии талантливого театра разыгрываются как бы на сцене величайшей трагедии эпохи.

Автор становится зрителем «Представления о Рудольфе Гессе, враге человечества». И я понимаю чувства, с какими писатель рассказывает о том, что он видел в маленьком театрике. Понимаю его восхищение игрой Войцеха Семиона, примечательнейшего, по мнению Славина, актера сегодняшней Польши. И мне становится грустно, что я не видел этого актера, что я не бродил по возрожденной Варшаве, не мечтал у окон ее домов.

Только любовь к стране и к его народу подсказывает художнику те точные слова, какими Славин рассказывает обо всем, что он видел, слышал, подметил в языке народа, в его стремлениях.

Я не могу не поблагодарить автора маленькой книжки за добрые чувства, внушенные чтением ее.

Сергей Бондарин.

★

АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ. Земле — земное. Вторая книга стихов. «Советский писатель». М. 1966. 175 стр.

А. Тарковского читатель много лет знал как переводчика. Он переводил восточную классику и почти всегда умел одушевить благородную тяжесть старинных строф неподдельной новизной и живостью. Нечто подобное предчувствовалось в его собственных стихах, и предчувствие не было обманчиво. В двух книгах А. Тарковского — «Перед снегом» (1962) и «Земле — земное» — классическая «манера» соединяется с современной пластичностью деталей, их предметностью. Это сочетание подтверждает: поэт хочет сказать о чем-то, что перекликается с давним, заветным.

И в самом деле, в новом сборнике А. Тарковского преобладают «вечные» темы: человек, история, природа, любовь, искусство.

Как странно подумать, что мы променяли На рифмы, в которых так много печали, На голос, в котором и присвист и жесть. Свою корневую подземную честь, —

пишет А. Тарковский о поэзии. И тут же звучит, порой словно бы недоуменная, уверенность в том, что эта «бесцельная» и «суетная» страсть — высший долг и беспредельное блаженство для тех, кто и «в смертный час попросит вдохновенья».

В самой сути искусства берет начало трагическая судьба его подвижников. Об этом — «Песня под пулями», «Эсхил», «Поэт», «Комитас», несколько стихотворений о Марине Цветаевой. Они принадлежат к сильнейшим в книге.

Любовную лирику и в первой и во второй книгах также преисполняет, говоря словами Блока, «радость — страданье». Любовь — приобщение ко всем чудесам земли. Здесь особенно часты излюбленные А. Тарковским образы библейской и античной, «пастушеской» первозданности:

Сама ложилась мята нам под ноги,
И птицам с нами было по дороге,
И рыбы подымались по реке,
И небо развернулось пред глазами...

Но столько опасностей подстерегает эту чудом достигнутую гармонию: смерть, время и самое печальное — разъединение, отчуждение.

Один из прообразов земного счастья, враждующего со страданием, — природа, не отделенная от людей, не замкнутая в самой себе, входящая в нашу жизнь ежеминутно и — недоступная нам лишь по нашей собственной вине. Человек может, и должен быть, и бывает прекрасен и гармоничен: тогда он «похож» на природу, а главное — похож на человека.

Одна из наиболее сильных сторон творчества поэта — живое чувство истории. «В музее», «Переволчик», «Елена Молохов» — из книги «Перед снегом», «Петровские казни», «Румпельштильцхен», «Имена», «Новоселье» — из нынешней книги отмечены характерностью и точностью исторических подробностей, неподдельностью исторического воздуха.

К сожалению, во второй книге поэта живой истории меньше. «Вечные образы» преобладают над «временными» и слишком часто переводят происходящее из «трехмерного плена» в «плен» некоего абсолюта. Живые детали зачастую вытеснены символами. Иные стихи соскальзывают в риторичность. Однако сила и доподлинность непосредственного чувства, поэтический темперамент автора заставляют забывать об этом.

Лучшие страницы книги А. Тарковского вновь раскрывают трагический и притягательный мир многолетних поисков и нешуточных раздумий поэта.

В. Портнов

★

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ. Сборник статей. Издательство «Правда». М. 1966. 320 стр.

Писатели, журналисты, фронтовые друзья, общественные деятели и просто знакомые рассказывают в этом сборнике о Шолохове. Говорят взволнованно, искренне. К. Федин отмечает два качества в Шолохове-художнике. Одно — это смелость в изображении правды. «Трагедию он не переводит в драму, из драмы не делает занимательное чтение». Второе качество — «благоприятная преемственность национальной традиции русской эпики».

Финский писатель Мартти Ларни озаглавил свою статью «Дар всему миру». Он точно подмечает: «Человечность произведений Шолохова определяет собой их художественные достоинства. Его дар художника можно, собственно, определить как любовь к суетному и милому земному странствию человека, с его самосознанием и страстями, с его радостью и горем, чувственной любовью, честолюбием и гордостью. Его увлекает зрелище жизни во всей ее мощи и полноте».

Эрвин Штриттматтер из ГДР в заметке «Человек с ясным, боевым взглядом» говорит: «Шолохов показал мне противоречия, через которые совершается развитие. Но он не отпугнул меня. Он привлек меня, поставил ближе к нашему делу».

«Тихий Дон омывает и наши берега!» — восклицает Эльвио Ромеро из Парагвая.

Кайсын Кулиев признается: «Я люблю суровый реализм и могучую поэтическую крылатость Шолохова, неукротимую земную силу его творчества».

Материалы сборника значительно расширяют наши представления о Шолохове, его прошлых и нынешних днях и трудах. Писатели рассказали о личных встречах с Шолоховым, о его требовательности к слову, о поэтическом мастерстве создателя «Тихого Дона» и других всемирно известных произведений.

И. Котенко вспомнил о Шолохове-фронтовике. М. Котов выступил со статьей «Глашатай мира». А. Бахарев, бывший председатель Вешенского колхоза А. Плоткин, секретарь Ростовского обкома КПСС М. Фоменко рассказали о неутомимой деятельности Шолохова в районе и области Читатель не пройдет мимо, скажем, того места в очерке А. Бахарева, где впервые, как помнится, приведены смелые и прямые слова из письма Шолохова Сталину о голоде 1932 года. Интересны заметки о поездках писателя по Советскому Союзу и странам Европы. И во всем, что говорится о Шолохове, он предстает как большой художник, крупный общественный деятель, заинтересованный каждодневным бытом родного народа, человек с врожденным чувством юмора, простотой, собственным словом.

По всему сборнику рассыпаны шолоховские литературные оценки, его высказывания о театре, кино, скульптуре. И, с другой

стороны, отзывы крупнейших писателей о самом Шолохове — А. М. Горького, А. Серафимовича, А. Фадеева, К. Тренева, С. Сергеева-Ценского, А. Толстого. Аэтика Исаакяна. Многие здесь публикуется впервые и, несомненно, войдет в критический обиход, поможет отстоять в нашем искусстве более взыскательный критерий художественности.

В лучших статьях сборника заметен высокий литературный уровень, но попали сюда, к сожалению, и некоторые примелькавшиеся стагги, с ходом мыслей весьма привычным и общими проходными фразами. О Шолохове даже в юбилейном случае хочется услышать новую мысль.

Ф. Бирюков.

★

ВИЗАНТИЙСКАЯ ЛЮБОВНАЯ ПРОЗА. Перевод с греческого. «Наука». М.—Л. 1965. 156 стр.

«Любовные письма» Аристенета и «Повесть об Исминии и Исмин» Евматия Макремволита выходят у нас впервые. Островки прошлого в море аскетической византийской литературы, они несут в себе отблеск светлого эллинского мироощущения. «Письма» Аристенета (VI в.) — цепочка любовных миниатюр, россыпь мельчайших новелл, каждая из которых рассказывает об одном эпизоде любви. «Письма» эти — что-то вроде пред-«Декамерона», они переполнены и его плутовским духом, и отголосками языческого эллинского культа любви, и древне-восточным отношением к любви как к пиру всех чувств. Любовь в «Письмах» — центр жизни, ось мира, в котором господствует не Христос, а Эрот, как говорит автор сопроводительной статьи С. В. Полякова. «Письма» поют гимн чувственным наслаждениям любви, красоте человеческого тела.

Повесть Евматия написана в другую эпоху — в XII веке, во времена византийского Возрождения. И по ней видно, как меняется сама «психологическая материя» любви, как возникает новый склад человеческой психологии, новый тип мироощущения. И уже не один эпизод из жизни многих людей, как у Аристенета, а много эпизодов из жизни одного человека рисует книга. У Евматия любовь — чувство сложное, утонченное, внутренне разветвленное. Она уже идеализирована, введена в рамки закона и морали. Не свободное изъяснение любви, как у Аристенета, а соединение любящих в семье — вот на что делает упор автор.

И поэтому так резко борются в книге любовь и долг. У Аристенета долга — как внешнего ярма, как следования установившемуся канону — еще не было; такое понимание долга, рожденное эпохой догматов, только начинало тогда входить в число главных пружин человеческого поведения. И поэтому любовь у него легко торжествует над запретами и преградами, поэтому у его героев, охотно дарящих свою любовь друг

другу, и нет любовных трагедий. У Евматия сила канонов уже очень заметна, как, впрочем, она была заметна и у позднегреческих писателей, которым он подражает.

Манера художественного мышления у обоих писателей вычурна, изощрена, эффектно витиевата. О художественной структуре обеих книг, о символике Евматия, об аллегоричности как особом типе средневекового сознания подробно и интересно рассказывает сопроводительная статья.

Ю. Рюриков.

★

АЙРИС МЭРДОК. Под сетью. Роман. Перевод с английского М. Лорие. Послесловие Д. Шестакова. «Прогресс». М. 1966. 320 стр.

Перед читателем — книга, которой более десяти лет назад начала свой творческий путь известная теперь английская писательница Айрис Мэрдок.

Роман начинается с перемены в жизни героя: Джейка Донагью, только что вернувшегося из Франции, выселяют из квартиры. Однако квартирный вопрос — лишь бытовое отражение бесприютности нашего современника и соседа по планете, английского интеллигента. Для общества он беспокойный «жилец». За местечко в жизни иные герои романа Мэрдок исправно платят, а Джейк готов скорее прослыть «талантливым, но ленивым», чем поступиться совестью и убеждениями: ведь такова по большей части плата за место в мире, где живет Джейк.

Вопрос об участии интеллигенции в жизни общества — один из узловых в романе. Безбедно существует звезда кино Сэди Квентин, актриса куда менее даровитая, чем ее сестра Анна, исполнительница народных песен в ночных кабаре. Искусство Сэди отлично ладит с махинациями кинодеятелей международного класса, оно идет по курсу доллара. Творчеству ее сестры, напротив, сопутствуют поиски, сомнения, на время Анна даже бросает пение и открывает театр пантомимы — «закрывает уста». Печать молчания лежит и на Джейке: он переводит легковесные сочинения французского романиста, не решаясь приняться за оригинальное творчество. Но не впуская пробегал он, отыскивая пристанище: встретил старых

друзей, завел новых — «независимого социалиста» Лефти, например. Анархические идеалы Лефти не воспламеняют Джейка, но тот говорит правильную вещь: жизнь требует от каждого участия в ее свершениях. Джейк всерьез задумывается о жизни. Он пробует работать санитаром в больнице. Это и следствие острого кризисного состояния его духа, отчаянная попытка хоть чем-то быть полезным людям, и одновременно стремление спрятаться, убежать от своей судьбы, своего призвания. По счастью, Джейк не слабого десятка, и он выходит из испытания переболевшим, но окрепшим для искусства.

Еще одну интересную судьбу представляет роман — Хьюго Белфаундера. До сих пор речь велась о том, в какой степени губительно капитал распоряжается искусством. А миллионер и меценат Белфаундер своей жизнью доказывает, что в самом этом стане далеко не благополучно. Деньги — это мертвящая сила, Хьюго пытается их «оживить», «подружить» деньги с искусством. Затея обречена на провал: союз противоположен Хьюго решает сбросить с плеч этот мертвый груз — деньги, начать жизнь сызнова. уедет в Ноттингем, будет работать часовщиком.

В небольшом романе А. Мэрдок успела рассказать о многом. Частные судьбы героев стали пробным камнем на испытание таких «величин», как творчество, труд, дружба, любовь. В раздумья, споры, в сердечную путаницу мешаются события большой внешней жизни. Из тысячи примет встает живая современность. Философический роман А. Мэрдок насыщен действием, движением. Трудно поспевать за Джейком Донагью! Но в суе и сумятице закладываются глубокие и прочные основы воспитания чувств. Джейк выстрадал свою любовь, и в итоге романа любовь торжествует, хотя обстоятельства и расставания разводят Анну и Джейка.

Следует отметить, что читатель познакомится с романом Мэрдок в хорошем переводе М. Лорие, выявившей тонкое художественное мастерство писательницы. В диалогах раскрыта глубина, в описаниях — почувствованная предметность. А. Мэрдок впервые предстает перед русским читателем, и кажется, сделано все, чтобы знакомство прошло успешно.

В. Харитонов.



ОТ РЕДАКЦИИ

Редколлегия журнала «Новый мир» обсудила вопрос о выдвижении лучших работ на соискание Государственной премии СССР в области художественной литературы и приняла следующее решение:

1. Выдвинуть на соискание Государственной премии СССР повесть Ч. Айтматова «Прощай, Гульсары!».

Лауреат Ленинской премии Чингиз Айтматов широко известен у нас в стране и за рубежом как один из видных представителей многонациональной советской литературы. Его повести «Тополек мой в красной косынке», «Джамия», «Материнское поле», «Первый учитель» завоевали заслуженное признание советского читателя и были высоко оценены общественностью и критикой.

Новая повесть Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары!» — одно из наиболее значительных и зрелых произведений писателя.

Высокий драматизм повести, ее поэтичность и лиризм, ее глубокая правдивость и страстная партийная заинтересованность автора в утверждении подлинно коммунистических принципов морали и общественных отношений обеспечили повести Ч. Айтматова, по общему признанию читателей и критики, почетное место в ряду лучших произведений последнего времени.

Образ простого человека из народа коммуниста Танабая заслуженно оценен критикой как бесспорное достижение писателя в трудном деле создания художественного портрета нашего современника, героя наших дней.

2. Выдвинуть на соискание Государственной премии СССР повесть Н. Дубова «Беглец».

Николай Дубов — писатель, хорошо известный читателю по повестям «Огни на реке», «Сирота», «Жесткая проба», «Мальчик у моря» и другим. Творчество Н. Дубова, давно и серьезно работающего в литературе, отмечено социальной значительностью, постоянством творческих целей.

Главная тема писателя — соединение «мира взрослых» с «миром детей», тема общей ответственности за судьбу вступающих в жизнь новых поколений советских людей. Тема эта от повести к повести становится в творчестве Николая Дубова все глубже, все полнее и художественно убедительнее.

Повесть «Беглец» — наиболее талантливое и зрелое из произведений Дубова. И взрослые и дети изображены в ней с глубоким реализмом, без слащавости и в то же время глубоко поэтично.

Повесть «Беглец» была хорошо встречена читателями и критикой и высоко оценена ими.

3. Выдвинуть на соискание Государственной премии СССР повесть Ф. Искандера «Созвездие Козлотура».

Фазиль Искандер начал печататься во второй половине пятидесятых годов. Сначала он стал известен как одаренный поэт, выпустивший за десятилетие пять поэтических сборников. Одновременно Ф. Искандер начал публиковать свои рассказы в журналах и газетах; собранные вместе, они составили два его сборника рассказов.

Повесть «Созвездие Козлотура» — наиболее значительное произведение Ф. Искандера, свидетельство зрелости этого талантливого писателя. Она прямо направлена против прожектерства, верхоглядства, против безответственности в работе и жизни.

Сатиричность повести находится в неразрывном единстве с ее лиризмом. Повесть проникнута любовью к людям, природе Советской Абхазии. Написанная с редким изяществом, она полна блестящего юмора, весела, от нее веет молодостью, жизнелюбием.

4. Высоко оценивая поэтические достоинства стихотворных сборников Д. Кугультинова, редакция журнала «Новый мир» присоединяется к решению Правления Союза писателей РСФСР и редколлегии журнала «Дружба народов», выдвинувших поэта на соискание Государственной премии СССР за сборник стихов «Я твой ровесник».

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. О Великой Октябрьской социалистической революции. 456 стр. Цена 85 к.

XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза. 29 марта — 8 апреля 1966 года. Стенографический отчет. Том I. 640 стр. Цена 1 р. 15 к. Том II. 672 стр. Цена 1 р. 29 к.

Алфавитный указатель произведений, вошедших в Полное собрание сочинений В. И. Ленина. — Предметный указатель к новым произведениям В. И. Ленина, включенным в Полное собрание сочинений. 758 стр. Цена 1 р. 50 к.

П. Березов. Революция совершилась. Очерки о Великом Октябре в Петрограде. 272 стр. Цена 78 к.

В. Дюнов, С. Могилат. О работе творческой и формализме. 104 стр. Цена 15 к.

В. Кривенченко. Отставка не будет (О генерал-майоре в отставке Г. Ф. Червинском). 160 стр. Цена 19 к.

А. Ложечко. Григорий Каминский. Документальная повесть. 160 стр. Цена 26 к.

Мораль как ее понимают коммунисты. 280 стр. Цена 50 к.

Они победили смерть. 544 стр. Цена 72 к.

Письма славы и бессмертия. 1905—1920 годы. 192 стр. Цена 23 к.

А. Полторак. Под судом фашизм (Нюрнбергский процесс). 96 стр. Цена 9 к.

Г. Рейхберг, Б. Шапик. «Дело» Мартенса. 80 стр. Цена 12 к.

Справочник партийного работника. Выпуск шестой. 1966. 544 стр. Цена 95 к.

А. Тарасенко. Живое слово. 248 стр. Цена 37 к.

«МЫСЛЬ»

Н. Бузляков. Пятилетка — трудящимся. 160 стр. Цена 19 к.

Ю. Бухаров, В. Глостанов, И. Хорин. Ленинская теория социалистической революции и современная эпоха. 303 стр. Цена 1 р. 9 к.

И. Забелин. Встречи, которых не было. 324 стр. Цена 64 к.

Из истории борьбы ленинской партии против оппортунизма. 560 стр. Цена 1 р. 91 к.

С. Костюченко, И. Хренов, Ю. Федоров. История Кировского завода. 1917—1945. 702 стр. Цена 2 р. 35 к.

В. Лопаткин. Товарные отношения и закон стоимости при социализме (Очерк теории). 304 стр. Цена 1 р. 7 к.

В. Мартынов. Аграрный вопрос в развитых капиталистических странах. 88 стр. Цена 13 к.

А. Меньчуков. В мире ориентиров. 284 стр. Цена 60 к.

С. Меньшиков. Экономика капитализма и ее противоречия на современном этапе. 152 стр. Цена 16 к.

Г. Моисеева. Южно-Африканская Республика (Экономико-географическая характеристика). 320 стр. Цена 1 р. 26 к.

В. Нионов. Краткий топонимический словарь. 509 стр. Цена 1 р. 12 к.

Р. Подольный. Предки и мы. 207 стр. Цена 34 к.

Политическая экономия. Учебное пособие. 431 стр. Цена 68 к.

М. Седов. Героический период революционного народничества (Из истории политической борьбы). 364 стр. Цена 1 р. 35 к.

Н. Шитов. Развитие В. И. Лениным идеологии и полноти пролетарского интернационализма (1894—1907 гг.). 616 стр. Цена 2 р. 28 к.

Экономический анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий. 192 стр. Цена 71 к.

«ЭКОНОМИКА»

Е. Дадаян. Экономические расчеты по модели расширенного воспроизводства. 200 стр. Цена 71 к.

С. Думлер. Автоматизированные системы управления промышленным предприятием. 61 стр. Цена 11 к.

Организация производства и экономия затрат. 215 стр. Цена 59 к.

А. Эмдин. Методология планирования и организация материально-технического снабжения. 136 стр. Цена 37 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

М. Алиев. Свет в окнах. Стихи и поэмы. Перевод с аварского. 80 стр. Цена 16 к.

Б. Галин. Время далекое — товарищи близкие. Литературные портреты. 392 стр. Цена 72 к.

С. Граховский. Высота. Стихи. Перевод с белорусского. 80 стр. Цена 17 к.

И. Грудев. Гроздь. Новые стихи. 168 стр. Цена 19 к.

К. Мурзиди. Последняя затесь. Стихи. 152 стр. Цена 23 к.

С. Орлов. Дни. Стихи. 100 стр. Цена 18 к.

Д. Рахманов. На средней линии. Роман. 520 стр. Цена 94 к.

И. Зренбург. Люди, годы, жизнь. Книги пятая и шестая. 752 стр. Цена 98 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Авдеев. Далеко-далеко. Повести и рассказы. 471 стр. Цена 91 к.

Н. Ашукин, М. Ашукина. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения. 824 стр. Цена 1 р. 46 к.

П. Бейлин. Живи, солдат! Самое дорогое. Повести. Перевод с украинского. 400 стр. Цена 79 к.

А. Бибик. Повести и рассказы. 230 стр. Цена 54 к.

И. В. Гёте. Лирика. Перевод с немецкого. 184 стр. Цена 36 к.

А. Грузлев. Поэма Н. А. Некрасова «Комв на Руси жить хорошо». 120 стр. Цена 19 к.

М. Залка. Повесть о вечном мире. Повести и рассказы. 568 стр. Цена 1 р. 30 к.

Х. Инаса. Человек из Кито (Злоключения Ромеро-и-Флореса). Роман. Перевод с испанского. 192 стр. Цена 53 к.

Г. Маари. Юность. Повесть. Перевод с армянского. 335 стр. Цена 75 к.

Д. Мамед-Нули-заде. Четки хана. Повесть и рассказы. Перевод с азербайджанского. 256 стр. Цена 41 к.

М. Миршанар. Стихи. Перевод с таджикского. 168 стр. («Библиотека советской поэзии»). Цена 40 к.

Нгуен Хонг. Воровка. Рассказы. Перевод с вьетнамского. 231 стр. Цена 67 к.

Н. Огнев. Дневник Кости Рябцева. 239 стр. Цена 53 к.

А. Пушкин. Евгений Онегин. Роман в стихах. Вступительная статья П. Г. Антокольского. Иллюстрации художника Н. В. Кузьмина. 248 стр. Цена 41 к.

Ю. Рытхэу. Время таяния снегов. Повесть. 407 стр. Цена 87 к.

С. Саувапонг. Дьявол. Роман. Перевод с языка тай. 176 стр. Цена 42 к.

А. Таммсааре. Собрание сочинений. В шести томах. Перевод с эстонского. Том I. Варгамяэ. 599 стр. Цена 1 р. 15 к.

С. Цаишвили. «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели. 139 стр. Цена 24 к.

И. Шмелев. Повести и рассказы. 368 стр. Цена 78 к.

Яшпал. Искры под пеплом. Рассказы. Перевод с хинди. 239 стр. Цена 82 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

А. Абу-Банар. Снежные люди. Повесть. Перевод с даргинского. 192 стр. Цена 26 к.

Я. Аким. Друзья и облака. Стихи. 88 стр. Цена 11 к.

М. Анчаров. Теория невероятности. Роман и повесть. 288 стр. Цена 41 к.

А. Батурин. Талисман. Повесть. 240 стр. Цена 51 к.

Г. Гуляй. Избранная лирика. Перевод с узбекского. 32 стр. Цена 6 к.

С. Капугинян. Избранная лирика. 32 стр. Цена 6 к.

В. Киселев. Воры в доме. Роман. 328 стр. Цена 69 к.

М. Колесников. Атомград. Повести. 304 стр. Цена 62 к.

Т. Колесниченко. Границы переходят в полночь (Письма из Анголы). 80 стр. Цена 20 к.

В. Кудрявцев, В. Позновский. Шаг в темноту. Повесть. 208 стр. Цена 25 к.

Д. Мельников. Железный прораб. Документальная повесть. 280 стр. Цена 71 к.

Седьмое солнце. Стихи молодых поэтов Германской Демократической Республики. Перевод с немецкого. 120 стр. Цена 27 к.

Д. Тунджер. Конфискованная земля. Роман. Перевод с турецкого. 192 стр. Цена 45 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

М. Булатов и В. Порудоминский. Собирал человек слова... Повесть о В. И. Дале. 224 стр. Цена 44 к.

О. Гурьян. Край половецкого поля. Историческая повесть. 151 стр. Цена 34 к.

М. Джавахишвили. Арсен из Марабды. Роман. Перевод с грузинского. 344 стр. Цена 71 к.

К. Домбровский. Остров неопытных физиков. Повесть. 192 стр. Цена 45 к.

М. Емцев, Е. Парнов. Зеленая креветка. Рассказы, повесть. 302 стр. Цена 56 к.

К. Куликова. Рассказы о первых русских комедиантах. 215 стр. Цена 43 к.

Т. Медведкова, В. Муравьев. Повесть о декабристе Петре Муханове. 256 стр. Цена 53 к.

М. Мейерович. Шлиман. 191 стр. Цена 42 к.

Х. Оливер. Великий поход династроаэтов. Повесть. Перевод с болгарского. 224 стр. Цена 43 к.

М. Поповский. Дороже золота. 174 стр. Цена 40 к.

Р. Реджани. Завтра, послезавтра... Повесть. Перевод с итальянского. 176 стр. Цена 40 к.

Я. Резник. Сказ о невидуманном Левше. Документальная повесть (об А. М. Сысолятине). 80 стр. Цена 23 к.

Ю. Сальников. Пусть не близка награда (Из дневника учительницы). Повесть. 135 стр. Цена 31 к.

И. Старцев. Детская литература. Библиография. 1961—1963. 629 стр. Цена 2 р. 56 к.

З. Фазин, Э. Блон. Терек в огне. Повесть (о С. М. Кирове). 304 стр. Цена 55 к.

Г. Цирулис. Ветер в лицо. Рассказы. Перевод с латышского. 128 стр. Цена 30 к.

«НАУКА»

В. Алексеев. Китайская народная картина. Духовная жизнь старого Китая в народных изображениях. 260 стр. Цена 3 р. 10 к.

М. Бобнева. Техническая психология. 127 стр. Цена 38 к.

Вопросы географии культурных растений и Н. И. Вавилов. Научная сессия, посвященная 75-летию со дня рождения Н. И. Вавилова. 134 стр. Цена 86 к.

География хозяйства республик Закавказья. 283 стр. Цена 1 р. 82 к.

История советского драматического театра. В 6-ти томах. Т. I, 1917—1920. 407 стр. Цена 3 р.

В. Каверин. Барон Брамбеус. История Осипа Сенковского. журналиста, редактора «Библиотеки для чтения». 239 стр. Цена 80 к.

Х. Клемм. Внуки королей. Путевые очерки о Мали. Перевод с немецкого. 248 стр. Цена 83 к.

Г. Колыхалова. Индия и Англия. Проблемы экономических и политических отношений после 1947 г. 287 стр. Цена 96 к.

Л. Куббель. Страна золота. 144 стр. Цена 38 к.

Н. Кузнецов. На далеком меридиане. Воспоминания участника национально-революционной войны в Испании. 263 стр. Цена 1 р. 9 к.

А. Леонтьев. Языкознание и психология. 80 стр. Цена 25 к.

Личность, общество и государство. 248 стр. Цена 94 к.

Н. Митина. Во глубине сибирских руд. К столетию восстания польских ссыльных на Кругобайкальском тракте. 144 стр. Цена 46 к.

Е. Петраш. Моряки Балтийского флота в борьбе за победу Октября. 267 стр. Цена 1 р. 32 к.

Провал гитлеровского наступления на Москву. 25 лет разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. 1941—1966. 351 стр. Цена 1 р. 75 к.

Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры. К 70-летию со дня рождения П. Н. Беркова. 459 стр. Цена 1 р. 92 к.

Север Европейской части СССР. 452 стр. Цена 2 р. 88 к.

Сунь Ят-сен. 1866—1966. К столетию со дня рождения. Сборник статей, воспоминаний и материалов. 413 стр. Цена 1 р. 74 к.

Д. Чертков, Р. Андреасян, Ю. Монаев. СССР и развивающиеся страны (Сотрудничество в развитии экономики и культуры). 106 стр. Цена 32 к.

М. Шейнман. От Пня IX до Иоанна XXIII. Ватикан за 100 лет. 197 стр. Цена 30 к.

«ПРОГРЕСС»

Азиз Несин. Приходите развлечься! Юмористические рассказы. Перевод с турецкого. 271 стр. Цена 73 к.

Д. Апдайн. Кентавр. Роман Перевод с английского. 287 стр. Цена 96 к.

И. Бадалич. Русские писатели в Югославии. Из истории русско-югославских лите-

ратурных связей. Перевод с хорватского. 319 стр. Цена 1 р. 26 к.

С. Завадский. «Государство благоденствия». Доктрина и практика. Перевод с польского. 376 стр. Цена 1 р. 50 к.

М. Кэлсорт. Красильня. Роман. Перевод с английского. 223 стр. Цена 54 к.

А. Ла Гума. И нитка, втрое скрученная... Повесть. Перевод с английского. 156 стр. Цена 35 к.

М. Лемма. Неравный брак. Комедия. Перевод с амхарского. 96 стр. Цена 18 к.

Х. Мендиола. Приговорен к расстрелу. Роман. Перевод с испанского. 224 стр. Цена 81 к.

А. Минковский. Сорок на палубе. Роман. Перевод с польского. 240 стр. Цена 59 к.

Монго Бети. Исцеленный король. Хроника племени эссазамов. Роман. Перевод с французского. 186 стр. Цена 62 к.

Ж. Сименон. Неизвестные в доме. Повести, рассказы. Перевод с французского. 541 стр. Цена 1 р. 70 к.

С. Усман. Харматтан — горячий ветер. Роман. Перевод с французского. 320 стр. Цена 64 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Д. Биленнин. Спор о загадочной планете. 232 стр. Цена 60 к.

И. Игин. О людях, которых я рисовал (Шаржи и рассказы). 136 стр. Цена 54 к.

А. Млынек, Б. Анин, М. Васильев. Учитель в моей жизни. 192 стр. Цена 45 к.

Н. Очиров. Найденыш. Повесть. Перевод с бурятского. 160 стр. Цена 42 к.

Районное звено. 224 стр. Цена 30 к.

А. Рубакин. Похвала старости. 272 стр. Цена 43 к.

М. Светлов. Стихи последних лет. 208 стр. Цена 26 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Н. Зейдер. Судебное решение по гражданскому делу. 192 стр. Цена 75 к.

Г. Икютин, А. Назаров. Консультации по пенсионному обеспечению. Выпуск второй. Переход с одного вида пенсии на другой. Государственные пособия и другие виды социальной помощи пенсионерам. 140 стр. Цена 19 к.

А. Карцхия, Н. Абросимова. Консультации по пенсионному обеспечению. Выпуск третий. Пенсии по старости. Пенсии при неполном стаже. 200 стр. Цена 29 к.

Комментарий к законодательству о труде. 832 стр. Цена 2 р. 62 к.

Научные основы нового Примерного устава сельскохозяйственной артели. 264 стр. Цена 79 к.

А. Стесин. Об отпусках рабочих и служащих. 136 стр. Цена 14 к.

«ЕШ ГВАРДИЯ» (ТАШКЕНТ)

Мирмухсин. Молнии в ночи. Закалка. Повесть. Перевод с узбекского. 200 стр. Цена 46 к.

К. Хинмат. Ветер-богатырь. Стихи и поэмы. Перевод с узбекского. 125 стр. Цена 30 к.

СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО (СВЕРДЛОВСК)

Ю. Кибардин. Взрослеют в пути. Повесть. 83 стр. Цена 11 к.

П. Попов. По приказу революции (17-й Уральский полк). 182 стр. Цена 34 к.

ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО (ГРОЗНЫЙ)

Б. Саидов. Солнце в горах. Стихи. Перевод с чеченского. 75 стр. Цена 14 к.

Д. Яндиев. Стихи. Перевод с ингушского. 103 стр. Цена 30 к.



Главный редактор **А. Т. Гвардовский**

Редакционная коллегия:

И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, А. И. Кондратович (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, И. А. Сац, К. А. Федин**

Редакция Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6. пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 19/XI 1966 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 9/II 1967 г.
А 02503. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 9 бум. л. (24.66 усл. п. л.)
Зак. 3891. Тираж 150 000.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636